ЭМЭ БЭЭКМАН

# ЧЕРТОЦВЕТ
# СТАРЫЕ ДЕТИ

# ЭМЭ БЭЭКМАН

# ЧЕРТОЦВЕТ
# СТАРЫЕ ДЕТИ

РОМАНЫ

*Авторизованный перевод с эстонского*

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ · МОСКВА · 1975

С (Эст) 2
Б 97

Творчество популярной эстонской писательницы Эмэ Бээкман известно не только в республике, но и далеко за ее пределами. Почти все ее книги переведены на русский язык.

Первый из двух представляемых в этой книге романов «Чертоцвет» — это своего рода история жизни женщины в старой эстонской деревне. На судьбе главных героев романа — Явы и ее многочисленной семьи — прослеживается бег времени от середины прошлого века до революции 1905 года.

В романе «Старые дети» дана широкая картина жизни эстонского народа в досоветский период, раскрываются события накануне июньской революции 1940 года, показывается начальный период существования советской власти в Эстонии, Отечественная война и, наконец, осмысливаются коллизии первого послевоенного года. Все это во многом показано через восприятие доброй, доверчивой и по-взрослому рассудительной девочки Мирьям.

По складу характера, остроте восприятия и цельности ума Мирьям — образ, в чем-то родственный Яве из романа «Чертоцвет». Исследование волевого, самобытного женского характера в разных условиях и в разных поколениях является чертой авторского замысла, объединяющей оба публикуемых в данной книге романа.

© Перевод на русский язык. Издательство «Советский писатель», 1975 г.

Б $\frac{70303-338}{083\ (02)-75}$ 194—75

# ЧЕРТОЦВЕТ

## 1

Ява волочила корыто. Крупный дождь барабанил по ее спине. Она тянула изо всех сил, набухшее корыто то и дело норовило зарыться прямо в грязь.

Яве казалось, что ее уже неделями, как щепку, носит вода, одежда уже давно не защищала ее. Вода владычествовала повсюду, от нее не было спасения. Венец лета затонул в дождях. Вечерами, когда хворост в очаге полыхал сильным и недолгим пламенем, дрожащие дети грелись у огня, над их лопатками — светлые облачка пара. Ява развешивала одежду у огня сушиться. Ее полотняная рубаха в вытертых местах просохла и была на ощупь как короста. Шерстяная юбка обвисла и стала теплой, как только что содранная шкура зверя.

Ява выпрямилась и посмотрела в сторону избы. Грязь засасывала замерзшие ноги. Вязкая земля норовила заглотнуть человека в свое темное чрево. Низвергающийся с неба дождь давил на плечи. Все должно было сгинуть в этом бездонном омуте. Уже давно и изба не давала надежной защиты от дождя. Истлевшая солома крыши осела под тяжестью воды, дождь разрушал ее. Вода забиралась в соломины, расщепляла их и разметывала в стороны. Дом походил на больную скотину, которая линяла и клок за клоком скидывала свою шерсть на землю, где ее втаптывали в грязь. Ява прищурилась. Обрешетины выпирали из общипанного гребня крыши, словно позвонки из старчески рыхлой кожи. Уже долгое время струйки дождя просачивались сквозь крышу и впитывались в потолочные балки. К ночи все впадины и выемки на потолке набухали до отказа, и вода, словно прорвав плотину, стекала вниз, проникала в постели, скоплялась в щелях пола, барабанила по крышке сундука с прида-

ным, будто требовала ответа — есть ли в этом доме хоть еще одно непрогнившее место?

Ява нарезала еловых веток и устлала ими пол комнаты. В сыром помещении распространился терпкий запах смолы. Еловые иглы кололи ступни ног. Вода, капающая с потолка, просачивалась сквозь игольное сито и уходила под пол. Как долго еще ложе дома в состоянии будет глотать воду? В горле земли плескалась промоина, полная до краев.

Ява шла, движимая необходимостью действовать, и тащила корыто к кромке воды, чтобы переправиться на другой берег. Дождь хлестал ее, и она в колебании остановилась. Когда грязь стала сжимать ей икры, она одну за другой оторвала ноги от клокочущей земли и, с трудом удерживая равновесие, сделала несколько шагов в сторону.

На другой берег? Где он, собственно, обретается? С каждым днем вода поднималась все выше, ползла вперед, распространялась, затопляя все новые полоски поля и луга, и упорно осаждала лоскуток двора. Да и колодец, в свою очередь, выжимал воду наверх, меж его закраин плавали большие пузыри, похожие на мертвые бычьи глаза. Источники на краю болота не хотели быть затоплены и искали выхода в стороне, в самом сердце деревни. Быть может, в одну из ночей вода поднимет строения на свой гребень? Ветер подтолкнет их и унесет в неизвестность. Ява никогда не видела моря, но когда говорили: открытое море, в ее душе начинало трепетать какое-то непонятное ей самой чувство.

Злой дождь поглотил летнее тепло. Сырые от мокряди дни поневоле тянулись в осень. В одно из утр водные равнины покроются тонкой пленкой льда, меж сугробов забродит сумрак и солнце закроет глаза.

Если люди выдюжат до тех пор. А что будет после?

Вода спугнула полевых мышей к домам. Днем они хоронятся под кучами хвороста, а с наступлением темноты шныряют по двору, пищат от голода и норовят прошмыгнуть через порог в дом. На дворе все до единого зеленые стебельки ощипаны овцами. Каждое утро корова, которую никто не подгоняет, бредет по воде до лесной опушки и там языком слизывает с деревьев листья. К вечеру она возвращается по грудь в воде и, отдуваясь, взбирается на берег. Из-под копыт брызжет грязь, тя-

жела поступь измученной скотины. Пошатываясь, она добирается до колодца и, опустив голову, ждет, когда ее подоят. Животное знает свой долг.

Ява считала, что только сочувствие поддерживало в Мирт искру жизни. Всегда, когда жесткая ладонь Явы касалась порожнего вымени Мирт, она поворачивала голову, и в ее взгляде вместе с грустью дрожало что-то мутно-серое, словно в самую глубину ее глаз проник дождь. Каждый из детей получал по глотку молока, так Мирт не давала им совсем обессилеть, хотя сама уже не могла даже мычать.

После Юрьева дня, когда по лесным опушкам то тут, то там пролился короткий дождичек, мужчины обнажили голову перед небесами, а женщины простерли вперед руки, дабы пропустить сквозь пальцы живительную влагу, опустив взгляд в землю, чтобы не расплескать в светозарной весне тихое счастье.

Беды минувшего лета не должны были повториться.

Прошлым летом поля высохли и потрескались, березы уже к Янову дню — дню начала жатвы — роняли желтые листья. Ячмень уродился низкий, как чертополох, больно кололся и почти не дал зерна. Тогда болото стало для всех бесценным. Все кочки до единой были обкошены, люди на спине и охапками выносили сено на край болота и складывали в копны. Вечерами, покачиваясь на пружинящих берегах болотных ямин, люди смывали с обгоревших спин сенную труху. Река настолько усохла, что ее синий бурлящий поток превратился в узенький и грязный стоячий ручей. Батраки из имения охраняли щучьи омуты. Лошади — на телегах ушаты — сновали между помещичьим садом и излучинами реки. Управляющий велел соорудить в саду деревянные желоба, они стояли на распорках, вода с них стекала на ягодные кусты и фруктовые деревья, даже немецкие ели могли утолить жажду.

А на дороге вахту несли дети. Когда из-за склона показывалась бочка с водой, отряд встрепанных ребятишек окружал телегу, и, утопая в пыли, замарашки с выгоревшими волосами не переставая кричали: дай дождичка, дай дождичка! Возчики были людьми не жадными и какую-то часть драгоценной влаги из бочки разбрызгивали на визжащих ребятишек.

А нынче почти все лето месили грязь. В последнее время Ява с болью в сердце стала замечать, что силы у детей с каждым днем иссякают. Сплошь и рядом они тупо стояли под дождем, промокшие до мозга костей.

Точь-в-точь как я, внезапно подумалось Яве, и она подтянула корыто чуть ближе к кромке воды. Вот и сейчас дети стоят на своем обычном месте неподалеку от колодца. Ява не знала, смотрят ли они вслед ей или ждут домой Мирт. А что будет, если корова однажды изнеможет настолько, что, охнув, сникнет и вода поглотит ее?

Сквозь дождь Ява не различала лиц детей, но она отчетливо видела три маленькие макушки. Мокрые волосенки прилипли к голове. Насквозь вымокшие холщовые рубахи тяжело висели на острых плечах. Ява знала, что Эва следит за младшими и в то же время не забывает о крошке Несторе, который хнычет дома в постели. Это жалобное хныканье, как и стук дождя, звучало в ушах Явы даже во время сна. Однажды ночью, когда плач ребенка прекратился, Ява в испуге вскочила. Она ловила руками темноту, пока не коснулась плеча Эвы. Постепенно глаза Явы начали различать — Эва держала маленького братца на руках, укачивая его. Мирт научила Эву помнить о долге: нельзя забывать или оставлять в беде слабых. Да и в школе дочь кое-чему научилась: царя и Сына Божьего она узнавала по картинке. Порой, когда Ява замечала, что Эва над слишком уж многими вещами ломает голову, в ее душе невольно поднималось щемящее чувство. Ява почему-то ощутила стыд, когда несколько дней тому назад обнаружила Эву сидящей на корточках у края воды — девочка, подол юбки в грязи, разглядывала труп зайца. Ява хотела тихо отойти в сторону, но грязь чавкнула, и Эва вздрогнула. Она укоризненно посмотрела на мать, ее взгляд на миг отбросил Яву назад, в ее собственное детство. Даже ночью, уже проснувшись, Ява не могла отделаться от странного чувства. И она, когда была ребенком, думала, что этот мир сделан руками родителей. И она когда-то давно хотела спросить: почему вы сделали его таким?

Ява наклонилась, мокрые пряди волос хлестнули по лицу. Она потянула корыто и уголком глаза еще раз украдкой оглядела своих детей. Эва стояла посередине и держала за руку Сабину и Коби, словно хотела поде-

литься с сестрой и братом крошкой тепла, пульсирующей в ее ладони.

Боже правый, думала Ява, всели в них хоть малую толику надежды.

Ява волочила корыто так, что хрустело в плечах. Утлое суденышко легко заскользило по воде. Ява побарахтала ногами, чтобы стряхнуть с них комья грязи. Прежде чем залезть в корыто, она подняла подол юбки и выжала из нее воду. Отбитые края корыта на несколько пядей высовывались из воды.

Ява облизнула губы, словно что-то жгло ее внутри и ей необходимо было загасить огонь дождевой влагой. Больше она в сторону детей не смотрела. Они не смели сомневаться в том, что у них предприимчивая мать, у которой верное сердце и сильные руки. Ява уперлась веслом в дно и оттолкнулась. Прямоугольный нос корыта выступил из воды, за кормой появилась легкая рябь. В этом зыбком море не было недостатка в дорожных вехах: Ява направила челн к ольхам. Она не отдавала себе отчета, почему именно туда, — вероятно, ей в первую голову хотелось исчезнуть из поля зрения детей, стоявших у колодца.

Корыто ударилось о ствол ольхи, на древесной коре появилась вмятина, и оттуда засочилась красноватая жидкость. Ява ухватилась за ветки, чтобы удержать корыто на месте. Положив весло поперек, Ява присела. На ветках ольх еще уцелели листья, хотя вполне возможно, что корни деревьев уже начали подгнивать, — однако то, что деревья упрямо сохраняли зелень, не было ли это добрым знаком, предвещавшим конец наводнения? И все-таки именно здесь, под ольхами, Ява ощутила этот особенный запах осени, точь-в-точь такой, какой в одно из росистых утр месяца жатвы неожиданно бил в нос со стороны картофельного поля. В такие минуты Ява снова и снова с удивлением думала: неужели настала осень? Вся природа еще справляет веселое пиршество, в то время как картофельная ботва уже ранена ночной прохладой.

Но кто ранил Якоба, что он стал таким? У Явы по спине побежали мурашки. Она ухватилась левой рукой за ветку ольхи и судорожно сжала пальцы. Правой провела по груди. Не потому, что там перегорало молоко и ей надо было торопиться домой кормить ребенка — хны-

чущий Нестор едва-едва получает свою долю. Суметь бы сохранить душу в теле ребенка, покуда не спадет наводнение! Ява, правда, давала мальчишке пососать корочку лепешки, ни одному из предыдущих детей не доводилось рождаться в такое тощее время. Ява надавила пальцами впадинку меж грудей. Чем дольше шел дождь, тем чаще мерещилось Яве, что сшитый из полотна мешочек истлевает от сырости и серебряные рубли незаметно плюхаются куда-то в грязь или в темнеющую воду. Хотя до Михайлова дня оставалось еще немало добрых — а вернее, плохих — недель, день платы за аренду неизбежно настанет. Где взять вторую пригоршню монет? Как дожить до тех пор? А потом?

Если б можно было погрузиться в зимнюю спячку! Мирт и овцы свернулись бы на теплом навозе, Ява сорвала бы со стрехи солому и накрыла их. Потом уложила бы рядком детей и сама забралась к ним на кровать. Может, и Якоб, проспи он до посевной глубоким сном, стал бы прежним. Когда зазвонил бы рождественский колокол, они повернулись бы на другой бок и увидели во сне мерцание елочных свечей.

Увы, управляющий имением, как злой дух, сидит у тебя на закорках и подгоняет: коли не отдашь долг, убирайся жить в сугроб. О том, чтобы отсрочить арендную плату, не может быть и речи, считали в Медной деревне. Имение само испытывает якобы затруднения, кому-то надо подыхать с голоду — арендаторам или батракам. Ох уж это горе горькое! В позапрошлом году старые господа приказали долго жить, оставили барышню одну. Бедняжка во всем, что касается работы, оказалась совершенно без понятия. Управляющему лафа, воруй сколько хочешь. Уже в том самом году, когда умерли господа, в амбар осенью свезли не больше зерна, чем посеяли весной. А как же прибыль? — будто бы спросила барышня. Солома — вот и вся прибыль, ответил управляющий. Нынче барышня и такой прибыли не увидит, нынче куражится не управляющий, а наводнение.

Барышня не в состоянии даже переправиться на другой берег, где находится дом ее детства, чтобы попросить там помощи.

Да и Ява не вполне уверена в себе.

Ява поежилась, и на ее затылок с листьев ольхи потекла вода. Но, в сущности, Ява стала нечувствительной

к влаге. Лишняя сырость, давившая на сердце, порой выливалась через глаза, и в последнее время это было величайшим, хотя и мнимым облегчением.

К утру Ява твердо решила, что отправится за помощью к своим. Плохо соображая со сна, она не подумала, что́ даст ей ее затея. Яве казалось, что все очень просто, разве родной отец допустит, чтобы дочь и ее семья подохли с голоду? Ответ был ясным и прямым, как солнечный луч: нет, не допустит. Неужели тетка отошлет ее назад с пустыми руками? Неужели сводные брат с сестрой вмешаются, откажутся урвать кусок от себя, дабы не поколебать зажиточное хозяйство корчмы? Нет, нет. У всех у них человеческое сердце в груди.

Ява постоянно стремилась все приводить в соответствие со своим собственным отношением к окружающему. Довольно долго она вот так, бесхитростно, оценивала жизнь на этом свете, вплоть до истории с Якобом, сперва напугавшей ее, а позднее приведшей в неистовство. В такое неистовство, что любой был бы вправе сказать: жена не смеет, как разъяренный зверь, кидаться на своего мужа!

Если бы только дождь, наводнение, нищета и голод — тогда еще ничего. Так размышляла Ява, сама насквозь промокшая, по щиколотку в воде, просочившейся в корыто.

Несколько дней тому назад, побывав в корчме, Ява вернулась домой с завернутой в платок большой буханкой хлеба, от одного запаха которого кружилась голова. Ява не поверила бы, что они там, в корчме, до сих пор живут так вольготно — едят чистый ржаной хлеб. Она давно уже подмешивала в тесто для лепешек мелко нарубленную крапиву. Да и мох ягель размачивала и тайком — детям ни к чему была эта мудрость нищего — начиняла им лепешки. Изголодавшиеся дети не замечали, из чего приготовлена еда. Держа в руке теплую серую мякоть, они зубами отрывали от нее куски побольше, — глаза выпучены и от наслаждения подернуты туманом.

Но едва они кончали есть, как снова начинали жаловаться на голод.

Одна только Эва понимала серьезность положения. Она щупала животы малышей и говорила, что в их сумках пищи еще достаточно.

Тем не менее и она ходила вместе с Сабиной и маленьким Якобом в хлев поглядеть на подсвинка. Он едва держался на ногах и порой, закрыв глаза, боком прислонялся к стенке загородки, — видимо, кружилась голова. Собравшись с силами, подсвинок принимался грызть корыто. Хорошо, что в хлеву не было свиньи с поросятами, — у соседей матка сожрала своих детенышей. Да, и животные чувствовали, что надежда иссякла, что дождь этот не кончится, что из земли больше не поднимется пышная свекольная ботва и не вырастет картофель.

Подсвинка надо зарезать прежде, чем он усохнет до размеров поросенка.

Дети, особенно Коби, постоянно пытались уверить Яву, что подсвинок все время толстеет. Ява делала вид, что верит этому. Хотя и знала, что подсвинка можно зарезать перочинным ножиком и не получит она от него ни колбасы, ни кровяных лепешек; всего лишь несколько косточек будет постукивать на дне миски.

Долг взрослых не говорить детям всей правды. Маленьким не снести больших забот.

Яве было примерно лет десять, как сейчас Эве, когда она стала замечать какие-то странности в отношениях своих родителей. Мать увиливала, когда Ява пыталась обиняком что-то узнать у нее. Отца распирает от слов, скопившихся у него внутри, ему необходимо выговориться, уверяла мать. По мнению Явы, рот у отца давным-давно должен был бы устать, из вечера в вечер он сидел за длинным столом корчмы в компании односельчан и вел беседы. Отец вбирал в себя новости со всего света, ему бы тихо спать — небось голова свинцовая от тяжести знаний. И тем не менее Ява по ночам просыпалась оттого, что отец разговаривал. Сонный ребенок часто видел одну и ту же картину: отец сидел на кровати, скрючив колени под полосатым одеялом, подперев ладонями голову, рукава полотняной рубахи подняты до локтей, руки покрыты густой черной щетиной. Борясь на рассвете со сном, Ява все снова и снова открывала глаза. Большей частью она видела своего отца одетым, и эти отцовские руки в черных волосах завораживали ее. Голова отца уже давно была тронута проседью, а вот руки словно принадлежали другому человеку.

Ява начала заново открывать своего отца.

В корчме, среди мужчин, его лицо было всегда смешливым и озорным. Когда запас разных историй иссякал, он принимался играть на варгане. Случалось, что ни для разговоров, ни для игры на варгане не оказывалось времени — он суетился в сенях, встречал гостей, принимал лошадей у приезжих и отводил их на выгон или на конюшню — смотря по времени года. В корчме, среди гостей, голос у отца был громким и радостным. Постояльцы, покидая корчму, наматывали на ус все отцовские предостережения. Ява, проводившая в ту пору бóльшую часть времени в корчме, с восхищением слушала своего умного отца, он знал все. Порой Ява закрывала глаза и представляла, как она уезжает с кем-либо из постояльцев. Она ясно видела те камни, которые отец велел объехать стороной; она полной грудью вдыхала теплый ветер на том пригорке, где росли дубы. Неплохое место, чтобы остановиться и передохнуть. Здесь можно было посидеть и оглядеться, подправить упряжь. Дальше дорога шла круто под гору. Внизу, в роще, следовало объехать источники стороной, почва там вязкая, того и гляди засосет, — вся волость, да и местность за ее пределами, все было у отца как на ладони.

Ночью, в горнице, разговоры и голос отца становились иными. В сумерках лицо его делалось серым, ночь приглушала речь. Мать неподвижно лежала рядом с ним и порой втихомолку вздыхала. До Явы доносился тихий ветер, шелестевший в сухой стерне. Отец говорил очень долго и невнятно, покуда мать шепотом не произносила свои немногие, закругленные с помощью какой-то неуловимой мягкости слова. В большинстве случаев они проходили мимо ушей сонной Явы.

Долгое время Ява не понимала, о каком ребенке они говорят. У Явы был только один брат, почти уже взрослый, который редко показывался дома. Алону выпала великая честь быть крестником управляющего имением. Крестный когда-то пообещал сделать из Алона настоящего мужчину, и своего обещания он не забыл. Вот Алон в то время и работал под его началом.

Ява вдруг заметила, что края стоявшего под ольхой корыта опустились почти вровень с водой. Одно неосторожное движение, и суденышко пойдет ко дну. Пришлось долго вычерпывать воду черпаком, прежде чем миновала прямая опасность.

Теперь следовало немного отдохнуть, пусть пройдет одышка. Найдя оправдание своей беспомощности, Ява снова присела на весло. Хотя бы Алон появился на горизонте. Дело у него поставлено на широкую ногу. Уж он-то сестру в беде не оставит, кошелек у него всегда туго набит.

Кто знает, какие дальние дороги меряет сейчас Алон.

У Явы всегда начинало щемить сердце, когда она думала о людях, которым удалось вырваться подальше от родных мест. Мать рано научила Яву читать. С тех пор в кровь Яве проник яд. Приходя в корчму, она забывала за книгами все. События, происходившие в мире, пьянили ее. Когда опьянение проходило, она долгое время мрачно ходила взад-вперед. В такие минуты она ясно ощущала убожество своего существования. И тем не менее при малейшей возможности приносила домой газеты. Якоб ревниво кидал их в печь. Но это уже не помогало. В душе Явы давным-давно поселилась тоска, хотя она даже самой себе не решалась признаться в этом.

У Явы начинало гудеть в ушах, когда Якоб принимался донимать ее своими вечными как мир упреками. Да разве под копной женских волос может быть спрятан ум! Так себе, труха. Ява старалась покорно выкинуть из головы все, что знала, ей хотелось жить со своим мужем в мире и согласии. Она боялась, что терпение у Якоба лопнет и в одну из ночей он тоже усядется на постель и начнет попрекать жену. Тогда до скончания дней своих живи с этим тусклым бормотанием в ушах.

Вечера в корчме принадлежали мужчинам, днем же сюда приходили женщины — к матери за помощью. Их беды были настолько серьезными, что едва ли уместились бы в четушке водки. Мать провожала посетительниц в боковую комнату. Яве не разрешалось самовольно входить туда, но иногда дверь забывали прикрыть, и тогда запахи, проникавшие из комнаты, звали Яву подойти поближе. Они были сладковато-приторные, сдобренные перцем. Недаром женщины в комнате чихали до слез. Вода смывала плотину стыдливости, и жалобам не было ни конца ни края. Мать сидела в сторонке от посетительниц, на табурете с плетеным дном; терпеливо слушала и кивала. Брала с крышки сундука незаконченное вязанье, и пальцы ее начинали шевелиться. Узор на кружеве получался причудливым, в нем не было пра-

вильной формы цветов или звездочек. Только теперь Ява поняла, что мать вывязывала на кружеве людские беды.

Кончив рассказ, посетительница предоставляла матери спокойно обдумать услышанное. Мудрый совет не с ветра берется.

Уже тогда Ява знала, что благодаря матери в окрестных деревнях не бывало блох. Против этих паразитов имелось верное средство. Пустяшное дело принести с реки листьев и корней аира и накидать их в комнате на пол. Мать советовала сажать поблизости от амбара красную бузину. Кто послушался ее совета, не пожалел. Мыши и крысы не забирались больше в закрома и не поедали зерно.

В конце концов мать откладывала вязанье, чтобы снабдить ожидающую с поникшей головой страдалицу лекарством. На стене комнаты висели пучки высушенных растений, и мать выбирала из них нужное. Вслед за этим она приподнимала крышку сундука, где хранилось бесчисленное множество белых полотняных мешочков и коробочек из бересты, в которых лежали какие-то корни, до хруста засушенные цветы, стертые в порошок листья или куски коры. В баночках мать держала мази, смолу, деготь, а в накрепко закрытых пробками темных бутылках разные настои.

Ява мало что успела усвоить из премудростей, которыми обладала мать, хотя и ходила вместе с ней собирать растения, выискивала в колосьях ядовитую спорынью, выкапывала корни одуванчика, срезала папоротник, рвала почки с берез и наполняла корзину листьями толокнянки. Не говоря о ромашке, тысячелистнике и успокоительном корне валерианы. Возле матери Ява научилась распознавать и ядовитые растения — синяк и дегтярку — и теперь умела уберечь от них своих детей.

Об удивительном даре матери вспоминали до сих пор. Время придало величия ее делам. Если верить рассказам старых людей, то, пока была жива мать, ни одна эпидемия в этих краях не свирепствовала так, чтобы преждевременно свести человека в могилу. Однако едва ли кто мог вспомнить саму мать, ее фигуру, лицо, руки. Метели пятнадцати зим стерли картину прошлого.

После смерти матери жители деревни некоторое время обходили корчму стороной.

Наступили жестокие холода, и в бревенчатых стенах корчмы затрещал мороз. Ява никогда раньше не слышала, как трещит мороз, — до сих пор все длинные вечера были заполнены другими голосами: пением, бахвальством, пьяным ревом. Теперь же вдруг стало устрашающе тихо. Из корчмы начал постепенно испаряться водочный угар. Каким неприютным, пронизывающе холодным стало вдруг это длинное каменное здание! Разогретые огненной влагой тела уже не распространяли тепла, на крюках не висели полушубки, задерживающие холод, идущий от стен. Работы по дому легли на Яву. По ночам отец по-прежнему садился в кровати и что-то бормотал про себя: слов Ява не разбирала. Треск мороза на дворе вселял в нее беспокойство, словно кто-то пытался сломать окружавшие их стены. Вечерами отец безучастно сидел за трактирным столом и прихлебывал водку. Редко-редко теперь кто-нибудь заезжал сюда. Отец, хмурясь и сердито ворча, уводил лошадь постояльца. Его профессиональная хватка, умение рассказывать всякие байки, заразительная веселость — все это бесследно исчезло. И кто бы теперь — четушка под носом — стал самозабвенно слушать отцовские истории. Прибывшие издалека озирались в пустой корчме и дивились трезвости здешнего народа. Ява знала, что господа помещики недовольны тем, как идут здесь дела, и собираются в Юрьев день отказать отцу от места корчмаря.

Удрученное состояние отца, его бормотание пугали Яву. Как только выдавалась свободная минутка, она надевала полушубок и шла в деревню послушать, что говорят. Когда прочие истории иссякали, люди принимались поносить отца. Они не сомневались в том, что корчмарь сам свел свою жену в могилу. Высказанное напрямик тяжкое обвинение придавило Яву к земле — ее тоже считали участницей преступления! Каким образом отъединить себя от личности отца? Ява стала избегать людей, боясь услышать еще что-нибудь более злое. С тех пор она, случись кому-нибудь из посторонних переступить порог корчмы, предпочитала удаляться в заднюю комнату. Она начала ждать Юрьева дня. Да и лучше бы они покинули это место — погрузив на телегу материн сундук с лекарственными травами, из-под крышки которого просачиваются горькие запахи воспоминаний.

Алон всегда умел оставаться в стороне, когда для домашних наступали тяжелые времена. В трескучую морозную зиму он жил в Питере. Он и предположить не мог, что сестра мучается и слушает по ночам бормотание отца. Конечно, там, в неслыханно прекрасном городе, далекий дом мог казаться захудалым и маленьким. Наверное, и Яву заворожили бы ярко освещенные улицы, по которым в экипажах, звеня бубенцами, мчались ничем не занятые люди.

Пятнадцатилетняя Ява начала задним числом просеивать в памяти последние дни совместной жизни родителей. Удивительно, какими притягательными и одновременно омерзительными были эти воспоминания. Ясные картины памяти довлели над Явой. Какие бы муки они ни причиняли, ей некуда было бежать от них.

В последнее утро мать поднялась с петухами и выглянула в окно. Светало. Из-за леса вставало клюквенно-красное солнце. Небо было ясным и синим, земля подмерзла, более низкие места покрывала изморозь. Канава, со своими искрящимися обочинами, бежавшая прямо от двора до самой речной поймы, была похожа на длинную-предлинную полотняную ткань, расстеленную для выбеливания на черном поле.

В природе властвовала какая-то особенная торжественная тишина. Ява ничуть не удивилась, что мать надела чистую рубаху и натянула желтую, цвета ромашки, юбку, которую она собственноручно соткала на станке из тоненькой нитки. Белые шерстяные чулки свидетельствовали, что мать собралась в деревню по делу, — очевидно, кто-нибудь нуждался в ее помощи. Все было как обычно, и все-таки что-то было не так. Мать замкнулась в себе, и Ява не решалась заговорить с ней. Именно в это утро на ее болтливость словно бы наложили запрет. А ведь она знала, что излюбленная поговорка матери: коль уж говорить, то слова должны быть лучше молчания — предназначались не ей, а отцу, чтобы обуздать его разговорчивость.

Несмотря на воскресное платье, мать сама обиходила скотину. Ява вышла во двор, чтобы принести дров. Солнце, похожее на клюкву, висело над верхушками елей и не грело. Как хорошо в такую погоду развести в очаге большой потрескивающий огонь! Свежий воздух вселял в Яву радость. Не было игры веселее, чем бежать по

сверкающей земле, разбрызгивая во все стороны ледяные кристаллы. Ноги Явы, носившей поленья, оставляли темные следы — словно она была первым человеком на девственной земле.

Ява растопила печь и стала поджидать мать. Уже много поленьев прогорело в печке, помещение нагрелось. Внезапно Ява почувствовала, что с ее затылка вниз покатилась капля пота. Ей даже казалось, что она видит эту светлую каплю, медленно стекающую с позвонка на позвонок и оставляющую за собой холодную дорожку. Ледяной страх сковал Яву. Она подбросила еще поленьев в огонь, и новая капля с затылка опять начала свой путь.

Ява обошла все до единого закутки каменного строения. Отец понуро стоял на конюшне подле лошади, положив ей на шею руки. Он застыл в неподвижной позе и не обратил на дочь никакого внимания. Овцы сгрудились в углу загородки. У каждой в черных губах клок сена, словно затычка во рту. В чане с холодной водой бултыхался упавший набок молочный бидон, по поверхности воды растекались белые полосы. К полудню иней растаял. Светлая ткань на обочинах канавы, утром бежавшая через черное поле, исчезла.

Ява нашла мать под елями, неподалеку от могильных холмов деда и бабки. Мать сама выбрала дерево, под корневищем которого должно было быть предано земле ее тело. Иглы уже успели осыпаться на нее, и только лицо оставалось нетронутым. Выражение лица было удивительно спокойным, руки крестом сложены на груди, желтая, цвета ромашки, юбка оправлена. Только волосы казались чужими. Впоследствии люди говорили, будто это яд так подействовал, что голова после смерти поседела.

Ява до сих пор не знала, в какой степени можно было верить тем слухам, что в ту пору ходили по деревне о семье корчмаря. Может быть, люди выдумали эти обвинения, чтобы отогнать от себя чувство ужаса? Откуда они могли так точно все знать, чтобы вынести приговор!

Ява также не знала точно, топил ли отец в водке скорбь, чувство своей вины или осуждение односельчан. А может, все это спеклось в один комок, который надо было растворить в спирте?

Народ в деревне знал так много, Ява — так мало.

Про себя она могла думать, что мать устала от многословия отца.

Да и откуда Яве было знать, что произошло до ее появления на свет?

Однажды темным осенним вечером в корчму вошел темноволосый чужеземец, на плечах — черная накидка, в руках дорожная сумка. Не поздоровавшись, с едва заметной улыбкой на губах, он подошел к очагу и желтым платком вытер мокрое от дождя лицо. Затем поднес руки к огню и растопырил пальцы — тотчас же в устье очага вспыхнуло множество ослепительно синих искр. Пьяные мужики со страху протрезвели. Только теперь незнакомец подошел к столу и на ломаном местном языке представился. Карло Пигини — кому доводилось слышать раньше такое имя? Общительный чужеземец оказался вскоре в центре внимания — даже самые недоверчивые и те придвинулись поближе. Прошло немного времени, и вся волость заговорила о фокусах нового гостя. Но поскольку, как известно, свой глаз — алмаз, то народ стал каждый вечер толпой стекаться в корчму — того и гляди, стены снесут. Затаив дыхание, они следили за тем, как Пигини разрезал веревку на кусочки, а затем связывал их так, что ясно были видны узелки; потом он проводил рукой по узелкам, и веревка снова становилась гладкой и цельной. Вскоре стало известно, что Пигини было ведомо и более тонкое волшебство: он натирал мазью больные кости и суставы, и те снова становились гибкими — боль исчезала. После того как чужеземец помог многим женщинам в деревне, его, в знак особого уважения, стали по-свойски величать Карлом Пигинийтом. Пигинийта не интересовали деньги, которые ему предлагали за труды, — ничего другого не оставалось думать, как лишь то, что в кошельке у чужеземца волшебная монета, которая плодила себе подобных.

Жена корчмаря ухаживала за Пигинийтом, как за королем: он спал на простынях, сшитых из тонкого полотна, каждый вечер, до того как он ложился спать, его комнату нагревали жаровней. Иногда Пигинийт долгие часы просиживал с женой корчмаря в комнате, где хранились лекарства. Он сортировал травы, крошил высушенные корни, растворял их в спирте, размельчал листья в порошок и смешивал их бог весть с какими маслами, чтобы получилась мазь. Кто-то, говорили, видел, как

Пигинийт вынул однажды из своего дорожного мешка пахучую мазь и натер ею руки молодой жены корчмаря. И сразу же в деревне пошли разговоры: Пигинийт приворожил чужую жену.

Чем светлее становились дни после рождества, тем чаще сидел Пигинийт с женой корчмаря в ее комнате. Вообще-то следовало ожидать, что ослепительная белизна снега спугнет их, как ночных птиц, чье время охоты истекает с восходом солнца. Люди почему-то ждали, что Пигинийт исчезнет так же неожиданно, как и появился в пору скитания душ. Просто растворится в темноте в последнюю ночь года. В деревне немного посетовали бы — мол, вместе с ним исчезнут и забавные фокусы, но в то же время все избавились бы от тягостного чувства, которое рождала в душе обычных людей сверхъестественная сила Пигинийта.

Однако Пигинийт даже и речи не заводил о том, чтобы уехать. Они часто выходили с женой корчмаря из комнаты, где она хранила лекарства, рядышком, бок о бок, подходили к котлу и кидали в воду пахучие травы. Щека к щеке следили они за облаком пара, которое только им одним понятным знаком возвещало о готовности снадобья. Они не стеснялись вдвоем ходить по деревне и лечить больных. Злые языки говорили, будто чья-либо хворь сущая радость для Пигинийта: есть повод снова прогуляться с молодухой по сугробам.

Корчмарь день ото дня все мрачнел. Зубоскалы не давали покоя его душе. Корчма была самым подходящим местом, где легче всего было изводить беднягу, — ведь известно, что уста пьяного это кладовая непристойных слов. Корчмарь забывал честь и гордость, лебезил перед каждым пьяным стариком и умолял открыть ему секрет, как противостоять колдовству. Может быть, им ведом какой-нибудь корень, который, если его сжечь, отгонит злого духа?

Старики за один раз насмеялись впрок на целый год. Уж им-то не знать было, что простой человек с воздуху ничего не наколдует. Колдуном надо родиться, так же как и помещиком: с младенчества прочные стены вокруг, под потолком люстра, в углах поблескивают кафелем никогда не остывающие печи.

Поскольку корчмарь не был человеком тонкого ума, он принялся донимать Пигинийта, спрашивая с него

деньги за каждую малость. Бедняга просто рехнулся — он требовал, чтобы чужеземец платил ему за скамью, на которой сидит, а за ведро теплой воды взимал плату чуть ли не как за пиво. Тем не менее Пигинийт продолжал мыться. Он был само спокойствие и платил столько, сколько с него спрашивали.

Бескровная война, которая шла в корчме, стала пугать окрестных жителей.

Старики прекратили смеяться над попавшим в передрягу корчмарем. До смеху ли тут, Пигинийт, чего доброго, еще заразу какую на колодец напустит, если терпение у него лопнет. Корчмарю посоветовали оставить Пигинийта в покое, — дескать, пусть не выжимает денег из чужеземца — так и так они потом превратятся в тлен. Корчмарю не у кого было искать опоры, единственное утешение он находил в водке, она каждый вечер точно обухом ударяла его по голове и притупляла мысли.

Никто не знал, была ли уже тогда у корчмаря привычка по ночам садиться на постель и, согнув колени, сжимать голову руками. И бормотал ли он уже тогда часами, ища правды? Быть может, оба в те времена спали глубоким сном. Муж — с тяжелой от пьяного угара головой, жена — с пучочком пахучих трав под подушкой, чтобы привиделись сны.

Когда зацвела черемуха и народ растекся по полям, чтобы вовремя посеять лен, Пигинийт вдруг исчез. Ява представила себе, как молодая жена корчмаря вернулась с поля — в волосах запутались весенние запахи, на плечах белые лепестки — и ужаснулась, найдя дом пустым. Возможно, в то, другое утро, много лет спустя, она поступила точно так же, как Пигинийт, когда внезапно исчезла и легла под ели?!

Еще девчонкой, услышав от жителей деревни истории, ходившие о Пигинийте, Ява в порыве душевного смятения приняла ребяческое решение: Пигинийта надо найти. В ту пору она полагала, что человеку подвластно объять всю правду. Глупый пыл, в который она впала, заставил ее взвесить различные возможности — как будто можно было отправить в дорогу букетик засохших цветов, чтобы они сами опустились в ладонь Пигинийту, уведомили о смерти и спросили, нет ли у нее с ним возможного кровного родства?

Теперь Ява примирилась с сознанием: всегда что-то остается неясным, всегда какие-то концы остаются несведенными, всегда находятся те, что неизбежно застревают на полпути к чему-то.

В ту зиму после смерти матери, когда корчмарь совсем одичал и оброс мохом, а Ява — в сердце боль утраты и смятение — гонялась за двуликой правдой, стремясь выведать ее у жителей деревни, в жизни корчмы произошел неожиданный поворот. Хоть Ява и решила взять вожжи в свои руки и заставить отца очнуться от пьяного угара, она, по сути, ничего не успела сделать до того послеобеденного часа, когда нагруженная узлами и сундуками телега остановилась перед дверью корчмы. Младшая сестра Явиной матери, вековуха, привязав лошадь к коновязи, поднялась на крыльцо.

С тех пор она стала в доме хозяйкой.

Погрязший в своих подлинных или придуманных грехах корчмарь, со слезливо-жалобными глазами пьяницы, одичавший и уставший от презрения деревенских, отупевший от одиночества, — почему бы ему и не уцепиться за человека, пожалевшего его и пришедшего поддержать? Тетка внесла в жизнь семьи новую струю: первым делом она начала упорно развеивать страшные слухи — у жителей деревни не было повода выказывать недоверие к новой хозяйке корчмы. Она была самым близким человеком для Явиной матери, родной сестрой, поэтому ореол уважения, окружавший предыдущую хозяйку, сразу перенесли на нее. Каждому, кто хотел послушать, тетка доверительно рассказывала о давнишнем несчастье их семьи. Будто на мать Явы уже с детства находили странные приступы. Что поделаешь, чем бог ссудил человека на всю жизнь, от того ему не избавиться, тут для смертных никаких лекарств нет, кто в силах снять горб у горбатого?

Слушая разговоры Явиной тетушки, люди отводили глаза: не странно ли и не грустно ли, когда небесному ангелу обламывают крылья? Между прочим тетушка не уставала хвалить тихий и терпеливый нрав корчмаря. В самом деле — поддакивали ей — другой на его месте душу бы вытряхнул из Пигинийта.

Своими хитроумными беседами тетушка сумела рассеять черную злобу деревенских против корчмаря. Ее упорство мало-помалу принесло плоды — злоба превра-

тилась в серое равнодушие, которое отнюдь не было столь сильным чувством, чтобы отвратить от корчмы любителей приложиться к стопке. Возможно, что для хозяйки корчмы тетушка была более подходящей фигурой, чем мать. Интересы корчмаря стали ее интересами: тетушка умела поболтать с подвыпившими мужиками и не стеснялась, поощряемая благосклонным взглядом мужа, затянуть в корчме песню.

После появления толковой тетушки у отца уже не оставалось времени копаться в своих душевных муках. Неплохо начать все заново, если неотложных хлопот полон рот. Уже подпирало съездить на помещичью винокурню, корчма требовала побелки, у скамей расшатались ножки — надо было закрепить шипы. В щербатом полу следовало приподнять камни и выровнять их. Своей доли забот ждали и поля и скотина.

Тетушка подходила отцу. Ява, сравнивая тетушку с покойной матушкой, задним числом многое поняла. Во времена матери мужики никогда слишком долго не засиживались в корчме. Яве вспомнилась одна давняя ночь и слова, раздавшиеся из темноты — как будто спорили духи. Первый воспевал трезвость, второй — забвение. Этот разговор не мог присниться ей — почему отец торжествующе смеялся потом, когда мать просила у него спирта, чтобы настоять на нем ту или иную траву. Моя правда начинает торжествовать над твоей, имел он обыкновение говорить ей. Всю жизнь они тянули ее, эту правду, как веревку, — один с одного, другой с другого конца, — пока она не порвалась. И хотя в период семейного согласия каждый старался приспособить свою правду к правде другого, убрать тугие узлы было невозможно. Даже у Пигинийта не хватило бы на это ловкости рук.

На материнском сундуке с лекарствами скопилась пыль. Женщины не приходили больше в корчму, чтобы посидеть в боковушке и, в надежде на облегчение, посетовать на беды. Деревенские женщины говорили о Явиной тетушке коротко: чтоб ей пусто было.

В корчме жизнь шла в гору, мужики, словно добрые домовые, несли туда деньги. Счеты с имением были улажены. Никаких разговоров о Юрьевом дне больше не поднималось.

К тому времени, когда Ява вышла замуж, в жилой половине корчмы копошились уже новые дети. Сводный

брат и сводная сестра являлись для Явы одновременно племянником и племянницей.

Один круг завершился. Теперь эти, почти один за другим появившиеся на свет, дети были примерно в том возрасте, в каком была Ява, когда в корчме появилась новая хозяйка.

Глубоко ушедшая в воспоминания Ява запрокидывает голову и открывает рот, чтобы смочить дождиком язык. Закрыв глаза, она несколько мгновений ждет, покамест до нее доходит, что поток с небес приостановился. В самом деле, листва деревьев не колышется, дождь не стучит. Ява вычерпывает набравшуюся на дне корыта воду, она делает это не спеша, чтобы вновь сосредоточить мысли на будничных делах. Она не уверена, стоит ли продолжать путь. Корчма не в двух шагах, раз-два туда-сюда не сбегаешь. Чтобы добраться до дома своего детства, надо плыть по воде и шагать по дороге. А если добираться до него сквозь воспоминания, то путь окажется и вовсе длинным и извилистым.

Не светлеет ли там, меж верхушек деревьев, краешек неба? Неужто ветру и впрямь удалось разорвать толщу дождевых туч?

А в общем, что толку, если завтра вдруг выглянет солнце? На урожай надеяться уже нечего, но у Мирт жизнь полегчала бы. Может быть, вода отступит от приречного луга? Вдруг можно будет пройти по кочкам? Если б удалось набить чердак сеном, если бы посчастливилось еще раз случить Мирт и к весне иметь теленка! Какие радужные мысли! Но и Мирт уже старая. Алон, когда был здесь год назад, советовал продать Мирт на мясо. Мыслимо ли это! Ява рьяно спорила с братом, называла его бессердечным. Трезвые соображения Алона во многом омрачили радость встречи, как будто Алон не знал, что Ява, выходя за Якоба, получила от отца теленка в приданое. Теленку был едва месяц, когда они отправились в Россу. Маленькое животное насмерть перепугалось, очутившись в большом и широком мире, наполненном жужжанием насекомых; теленок вздрагивал и останавливался, расставив ноги, когда птице случалось с шумом взлететь с придорожного куста, и Ява вся взмокла, пока наконец не дотащилась с упирающимся теленком до места своего будущего дома.

Мирт своим молоком вскормила всех детей Явы.

Если дожди в самом деле прекратятся и вода начнет убывать, Ява примется косить. Стоило ей представить себя на покосе, как руки сразу ощутили приятный зуд. Нет для человека лучшей работы на свете, чем косьба. Ява почти воочию увидела, как она достает из-под стрехи косу и точилом дочиста убирает с лезвия красную ржавчину. Выправленное лезвие сверкает на солнце. Ява берет с собой на сенокос Эву, у девочки есть сноровка, и там, где места поровней, она вполне справится с косьбой. Ребятишки поменьше останутся дома на попечении Коби. Стеречь Мирт нет смысла, она сама знает, где ей пастись и когда возвращаться домой.

Светлое пятно на небе пробудило в душе Явы добрые надежды.

Ява уперлась веслом в дно. Лодка выскользнула из-под ольхи. На ровном месте ощущался легкий ветерок. Плотный от сырости воздух колебался лишь над самой поверхностью воды. Откуда было взяться той силе, чтобы поднять и отогнать прочь разбухшие от дождя тучи, много недель волочившиеся чуть ли не по самой земле? Какой бешеный ветер нужен, чтобы заставить взлететь тяжелые корабли без парусов?

Старые люди пророчили конец света. Кое-кто думал, что виной всем бедам поредевшие после вырубки леса. Без конца сплавляют бревна, без конца строят в городах дома. Что хорошего можно ждать, если человек в гордыне своей возводит высокие дома. Бог не простит своим слугам зазнайства. Приют человека пусть будет низким и убогим, как кочка на земле. Тихо да незаметно надо жить на этом свете, чтобы не бросаться в глаза всевышнему.

Яве не хотелось, чтобы мир сгинул, пока она живет. Она еще не устала от жизни, хотя ее нередко одолевали порывы смятения. Очевидно, потому чаша весов и склонилась в пользу Якоба. У этого парня, похоже, были и усердие и предприимчивость, он не принадлежал к числу тех, кто легко пугается и так и остается на всю жизнь испуганным. Счастье надо искать, оно само не приходит, говорил Якоб. Теплая дрожь пробегала по телу Явы — искатель счастья хотел ее в жены, Якоб считал Яву счастливой находкой.

Но счастье до сих пор считало Якоба своим пасынком и ничего не желало знать о нем.

Хмельной от шума и гомона ярмарок, Якоб надеялся именно там набить серебром свой кошелек. Уже на вторую осень после женитьбы Якобу не повезло. Не посоветовавшись с женой, он купил в соседней деревне на деньги, скопленные для уплаты аренды, двух лошадей. Не умея заговаривать зубы, как это делали барышники, промышляющие лошадьми, Якоб вернулся с ярмарки, что проходила в Михайлов день, почти пустым: из денег, отложенных на уплату аренды, у него не хватало десяти рублей, о прибыли и говорить не приходилось. Якоб ругался на чем свет стоит и грозился накостылять мужикам из соседней деревни, которые вместо рабочих лошадей всучили ему кляч. Хорошо еще, что в нужный момент объявился Алон. Он купил первого теленка, родившегося у Мирт, и таким образом долг за аренду был уплачен.

Несмотря на неудачу, Якоб упорно продолжал искать счастья. Отправившись однажды с возом картофеля на ярмарку, он опоздал туда и вернулся назад не солоно хлебавши, промокший до нитки, голодный, с ввалившимися щеками. Ява покормила мужа и разложила на полу избы отсыревший картофель, чтобы он не погнил. Позже Ява стала прятать от Якоба кадушки с маслом и мешки с шерстью. Когда она сама продавала товар купцам, в доме накапливались денежки. А Якоб, какими бы припасами ни нагружал воз, почти всегда возвращался назад с пустыми карманами. Однажды его обворовали, пока он спал, — словно грабители на больших дорогах подстерегали именно Якоба! А еще как-то он будто бы встретил родственников, и те христом-богом умоляли его помочь им. Счастье не сопутствует тем, у кого черствое сердце, оправдывался перед женой Якоб. На самом же деле он заезжал в корчму. Ява догадывалась, почему Якоб, не жалея лошади, ездил на дальние ярмарки, утверждая, что там можно подороже сбыть товар: дальняя дорога — больше трактиров. Животному надо отдохнуть, да и человек хочет попить-поесть; так проходило время и уплывали копейки.

Умиленная Ява возлелеяла добрые надежды, когда Мирт принесла первого теленка. Однако им не суждено было сбыться, теленка пришлось продать Алону. А Яве хотелось вырастить каждого теленка Мирт, чтобы стать хозяйкой большого молочного стада. Ява мысленно ви-

дела ряды кадушек, стоящих в центре каждой ярмарки, видела людей, которые расталкивали друг друга, чтобы купить жирное масло Мирт и ее потомков. Мирт не обманула свою хозяйку. Среди телят, которых она произвела на свет, оказался только один бычок. Но злая судьба мерилась с Явой силами и постепенно одерживала верх. Стоило теленку превратиться в тучную телку, как нужда снова заставляла продать ее. Ява плакала, как ребенок. Жаль было отдавать скотину, но еще больше Яву мучил стыд перед Мирт. Мирт, умное животное, понимала боль и беды этого мира. Когда телку уводили из хлева, Мирт отворачивалась — она снова оставалась в одиночестве.

Каждую осень Ява брала с собой Мирт и шла к корчме. Хозяева корчмы предоставляли ей для случки своего быка, и это было огромной подмогой. Остальные жители деревни расплачивались за случку дровами. За корчмой тянулись длинные поленницы, одно звенящее полено тесно прилегало к другому. Где бы иначе Якобу взять нужное количество саженей? Хотя, правда, в последние несколько зим он пытался делать деньги именно с помощью леса.

Лодка ткнулась носом в берег. Ява была в нерешительности — нога не поднималась, чтобы ступить в грязь. Еще раз поддавшись чувству смятения, Ява опять положила весло поперек корыта и села. Вокруг ни души, Яве не перед кем было стыдиться своей растерянности. Быть может, сотню лет назад там, где вода граничила с землей, сидела такая же, как она, не имевшая цели букашка. Быть может, через сотню лет кто-то где-то снова будет сидеть точно так же, задыхаясь в тисках собственной нерешительности. Ява раскинула руки. В обществе себе подобных — хотя первая уже умерла, а вторая еще не появилась на свет — ей стало немного легче.

Поначалу Якоб не посвящал жену в свою тайну. Уезжая из дома, он каждый раз с важным видом обещал Яве, — мол, теперь все невзгоды останутся позади. У него, у Якоба, голова варит, уж он-то втащит в гору телегу жизни. Исчезновения Якоба совпадали с изменением погоды. Едва начинало таять, как Якоб подпоясывался, брал из сарая сани и испарялся в неизвестном направлении. Стоя в дверях, Ява следила за ним — сердце грызла забота, словно она провожала мужа на войну. Она

старалась угадать, куда повернет Якоб там, за елями? Вода смывала отпечатки ног Якоба, шагающего по слякоти. Было бессмысленно бежать через поле, чтобы поглядеть ему вслед.

Несколько раз Якоб возвращался домой улыбающимся и протягивал Яве деньги. И тогда Ява, сбитая с толку уверенностью мужа, начинала сомневаться — уж не подводит ли ее память! Неужто они и впрямь жили до сих пор в нищете? А что, если неутомимый искатель счастья и раньше возвращался домой — в кармане деньги за аренду, а в душе — покой? И так изо дня в день, из года в год. Может, Ява просто не сумела разглядеть это?

Однажды вечером на Якоба напал стих — ему захотелось излить душу. Едва дождавшись, когда с той стороны, где спали дети, донеслось сладкое посапывание, он доверительно обнял Яву. В кровати было жарко. Рука Якоба была потной. Но Яве казалось, будто холодное насекомое совершает круги по ее шее. Круги все сжимались и сжимались, пока ледяная игла не впилась ей в шейную артерию. Болезненная точка пульсировала, дробилась на сотни новых насекомых, которые с бешеной скоростью сновали у Явы внутри и плели сеть из ледяных нитей.

Ява ощущала, что ее тело покрылось изнутри изморозью. Она не произнесла ни единого слова. Никогда раньше она бы не поверила, что может всерьез бояться своего мужа. Якоб, который думал, что держит за хвост синюю птицу, вскоре тихо захрапел. Ява подавила дрожь, не легко было отделаться от ощущения холода.

Пожалуй, только роды утомили Яву так же, как в эту ночь слова Якоба.

Яве захотелось, чтобы никогда, ни в одну из зим, ни разу, не было ни одной оттепели. Но природа не считается с желаниями людей, и Ява поняла, сколь бесплодно было ее желание. Тогда в ней вспыхнул гнев. Чудо еще, что стенки заиндевевших сосудов сумели противостоять этому кипению крови. Ява подумала, что тому неведомому ей столяру, наверно, не спится от ее мыслей. Кто, как не он, мог толкнуть Якоба на такой путь!

Вор, жена вора, дети вора! Комната была полна людей, отмеченных злым роком. С потолка в упор на Яву глядели черные глаза ночи.

Мать Явы даже цветка ромашки не сорвала на чужом дворе.

Яве была знакома та дубовая роща, куда Якоб ходил воровать. До нее верных двенадцать верст. Выходит, с наступлением темноты Якоб отправлялся туда и тщательно обшаривал рощу. Убедившись, что ни одной души поблизости нет, он доставал из-под полы пилу. Жертва упорно сопротивлялась, сердцевина у дуба как из железа. Зубья пилы со скрежетом вгрызались в ствол. Потом приходилось пускать в ход топор, обрубать сучья, а затем разрезать дерево на ровные чурбаки. Вор в поте лица зарабатывал свой хлеб. Если б возле рощи не протекала река, преступление вскоре обнаружили бы. А тут вода заглатывала ветки, уносила их вниз по течению или увлекала на дно русла. Для этого Якоб прорубил во льду прорубь. Покончив с деревом, он обкладывал пень мохом и камнями.

Еще до того, как начинало светать, он отправлялся в обратный путь; сани скользили по растаявшему снегу, оставляя в грязи глубокие борозды от полозьев, до тех пор пока сгорбленная и задыхающаяся фигура не останавливалась у задней двери дома столяра.

Может быть, Якоб искал у своей жены одобрения? А может, он ожидал сочувствия или нежности?

Ява лежала рядом со своим мужем словно безжизненный чурбан, словно предательски срубленное под покровом ночи и оторванное от корней дерево, которому отсекли ветки.

Как-то Якоб лишь наполовину спилил дерево и затолкал в распил мох. Подвела погода. Внезапный мороз образовал на земле корку и запорошил ее свежевыпавшим снегом. Якобу пришлось взвалить на спину пустые сани. Петляя по дубовой роще, он в конце концов по дну канавы доплелся домой. Тяжелые сапоги то и дело проваливались сквозь ледяную корку.

В эту ночь, узнав обо всем, Ява с тревогой думала о ребенке, которого носила под грудью.

Ведь Нестор, когда появился на свет, тоже запросил есть.

Однажды, ближе к весне, когда Якоб в очередной раз отправился ночью за добычей, его догнали пьяные батраки из имения. Хорошо еще, что наклюкавшиеся до положения риз мужики поленились прихватить Якоба с со-

бой — тогда бы ему не избежать суда, а тут позор дальше домашних стен не пошел. Батраки захватили сани вместе с дубовыми чурбаками, — возможно, они знали, где можно было сбыть этот товар за несколько штофов водки. Но Якобу здорово досталось. Он не помнил даже, долго ли провалялся на земле, избитый до полусмерти. В конце концов Якоб притащился домой. Проболев несколько недель, он оправился лишь к началу весенних работ.

Ява испытала тогда облегчение, что все обошлось так. В душе она благодарила бога, она верила, что взбучка пойдет Якобу на пользу. Больше он на чужое добро не позарится. Яве так хотелось привязать Якоба к дому. Малое счастье можно обрести и на своем клочке земли, если с любовью и заботой обрабатывать его и разумно сеять в землю зерна. Ведь не каждый год засуха. Да и скотины можно держать больше, если собирать все стебли с болотных кочек и приносить домой.

Но после засушливого лета природа принялась донимать здешних людей дождями. На упованиях Явы был поставлен крест. Канавы затопило водой, ручьи шумели, подобно порожистым рекам, пока вода не вышла из берегов и, захватив необозримые пространства, не начала лениво-успокоенно колыхаться, потихоньку, день за днем, расширяя свои границы. Забота придавила людей к земле. Кто проклинал землю и небо, кто поговаривал о конце света, один только Якоб оставался ко всему безразличен. Он никого не проклинал, не жаловался, не бормотал ругательств.

К своему удивлению, Ява заметила, что Якобу как будто пришлось по душе наводнение. Оказавшись в плену такого наблюдения, Ява уже не могла освободиться от него. По ночам, когда она просыпалась от журчания воды, затекавшей в комнату, и, откинув в сторону влажные простыни, садилась на постель, ей вечно слышалось монотонное и спокойное посапывание Якоба. Безразличие Якоба раздражало Яву: временами ей хотелось кричать, призывать на помощь дьявола и ад или небо и ангелов, и только присутствие детей сдерживало ее. Для Якоба будущего словно не существовало. Он спал много — откуда только бралась у него эта бесконечная сонливость? Он ел все, что Ява умудрялась поставить перед

ним, и кончиками пальцев обильно посыпал каждую ложку похлебки солью.

Кадушка с солью быстро таяла. Вскоре такое неумеренное потребление соли Якобом стало вызывать у Явы тошноту. За столом она то и дело вынуждена была отводить взгляд.

Не раз по вечерам, когда дети уже спали, Ява пыталась поговорить с Якобом о разных житейских делах и заботах. Но мужа не удавалось расшевелить. Словно и не было у него детей, жены и Россы. Словно был он не взрослым мужчиной, а малым дитятей в люльке, который не задумывается о том, хватит ли у Мирт сил, чтобы и на следующий день доплестись через глубокую воду домой и принести в вымени кружку молока.

Ява не могла смириться с тем, что Якоб больше не хочет искать счастья. Сама она не смела поддаваться несчастьям. На кого она оставит своих четверых детей?

После того как Ява несколько дней назад побывала в корчме и вернулась оттуда с благоухающей буханкой хлеба, в избе вдруг стало уютно и домовито. Ява песком добела отскоблила стол, вымытое дерево запахло наперегонки с хлебом.

Дети уселись на лавку в ряд, они горящими глазами следили за ножом, рукой Явы отрезавшим от буханки четыре тоненьких ломтя. Коби, наследнику хутора Россы, его надежде и будущему, досталась горбушка. Мальчишка держал ее обеими ладонями, чтобы не уронить ни крошки. Сабина грызла хлеб, как мышка, глаза ее от удовольствия слезились. Эва сдерживала себя и не торопилась хватать предназначенный ей кусок.

Может быть, ее испугал Якоб, посыпавший свой ломоть белым слоем и разом отправивший его за щеку? Якоб жевал и глядел в окно, глаза у него были светлые и пустые, как у старика.

Ява понимала, что голод и жадность родные братья, и тем не менее ей было отвратительно видеть, как рука мужа поползла по белому столу к хлебу.

Ява поспешила поставить остаток хлеба наверх, на полку, чтобы уберечь домашних от искушения.

В последующие дни на Россе ели серую, испеченную дома лепешку, в которую Ява тайком подмешала мох. Детишки украдкой поглядывали на потолок, но держали себя в узде и не клянчили ржаного хлеба. Что ж, навер-

ное, они находили поддержку в пословице — кто терпит, тот долго живет.

Как-то под вечер, когда дети, поджидая Мирт, как всегда, стояли у колодца и дождь хлестал им макушки, Ява, не подозревая худого, вошла в комнату. Она остановилась у двери и выжала из волос воду, которая потекла по рукам и закапала с локтей вниз. Смахнув воду с бровей и ресниц, Ява заметила в темном углу Якоба. Он сидел на каменном выступе перед потухшим очагом и преспокойно уплетал хлеб. Остаток буханки он держал в левой руке, а правой, прежде чем надкусить, обильно посыпал его солью, так что белый слой прямо-таки скрипел под зубами.

В первое мгновение у Явы возникло ощущение, будто она провалилась в болотную яму. Перед глазами замелькали светлые пузырьки. Хватая ртом воздух, как-то странно размахивая руками, Ява вновь обрела почву под ногами. Только в ушах гудело. Сквозь это ровное гудение явственно доносился хруст белых крупинок.

Ява схватила скамейку и ударила Якоба.

Перед ней сверкнули зубы Якоба с вклинившимися между ними кусочками неразжеванного хлеба. Якоб медленно встал. Ява размахнулась и ударила еще раз.

Секундой позже Ява обнаружила себя во дворе. Дети мокли на дожде, и Мирт как раз вернулась домой. Ступив с кромки воды в грязь, корова тихо замычала. Это не было жалобой обессиленного животного, скорее Мирт хотела ободрить понурившихся детей.

Ява знала, что если б Мирт однажды вдруг рухнула у колодца, то все равно попыталась бы дать знак: силы мои еще не иссякли.

При этой мысли Яве, все еще продолжающей сидеть в корыте, стало стыдно. Она закинула голову и глянула на небосвод, словно надеясь найти там поддержку и преодолеть свое смятение. Светлые пятна вверху расползались вширь, края разорванных туч напоминали растопыренные пальцы.

Этот небесный знак — был ли в нем тайный смысл?

День клонился к вечеру. Настал последний срок принять решение.

Ява не сомневалась: пойди она сейчас за помощью в корчму, ее не оставят без благоухающей буханки хлеба.

Тетка завернула бы дар в платок и проводила ее до дверей. Но прежде чем покинуть корчму, Яве пришлось бы выдержать вопросительные взгляды ее обитателей. Четыре пары глаз вопрошали бы: а Якоб? У тебя что — нет больше мужчины в доме?

У Явы не хватило бы сил униженно съежиться на кончике скамьи и сквозь слезы пожаловаться на судьбу.

## 2

Кровь больше не грела Алона, кости ломило. Проснувшись утром еще до рассвета, он почувствовал, что дрожит с головы до ног, словно на нем не шуба, а так себе, тряпье. Он попробовал повернуться на другой бок, но в мышцах словно застряли острые ножи. Переместившись к краю телеги и опершись спиной о перекладину, он расставил ноги, чтобы, слезая, смягчить толчок. Тем не менее, когда сапоги коснулись земли, сотни иголок, казалось, вонзились сквозь подметки в пятки. Скрюченными пальцами Алон уцепился за край телеги, чтобы не упасть от боли. Овладев собой, он стал разминать ноги. По очереди поднимал их, обеими руками попеременно подтягивал то одно, то другое колено к животу. Затем попробовал присесть на корточки, стиснув зубы, чтобы не стонать. Если бы Алон ежеутренне не мурыжил так свои суставы, ревматизм давно бы одолел его. Лежи тогда в земле, как чурбан, и превращайся постепенно в тлен.

Человек не должен поддаваться хвори, Алон никому не признавался, что порой силы совсем покидали его. Он всегда старался утром вставать пораньше парней — парням-то что, они ходили легко, как кошки, — зачем им знать, что Алон давно уже уступает им в гибкости и силе.

Парням нельзя было показывать слабость, напротив, им надо было дать почувствовать, что он силен и богат, — попробуй-ка иначе держать в узде этих быков! Только и знай, что следи за порядком — чтоб было как на воинской службе: слушаю, будет сделано, так точно.

Борясь с дрожью и ломотой в костях — перед глазами огненные круги, — Алон не сразу заметил, что землю покрыл иней. Солнце как раз слегка коснулось бугров и кочек в лесу — у озирающегося по сторонам Алона вдруг учащенно забилось сердце. Неужели он теряет зрение? В зеленой лесной дали рдели красные пятна, на кончиках покачивающихся стеблей крупинки инея налились красным светом.

Алон вытащил из кармана полушубка варежки и сунул в них мерзнущие руки. Парни еще не просыпались, и он мог позволить себе понежиться.

В последнее время по утрам Алон ощущал, будто голова у него тоже стынет. Когда ему удавалось разогреть тело, то и в голове все как будто становилось на свои места. В мозгу, как часы, когда подтягивают вверх гирьки, громко начинала стучать мысль, бывшая источником его главной заботы. Он ведь не затем отмахал добрых триста верст, чтобы здесь, в лесу под Стрельной, прислушиваться к тому, как ноет его тело.

Обледеневшие стебли хрустели под тяжелыми сапогами Алона. Поскольку он стал насквозь хилым, то и страхи его были страхами человека хилого — хоть принимайся самого себя щипать. Кто его знает почему, но Алону померещилось, будто скот, отдыхающий под деревьями, околел и пар от их туловищ белой коркой застыл на спинах.

Алон зашагал бодрее, когда привязанные вечером к деревьям рогатые по одной поднялись и начали шумно отдуваться — из их влажных ноздрей в воздух поднялись белые облачка и, достигнув нижних веток елей, превратились в туман. Алон шел в середине стада и легонько похлопывал то одну, то другую скотину по шее. Шлепки падающих коровьих лепешек и шум испускаемой мочи звучали в ушах Алона приятной музыкой. Холод не успел сковать животных.

Алон спрятал варежки в карман, хлопнул ладонью об ладонь так, что казалось, из костяшек пальцев, точно из трута, разлетаются искры, и гикнул:

— Ого-гоо! У-ууу!

Алону всегда хотелось купить себе в Петербурге маленькую трубу, чтобы по утрам играть подъем. Но всякий раз, передав скот, он забывал об этом своем желании до следующего перегона.

Всю жизнь Алон больше всего любил начало дня, даже теперь, несмотря на ломоту в костях и одеревенелые суставы. По утрам ему всегда хотелось кричать и гикать, побуждая тем самым людей к деятельности. Он полагал, что если жизнь вообще как-то движется вперед, то лишь благодаря бодрящим утренним часам.

Когда сладко позевывающие и потягивающиеся парни явились на площадку и принялись отвязывать коров, Алон тоже не остался в стороне. Взяв хворостину, он заставлял животных двигаться. Пусть разогреются и вдохнут в себя искру жизни, ни одно животное не должно околеть до прибытия на место. И без того рогатый урвал для себя в пути кусок. Перебираясь через овраг, дряхлая больная корова сломала себе ноги. Алон приказал парням гнать остальных пятьдесят три животных на холм, а сам остался, чтобы прикончить корову. Именно тут Алон впервые почувствовал, что к нему подкралась старость. Рука никак не хотела подняться, чтобы оборвать жизнь животного. А ведь ему ох сколько раз приходилось совершать эту работу. При каждом перегоне скота старый черт, словно орел-стервятник, несся вслед за стадом и подстерегал добычу. Вечно какая-нибудь скотина либо околевала, либо получала тяжелое увечье, так что кровавой работы было не избежать. Рука у Алона была ловкая, он умел ударить дубинкой точно между рогов, и тотчас же глаза у оглушенного животного закатывались, и оно в беспамятстве падало на землю. Пальцы Алона были еще достаточно чувствительны, он мог нащупать на шее пульсирующую артерию. С годами острый нож словно прирос к поясу Алона. Шматы свежего мяса, как всегда, сваливали на одну из телег. Что ж, за день на их пути попадалось немало трактиров. Лишнее мясо превращали в деньги. Ночью Алону приходилось спать в той же телеге. И хоть ты клади не клади свежее сено, а запах крови все равно бил в ноздри.

В этом году Алон вынужден был скупать на ярмарках довольно-таки худосочный скот. Крестьяне словно с ума посходили — решили увеличивать дойное стадо. На продажу приводили лишь тощих бычков да старых изможенных коров. Эти доходяги едва передвигали ноги, их животы обвисли от трухи и мякины, а спины прогнулись. Цена на этих захудалых, правда, была ерундовой,

но и в Петербурге за таких пригоршни золота не получишь.

Дюжину лет назад, когда на родине у Алона все лето лил дождь и вода угрожала смыть избы, картина на ярмарке была иной. В сентябре, меся жидкую грязь, мужики привели свою лучшую скотину на рынок, цены упали, и Алон двинулся с полуторастаголовым стадом в столицу. Проворные молодые коровы, подобно жеребятам, норовили бежать рысью, им не было дела ни до плачущих хозяек, едва успевших снять руку с шеи любимого животного, ни до хозяев, на этот раз не расположенных спрыснуть сделку, хотя Алон и выложил им на ладонь серебряные рубли. Годы неурожая создали вокруг Алона ореол благодетеля. Получалось, что его деньги помогали людям и впредь удерживать за собой хутор. Без таких, как Алон, многие лишились бы крыши над головой, и пришлось бы им тогда взять в руки посох нищего.

Так уж устроен мир — кому счастье, а кому горе.

Теперь настали иные времена. Крестьяне полны гордости и высокомерия, выторговывай у них каждую копейку, чтобы повыгодней купить скотину. И неподатливыми стали мужики. У кого на конце веревки бычок чуть покрепче, начинает так нахваливать теленка, будто он из чистого золота. Иногда Алон рассуждал сам с собой: а что, если заняться льном? Отправился бы с возами в Ригу — отличный мертвый товар, не надо бояться эпидемий, не надо беспокоиться, как за живую скотину. Так ведь нет — он точно пуповиной привязан к Петербургу.

Стадо бойко шагало меж деревьев. Иной из бычков, разогрев мышцы, норовил вскочить корове на спину. Нечего им зря расходовать силы. Парни знали, что делать: дубинки так и свистели в воздухе.

Но если подумать — как запретить им последнее удовольствие?

Алону и самому было странно, что он сочувствовал животным. Быть может, уже завтра утром они большой гурьбой войдут в ворота бойни. В какой-то миг, когда запах крови ударит им в нос, они начнут упираться и пятиться. Неужто они и впрямь соображают, куда их пригнали из такого далека? Поздно, поздно. Бедные друзья, так уж устроена жизнь на земле, что человек любит есть мясо. И предпочитает — молодое и свежее.

Потому-то и идет вечная торговля, когда в стаде Алона оказывается много старых коров. Ерем начинает злиться так, словно его лично оскорбили. Убирайся, мужик, грохочет он, словно со дна бочки, и трясет своей шикарной палкой из китового хребта. Не пройди Алон в мальчишеские годы выучки под началом управляющего, кто знает, может, он со страху тут же бы дал от ворот поворот и умотал бы со стадом ко всем чертям. Но пути назад нет. За это время на дороге намело сугробы. Ты обязан правильно, как провидец, все рассчитать, нельзя являться слишком рано, но нельзя и опаздывать.

Однажды — это было в Пулкове — все стадо полегло под снегом, грянул такой сильный мороз, что животных пришлось после вырубать из-подо льда топорами. Это произошло еще до того, как Фома стал в этих краях мясным королем. Что ж, то было стадо из более теплых мест — серое степное стадо. Вообще Алон заметил, что чем светлее шерсть у скотины, тем хуже она противостоит испытаниям. Он всегда старался выбрать на ярмарках животных более темной масти, хотя по весу они уступали всяким там датским и симментальским. Лучше действовать наверняка, нежели вдруг потерпеть убытки и возиться в пути с околевшими животными. Тем более что потери так и так неизбежны. Даже эта темношерстная крепкая скотина и та порой может нежданно-негаданно рухнуть, хотя и привыкла пробираться меж болотных ямин и в зимнюю пору довольствоваться одной соломой.

Иное дело белый скот. Финны, наверное, сейчас тоже торчат где-нибудь в лесу, под Лисьим Носом, шерсть на спинах их выносливых коров толстая, как у волка. Повернутся своими здоровенными задами против пронизывающего северного ветра, и ничего им не делается.

Темное стадо Алона брело лесом, сухие ветки трещали под их ногами. Животные потяжелее копытами проламывали корку мерзлой земли. Грязные следы, которые они оставляли на инее, согревали сердце Алона. Может быть, он напрасно беспокоился? Может, ветер уймется и повернет в другую сторону. Чем такая стужа, пусть уж лучше накрапывает дождь.

Животные бодро зашагали сквозь чащу, словно и в самом деле уже отправились в путь. Ведь не только

человеку надоедает однообразие. Четвертый день стоят они тут лагерем. Все повторяется, как каждое утро. Скоро парни остановят стадо. Животных снова привяжут к деревьям, начнется утренняя дойка. Парни так и не постигли этого искусства. Тянут соски так, что глядеть больно. Наставляй их не наставляй — толку нет, едва отвернешься, как они снова принимаются с ужасной силой дергать соски, оттягивают коровье вымя чуть ли не до земли. Алон не раз думал, что неплохо бы взять в обоз умелую и расторопную бабу. Так ведь тоже не легко бы пришлось, в длинной дороге с ней нахлебаешься горя. Парням-то что: если у коровы воспалится вымя, они знают одно: стадо убойное, и точка. Нет еще у них соображения, чтобы уважать достоинство живой скотины. Вот Еремины парни — это люди другого сорта, уж они так тщательно рассмотрят каждую животину, что тебе и спорить не приходится. Известное дело: скорее у тебя из кармана вытянут рубль, нежели накинут копейку сверх договоренного. У них ловкие пальцы, острые глаза и гладкая, без сучка и задоринки, речь. Они говорят быстро-быстро, будто ласточка с шумом вылетает из своего гнезда. Все Ерем Агафонович да Ерем Агафонович! У Алона, даже если он мысленно старался повторить полное имя Ерема, язык узлом скручивался. Ну, а если вслух, то тут каждый слог в отчестве Ерема, как гвоздь, застревает в горле — попробуй-ка собери их воедино. Сам Ерем тоже златоуст. Он так длинно и смачно ругается, что получается вроде как духовая музыка, прямо-таки дрожь пробирает. Ерем даже эстонский кое-как выучил, по-фински калякает и по-ижорски шпарит. Говорят, будто новый владелец бойни — из англичан и будто бы, разговаривая с ним, Ерем сперва набьет рот горячей картошкой и уж тогда объяснит, что надо. В прошлый раз Еремовы подручные рассказали Алону, — ему тоже не приходится на себя обижаться, уж царев-то язык он, во всяком случае, усвоил, — будто англичанин поверил, что у российских коров всего одна почка. Ерем и его парни ужасно любят этот суп из почек, рассольником называется. У них там, в конце бойни, маленькая каморка есть, и там на огне почти всегда стоит котел. Из дверей разит мочой, а суп получается — язык проглотишь. В него нарезают соленых огурцов — говорят, будто бы от голого мяса к сердцу тошнота поднимается.

И сырую печенку тоже едят, — очевидно, потому они такие крепкие. На лицах румянец, и мороза не боятся. Алон еще не видел, чтоб на ком-то из них были тужурки. Он же чувствует себя довольно паршиво, когда, передавая скот, стоит на дворе бойни в своем полушубке. И что поделаешь, если желудок Алона не принимает сырой печенки. Глядеть и то противно, когда они в своей каморке нарезают кровавые ломти, густо посыпают их перцем и солью и лопают. Головки лука тоже припасены у каждого, грызут их, словно яблоки, и даже слезы из глаз не текут. Неудивительно, что они пьют водку штофами, обильная еда не дает водке взять верх.

Ерем — человек богатый, однако работу не бросает. Ведь вот Алон лет на пятнадцать моложе его, а силы уже на исходе. Теперешний перегон да будет последним. Только бы как следует пристроить это смешанное стадо, тогда можно по русскому обычаю осенить себя крестным знамением и в благодарность отбить перед иконой парочку земных поклонов.

Парни налили полный штоф теплого парного молока, у Алона кружка в кармане, и он подходит поближе. Первым делом он ополаскивает молоком рот, чтобы избавиться от дурного вкуса, появившегося за ночь. Парни приносят с телеги каравай хлеба и разрезают его на ломти. Так, стоя, они завтракают.

Но что за удовольствие от еды, если на сердце нет покоя. Животные тихо мычат, — верно, голод крутит им кишки. Пару охапок сена, припасенных на другой телеге, надо разделить между ними так, чтобы каждому досталась горстка. Заморозки, разумеется, отойдут, но, не дав скотине сухого корма, нельзя пускать ее пастись на мокрую траву. У доброй половины к вечеру вздуются животы, и тогда придется прокалывать брюхо. Тут уж Ерем изрядно снизит цену, чего стоит шкура, если в самом лучшем месте, на боку, дырка.

Поди знай, каков он, этот англичанин, даст ли он Ерему и дальше наживаться на бычьей желчи? У Ерема рот на замке, когда разговор заходит о таких делах. Башковитый мужик, свой кошелек на свет не выволакивает. Уже тридцать два года Алон пригоняет скот на петербургскую бойню, и все это время Ерем, как железный гвоздь, сидит на своем месте. Не мудрено, что за эти годы то-се коснулось ушей Алона. Он, например,

знает, что половина петербургских аптекарей до сих пор приготовляет свои лекарства из бычьей желчи, купленной у Ерема. Город большой, больных много, денежки знай себе текут и текут. А вдруг англичанин стал притеснять Ерема? Прошлой весной парни обронили, будто Ерему не по душе новый порядок, заведенный на бойне. Англичанин, говорят, приказал накачивать воздух в грудную клетку животным, якобы тогда конец наступает быстро и безболезненно.

Ядрена вошь! Мир с каждым днем становится все безумнее! Поди знай, что еще напридумывают?

Алону словно клещами сдавило грудь. И надо же было ему, старому хрычу, вмешаться, когда Коби затеял драку с другими парнями! Сам он тоже получил такого тумака под вздох, что свалился и долго лежал, глотая воздух. До сих пор дает себя знать.

Нет, наступил последний срок отойти от этих дел, приобрести маленький домишко и зажить спокойной жизнью. Последний раз стоит он со своим стадом в этом лесу под Стрельной. Клокочущий мир утомил Алона, это вечное барахтанье, вечное расталкивание друг друга локтями вытянули из него все жилы. Как безумцы, не умеют жить разумно. Чем плохо жилось им там, в большом городе, освещенном фонарями, что нынче весной, на берегу Екатерининского канала, они подложили царю бомбу! Бабы, работавшие в холодильнях, ревели в голос, слезы текли в чаны с кровью, — дескать, как мы будем дальше жить, царь-батюшка убит.

Царь мог бы жить, ему было всего шестьдесят три, когда его кончили.

Наследнику престола пришлось-таки немало ждать, пока наступит его черед. У него у самого старшему сыну уже тринадцать, интересно, повезет ли мальчишке с властью, случись что — и его папашу пристукнут. Они там, в царском дворце, на хороших харчах да на привольной жизни быстро плодятся, их там целое скопище, этих великих князей, бездельников. Поди, каждый втайне надеется, что старшему из них подложат бомбу и тогда остальные продвинутся вперед, к трону поближе. Да, всюду одна толкотня, ступить негде.

Заморозки отступают, белых пятен становится все меньше, животные спокойно пощипывают траву на лес-

ных вырубках, скоро их можно будет вести к ручью на водопой.

Настроение у Алона становится чуть лучше. Тьфу ты пропасть, но, если от Коби сегодня не придет телеграммы, значит, что-то не так. Он сам, на языке царя, написал мальчишке на бумаге одно-единственное нужное слово: давай. Алон и сегодня после обеда, поплетется на почтовую станцию. Если получат известие, то к вечеру можно будет трогаться. Самое верное время прибыть со стадом к воротам бойни между пятью-шестью утра.

После, когда сделка будет заключена и деньги в кармане, он захватит парней и первым делом отведет их к еврею Илье — тот даст напрокат одежду. Все получат сюртуки с хвостом, и компания господ направит шаги в какой-нибудь самый изысканный кабак. Алон решил на этот раз быть щедрым. Со старой работой покончено, надо отпраздновать начало новой жизни. Придется заранее прочитать наставление парням, пусть не разевают пасть, когда увидят в пух и прах разодетых женщин. Надо будет воззвать к совести Ильи, чтоб не подсунул поношенного платья. Как-то давно, собираясь в трактир, Алон взял у Ильи напрокат костюм; едва он успел набить живот всякой вкуснятиной, как слышит — что-то трещит и рвется. Оказывается, нитка в швах истлела, и штаны едва не распались на куски. Илья жуткий сквалыга, даже швейной иглой шевелит еле-еле, чтобы она не затупилась.

Может, следует позвать и Ерема?

Жизнь была бы неполной, если б Алон хоть раз не напоил Ерема до чертиков. Не потому, что Алону нравились горланящие пьяницы. Просто ему страстно хочется услышать правду. Он бы взял Ерема за грудки и потребовал, чтобы тот припомнил осенний день, тому тридцать два года, когда Алон впервые пригнал стадо во двор бойни.

В пору того давнего перегона Алон, как подручный управляющего, не имел каких-либо особо сложных заданий — он делал то же, что сейчас делают его парни. Заботился о том, чтобы животные в пути не слишком отощали, чтобы они сдуру не разбежались, чтобы ни одно из них не получило никаких увечий и не потерялось. У управляющего имением были опытные помощники. Они вели разведку и давали знать, когда выходить из

леса, чтобы вовремя пригнать стадо на бойню. Алон был в те времена простым деревенским парнем, на ногах лапти, в руках хворостина. В ранний утренний час, прогоняя стадо по городским улицам, он одновременно ощущал и страх и радость: добрая судьба перенесла его из далекой захолустной дыры в пуп земли. Сознание того, что где-то поблизости жил царь, делало Алона особенно ревностным. Он не решался повысить голос на животных, достаточно было поднять дубинку, чтобы держать их в узде. Больше всего Алон боялся, что быки начнут бодаться. Беды и позора не оберешься, если в городе начнется переполох! Жандармы только того и ждали, чтобы схватить виновных и надеть на них кандалы.

К счастью, все обошлось благополучно. Стадо пригнали на двор бойни, и оно топталось там, словно в гигантской ловушке: ворота приперли толстой палкой, просунув ее в скобы. Высокий забор был построен из крепких брусьев, так что даже самый могучий бык легко мог обломать о него рога.

Алон шнырял между беспокойными животными, у самого — блаженный звон в сердце. Неважно, что управляющий единственно его, молодого парнишку, оставил во дворе стеречь стадо, — попасть внутрь бойни — такую честь за один год не завоюешь.

Внезапно Алон заметил подле себя незнакомого парня — и откуда только он так неожиданно возник, может, вынырнул из-под коровьих брюх? На всякий случай Алон сдернул с головы шапку. Парень, глубоко засунув руки в карманы, обошел оторопевшего чужака и ухмыльнулся, не вынимая изо рта крепко зажатого в зубах мундштука трубки. Блестящая крышечка ее была открыта, хотя табаку в чашечке не было. Алон не решился слишком долго разглядывать безделушку и опустил глаза. Парень, словно беспокойный бычок, скреб ногой землю, и при каждом его движении большой, в пятнах крови, передник хлопал по жестким голенищам сапог.

Парень — как выяснилось позже, это был Ерем — локтем подтолкнул Алона и подал знак следовать за ним. В довольно душной и темной каморке Алону подставили под зад табурет. Он съежился, чтобы поместиться среди парней, которые, притиснувшись друг к другу, сидели вокруг иссеченного топором чурбака. Ерем, зажав пальцами горлышко бутылки с красным вином,

перегнулся через плечи дружков, кто-то раздавал стопки. Откуда-то сзади протянули посудину и Алону — глиняная кружка была полна до краев, и Алон понял: с ним хотят подружиться. Все присутствующие коснулись стопками кружки Алона, деревенский парень сразу стал центром внимания. Это взволновало Алона, на его брови со лба скатились капли пота. Алон поднес кружку ко рту. Теплая солоноватая жидкость растеклась на языке, горло почему-то не смогло сделать глотательного движения. Все заржали, словно увидели в выпученных глазах Алона что-то невероятно смешное. Алон не отважился выплюнуть жидкость на щербатый чурбак. Ему хотелось зареветь, как ребенку, однако он должен был проглотить обиду. Тогда он еще не знал ни одного похабного русского ругательства. Насмеявшись вдоволь, компания Ерема начала прямо-таки исходить любезностью. Алона хлопали по плечу, кто-то сунул ему в руки кусок колбасы, но Алон не решался откусить, он не знал, какие еще каверзы его ждут. В знак особой дружбы деревенскому парню протянули надутый свиной пузырь — Алон не принял подарка. Но это не помогло, свиной пузырь все равно привязали к его руке. Алон высвободил свои плечи из тесного круга, ногой поддал табуретку так, что она отлетела в сторону, и вышел из каморки — свиной пузырь реял над ним в воздухе. Алон оперся рукой о бок коровы и все сплевывал, сплевывал. Никак не удавалось очистить полость рта от крови. Солнце слепило слезящиеся от напряжения глаза, и Алон почему-то никак не мог сообразить отвязать от веревки свиной пузырь.

Жалкий и несчастный, он очнулся от крика управляющего. В углу двора бодались бычки, дубинка куда-то исчезла, словно навозная земля проглотила ее.

Когда животных пересчитали, выяснилось, что не хватает одной телки. Стараясь скрыть смущение, Алон еще раз сплюнул. Управляющий, увидев на грязи кровь, на секунду умолк, а затем принялся на чем свет стоит ругаться. Его подручные ворчали, — по их мнению, таких сопляков, как Алон, нечего было брать с собой, пусть дома пасут свиней! Кто знает, то ли управляющему стало жаль сплевывающего кровь Алона, то ли еще по какой причине, — во всяком случае, на всей этой истории по-простому был поставлен крест. Заработанные Алоном день-

ги пошли на покрытие убытка. Фактически телка стоила гораздо больше того, что заработал Алон за много дней ходьбы с дубинкой в руке.

Может быть, теперь, спустя тридцать два года, Алону удастся услышать от Ерема правду? Что, если напоить его в стельку, может, тогда скажет, не его ли компания увела телку? Едва ли из одной охоты посмеяться они позвали в тот раз Алона в каморку.

После первого перегона стада Алон стал знаменитостью не только в родной деревне, но и в имении. На него показывали пальцем и говорили: вот парень, который сходил в Петербург и обратно, чтобы заработать пузырь, надутый ветром.

Возможно, именно из-за этого происшествия Алон и стал впоследствии скототорговцем. Упрямство рождает силу и предприимчивость.

Алон никогда не задумывался всерьез о таких вещах. Разве по прошествии стольких лет упомнишь, почему он уперся как бык, когда родители посоветовали ему остаться в имении и работать в поле. Первое путешествие в Петербург посеяло в его душе зерно болезненно-нежной тоски. Она все время росла и будоражила ум. А может, все обстояло гораздо проще: злость. Алона злило одно лишь представление о Ереме, который, вне всякого сомнения, похвалился у себя в каморке: дескать, эта чухна никогда в жизни больше не сунет носа в столицу.

Еще раза два Алон ходил в Петербург под началом управляющего. Теперь он заслуживал только похвалы. Он сумел избавить парней от самого хлопотливого в пути дела — дойки. Алон без конца подсчитывал версты и советовался с управляющим. Перегон стада наладили таким образом, чтобы ко времени дойки очутиться в какой-нибудь деревне. Алон шел вперед, договаривался с деревенскими бабами, и те не чурались небольшого труда, за который они даром получат молоко. Женщины встречали стадо на околице, и парни могли руки в карманах поколобродить вокруг. Лошади деревенских стояли невдалеке, привязанные к деревьям, а то, чего доброго, понесли бы при виде такого количества скота. Женщины усердно давили на соски до тех пор, пока бидоны, стоящие на телегах, не наполнялись молоком.

В те времена тоже редко удавалось отвозить на бойню однородное бычье стадо.

Однажды у Алона созрело решение: он захотел сам помериться силами с судьбой.

Как-то в сумерках он вошел вслед за матерью в ее боковушку в корчме и, словно опьянев от терпких запахов трав, ломающимся голосом произнес — настало, мол, время взяться за дела, достойные мужчины. Стараясь пробудить чувства матери, он принялся с жаром рассказывать о далеком городе, где улицы вымощены торцами и чисто вымыты; он хвалил этот город, в котором звон церковных колоколов сливается с голосами тысяч людей и с топотом копыт многих сотен лошадей — этот шум завораживает и будоражит кровь. Алон признался, что сил у него и жажды действовать столько, что его прямотаки распирает. Ему нужны были материнское благословение и помощь.

Алон помнил добрые глаза матери, излучавшие, несмотря на сумерки, удивительный свет. В тот предвечерний час он болезненно остро ощутил, что жизнь чем-то обделила его мать. Она с удивительной легкостью последовала за мечтами сына и словно позабыла и себя и корчму, куда как раз начали стекаться любители заложить. Шарканье ног и гул разговоров за стеной не мешали Алону слышать шум крыльев большой птицы. Этой большой птицей была его мать, увлекаемая в полет стремительным потоком сыновних мечтаний.

Пошарив в уголке сундука, она отдала Алону все свое богатство — от денег шел запах мяты.

В тот светлый предвечерний час, когда воздух боковушки был заряжен тоской и мечтами, у Алона не хватило духу сказать матери всю правду. Правда в обнаженном виде большей частью бывает сурова и может больно ранить. Куплю стадо, переправлю в Петербург на бойню, заработаю много денег и верну тебе — какие убогие, будничные слова! А ведь Алон понял, что мать вынула из тайника не рубли, а свою мечту, и ее она отдавала сыну в поддержку его безмерной силе. В комнате матери, где хранились лекарства, не подобало даже думать о деревянном молоте, тупым ударом обрушивающемся меж рогов животного, чтобы оглушить его перед тем, как выпустить из него кровь.

В этой комнате не годилось думать и о Ереме, этом мяснике в окровавленном переднике, в глазах которого Алон должен был хоть на один-единственный миг возвы-

ситься до личности, достойной того, чтобы с ней считались.

Но после того как Алон первый раз продал свое маленькое стадо в присутствии Ерема, ему захотелось приводить сюда, на бойню, все больше и больше животных и входить во двор все более и более важным купцом.

Думая о давно минувших временах, Алон почувствовал, как в его душу закрадывается стыд. Шагая за своим первым стадом в Петербург, он решил привезти матери что-нибудь красивое в подарок, но после удачной сделки позабыл об этом. Он отправился на главную улицу, бродил в лесу белых колонн, купил себе шикарные сапоги со скрипом, приторно пахнувшие ворванью. Он даже не вспомнил про тайник в углу материнского сундука, который теперь пустовал и куда следовало бы привезти что-то взамен.

Алон, как важный барин, развалился в извозчичьих дрожках с верхом и, одуревший от счастья, прокатился просто так, ради собственного удовольствия, по деревянному настилу главной улицы. Тогда Алон еще не знал, что мать уже ни в чем не нуждается. Запах той ели, под которой опочила мать, не донесло ветрами до блистательного Петербурга, и обо всем случившемся Алон узнал спустя много дней.

Лик времени становится все угрюмей. Перегоняя скот в последующие годы, Алон заметил, что в мире развелось много подобных ему, предприимчивых мужиков. И на других дорогах, ведущих из других мест, копыта бесчисленных животных мелко размалывали пыль; в Петербург со всех уголков света стекались стада. Ледники боен были забиты тушами, и цены падали. Вечно подстерегал страх, что не хватит ртов, которые смогли бы перемолоть все эти груды мяса.

К началу последней четверти столетия спокойствие и уверенность прежних времен могли лишь сниться. Алон не понимал, почему судьба издевалась над ним. Почему приближение старости совпало с такими бешеными годами, когда все чаще и чаще приходилось нестись наперегонки с другими и опасаться, как бы из тебя не вышибло дух.

Алон провел рукой по лицу. Распрямить пальцы не удалось, суставы совсем скрючились. Словно он всю жизнь держал руки зажатыми в кулаки и вот теперь не

может больше расслабить мышцы. Да и сердце сжимало, и Алон подумал: больной, усталый человек, где же был твой ум, когда ты решил еще раз сунуться со стадом в Петербург.

Но точка не была поставлена, серьезный разговор с Еремом еще не состоялся. Прежде чем подвести черту под делом всей жизни, Алон хотел знать, он даже готов был спросить прямо: Ерем, ты мне друг или враг? Алон не мог дать себе отчета, почему ему так необходимо знать это. Он был не столь стар, чтобы помышлять о смерти, сорок девять — успеет еще и жениться и детьми обзавестись. И все же Алон чувствовал — он уже не работник. Несмотря на все сладостные мысли о хорошей жизни, сознавать это было грустно. У себя, в родных краях, он порой бахвалился, что бросит месить грязь на дорогах, чересчур уж много пар сапог износил он до дыр за свою жизнь. Чем же ты думаешь заняться? А чем мне заниматься, ворчливо бурчал в ответ Алон и на какое-то время замолкал. Мужики не понимали, что Алон мог бы до конца дней своих лежать на боку и гонять лодыря. Тот, у кого хутор и кого оседлала нужда и забота, тот вынужден до самой смерти вкалывать. Алон же за долгие годы работы снес в банк десять тысяч золотых рублей, потому-то он и мог заткнуть рот каждому лезущему с вопросом и похвастаться, что купит себе скотоводческую мызу. Эта стоящая мысль вполне серьезно занимала ум Алона. Приобрел бы мызу где-нибудь поблизости от железной дороги. Если на бойне случится перерыв и скот не будет поступать, Ерем тотчас же пошлет в дорогу гонца — телеграмму. Мол, так и так, Алон, грузи сотню рогатых в товарный вагон и отправляй в Питер.

Алон начал про себя вычислять: за одну скотину полагалось платить две с половиной копейки с версты. Если взять мызу под Таллином, стаду придется трястись на колесах добрых триста пятьдесят верст. Алон прикидывал, губы его шевелились. На сотню животных набралась бы солидная куча рубликов, и они пошли бы с прибыли долой. Да и за каждый вагон придется платить еще дополнительно. А что будет, если подручные Ерема окажутся не слишком расторопными и не сразу выгрузят животных в Петербурге? Ничего другого, как выкладывай денежки за простой. На железной дороге строгий порядок, предприятие казенное. А потом эти телеграм-

мы, которые летали бы туда-сюда: отправил стадо, готов ли принять? Если ты произносишь слова, они ничего не стоят. Но как только ты опустишь перо в чернильницу и поставишь буквы в строчку, они начнут тянуть с тебя чистое золото. Нет, Алон устал от этих новых времен, устал от этой деловой жизни, которая становится все сложнее. Лучше купить дом. Алон выкрасит его в красный цвет. Найдет славную жену и сыграет свадьбу. Пусть молодуха повесит на окна белые шторы, точь-в-точь как в городе Петербурге. Алону надо спешить, его потомки еще не родились. Ничего, скоро дом будет полон галдящих мальчуганов.

Рот Алона растянулся в улыбке.

Что ж, несмотря на покупку дома, в банке останется еще немалая сумма. Когда парни подрастут, каждый получит свою долю. Он не оставит детей без отцовской помощи и благословения. Алон не забыл свою мать, которая когда-то, в далеком прошлом, с радостью помогла ему встать на ноги.

Ведь не ради же потомков Явы надрывался Алон! Бог сподобил Яву детьми. Сейчас она ждет десятого — ведь вот пришлось же поломать голову над именами. Если бы все женщины были такими молодчагами, жить на земном шаре вскоре стало бы тесно. Ну и силища у этой Явы! Одного мужа похоронила — всякое рассказывают об этом. А второй супруг пока держится.

Ява горда и упряма и, чем старше становится, тем упрямее. Хоть одним мохом будет питаться, а помощи не попросит. Алон уже и не помнит, когда она у него хотя бы копейку попросила. Как-то управлялась — с голодухи там никто не помер. Правда, в последнюю встречу — это просто чудо! — она выразила странное желание: дескать, пусть Алон привезет ей из Петербурга один апельсин. Непонятно, с чего ей вдруг втемяшилось в голову такое желание. Надо будет спросить у Ерема: есть ли в это время года в продаже такой товар?

При мысли, что он может сделать Яве приятное, у Алона на душе потеплело. Ведь в свое время он не привез матери гостинца.

Ява была так благодарна, что Алон взял с собой Коби — пора бы называть его уже Якобом. Провожая своего сына Якоба, Ява сунула брату в карман варежки

с вывязанными на них розами. Те самые, в которых Алон в ранний утренний час нежил свои руки.

Якоб, Якоб. Отправил ли ты телеграмму? Губы Алона шевелились. Словно он молился: «Отче наш, хлеб наш насущный даждь нам днесь».

Если бы все устроилось и наладилось! Неужели судьба в этот последний переход не захочет быть милостивой к Алону? Дома, на кафедре их деревенской церкви, было написано: «Мы чаем обновления небес и тверди земной, дабы стали они обителью истины по слову Его».

Надо заставить себя быть спокойным и уповать на лучшее.

Сейчас самое время идти на почтовую станцию за телеграммой.

Раздвигая еловые ветви, Алон отправился к своим подручным. Ну что за парни, только и делают, что жуют, никакого хлеба на них не напасешься. Алон принялся давать парням указания. Так нет, даже ради того, чтобы возразить, они не стали быстрей проглатывать то, что у них было напихано в рот. Выслушали, развесив уши, а едва Алон с глаз долой, все равно сделают по-своему. Алон мрачно подумал, что время стало слишком благодушным по отношению к молодым. Они не знают, что такое скамья для порки на помещичьей конюшне.

Животные лежали под деревьями и пережевывали свою скудную жвачку. Алону стало почему-то жаль их. Вот так жалость, сам себе удивился Алон, ты ведь хочешь как можно скорее прогнать их через ворота бойни! Почему же эти животные разжалобили тебя? Если бы еще ты сам вырастил их! Случайное стадо, скупленное на разных ярмарках. За долгий путь скотина даже друг к другу не успела привыкнуть, так почему он, Алон, должен сочувствовать ей?

Терпение Алона иссякло. Ему захотелось как можно быстрее избавиться от стада. Гляди какой барышник в тебе сидит, снова удивился он. Мало ли было случаев, когда приходилось чуть ли не десяток дней пережидать в лесу, покамест двор бойни освободится от других пригнанных туда стад! Однажды — это было в троицу — Алон сдуру привел стадо в Петербург. Три дня топтались они за воротами бойни. Пол-Петербурга осталось в праздник без свежего мяса. Еремовы подручные напропалую запили, резать скотину никто не хотел. Не по-

могали ни угрозы, ни уговоры. Поди пойми этих русских, когда на них находит стих. Алон не решился гнать животных обратно в лес — разве угадаешь, в какую минуту там, на бойне, снова вспомнят о работе? На скудном корме скот отощал, кожа да кости, и это потом больно ударило Алона по карману.

Когда рабочие в конце концов объявились на бойне, от них разило как от козлов. Поначалу они никак не могли как следует взяться за дело. Вместо того чтобы, как положено, оглушить животное, они били его деревянным молотом по рогам, так что рога либо ломались, либо вообще отлетали от головы.

Возвращаясь с почтовой станции, Алон чувствовал себя так плохо, будто получил обухом по башке. Ноги еле-еле двигались. Если б не страх, что заболят кости, он бы ненадолго прилег на землю и отдохнул. Алон всячески старался подбодрить себя, поднять свой дух: ничего страшного не произошло. Очевидно, на бойне у Ерема скопилось много скотины, которую надо принять, не может ведь Коби наобум послать весть, о которой они договаривались.

Однако Алон никак не мог освободиться от тяжести на сердце. Он проклинал себя за легкомыслие: надо же было ему посылать вперед Коби, у мальчишки никакого опыта! Парень, правда, умолял — дай попытаю счастья. Дай-ка покажу этому мерзопакостному Ерему, где раки зимуют. Услышав угрозу Коби, Алон не на шутку испугался. Разве он когда-нибудь думал вслух о Ереме? Или по его впалому, испещренному бороздами лицу было видно, что Ерем уже годами сидит у него в печенках?

Почему люди без конца донимают своих врагов, стремятся облить их грязью? Разве то, что Алон вечно попадается на хитрости Ерема, говорит об отсутствии у того ума и сообразительности? Приходится честно признать проигрыш и отдать дань правде. Ерем умел идти в ногу со временем. Болван тот, кто думает только о деньгах и наживе. А Ерем умел и карман набить и мудрости накопить. Кто, кроме Ерема, мог бы так быстро приспособиться к новым условиям? Когда на бойню поступил служить скотный лекарь, Ерем тотчас же сообразил, что надо делать.

Лет десять назад Алон пригнал в Петербург стадо в триста голов. Такого количества животных он ни раньше

ше, ни позже в столицу не доставлял. С девяноста животных он получил деньги только за шкуры. Скотный лекарь заявил, что у коров солитер. Мясо у них точно крупой набито. Особенно отчетливо видны личинки на языке. Ерем принес один язык показать Алону. Алон не увидел на нем ничего подозрительного. Но животные были уже забиты. Кожу на них уже не натянешь, — мол, пошагали прочь отсюда. Алон подумал и решил: на этот раз он не попадется на удочку Еремовой компании. Пусть отдают туши, Алон со своими подручными продаст мясо, хоть подряд все дома в Петербурге обойдет, а продаст. Ерем лениво отпустил парочку отборных ругательств, а затем заявил, что городовой заберет Алона и отправит его в каталажку. Нельзя кормить людей яйцами солитера. Алон не поверил Ерему. Откуда у коров взяться этому солитеру? Ерем рассмеялся — он всегда смеялся последним — и посоветовал: при покупке скотины пусть Алон поинтересуется, ходят ли хозяева на пастбище по большой нужде.

Девяносто мясных душ пошли псу под хвост. Несчастье пробило дыру в кармане Алона. Что поделаешь, пришлось извлечь урок из этого злосчастного случая. На следующих ярмарках он уже спрашивал у каждого, у кого торговал скотину, именно то, что посоветовал ему Ерем. Деревенские женщины стали называть Алона пакостным мясником.

Но все это старые дела. В нынешние времена люди и животные стали жить раздельнее. И хоть скотный лекарь с каждым разом все основательней копался во внутренностях животных, ничего подозрительного в пригнанной Алоном скотине он не находил.

Вероятно, и у этого случайного стада не было ни чумы, ни чахотки, ни солитера, — думал Алон, но эта мысль нисколько не снимала тяжести с его сердца.

Алон не просто так, не без задней мысли, внял мольбам Коби. Надо было напомнить Ерему, что и его старость не за горами. Пусть увидит Якоба и поймет, что хошь не хошь, а растет новое поколение. Пусть задумается над жизнью, долго ли ему еще оставаться у власти! Придет время, и Ерем будет годен лишь на то, чтобы дрыхнуть на печи.

У Ерема кусок сырой печенки встанет поперек горла, когда Якоб скажет ему, что он сын Алона. Так велел ска-

зать Алон. Ничего лучшего он придумать не мог, чтобы ущучить Ерема. С единственным сыном Ерему не повезло — едва он достиг совершеннолетия, как затеял драку с таким же, как он, оболтусом и прикончил его ножом. Вот и балуй и нежь детей. Определи Ерем сына заблаговременно на бойню, этот сопляк не учинил бы такого дела. Ереминого сына отправили в Сибирь на каторгу. Может быть, и участники убийства царя попали в одни с ним места и теперь все вместе, где-нибудь на лютом морозе, просеивают золото для нового самодержца.

До последнего вздоха не отделаться Ерему от своей боли и муки. Хоть он и старается делать вид, будто жизнь все время гладит его по головке ласковой рукой. Ведь и Еремовы подручные узнали о несчастье своего верховода наполовину случайно.

В один из апрельских вечеров, пять лет назад, они всей компанией сидели в каморке, когда вошел карел послушать, что на свете новенького. Юсси, которого Ерем называл Иосифом, начал обиняком выведывать, в какое время лучше всего пригнать стадо из-под Лисьего Носа. Ерем сидел в углу, заросший как черт, лицо темнее тучи. Вдруг заорал: где твоя бутылка! А у Юсся, стоит лишь Ерему повысить голос, сразу коленки подгибаются. Он и полсловечка не посмел пропищать в ответ — тотчас вытащил бутылку из кармана. Потом пообещал — дескать, принесу хоть полное ведро, ежели потребуешь. Вдоль забора на дворе оставалось еще немного нерастаявшего снега, и Ерем велел отнести бутылку на холод. Вернувшись в каморку, Юсси-Иосиф тихонько сел на скамью и стал ждать, что скажет Ерем относительно животных. А Ерем в своем углу сопел, пыхтел и не говорил ни бе ни ме. В сердца парней заползла тревога, и они решили развеселить своего вожака маленькой шуткой. Один из них сел рядом с Юсси, осведомился о жене и детях, спросил, как растет ячмень, много ли померзло и тому подобное. Юсси принялся старательно отвечать — а русский язык и у него такой, будто в словах скрипучие деревянные стержни засели. У бедняги карела даже лоб взмок, так он намучился со своим длинным рассказом. Тем временем второй парень, улучив момент, привязал к фалде Юсси-Иосифова сюртука свиную кишку.

Ерем же, уронив голову, продолжал сопеть в своем

уголочке. Он не слышал и не видел, что делали парни. Внезапно Ерем поднял голову — глаза у самого красные, как у разъяренного быка, — и заорал, мол, пусть тотчас же тащат водку. Карел быстро вскочил, распахнул дверь каморки и в темноте стал ощупью выбираться из каморки. Шел, шел, пока вдруг не начал кричать. Он выкрикивал что-то на своем языке, и тут парни чуть-чуть отпустили свиную кишку. Вскоре карел опять завопил — дескать, кто-то держит его за фалду и не дает ступить ни шагу дальше. Ерем вдруг будто очнулся со сна, вскочил, вытащил из-за пояса нож — у парней, говорят, со страху горло перехватило — и острым лезвием перерезал свиную кишку — ни на кого он и не думал нападать.

Потом они сидели вокруг чурбака и лили в себя водку. Ерем пил с жадностью, затем вдруг принялся тереть глаза. Такого с ним раньше никогда не бывало. Тут все узнали, что Еремова сына отправили в Сибирь по этапу.

Алон жалел, что не предостерег Якоба, не рассказал ему эту историю со свиной кишкой. Поди знай, чем они могли напугать парня. Время еще не успело обточить угловатый характер Якоба, вдруг парень не сможет обуздать свой гнев, чего доброго, еще кинется на кого-нибудь.

Алон мысленно увидел Якоба с кандалами на руках. Городовой дубасил его по затылку. Алон слышал, будто после цареубийства каждый житель Петербурга, не говоря уже о посторонних, находится как бы под увеличительным стеклом.

Такой бывалый человек, как Алон, давно уже не пугается, если, сунув руку во внутренний карман полушубка, нащупает там склизкое сердце животного. Эти Еремовы подручные просто не могут не выкидывать своих фокусов и номеров. И похуже вещи случались. Человек, выпивший в каморке лишку, мог наутро обнаружить в карманах своих брюк немало странного.

Пожалуй, на этот раз Алон дал маху. Почему он решил, что Ерем, увидев молодого Якоба, смягчится, станет снисходительным? Напротив, едва ли он с великой радостью встретил парня и стал мостить сопляку дорогу. Не прогнал же он ради Алонова лжесына других прасолов. Пока еще власть в его руках, поди нарочно стал изводить парня. На какую доброжелательность ты можешь рассчитывать, если сам воткнул шип в сердце другому. Нелегко отцу вспоминать о сыне, томящемся на каторге.

Ерем, разумеется, смерил Якоба взглядом, глаз у него острый, — животных прямо-таки насквозь видит. Если Ерем даже и нашел, что худенький Якоб с головой на птичьей шейке физически уступал его сыну, то разве это могло послужить ему утешением?

Может быть, Ерем сидит сейчас с компанией своих подручных в каморке, хлебает рассольник — на усах капли жира — и клянет Алона за скрытность: ведь вот тридцать два года знаю дьявола, а того не ведал, что у него сын имеется. Чертовы чухны, из них слова клещами не вытянешь.

Какая муха укусила Алона, что он из-за тайной ненависти к Ерему погнал Якоба прямо в пасть волку. Питер полон праздношатающихся бездельников. Парень мог где-нибудь заглядеться на вымощенную торцами дорогу и попасть под смертельный удар копыт пары коней, хотя едва ли он наобум пошел бродить по городу. Еще более страшные опасности могут подстерегать его за воротами или во дворе этой бойни, находящейся на окраине города. Ведь ежели стадо Фомы ожидает своей очереди под Пулковом, то тут не до шуток. Не приведи господь Якобу стать Фоме поперек дороги, тот даст парню такого тумака, что гляди, как бы душу из мальчишки не вышибло. Однажды Алону довелось видеть, как Ерем отвесил Фоме низкий поклон. Алон глазам своим не поверил. А чего тут удивляться. Фома гонит стадо в полтыщи голов из степи в Питер, и ждать ему некогда. Он не так глуп, как его предшественник, который, заморозив стадо во льду, прогорел в пух и прах. У Фомы денег — ногой меси, все дыры может рублями позатыкать. Алон слышал, будто Фома сперва сунет Ерему пятьдесят рублей в карман и только потом приступает к разговору. Фома сам сказал однажды, что от звонкой монеты голос у Ерема становится медовым, а ноги быстрыми. Если стадо Фомы окажется впереди, то сидеть им тут в лесу не пересидеть. Жди, когда этот петербургский люд перемелет горы мяса!

В лесу стало смеркаться. Издали доносились голоса Алоновых подручных. Парни ругали коров, которых им предстояло доить. Алон нарочно остановился здесь в тенистом месте, под елью — ему не хотелось с растерянным лицом появляться перед вопрошающими взглядами своих помощников.

Если Фома в Питере, он без труда отпихнет Якоба в сторону, смахнет, словно несносную муху с руки. Пусть Якоб сидит себе в углу двора бойни и ждет, когда петухи начнут нестись. А если случаем явится и финн Каарле, дела у Якоба могут обернуться еще хуже.

Алон и о половине опасностей ни словом не заикнулся Якобу. Каарле был еще моложавый мужчина, крепкий, как корешок, и цели ставил всегда перед собой ясные. У него пока еще маловато денег, однако тем больше рвения. Ведь надо спешить, если человек решил построить на главной улице Гельсингфорса каменный дом, Каарле не может, подобно Фоме, купить Ерема. А с теми несколькими свободными рублями, что позвякивают в его кармане, к такому человеку, как Ерем, не подступишься и привилегий не получишь. Но Каарле немного надо, чтобы положить своих конкурентов на обе лопатки. К самому Алону Каарле, само собой, близко не лезет, а с мужиками помоложе кое-что случалось. Даже своего финского собрата — было дело — со свету сжил. Каарле болтлив, вечно у него припасена какая-нибудь шутка — друг, каких мало. Балагурит, поет, отплясывает польку — в руках бычий хвост. Алон сам со смехом глядел на его паясничанье. Но в действительности Каарле вовсе не такой шалопут, каким кажется, это он все больше для виду делает. Этакое шутовство у него заместо сетей. Пусть все видят, что забота не гложет его сердце. Жизнь прекрасна, ребята! Вот и остальные начинают думать — что же это я, последний болван, грусть и печаль развожу! И когда подходит вечер, мужики помоложе собираются вокруг Каарле. Внезапно кровь в их жилах начинает бурлить — хоть весь земной шар хватай в объятия, а уж столицу-то подавно. Все с гиканьем выходят со двора бойни на улицу и тут же забывают о брошенном где-то в лесу стаде. Утром выглянет солнце и запоют птицы, подбадривает их Каарле, но до утра времени много. Пареньку пришлось месить немало грязных или пыльных дорог — несколько сот верст, и ох как долго, месяц, а то и больше, и теперь он хочет вкусить удовольствий большого города! Первым делом Каарле ведет своих новоиспеченных друзей в кабак. Он заказывает всем водку и квас. У кого вместо бороды пушок — тому подают мед, у Каарле широкая натура. А после Каарле помахивает сторублевкой: дескать, пусть платит тот,

у кого в кармане есть деньги помельче. Не может же он пугать здешнего кабатчика такой большой купюрой. Ох и ржут же все шуткам Каарле.

Ближе к ночи Каарле ведет своих друзей к тонким столичным барышням. Люди ведь не святые, это обстоятельство как день ясно Каарле. Все располагаются со своими мамзелями по уголкам. Распределив парней, Каарле делает от ворот поворот, щелкает каблуками и испаряется. Наутро, ни свет ни заря, он у бойни и принимается осаждать Ерема. Остальные еще нежатся в постелях барышень, башка раскалывается, ни рукой, ни ногой не пошевелить. Выхода нет — надо опохмелиться. Опохмеляются до тех пор, пока, глядишь, солнце не начинает клониться к вечеру. Дураков, которые в столь поздний час отправятся на поиски Ерема, нет. Муки совести надо утопить в водке — ничего иного не остается, как снова отправиться в кабак. Так вот и идет, быстро да гладко, все вниз да вниз — словно на масленице съезжаешь на санках с холма в топкое болото.

Один из соотечественников Каарле, финн, много дней подряд пьянствовал таким образом. Его подручные, сторожившие в лесу стадо, решили, что хозяин упал в Питере в канал и утонул. Не в силах больше ждать — да и нашла на них страшная тоска по дому, — парни взяли и повернули вспять. Скотина без присмотра растеклась кто куда. Дорогие животные стали добычей волков, в лучшем случае иные из них забрели на какое-нибудь хуторское пастбище и прибились к тамошнему стаду — там хозяева и прикончили их, чтобы никто не пронюхал о добыче.

Алон с ужасом думал о Якобе. Кто знает, вдруг попался на крючок какой-нибудь девице? Дело молодое, разве устоишь перед соблазном, когда кровь у тебя бурлит. Потом подбирай такого парня и гляди, не подцепил ли от барышень какой дурной болезни — кто его тогда лечить будет?

Впервые в жизни Алон почувствовал настоящий страх перед своей младшей сестрой. Что с того, что их разделяли сотни верст. Как он объяснит Яве всю эту историю?

Алон не сумел уберечь парня. В свое время управляющий был для Алона что родной отец, запрещал и предостерегал. Еще извинялся: дескать, поскольку корчмарь мужчина суровый, я не желаю получать нагоняй

из-за твоих выходок. Смех разбирает, как подумаешь — какая такая власть у корчмаря над управляющим! Привези управляющий из Питера вместо Алона одни рога да копыта, то и тогда отец даже пискнуть бы не решился.

Алон засунул руки в карманы и медленно зашагал по направлению к своему стаду. Ему показалось, будто он забыл что-то под деревом, где так долго стоял в раздумье. Он оглянулся и увидел у ствола два темных следа. Только всего и было теплой земли что следы двух ступней, в остальных местах почва снова подмерзла.

Достигнув открытой поляны, Алон задрал голову кверху — с неба струился странный зеленоватый свет, и Алон застегнул полушубок на все пуговицы.

Темные коровы понуро стояли под деревьями. Алону показалось, будто он видит, как подрагивают их ноздри и холод щиплет влажную кожу. Парни стояли у телег и попыхивали трубками. Оба были в полушубках. Они косились на Алона, и в их взглядах не было доверия к хозяину.

Своего сына Алон бы никогда не отправил одного к Ерему сражаться за кусок хлеба. Но ведь и у Явы дети наперечет. Алон удивился, что он вновь и вновь испытывает беспокойство за Якоба и даже не думает об убытке. До сих пор Алон хранил запасы любви и забот для будущего. Как начнешь личную жизнь, если на сердце пусто. Человек, лишенный чувств, не в силах устроить себе гнездо, найти жену и обзавестись ребятишками. Алону никогда не хотелось размениваться, для каждого дела должно быть свое время. Он и сейчас здесь, в холодном лесу, не чувствовал себя полностью оттаявшим по отношению к Якобу; вероятно, его злило, что он сам свалял дурака и не сумел предугадать всех опасностей, которые могли подстерегать парня на бойне.

Глаза подручных смотрели на Алона с упреком. Он понимал ход их мыслей. Почему ты, старик, не дал пойти нам? Мы все же половчей и попредприимчивей драчуна Коби! Алон и сам всегда уважал законы животного мира: преимущество на стороне сильного. Жизнь будет стоять на месте, если начнешь цацкаться со слабыми. В конце концов, какое значение имеют родственные связи? Алон сам, собственными руками, сделал из себя человека. Хотя все-таки, кто знает, если б мать не помогла ему в самом начале — как бы все сложилось?

От этих крученых мыслей у Алона загудела голова. В старые времена все было гораздо проще. Версты казались короче, мороз никогда не бывал таким лютым, кости по утрам, когда надо было подняться с телеги, не ныли. Даже животные не были такими упрямыми, как нынче. И подручные были послушней и не отваживались глядеть на хозяина злыми глазами. Вот что получается, когда людям дают слишком много воли.

Алон чувствовал, что сегодняшняя ночь не будет милостива к тем, кто захочет тихонько укрыться под ее сенью. Сегодняшняя ночь будет из зеленого стекла, и животные закоченеют на том месте, где легли с вечера. Холод не пощадит и Алона. Утром он не сможет пошевелить ни рукой, ни ногой — кровь в жилах застыла, в посиневших мышцах полно белых ледяных игл. Алон представил себе, как утром единственные оставшиеся в живых души, его подручные, позевывая вылезают из-под шуб и удивляются — почему это старик еще не на ногах. Они подходят к телеге, где лежит Алон, и нащупывают закоченевшее тело. Один берет его за ноги, другой — за руки. Они скидывают Алона с телеги на мерзлую землю — авось встряска пробудит старика от зимней спячки! Затем, скрючившись, идут к животным и сапогом тычут в измотанные длинной дорогой ляжки — мясо животных, отшагавших сотни верст, твердое. Шкура со вздыбившейся шерстью оледенело побрякивает.

— Давай, — хрипло говорит Алон.

Парни не услышали его тусклого голоса.

Алон пожалел, что за тридцать два года он так и не удосужился купить медную трубу. Холодный металл, зажатый в зубах, прилип бы сейчас к губам — знай себе дуй! Пусть мир умолкнет, пусть все слышат клич Алона, отправляющегося в последний путь.

Алон сам стал отвязывать животных от деревьев. Глаза их зеленовато мерцали.

Подручные оживились. Один стал запрягать лошадей, другой шарил под деревьями, искал хорошую хворостину, чтобы погонять скотину. Но вот в конце концов обоз сворачивает из лесу на дорогу. Животные держатся плотной массой и ступают медленно. Алон складывает рот трубочкой, старается гикнуть. Вместо обычного «огогоо, ау-уу!» слышится беспомощный хрип, словно холод-

ный воздух, который Алон вдохнул, поставил в горле заслонку.

Стадо бросает с одного края дороги на другой, как будто животные окосели. Они ищут укрытия от холода и норовят свернуть с ровного места обратно в лес. Темная пустота впереди пугает их.

Алон тяжело дышит. Он расстегивает полы полушубка. На возу под сеном спрятана толстая палка, большая, как тележная оглобля. Такой можно свалить волка. Пальцы Алона сжимаются вокруг палки. Ничто не может оторвать мои скрюченные пальцы от этого дерева, думает Алон, и странный порыв ярости вскипает у него в груди. Глупые животные едва волочат ноги. Они не знают, что только быстрая ходьба поможет им сохранить душу в теле.

Алон идет широким шагом, конец палки постукивает перед ним о землю и скользит по замерзшей поверхности луж. Он идет во главе стада. Едва заметной светлой полосой вьется дорога. Нет, мы не заплутаемся, успокаивает себя Алон. Если я и гожусь еще на что-нибудь, так лишь на то, чтобы по вдоль и поперек знакомым метам держаться правильного направления. К утру вдалеке засияют купола и шпили Петербурга. Их потому и позолотили, чтобы Алон видел, куда вести свое стадо.

Алон идет впереди стада, тяжелый посох аршинами отмеряет землю. Не такой уж и дальний путь, думает Алон. Тысячу четыреста раз подниму и опущу эту орясину — глядишь, опять верста позади. Так и не заметишь, как пройдешь все двадцать!

Алон старается делать шаги как можно длиннее. Под полы полушубка забирается холодный ветер, бодрит тело. От такой быстрой ходьбы у коров пропадает молоко — к утру вымя будет как пустая кожаная сумка; а у бычков туловища становятся угловатыми. Алон не думает об этом, хотя знает, что спешка враг прасола. Со спин животных на дорогу скатываются копейки.

Алон продолжает шагать и не оглядывается назад. У кого есть хоть капля ума в голове, тот должен поеживаться. Все приметы предвещают лютый мороз.

Животные шумно дышат за спиной Алона. Копыта стучат по камням. Позади скрипят колеса телег. Земля под ногами становится все звонче. Она как натянутая

струна инструмента. Холод проникает все глубже, каждая кочка превращается в камень.

У Алона гудит в ушах. Он мог бы кинуть прочь, отшвырнуть эту тяжелую палку и сесть в телегу, как и полагается хозяину. Но он отгоняет эту мысль. Дело всей жизни надо завершить с честью. Алону хочется снять с головы шапку, когда он думает о тех тридцати двух годах, что все дальше и дальше отступают в прошлое. Это не животные идут следом за ним и с шумом дышат теплом ему в затылок. Это нежный ветер прошлого, который никогда больше не повторится.

Алон идет и перед каждым шагом далеко вперед выбрасывает палку.

Где-то позади плетутся его подручные. Пусть они поведают своим детям и внукам: Алон шел во главе своего стада, как полководец. Он знал, что только силой можно пробиться сквозь холод. Он не испугался.

Алон видит перед своим мысленным взором сверкающие залы петербургских дворцов. Слуги ходят вокруг столов, обнося всех дымящимися блюдами с мясом. От этой мысли Алону становится теплее, хотя спина его под тяжелым полушубком и без того взмокла.

Алон обязан спасти это стадо.

Чтобы отвести его на бойню.

## 3

Ява разложила плед на куче хвороста и присела. Маленькая Катарина топотала рядом — она вытянула ручку, ухватила мать за колено и, перебирая ножками, стала карабкаться наверх. Куча хвороста спружинила. В голове у Явы мелькнула смешная мысль: если б все ее дети собрались сейчас здесь, они бы не поместились на этом клетчатом одеяле. Под их тяжестью прогибающаяся куча хвороста сплющилась бы и стала вровень с землей.

Матис давным-давно приглядел это место для нового дома, а сегодня они пришли сюда, чтобы вместе все обсудить. Бревна ждали на россаском дворе, очень скоро

здесь застучат топоры. Чтобы лучше было видно место их будущего жилья, Матис срубил здесь кустарник. Ему хотелось, чтобы Яве понравился выбранный им клочок земли, сам он, видимо, уже успел прирасти к нему сердцем.

Матис возился тут же, поблизости. Вырвал несколько кустов крапивы и теперь сшибал топором сучья. Ява догадалась, что муж старался преодолеть свое волнение. Пусть жена оглядится и попривыкнет, очертя голову дом не строят, на поросшей клюквой кочке хижину не ставят. Очевидно, Матис взвесил все, ведь не просто же так он подошел сейчас к чахлой березе и обхватил ее руками за ствол. Покачал, вероятно попробовал, крепко ли сидят корни в почве. Оставшись доволен березой, он принялся осторожно вырубать вокруг сухостой. Чем больше береза освобождалась от кустарника, тем заметнее она устремлялась ввысь. Словно стрела, пущенная из лука в небо. Ява пересчитала отходящие от ствола ветви и внезапно почувствовала, что ничего не может возразить против места, выбранного Матисом. У дерева десять ответвлений, у Явы — десять детей, последнего из которых, родившегося прошлой осенью крошку Матиса, свезли двух месяцев от роду на погост за церковью. Там он покоится рядом с первым мужем Явы — Якобом.

Суждено ли Катарине остаться последышем?

Десять жизнеспособных ветвей на березе — это было доброй приметой.

Что ж, народ Медной деревни немало удивится, узнав, что Матис и Ява задумали строить дом на краю хуторских земель, под боком у болота. Календарь сообщал, что примерно раз в каждые сто лет в этих местах бывают наводнения. Но если бояться, то и воды из колодца не зачерпнешь — еще в ведерке утонешь. Матис не глупец, что устраивает жилье у самого болота. Обстоятельства сильнее человека. Пришла пора разделяться, начинать жить своим хозяйством. Первый сын Явы, наследник Якоба, в месяц жатвы достигнет совершеннолетия. Поди знай, кого Коби выберет себе в хозяйки.

Ява не могла оставаться абсолютно равнодушной, думая о будущей Кобиной молодухе, которая начнет ходить по проложенным Явой тропинкам, чужое лицо нагнется над колодцем, чужие руки будут держать коромысло, отшлифованное до гладкости руками Явы. Вече-

ром молодуха уляжется на те самые полати, где Ява зачинала своих детей. На доске в изголовье десять отметин — после рождения каждого ребенка Ява делала там зарубку.

К Михайлову дню новое жилище Явы и Матиса должно быть готово. Коби дает матери от каждого поля по полоске и вдобавок клочок луга. Ну, а с пастбищем придется самим как-то выкручиваться. Кустарника и болот в этих краях хватает.

Как раз из-за пастбища Матис и выбрал это место под дом. Прямо через болото стоит Иудин остров, никто им не пользуется. Вот увидишь, сказал Матис Яве, один Иудин остров нас прокормит. Ничего лучшего Ява взамен предложить не смогла, так чего же тут спорить.

Одному старику богу да Матису было ведомо, каким манером коровы станут переправляться через болотные ямины на Иудин остров, овцы — тем, что их можно перетащить туда на себе.

Все заботы рано или поздно, тем или иным путем, разрешатся.

И без того на сердце достаточно болячек. А жить дальше все равно надо, Ява верит, что на душе полегчает, если они обоснуются подальше от сердца Медной деревни.

Давно ли в Медной деревне, где полоски поля одного хутора переплетались с полосками поля другого хутора, сосед шел на соседа с дубинкой. Но попробуй тут угнаться за правдой: поле, подобно лохматой нитке, бежало от одной опушки леса к другой — начнешь поворачивать лошадь, и пятки твоих постолов уже топчут чужую борозду. Во время праздников, когда сообща распивали пиво, все споры и раздоры валили на тесноту. Теперь поля и луга поделены разумно, однако склоки не прекращаются. Снова можно валить все на тесноту — люди до сих пор еще друг у друга по головам ходят. Дома стоят так тесно рядом, что навозная жижа из одного хлева течет к порогу другого.

Лучше уж жить на краю болота, утешала себя Ява. Однако на сердце все же щемило, потому что никакие трезвые рассуждения не могли унять боль утраты родного дома.

Размышляя порой об этих распрях в деревне, Ява думала о том, что тайный страх заставлял людей обхо-

дить истинную причину ссор молчанием. Проклятие, тяготеющее над Долиной духов, не давало старой вражде остынуть, временами казалось, что люди поступают прямо вразрез со своим желанием. Ведь не зря же боялись даже произносить эти два слова — Долина духов. Хотя все знали, что со стародавних времен долину в Медной деревне именно так и называли.

Не подобало чрезмерно болтать языком, неосторожное слово могло навлечь на родные края новую беду.

Каждую весну и осень, когда перепахивали долину, на ее поверхность вылезали кости и черепа. Если хозяин выходил с плугом в поле, дети оставались дома во дворе. Не дай бог, чтобы какой-нибудь мальчуган увидел череп или, чего доброго, взял его в руки и начал показывать другим. Мужик, напавший на такую находку, действовал тихо и разумно, стараясь не оставить никаких следов. Язык надо было держать за зубами. У пахаря была с собой холщовая тряпка, он заворачивал в нее находку и вечером отправлялся к церкви. Под часовней, что стояла за церковью, был предусмотрительно построен вместительный подвал со сводчатыми окошками. Развязав узел, находку кидали через дыру вглубь. Очередной череп с грохотом падал в бездонное и темное подземелье.

Ява прожила в Медной деревне уже добрых два десятка лет, однако не помнила ни одной весны и осени, когда б в Долине духов не находили человеческих костей. Сколько их еще сокрыто в поле? Какое странное движение, какая странная жизнь совершались в недрах земли, если все новые и новые черепа выкидывало на поверхность?

Все это было очень загадочно.

Старики и старухи иной раз скупо роняли, что на местах былых сражений мертвые лежат в земле в сто слоев — один над другим. В более подробные объяснения никто пускаться не хотел. Ява думала, сколько лет ей еще придется прожить среди людей Медной деревни, чтобы обнаружить следы всех здешних тайн! Она искала ответа в книгах, но ничего особенного так и не узнала из них. В свое время якобы поляки и шведы вели кровопролитную битву в этих краях, да и русские не обошли войной здешние места. В промежутке Медную деревню сровняли с землей. Люди жили в наспех сколоченных хижинах, пока не подкралась чума. Однажды Ява вполь-

уха услышала разговор двух стариков: будто бы покрытые шишками чумные больные выползли во время жестокой битвы на поле — то ли они хотели остановить кровопролитие, то ли отправились искать помощи у здоровых. Вражеские войска повернули на беззащитных людей и порубили их. В этом рассказе могла таиться правда — в Долине духов и по сей день находили треснутые и располовиненные черепа. Воины столкнули убитых зачумленных в кучу, нарубили в лесу сухостоя и развели среди долины огромный костер, так что даже и земля вокруг выгорела. Долина духов еще и сейчас без конца оседает, это и не удивительно, если из земли все время выгребают кости и черепа.

Покойный Якоб когда-то нашел в Долине духов изъеденный ржавчиной меч. В другой раз он принес горсть старых монет, а еще как-то — ожерелье. Ява велела кинуть чужие вещи в подвал часовни, что за церковью, а Якоб на это рассмеялся и спрятал находки где-то под стрехой. Ява не помнила где.

Ява не считала себя темным человеком, который в каждом пауке с крестом видит дурное предзнаменование. Но обычаи и табу здешнего народа со временем как бы сами собой укоренились в ней. Даже мать Явы, которая постоянно хранила в своем сундуке со снадобьями спасительный белокопытник, иной раз вполголоса рассказывала об оседланной козе, верхом на которой якобы скачет чума.

Впоследствии Ява заметила, что никто из деревенских не держит в хлеву коз. Даже в голодные годы, когда коза могла бы помочь семье не помереть с голоду, люди любой ценой старались продержать зимой корову, не помышляя о том, выдюжит ли животное, дотянет ли до весны, чтобы увидеть черную землю.

Ява была вполне убеждена, что во всех избах, в самых потаенных уголках, запрятаны найденные в долине Медной деревни монеты или покрытое ржавой коростой холодное оружие. Люди, поселившиеся здесь после кровопролитных сражений и учиненного чумой опустошения, хранили у себя в доме реликвии прежних времен, стремясь доказать судьбе: наши поля стонали под грузом несчастий, чаша страданий в этих краях давно переполнена с лихвой.

Ява увидела Матиса — он шел по направлению к болоту. Едва отойдя на несколько шагов от места их будущего дома, он как бы в сомнении остановился. Ява увидела, что тело Матиса покачивается из стороны в сторону: ну конечно, стоя на кочке, он искал равновесия, не зря же ухватился рукой за ветку кустарника.

Теперь придется позаботиться, чтобы у всей семьи были болотные плетежки.

Ява зажмурила глаза и попыталась представить себе, каким будет это место в пору затопляющих осенних дождей или в месяц бокогрей, февраль, когда метель проносится через застывшее болото, чтобы завыть под стрехой и запорошить окно.

Народу прибавилось, и всем надо где-то разместиться.

Яве от всей души хотелось, чтобы ее девяти оставшимся в живых детям жилось привольно. Поэтому самой ей надо было заблаговременно отойти в сторону и освободить место грядущему поколению.

Матис прыгал по болоту с кочки на кочку и обламывал ветки с кустов. Может быть, он отмечал дорогу на Иудин остров?

Ява глянула на маленькую Катарину — та посапывала рядом с ней на пледе. Девочка закинула руки за голову, ротик ее шевелился — очевидно, ей снился добрый сон.

Матис отходил все дальше и дальше и наконец совсем исчез из виду. Вернись! — хотелось крикнуть Яве. Нет, Матису приходилось каждый раз самому находить путь к Яве.

Один-единственный раз, очень давно, Ява крикнула Матису: вернись! Матис не вернулся. Этого было достаточно, чтобы жизнь ее полетела вверх тормашками.

Еще до того как Ява стала серьезно приглядываться к искателю счастья — Якобу, она знала Матиса и считала его самым главным в своей жизни человеком.

У Матиса постоянно находились дела в корчме. То ему нужен был Алон, которому старший брат Матиса как раз намеревался продать бычков, то, возвращаясь с ярмарки, он останавливался в корчме на ночлег. Отдохнув там, он имел обыкновение утром подолгу сидеть за длинным столом. И поскольку парень большей частью глядел в сторону и не следил за хлопочущей Явой, она на первых порах ни о чем не догадывалась. Появления

Матиса раз от разу становились все чаще. Отец Явы заметил, что пиво у него кончается на редкость быстро: жажде Матиса не было предела.

Одним зимним вечером Ява, набросив полушубок, повела на конюшню лошадь какого-то приезжего. Девушка бежала по поскрипывающему снегу, она высоко подняла воротник, и макушка ее утонула в овечьей шерсти. Девушка торопилась, нашаривая ногой место в синих сугробах, куда можно было ступить, — взгляд потуплен, на ресницах иней — и вдруг наткнулась на кого-то. Это был Матис. Задыхаясь от бега, Ява не могла вымолвить ни слова, она чуть отступила, снег с края сугроба просыпался ей за носки и начал там постепенно таять. Хотя Яве было в шубе тепло, она почувствовала, как от грудной впадинки по животу потекла холодная струйка. После смерти матери Ява стала бояться людей, которые вели себя странно, — почему Матис стоял на трескучем морозе, почему не вошел в корчму? Где его лошадь? Какие важные дела погнали его в такой жестокий холод из дома? У коновязи стоял только рыжий мерин приезжего и поверх оглобель смотрел на Яву. Ей пришлось шагать через сугробы. Матис не посторонился с дороги. Она принялась распрягать лошадь. Прежде чем отвести ее под крышу, Ява смахнула иней с губ кобылы. Раздался смех Матиса. Ява отвела лошадь на конюшню, накидала в ясли сена и вдруг почувствовала, что кто-то стоит рядом.

Едва она успела отступить в сторону, как Матис схватил ее в объятия. Сердце Явы забилось, волнение и страх охватили ее. Но Матис спокойно сказал:

— Ява, ты как ель.

Ява вздрогнула. Странные слова Матиса испугали ее.

Матис поднял руки повыше и опустил вниз воротник Явиного полушубка, затем нагнулся к ее уху и шепотом повторил:

— Ты как ель.

Ява смешалась.

Скорее назад, в корчму!

Приоткрыв дверь конюшни, Ява вспомнила, что надо бы и напоить лошадь приезжего. Она ощупью потянулась за ковшом и, нашарив его, направилась к чану, который отец заботливо укутал соломенными матами. Ява зачерпнула воды. Внезапно она почувствовала, что руки

ее не в силах поднять ковш над краем бочки. Она не крикнула Матиса на помощь. Он тоже не подошел, парень стоял в дверном проеме, на его плечах, подобно облакам, лежали синие сугробы.

Лошадь длинными глотками пила воду. Ява положила руку на спину животного, она была влажной и теплой, шкура слегка подрагивала, как будто утоление жажды было столь большим наслаждением, что в нем принимало участие и все туловище лошади. Прикосновение к животному вернуло Яве покой. Ей казалось, будто сквозь бескрайнюю тишину она слышит, как с оголенных деревьев падают заиндевелые иглы.

Выходя из конюшни, Матис пропустил Яву вперед и тщательно затворил дверь. Ява, колеблясь, остановилась и сунула руки в рукава полушубка. Матис подошел к ней совсем близко. Ява видела отсвет луны на щеках парня, глаза его были где-то глубоко в сумерках, словно на дне колодца. Матис поднял воротник Явиного полушубка и стал медленно пятиться.

Только сейчас Ява заметила, что Матис оставил лыжи в сугробе подле липы. Он пошел и надел их. Потом оглянулся через плечо, и Яве показалось, что он усмехается. Но, может быть, ей это просто померещилось.

После встречи с Матисом странные мысли не оставляли Яву. Она рассеянно бродила по корчме. А как только выдавалась свободная минутка, шла через поле туда, где росли ели. До сих пор ели в представлении Явы были обычными вечнозелеными деревьями. Теперь же, чем больше она на них смотрела, тем больше удивлялась, видя, насколько они отличались друг от друга. Одно дерево раскинуло свою крону, точно орел крылья, устремив к небу похожие на молодое оперение побеги, которые появились за последнее лето. Другое тут же, рядом, наоборот, держало свои ветви опущенными, будто ствол замерзал и надо было поплотнее запахнуть шубу. Ява глядела на вершины елей и думала, что человеку лучше смотреть в небо, нежели на истоптанные подошвами будничные дороги. Вершины, как люстры, были усыпаны шишками. Почему все без конца жалуются, что эстонская земля скудна и камениста? Ява была уверена, что ни в одном другом месте не найти таких могучих елей. Она пальцами перебирала иглы, отламывала ве-

точки и глубоко, так что в груди начинало щекотать, вдыхала запах смолы.

По вечерам она часто стояла у окна и разглядывала в стекле свое отражение. Ей нравилась собственная осанка, и, ступая, она следила за тем, чтобы держать спину прямо. Посетители корчмы говорили отцу и тетке: гордая девушка.

А Матис все не приходил и не приходил к корчме. Ява то и дело ждала случая, чтобы позаботиться о лошади какого-нибудь заезжего постояльца. Каждый раз она с бьющимся сердцем переступала порог. Бывало, в сумерках Ява бродила под вековыми липами около конюшни и, напрягаясь, вслушивалась — не раздастся ли за стволом мягкий смех Матиса.

Матис явился одним туманным майским утром, когда северный ветер прогнал прочь первое весеннее тепло. На его телеге лежала поклажа — в мглистом моросящем дожде серые горбатые мешки выглядели как валуны. Ява увидела Матиса из окна. Он замедлил шаг и, поколебавшись, стал привязывать лошадь к коновязи. Ява забилась в самый темный угол корчмы. Она так ждала Матиса, а теперь настолько застеснялась, что готова была спрятаться под одеждой, висящей на вешалке.

Матис вошел, остановился перед очагом и уставился на огонь, где, потрескивая, горел хворост. Нахмуренные брови Матиса казались выгоревшими. Он попросил у корчмаря кружку пива. Закинув голову, он пил большими глотками, кадык его ходил взад-вперед. Ява ждала, что Матис спросит отца про нее. Стоя у очага, ослепленный светом огня, парень не мог сам заметить Яву.

Позже Ява не раз думала, почему Матис не почувствовал, что она близко, почему ничего не сказал. Повернувшись на каблуках, он поспешно вышел.

Ява тихонько, будто боялась звука своих шагов, прошла на середину комнаты. Она была уверена, что Матис сразу же вернется и увидит ее. Ее рука опиралась о стол, а пальцы скользили по прожилкам выскобленной доски, неизвестно что нащупывая в следах годичных колец. Может быть, она искала прячущуюся там истину, которая вонзилась бы ей в сознание подобно острой занозе и сразу сделала бы понятным непонятное.

Ява услышала скрип телеги Матиса.

Нарочито медленно она прошла через комнату к двери. Выйдя во двор, поначалу тоже никуда не торопилась. Наоборот, точно умышленно мешкая, подняла руки к небу, и на коже ее появились крошечные капельки измороси, как будто от испуга выступил пот.

Внезапно Ява кинулась бежать прямо через лужи, рот ее был открыт, словно она жадно хотела пить, пить дождь, как пиво, одурманивающее голову.

— Матис, вернись! — из-под лип крикнула Ява.

Она испугалась резких, повелительных ноток своего голоса.

Матис не повернул головы. Он слышал громкий возглас Явы, иначе бы не подстегнул лошадь. Голова лошади опустилась и скрылась за туловищем, лошадь изо всех сил тянула тяжелый воз сквозь весеннюю грязь и, несмотря на удары кнута, не могла перейти на рысь.

Чего он боится? — подумала Ява.

Второй раз я не позову.

Никогда.

Ветер ударил в лицо Яве растворившимся в дожде запахом черемухи.

Убегая от Явы, Матис бежал и от Крымской войны. Шел набор, мужчин без конца призывали, отбирая самых молодых и сильных. Матис был в семье младшим сыном и подлежал рекрутской повинности.

Когда южные ветры снова прогрели месяц май, Матис обвенчался с вдовой намного старше себя. По пятам молодой четы семенили двое малышей. Позже на деревне говорили, будто Матис играет с девчушками в прятки, — дочки вдовы признали его за брата.

Вскоре после того, как у Явы с Якобом родился первый ребенок — Эва, случай заставил Яву с болью в сердце еще раз вспомнить о Матисе. Судьба так и подкарауливает, чтобы сделать человеку больно именно в тот момент, когда, казалось бы, все идет хорошо.

Ява успела привыкнуть к Якобу, славная девчушка гукала в люльке — так ведь надо же было Яве, наведываясь в корчму, брать там книги. В одной из них старый мудрый вируский певец поведал о войне и храбрых мужчинах, навечно покрытых доблестью и славой. Ява узнала, что высочайший правитель государства никогда не забудет своих храбрых солдат, выступивших против презренного врага и защитивших родину.

Душевный покой Явы был на некоторое время поколеблен. Почему Матис спрятался под крыло вдовы? Почему и он не мог пойти на войну? Чем плохо было бы там, в теплой стране, погромыхать ружьем?! Ява ждала бы Матиса. Он вернулся бы с войны героем, с крестом на груди — истинно царский приемыш.

Позже Ява навидалась этих героев Крымской войны, которых корчмарь без конца ругал. То и дело какой-нибудь увечный солдат копошился за дверью, со стуком перебрасывал через порог деревянную ногу, плевал на пол, садился развалясь за стол и непрестанно требовал водки — а у самого в кармане одна табачная крошка. Что ж, у людей сердце не каменное, кое-кто из хуторян ставил перед солдатом четушку. Но изрешеченный пулями воин даже за попойкой не отходил сердцем, чем больше он вливал в себя, тем злее становился. Однажды какой-то пьяный калека вынул голой рукой из очага уголь и ткнул своему благодетелю в бороду.

В ту пору Ява не встречала Матиса. По слухам, ходившим в деревне, жизнь его текла не плохо. Дети подрастали, вдова ткала ткань, на которой рдели спелые, как в августе, звезды. Ткань на нескончаемых основах должна была быть мягкой, теплой и вечной — так, вероятно, думала вдова.

Вдова уже давным-давно растит внуков, — возможно, она успела и забыть Матиса. Эва, дочь Явы и Якоба, в месяц цветения — май — перешагнула через порог родного дома и пошла, не оборачиваясь, с пылающим от нетерпения сердцем. Далек ли тот день, когда маленькая, беспомощно пока еще семенящая Катарина станет тетей, а сама Ява — бабушкой?

Наверное, не стоило бы через такой короткий промежуток времени перебирать в памяти старые события, если б не надо было закреплять новые основы и ткать новую ткань жизни. За ежедневными хлопотами кто мог разглядеть тот день, когда стало ясно, что хутор следует отдать наследнику Якоба!

Судьба расстелила перед Явой развилистую дорогу.

Яве отчетливо представилось далекое лето наводнения и день, когда она оттолкнула от берега корыто, чтобы отправиться за помощью в корчму. Она кинула взгляд на стоявших у колодца детей, на три сгорбленные фигурки, они, казалось, постепенно растворялись в до-

жде, которому не было конца. Эва, самая старшая, стояла посередке и держала за руку Коби и Сабину. Нестор попискивал тогда еще в люльке.

Якоб не видел первых шагов Нестора.

В Юрьев день следующего года, когда чужая лошадь завернула в Россу и Матис втащил в избу свои скудные пожитки, Эва стояла на середине комнаты, бледная, с горящими, как в лихорадке, глазами. Ява растерялась под взглядом дочери. Наверное, она боялась, что Эва бросится к дверному проему, раскинет руки и попытается преградить дорогу ящикам. Или ничком кинется на порог, чтобы грязные сапоги перешагнули через нее. Но в этот день Эва вела себя разумно. Матис успел стать на Россе своим человеком, когда Эва однажды спросила:

— Мама, почему ты пришибла отца?

С этого мгновения Ява все время ждала, что вопрос будет повторен.

Когда появился на свет первый ребенок Явы и Матиса — Таниель, Коби исполнилось семь лет.

Ява стояла во дворе, прижав ребенка к груди. Коби возник из-за угла дома, в руках хворостина. Ява открыла было рот, чтобы похвалить сына — она поручила Коби загнать в хлев теленка, и он хорошо справился с этим, — но в выражении лица мальчика было что-то чужое, в глазах застыла старческая мука. Волоча ноги, он направился через двор, поросший муравой, к Яве и вытянул шею, чтобы взглянуть в лицо сосущего грудь Таниеля. Ява наклонилась вперед — пусть Коби получше разглядит своего маленького братца, может статься — оттает, надеялась она. Ява ждала, что в глазах мальчика сверкнет смех, — ничего подобного не произошло. Коби сглотнул, прежде чем сказать:

— У меня нет отца.

В действительности он думал: ты убила моего отца Якоба, чтобы пустить в дом Матиса.

Прошло время. Вслед за Таниелем родились Симон и Мария. Бывало, Ява вопросительно смотрела на Сабину, она ждала, когда третий ребенок Якоба произнесет роковые слова. И вот когда Мария встала на ножки и начала с криком носиться по лужайке, Сабина решила, что теперь пришел ее черед. Однажды, с приглушенной злобой, она произнесла:

— Тебе, наверное, нравится, когда маленькие девчонки хохочут?

Яве стало ужасно грустно. Может быть, Сабина хотела остаться ее младшенькой? Обычно дети ждут не дождутся, когда станут взрослыми, — неужто Сабина действительно жалела о том времени, когда была крошкой и ее баловали и носили на руках? Секундой позже Ява сообразила, что́ на самом деле хотела сказать этой фразой Сабина. Если б ты не пустила в дом Матиса, я, возможно, навсегда осталась бы твоей младшей дочерью. Если б ты не убила Якоба, Матис не пришел бы в Россу.

Тогда никто из них еще не знал, что и Марии не суждено было остаться последышем Явы. Упрек Сабины раззадорил судьбу. Ява верила, что именно в этот момент были предопределены ей и отнесены к женскому роду ее будущие дети: вслед за Марией родились Линда и Катарина.

Во время свадьбы Эвы Нестор в шуме и суете веселья очутился напротив своих трех маленьких сестричек. Девчушки стояли в ряд, на голове у каждой — венок из одуванчиков, Мария держала младших за руку. Три пары глаз с простодушной приветливостью глядели на Нестора. Нестор насмешливо скривил уголки губ. Отчего ему не понравились эти три девчушки в белых платьях, точно ангелочки? Что с того, что сшитые из простой льняной ткани платьица девочек выглядели неуклюже, — тонкое полотно пошло ведь в приданое Эве. Что вдруг нашло на парня, отчего он смешался — все дети одной семьи, вместе росли! И почему он попытался скрыть свою оторопь, скорчив девочкам рожу?

Дрожь охватила Яву — ну конечно, настал черед Нестора. Он и так долго медлил, у самого уже годы подходят идти в рекруты.

— Ну и войско женское, — произнес Нестор. — Всех их надо будет замуж выдать.

Ява пододвинулась поближе к сыну и заглянула ему прямо в глаза. Нет, на этот раз она не потупит взгляда, как было с другими. Пусть последний ребенок Якоба, который не помнил своего отца, выговорится начистоту.

Нестор не постеснялся и сказал:

— И наш отец мог бы поплясать на свадьбе у своей дочери.

Матис, который как раз втаскивал в избу скамьи,

остановился, по его сильным рукам пробежала судорога, словно за каждый палец его ужалила пчела. И тем не менее ухмылка не исчезла с лица Матиса.

Ява с ужасом подумала, что дети унаследовали злобу от нее, от своей матери. Почему она не смогла сдержаться, когда в то лето наводнения случайно вошла в комнату и увидела в сумерках Якоба, откусывающего от каравая большие куски? Почему позволила порыву гнева возыметь власть над собой? Ярость, как душный мешок, накрыла ее с головой. Яве пришлось пустить в ход руки, чтобы освободиться от удушья. Спешка простительна только при пожаре, когда нельзя просто так стоять, слушать тиканье часов и рассуждать с самим собой. Куда в тот поворотный момент жизни исчезла ее выдержка? Почему она не нашла в себе терпения подождать, покуда прояснится голова и остынет гнев?

Разве Якоб был виноват, что не мог противостоять голоду?

Людям прощались и бóльшие преступления.

Слова Нестора больно вонзились в душу Явы, слезы залили лицо. Испуганный Нестор сделал попытку отойти, он растерянно озирался вокруг, словно хотел крикнуть на помощь кого-либо из свадебных гостей. Ява ухватила сына за шею и не давала ему ступить ни шагу. В этот миг она хотела навсегда освободиться от своей муки. Уткнувшись лицом в грудь Нестора, она бормотала какие-то бессвязные слова, словно под рубахой у парня находился некто, имеющий право щадить или миловать.

Свадьба Эвы не принесла Яве большой радости. Гости горланили песни, плясали. Она же сидела и думала. Люди подходили утешить ее — они полагали, что матери жалко расставаться с дочерью. А Ява все время ломала голову над одним и тем же вопросом: должна ли она считать себя грешницей еще и потому, что народила столько детей от Матиса?

И все же Ява не относилась к числу тех, кого навсегда покинул бог. Какая-то необъяснимая сила обуздала Яву в тот момент, когда она повисла на шее у Нестора. Кто-то невидимый удержал ее, иначе бы Ява поддалась своей слабости. Одно неодолимое желание заставило ее задрожать: еще миг, и все услышали бы, как Ява уни-

жается и вымаливает прощение у своих детей, и тогда все бы поняли, что Ява публично принимает на себя вину в смерти Якоба. Но некая странная сила, подобно ангелу-хранителю, наложила печать на уста Явы. Бессвязное бормотание растворилось за пазухой Нестора, и никто — ни свой, ни чужой — ничего не понял.

В конце концов, Ява ведь и сама не знала — ее ли удары были причиной тому, что для Якоба так рано пробил погребальный колокол.

Яву до сих пор мучила эта глупая минутная слабость и слезы, которые она лила на шее у Нестора. Она знала, что, когда ее маленькие девочки в платьях из грубой пряжи повзрослеют, они тоже придут требовать у нее отчета. Ява ничуть не удивилась бы, спроси они однажды хором: так, значит, у нас не было права родиться на свет?

Таниель и Симон, может быть, сумеют промолчать — характер у них тихий, в Матиса пошли.

В ту осень, после смерти Якоба, когда все было затоплено водой, Ява не раз была почти готова поддаться страшному искушению. Она видела себя лезущей по крыше — на шее, привязанный веревкой, мешок с песком. Но прежде ей надлежало собрать последние силы и развести большой огонь в очаге. Изголодавшееся тело и истерзанный дух должны были еще многое смочь: дышащее дымом отверстие трубы надо было закрыть мешком — первая вьюшка в россаской избе была поставлена много лет спустя Матисом. Затем, — не поломав костей, спуститься с крыши и подпереть дверь изнутри толстой палкой, чтобы какой-нибудь случайный прохожий не напустил в избу воздуха. Ява должна была позаботиться, чтобы дети не проснулись, и до тех пор, покуда в голове оставалась последняя капля ясного ума, проследить, чтобы никто из них пятерых не покинул дом. А кроме того, припасти на столе чистую одежду для покойников.

Ява представляла себе, как жители деревни станут вывозить тела — ее и ее детей — из затопленной местности. Ослабевшие люди будут говорить злые слова и проклинать Яву. Об этой безумной женщине, что сперва убила мужа, а затем отравила себя и детей угарным газом, будут говорить еще десятилетиями. Кому-то всегда случится пройти мимо того места, где стоял россаский дом, — вот он и вспомнит старую историю.

Воспоминание о матери, которая, устав, легла под ель и навеки уснула там, удержало тогда Яву.

Одним беспросветным утром, когда все надежды были уже потеряны, Ява нашла под дверью мешок ячменной муки.

Вечером она сидела с детьми за столом, они уписывали за обе щеки горячую похлебку. У Явы в тарелку падали слезы, похлебка стала соленой, словно покойный Якоб стоял за спиной и сквозь пальцы сыпал соль на дымящуюся ложку.

Скрип двери заставил ее очнуться. Увидев жену Матиса, Ява постаралась преодолеть тупое одеревенение, побудившее ее без видимой причины лить слезы.

После тихого приветствия гостья, вместо того чтобы присесть на краешек скамьи, стала ходить по кухне и даже заглянула в горницу.

Яве казалось, будто она еще и сейчас слышит ее шлепающие по отсыревшему полу шаги.

Уголком глаза Ява заметила, как жена Матиса провела пальцем по закопченному боку котла. Помешалась она, что ли? Жена Матиса вынырнула из темного угла и подошла к столу, подняв палец, будто не черное пятно было на кончике пальца, а вожделенный цветок папоротника. Жена Матиса, прищурившись, стала смотреть на Яву. Ява крепче сжала в руке ложку, словно ей и в голову не пришло, что ведь это же не дубинка.

Вместе с тем в душе Явы поднялась странная жалость. Она даже не знала, кого и почему ей жаль, просто она чувствовала себя виноватой перед женой Матиса. Жена Матиса стояла тихо, не шевеля ни рукой, ни ногой. Похоже, у нее не было на уме злых мыслей.

Растерявшись, Ява со стуком положила ложку на стол, жена Матиса даже глазом не моргнула. Ява начала заталкивать под платок прядь выбившихся волос, она подозревала, что в ее темных волосах появилось немало седины, — давно уже ей не приходила мысль посмотреться в зеркало. Взгляд жены Матиса с особой тщательностью изучал лицо Явы, и Яве казалось, будто гостья тычет ей в лицо закопченным пальцем: темные пятна возникали одно за другим.

Ява ощущала себя старухой, которую разглядывают с тревогой и чей вид не вселяет добрых надежд.

— Мои дочери гонят Матиса из дому, — в конце концов заговорила жена Матиса. — Так поступят когда-нибудь и твои дети.

Собственная несообразительность удивила Яву. Невольно ее ладонь скользнула по затылку — словно бы долго длившийся голод выел ей часть головы, лишив ясного рассудка. Они же ели муку, принесенную Матисом! Значит, это не корчмарские притащили мешок и поставили его за дверью? Вот почему Якоб стоял у Явы за спиной и сыпал соль в ложку!

Жена Матиса ушла потихоньку, будто перепорхнула через пол, растопырив пальцы, подобно перьям крыла: чужая птица вылетела, дверь осталась открытой. Когда Ява спохватилась и глянула ей вслед, то увидела в четырехугольной раме Мирт — корова, расставив ноги, караулила за порогом и раздувала ноздри на запах муки.

Дети испугались, когда Ява, опустив ложку в миску, налила в ладонь горячей похлебки. Кожа не почувствовала боли. Ява осторожно, чтобы не расплескать содержимое ладони, встала из-за стола. Глаза Мирт указывали пошатывающейся хозяйке дорогу. Слава богу, обошлось. Ява обхватила Мирт за шею, и все в этом мире вновь обрело равновесие. Шершавый язык Мирт вылизывал Яве руку.

Когда осенью вода спала и мороз, покрыв лужи коркой, заметал их сверху снегом, из корчмы прибыл с возом сена отец.

Лежавшей в углу хлева Мирт поначалу давали сено лишь маленькими охапками, и вскоре она смогла уже подниматься на ноги. Она снова давала им ежедневную кружку молока, в которую дети по очереди макали ломоть хлеба. Небо не скупилось на снег, и вконец обтрепавшаяся крыша обрела таким образом теплую шапку.

В один февральский день вместе с облаком пара в дверь ввалился незнакомый мужик, даже не потрудившийся снять с головы лисью ушанку. Свет из очага падал на лицо мужчины, но длинный желтый мех свисал почти до самого кончика носа, и Ява не увидела глаз незнакомца. Лишь мелькомрот, кожу вокруг которого мужчина тер кончиками пальцев. И потому его странные слова дошли до Явы как бы из ниоткуда — рука у рта приглушила их, и, когда незнакомец ушел, Ява долго сомневалась, не дух ли какой привиделся ей.

Однако на следующий день, едва стемнело, Ява начала загодя собираться в дорогу. Она отыскала сапоги, оставшиеся от Якоба, вытащила несколько пар носков — надо было в стужу отшагать порядочный кусок. Платок из ягнячьей шерсти с длинной бахромой Ява решила повязать поверх других попроще. Когда она взвесила на руках полушубок Якоба, ей стало не по себе. Далеко ли она уйдет под этаким грузом?

Мороз все крепчал. Холодная ясная луна освещала заиндевевшие деревья. Мороз стрелял в бревнах стен, в очаге потрескивали поленья, а сердце Явы стучало от странного возбуждения. Невидимые часы, спрятанные в памяти, раскручивали назад прожитые годы. Снова был тот самый вечер, когда Ява, с головой закутавшись в шубу, выбежала из дверей корчмы прямо в сугробы. Потом Матис стоял в дверях конюшни, и над его плечами, подобно пышным летним облакам, синели сугробы.

Она не может не пойти. Незнакомец в лисьей шапке не мог быть призраком. Возможно, это был Матис, просто он спрятал глаза в мех и приложил руку ко рту, чтобы изменить голос?

Матис подал знак — все может начаться сначала.

Ты как ель, мысленно прошептала себе Ява и выпрямилась.

Она стояла в свете очага и смотрела на свои обутые в башмаки ноги. Она готова была прямо так бежать через снег к корчме, только накинула бы белую шаль. Никто не заметит ее меж сугробов. Длинная бахрома, развевающаяся на ветру, — не что иное, как летящий иней. Никто не увидит ее, никто не сможет никому прошептать: там мчится эта ведьма, вдова Якоба из Россы, та самая, что в пору наводнения убила мужа из-за краюхи хлеба.

Ява была в мыслях на заснеженных полях, когда Эва внезапно потянула ее за рукав. Следом за дочерью она пошла к постели, где спал Нестор, и услышала затрудненное дыхание ребенка. В темноте ничего не было видно. Ява вынесла ребенка на свет очага — лицо его горело, крошечный рот жадно ловил воздух, маленькие пальчики дрожали.

Сдернув с плеч платок с длинной белой бахромой, Ява закутала в него Нестора и с ребенком на руках села на чурбан. Эва, не дожидаясь приказа, подбросила в печь

новые поленья. Она поняла, что матери придется всю ночь сидеть перед печкой с Нестором на коленях и стеречь, чтобы болезнь не приняла плохой оборот.

На следующий день в деревне разнесся страшный слух: накануне вечером стая волков задрала невдалеке от корчмы мужчину с лошадью.

У Явы до сих пор каждый раз обрывалось сердце, когда она задним числом вспоминала тот день. Мужчина и лошадь! Только позже выяснилось, что то был не Матис.

Как ни редко болела Ява, но, если у нее появлялся жар, она видела всегда одну и ту же картину. Вместо неба перевернутый черный котел, Ява и Матис стоят вдвоем посреди поля, крепко обхватив друг друга. Голодные волки отрывают от них куски мяса. Скоро меж ребер двух скелетов засвистит черный ветер.

Порой Ява думала, что все ее поздние дети: Таниель, Симон, Мария, Линда, Катарина и даже покоящийся на кладбище маленький Матис — обязаны были своим появлением на свет Нестору, который когда-то давно, будучи совсем крошкой, сумел вовремя заболеть. Яве часто хотелось сказать своим детям от второго брака: берегите и лелейте Нестора, он был для всех вас счастливой звездой. Но Ява должна была держать это про себя. Стыдно говорить, что вдова с четырьмя детьми, как девчонка, собиралась бежать на свидание.

В этой многотрудной жизни не подобало долго оставаться молодой.

Ява никогда не рассказывала Матису о мужчине в лисьей шапке. Мало ли что могло померещиться человеку здесь, в Долине духов.

Матис просто взял и приехал в Юрьев день на своей лошади в Россу, — видно, так уж судьба порешила.

Несмотря на сомнения, Ява старалась внушить себе, что Матис именно из-за нее запряг в тот Юрьев день лошадь, погрузил в телегу потемневшие, стертые на углах ящики и щелкнул кнутом. Кому не хочется поскорее добраться до своей милой? Как-то Ява приподняла крышку одного из темных ящиков и увидела на внутренней стороне изображение длинноволосого ангела — до сих пор она и предполагать не могла, что у неуклюжего Матиса столь нежная душа.

Однако вскоре Яву взяло сомнение: большинство людей стараются держать и свою нежную душу, и свою тоску под замком. Едва ли такие тонкие вещи вообще могли быть причастны к суровым будням.

Почему Матис от одной вдовы прямиком помчался к другой? До ушей Явы тоже кое-что доходило: в деревне говорили, что мужья падчериц превратили жизнь Матиса в ад. И ему стало невмоготу там. Люди новых времен не очень-то годились для жизни под одной крышей, каждый хотел быть сам хозяином, жить особняком.

Как и Якоб, который начнет теперь вместо Явы и Матиса заправлять Россой.

Что ж, и Матисовы зятья стремились стать хозяевами. Ни для одного из них не оказалось места на родном хуторе — как и некогда Матису, — хозяевами там были старшие братья. А те, кто помоложе, должны были сами искать на свете счастья. Матис освободил для них место. Но почему он не мог пойти батраком в имение, чтобы немного подождать и оглядеться? Почему Матис сразу явился в Россу? Все обречено было повториться и здесь; здесь тоже подрастали дети другого мужчины, и неминуем был день, когда Матис окажется лишним.

Поначалу Ява никак не могла привыкнуть к Матису. Ей казалось, что мужнина борода пахнет предыдущей женой.

Прошло некоторое время, и весной, когда наступил перерыв в полевых работах, Ява и Матис сходили в церковь. Вскоре подошел и Иванов день, и молодая чета впервые появилась на людях, дети Якоба плелись в хвосте. Там от сведущих людей Ява узнала, что и она со своими детьми в очередной раз вызволила Матиса из когтей рекрутчины. Кто знает, пришел бы Матис в Россу, если б в ту пору над ним в течение еще двух лет не висела такая угроза!

Теперь времена изменились, и вдовы с детьми уже более не в цене у молодых мужчин. Жизнь стала привольней, эта малость, эти шесть лет, что приходится нынче солдату ходить под ружьем, — от этого тебя не убудет.

Вскоре после свадьбы Эвы призвали в солдаты Нестора. Парень пошел насвистывая, перекинув через плечо тощую котомку. Ява долго стояла в воротах и смотрела вслед сыну — счастливой звезде. Нестор помахивал

прутиком и сбивал с обочины дороги ромашки, будто хотел поломать и забыть все, что было связано с родным домом. Он шел вприпрыжку через Долину духов, он торопился, предвкушение будущих подвигов щекотало ему нервы. Ява не сомневалась, что спину парня прошибает сладкий озноб. Нестор всегда мечтал о ружье за спиной.

Что за кровь передал своим детям Якоб, что все они то и дело стремились прочь от своей избы и, не оглядываясь назад, оставляли дом! Кто знает, где сейчас Нестор? Диковинно — красные маковые поля какой далекой земли топчут его ноги? Быть может, Нестор уже успел насладиться запахом пороха, а быть может, как раз сейчас рвется в бой? Всегда находятся те, кто печется о том, чтобы какое-нибудь место на земле превратилось в новую Долину духов. На земном шаре, наверное, много таких полей, где дырявые черепа постепенно погружаются в землю, чтоб по прошествии времен подняться на поверхность и напомнить новым поколениям о минувших ужасах.

Может быть, и нельзя винить бешеную кровь Якоба и кипучую — Явы; может быть, туман Долины духов начинен каким-либо ядом? Разве не исключено, что он с малолетства проникает ребенку в мозг, и наступает день, когда человек перестает быть сам себе хозяином. В мире есть вещи, от которых по спине пробегают мурашки. Весной в тот год наводнения батраки в имении словно с ума посходили. И им в кровь проник пьянящий яд. Мужчины в часы сумерек часто собирались под деревьями на краю Долины духов и рассуждали. В Юрьев день они отправились делить помещичью землю. Пастор Эугениус попробовал было утихомирить и остановить их, но мужики словно обезумели, они без конца твердили, что дальше так жить нельзя.

У кого осенью достало сил отправиться по воде слушать слово божье, те узнали, что в наводнении повинны те самые бунтовщики, которые захотели захватить землю и поделить ее между собой.

А вот Матис был иным, он и телом и душой держался в стороне от битвы, чтобы не навлечь несчастья на себя и на других.

Какая польза была бы батракам, получи и подели они землю? Все лето напролет стояли бы они средь плещущей воды. Никакими силами не смогли бы они за-

крыть небесные люки и уберечь плодородную землю от затопления. Изо дня в день, от зари до зари, глазей на булькающую грязь, и ни один колосок не потянется навстречу небу.

Чем больше Ява размышляла об этих старых делах, тем печальней становилась и тем больше думала, что в свое время Матис пришел на помощь вдове с четырьмя детьми только затем, чтобы наверняка избежать злоключений с властями, чтобы были у него Росса и клочок земли, где пахать борозды.

Вероятно, дух Якоба отыскал сидящую на куче хвороста Яву и принес с собой пригоршню горькой соли, чтобы щедрой рукой посыпать ею мысли бывшей жены.

Ява удивилась — неужели очередь дошла до нее, неужели настал ее черед спросить у себя: почему ты убила своего первого мужа?

В эту самую минуту Ява хотела бы всех своих детей, всех до единого, собрать здесь, на этой пружинящей куче хвороста, обнять их — хоть рук и не хватило бы — и сказать: вы все должны быть. Это высший закон, крепче, чем закон бога и царя. Великой правде природы я повинуюсь безоговорочно.

А что касается ее душевных терзаний, то пусть о них знает она одна. Она сама виновата, что негожими мыслями подтачивает свою любовь.

Быть может, и в нее успел проникнуть яд Долины духов?

Человека и его поступки направляет судьба. Только трудно предвидеть, какой из твоих поступков совпадет с тем, что написано в книге судеб, а какой нет.

Когда пастор Эугениус умер, у людей был повод вспомнить о его раздорах с безземельными.

Можно предположить, что в свое время пастор поступил неправильно, удержав бунтующих мужиков. Иначе почему молния ударила в его свежую могилу? Кто раньше видел такое, чтобы накануне Юрьева дня молния раскаленным копьем вонзалась в землю и разворачивала ее! Молодой пастор, видимо, понял, что его отец в своей земной жизни что-то сделал не так, — не зря же сын без конца приходил к свежей могиле, чтобы в очередной раз осенить ее крестным знамением и прочитать молитву. Народ поговаривал, будто молния ударила так глубоко, что продолбила в земле ход до самого гроба —

из-под крышки донеслось злое урчание. Вечером в день похорон, до того как огненная стрела просверлила в земле дыру, бык с церковной мызы своим поведением показал, что душа хозяина, несмотря на земную смерть, не обрела покоя. Бык вырвался на свободу, стал носиться по деревне и бодать ворота. Кое-кто из жителей, подкравшись к окнам, якобы видел на спине быка черную фигуру.

Яве стало не по себе от мысли, что и она без конца меряется силами с судьбой. Она прижила от Матиса шестерых детей, однако все еще сомневается, был ли ее второй брак заключен для продолжения рода человеческого, или Матис залез в ее постель, чтобы одурачить власти. Ява почему-то думала, что человек поступает правильно только тогда, когда следует голосу своего сердца. Что заставило Яву усомниться в том, следовал ли Матис в отношении ее голосу своего сердца? Она не могла прямо упрекнуть в чем-то Матиса. Ей и самой становилось муторно, когда она порой ловила себя на том, что следит взглядом за Матисом. У Явы от страха застучало в висках, едва выяснилось, что Коби берет Россу себе. Не думалось ей, что пророчество первой жены Матиса так быстро сбудется. Человеческая жизнь коротка, как вспышка. Давно ли это было, когда Матиса выгнали из той семьи, и вот опять все его труды полетели прахом и жизнь зашла в тупик.

Ява не спала ночей, ее мучила мысль, что она обманула Матиса. Они сочетались браком не очертя голову, а скорее по обоюдному соглашению, и Ява казалась себе предательницей, нарушившей договор.

Матис отнесся ко всей истории с поразительной невозмутимостью. Но кто мог влезть ему в душу? Явино беспокойство порой перерастало в дикий страх. По утрам, когда мужу случалось встать раньше ее, она с бьющимся сердцем глядела из окна — вдруг Матис запрягает лошадь, чтобы свалить на телегу свои ящики с истершимися углами и впервые в жизни поехать туда, куда ему хочется. Он уже давно освободился от угрозы рекрутчины. Долго ли ему гнуть спину на благо вдовушкиных детей?

В такие минуты Ява как бы забывала, что у Матиса с ней целый полк кровных детей. Не могло же все в точности повториться, как с предыдущей вдовой. И все-таки

Ява не могла отделаться от мысли, что многолетняя усталость от чужих детей тяжелым камнем засела в душе Матиса. Редко попадается человек, у которого не было бы своего креста в жизни. Однажды наступает миг, когда чувствуешь — из-под груза надо выкарабкаться, чаша переполнилась. Хотя и говорят, что жизнь без страданий не имеет ценности, однако каждый стремится оставить трудности за спиной. Человек должен иметь право следовать своему внутреннему голосу. Это вечное стремление красной нитью проходит через все книги судеб. Сейчас жизнь полегчала, и потому проще стало следовать этому стремлению.

Ява хмыкнула.

Гляди-ка, мысли мечутся туда-сюда, и вот к чему они привели! Как будто Ява мечтала вернуть старые времена, когда человек был рабом помещика и все его шаги были заранее расписаны теми, кто распоряжается твоей судьбой. Куда тебя определили жить, там и должен был помереть.

Слава богу, что Матис решил строить дом здесь, на краю болота. Может, и Яве это место придется по сердцу. Впервые в жизни у них будет свой родной дом, срубленный собственными руками, откуда никто не сможет их выгнать. Своя изба, где воздух пахнет свободой.

Что касается земли, то они все же останутся зависимы от хутора Якоба. Если не сегодня-завтра Яве придется покинуть этот мир, Матис снова будет лишен каких бы то ни было прав. Снова на его воле и устремлениях будет поставлен крест.

Ява чувствовала, что она обязана долго жить. Уж коли судьба наградила ее такой сложной семьей, значит, сумей пронести светоч своей души через долгие годы так, чтобы он не затух. Она должна следить за тем, чтобы в большой семье не восторжествовала несправедливость, должна оберегать Матиса от возможных невзгод судьбы.

Но человеческое стремление — это одно, никогда нельзя знать наперед, что произойдет в действительности. Ведь вот у Алона все пошло вкривь и вкось. Он с самого начала поставил перед собой твердую цель — стать свободным и независимым. Он медлил с женитьбой и копил богатство, чтобы житейские бури не смогли впоследствии сокрушить его семью.

Коби был таким немногословным. Ява до сих пор не

знает подробностей смерти брата. К счастью, Коби, тогда еще совсем ребенок, и так проявил достаточно мужества — догадался привезти гроб с телом дяди в родные места. Душа Явы не нашла бы покоя, если бы тело Алона осталось на кладбище далекого города, среди чужих, и никто бы никогда не принес на его могилу ни единого живого цветка. Яве стало страшно, когда она узнала, что Алон отдал богу душу за столом корчмы. Насмешка судьбы: в гомоне корчмы родился, там и помрешь. А ведь Алон никогда не поклонялся зеленому змию, он, как и Ява, немало повидал в детстве всяких пьянчужек и пропойц, чтобы не захотеть уподобиться им. В миг смерти Алон якобы крепко держал за руку какого-то незнакомого русского, работавшего на бойне. Коби назвал его имя — Ява напрягла память — кажется, Ерем. Коби говорил, будто Ерем был врагом Алона. Как, наверное, страшен миг смерти, если, за неимением никого другого, ты вынужден при последнем вздохе держать за руку своего ненавистника и искать у него поддержки!

Алон был с честью похоронен. Однако у Явы все равно осталась мучительная тяжесть на душе. Неизвестно почему, но она думала, что, если бы вместо Коби помощником у брата был взрослый мужчина, Алон, возможно, вернулся бы домой целым и невредимым.

Коби не хочет подробнее рассказывать об этой истории. Ява знает лишь, что путь в Петербург был длинным и трудным. Неожиданно грянули лютые морозы и сбили все планы. Алону пришлось продать скот с убытком.

Этот непредвиденный убыток не должен был бы сломить Алона. После него осталось десять тысяч рублей. Целая куча денег. Яве трудно даже себе представить такое количество. Отец решил дела с наследством так: тысячу оставил себе, треть отдал Яве, а остальное своим двум младшим детям. Отец полагал, что Яве не нужны эти деньги, разумнее обеспечить молодых, вымостить им дорогу в будущее. Три тысячи рублей Ява разделила между десятью детьми — маленький Матис как раз должен был родиться на свет, и его тоже взяли в расчет. Кому доводилось раньше слышать, что неродившийся человек получает наследство, но отец хотел быть справедливым. Маленький Матис не был предназначен для счастья. Хиленький, каким он и появился на свет, Матис

вскоре стал болеть лихорадкой. Завещатель и наследник похоронены поблизости друг от друга.

Деньги, оставшиеся от маленького Матиса, перешли к Яве. Иначе на какие средства они бы ставили дом? Матис обещал потихоньку нарезать серпом ржи, будет хорошая солома для крыши.

Выходит, крошечный Матис не зря появился на свет, хотя жил совсем недолго, — он, как маленький добрый дух, помогает отцу и матери строить новое жилище.

Так почему же в сердце Явы закралось сомнение, когда они с Матисом пришли сегодня поглядеть на место их будущего дома?

Все давно решено.

А вот и Матис появился со стороны болота. Кочки под его ногами пружинят. Он движется так, будто хочет подпрыгнуть и взлететь. На лице, как всегда, ухмылка. Возвращается с Иудина острова такой радостный, словно побывал в далеком Питере и повидал золотые купола.

Может быть, жизнь в действительности гораздо проще, чем думает Ява?

Может быть, ум Явы испорчен тем, что она с детства без конца рвется читать? Матис с трудом подписывает свое имя, перо кажется слишком маленьким орудием в его лапище; для его руки в самый раз топор — тут он может показать свою сноровку.

Ухмыляющийся Матис останавливается перед Явой.

— Матис... — Ява смотрит в сторону и глубоко вздыхает, прежде чем продолжить. — Нет, верно, давайка посадим возле дома елку.

## 4

Полозья скрипели. Эва проснулась с бьющимся сердцем, приподнялась на постели и прислушалась. Сквозь завесу сна она не могла сообразить, откуда доносится этот режущий звук. Но когда за окном фыркнула лошадь, Эва немного успокоилась. Только что, во сне, огромное пламя, шипя и чадя, поднялось в небо.

Кругом царила кромешная тьма. Под железом полозьев жалобно поскуливал снег, и этому не было конца. Может быть, Иоханнес с возом объезжает дом вокруг? Только зря заставляет лошадь тянуть мешки с зерном — дорога на мельницу и так длинная. Чего он беспокоится? Дом-то не пустым остается. Да и от чего смогут уберечь эти три круга?

И все-таки, когда не стало слышно ни лошади, ни саней, Эва почувствовала в душе неприятный холодок.

Она легла на бок, свернулась клубком и натянула на голову одеяло. Попробовала вздремнуть. О скотине позаботится батрачка, а она, Эва, спокойно закроет глаза. Надо спать, сон возвращает здоровье.

Тишина вылетела из-под громоздкой крыши. Режущий звук просверлил бревна старого дома, закопошился в черных жердях и встряхнул пол — и теперь вся постройка трещала и скрипела, словно злобный старик, которого потревожили. Дрожь непонятного беспокойства перебралась по стенам и в хлев. Бык засопел, звонким голосом замычал теленок, — наверное, и животным снятся сны. Собака, спавшая на кухне, с шумом перевернулась на другой бок, в углу попискивали мыши. Должно быть, мороз очень сильный, раз собака не пошла провожать хозяина. Если на дворе стужа, значит, не вьюжит, и Иоханнес проберется через Долину духов без злоключений. Надо же — эти неприкаянные души и зимой не ведают сна, хотя земля и покрыта толстым снежным ковром. Прошлый раз, отправившись на мельницу, Иоханнес до самого вечера кружил по полю; правда, в тот раз бушевала сильная метель, так что на бровях вырастали сугробы. Когда муж наконец нашел ворота, он едва держался на ногах. Даже лошадь пошатывалась, и едва ее распрягли, как она со вздохом улеглась на свое место и поначалу даже пить не стала. Обнаружив, что в мешках вместо муки по-прежнему зерно, Эва вопросительно посмотрела на мужа. Иоханнес медлил с ответом, молчал, но затем все-таки набрался решимости и объявил, что передумал ехать на мельницу. Эва не отважилась рассмеяться, она знала, что Иоханнес ни за что не признается, что заблудился в Долине духов. А ведь это не его вина, случалось, что и другие путники, застигнутые темнотой, бесцельно плутали по этим местам. Еще хорошо, что никто из них не увяз вместе с лошадью в болоте.

Зимой, правда, болотные окна покрывались толстой коркой льда, но лучше все же было не блуждать поблизости от Адамова источника. Несколько лет тому назад Матис позвал мужиков из деревни, и они сообща, с помощью рычагов, положили огромный валун на то место, где вскипала вода. Через некоторое время отправились поглядеть, что там с этим камнем, — не тут-то было, вода по-прежнему бурлила. Могучая пробка, которой заткнули источник, съехала на сторону и наполовину исчезла под грязью.

Пытались свести счеты и с теми, кто в Долине духов сбивал людей с пути. Все только и делали, что нашептывали друг другу на ухо советы. В поселковой лавке даже кончился как-то перец, потому что на всех окрестных хуторах по вечерам только и делали, что крутили ручку перечных мельниц — да так, что ладони жгло. Однако стоило путнику швырнуть в темноту пригоршню перца, как духи, обитавшие в долине, почуяв запах, тут же отворачивали лицо. Иногда они нарочно за одну секунду меняли направление ветра в противоположную сторону, и едкая пыль попадала в глаза самого метателя перца.

По спине Эвы пробежали мурашки, тело снова заломило.

Иоханнес не успеет вернуться с мельницы до темноты. Однако чего ей тревожиться, в старину, когда велись большие войны, женщины не одну тысячу ночей терпели страх и одиночество. Им самим приходилось взваливать мешки на дровни и ехать на мельницу, если было вообще что везти.

Кучер из имения посоветовал вешать на шею лошади бубенцы, старый черт будто бы не переносит громкого бренчания и тогда держится от путника на почтительном расстоянии. Думает — вдруг господа едут. Народ в деревне смеялся: кто же станет своего подсиживать?! Болтали просто так, всякий вздор, чтобы не признаться в бедности. Растяпа тот человек, кто с трудом добытые деньги разбазаривает на всякую ерунду и швыряет на ветер рубли за звон бубенцов. К тому же рабочие лошади, если надеть на них звенящие воротники, могли и понести.

Но что верно, то верно — кучер никогда не сворачивал с дороги. Одним давним зимним вечером, когда свирепствовала пурга, кучер, звеня бубенцами, подъехал

прямо к ступенькам жилища Явы и Матиса. Мать рассказывала Эве, что у нее ноги подкосились, когда она вдруг услышала бубенцы. Дети и те мгновенно повскакали с постелей. Только крепко спящего Матиса пришлось трясти за плечо. Тот с испугу выскочил во двор в одних носках, даже сапоги не успел натянуть. Вся семья потеряла дар речи, когда Матис, ставший похожим на снежную бабу, вернулся в избу со свертком в руках. Все, конечно, бросились разматывать узел. Матис молчит, ни слова не говорит. В шубе и розовом одеяльце они нашли девочку месяцев двух. Если б волосы у нее не были как крученые золотые нити, кто знает, какие причитания и охи поднялись бы подобно облаку к потолку. Хотя причин для слез было предостаточно. Нестор, этот олух, прежде чем уйти в солдатчину, сделал ребенка одной девчонке, служившей в имении. Едва та успела произвести на свет младенца, как захворала. Вместе с ребенком кучер принес в дом печальное известие — та девушка умерла, так кому же еще заботиться о беззащитной крошке, как не родной бабушке.

Нестор опередил Эву. Когда у Эвы один за другим родились дети, Ява уже успела свыкнуться с ролью бабушки.

Деревенские жалели Яву — мало, что ли, в доме своих ртов? И стали в Медной деревне ворошить недавнее прошлое, обсуждали, подсчитывали и так и этак, на самом ли деле эта крошка дочь Нестора. Почему-то никто не хотел верить, что Нестор бросил брюхатую девушку. А может, парень бежал под ружье, чтобы его не назвали отцом-кукушкой.

Обитателей же баньки так умилило появление золотоволосой девочки, будто к ним снизошел живой ангелочек. Всю ночь они не ложились спать, жгли керосин и думали, как назвать малютку. Под утро пришли к единодушному решению: Хелин [1].

Эве тоже понравилось это имя. Никто из деревенских детей не возвещал о своем появлении серебряным звоном бубенцов. Раз уж брошенной Нестором девушке суждено было помереть, то кончина ее пришлась в самый подходящий момент. Если только вообще уместно так говорить о несчастье. Ява как раз кормила маленького Яака, хва-

[1] Звон.

тит молока и для Хелин. На следующий день пурга унялась, Матис побрел по глубокому снегу в Виллаку рассказать обо всем Эве и позвать ее поглядеть на ребенка. Эва закуталась в шубу и отправилась вместе с Матисом. Стоило поглядеть на это зрелище: Ява, блаженно улыбаясь, сидела на краю постели, подле нее болтали ножками дети, в доме было жарко натоплено. Смотри, впервые в жизни у меня двойняшки, похвасталась Ява. Вот не думала, что число детишек у меня перевалит за десяток.

Младшая сестра Эвы, Сабина, служила тогда первый год в имении. Ей повезло, она попала на работу в пекарню. По субботам, возвращаясь домой, она приносила с собой буханку хлеба. Наведываясь к Эве, Сабина постоянно сетовала, что ей стыдно таскать из имения хлеб под полой. Но она чувствовала, что обязана помогать: семья, обитавшая в баньке, наворачивала, как полк солдат. Как будешь смотреть на их голодные рты?

Само собой, что лучшие куски шли детям, Ява же довольствовалась самой малостью. С чего бы она иначе день ото дня худела, хотя на здоровье не жаловалась. А может, ее грызла тревога из-за Яака? Ява никогда ни на что не роптала и умела хранить тайны даже от своих детей. Надо же, чтобы с ее последним ребенком случилась такая беда. Тут, какое бы счастье тебе ни привалило, равновесия все равно не установишь.

Тело Эвы снова пронзила боль, и внезапно ею овладела глубокая грусть. Если человек насквозь хилый, как она, его уже ничего хорошего в этом мире не ждет. Эва не отваживалась рассказывать Иоханнесу о своих бедах. Она не могла отнимать у мужа надежду. Иоханнес не раз заводил разговор о том, что семья у них маленькая. Он, Иоханнес, стареет, а помощников не прибавляется. По мнению Эвы, Иоханнес был сильный как медведь, не каждый мужчина с такой легкостью поднимет и перенесет мешок с зерном из амбара на сани. А если кто жаловался на усталость, то Иоханнес говорил, что слово это выдумали лентяи.

Даже Эва не решалась говорить с ним о своей все учащающейся слабости. Она старалась подкопить сил, когда Иоханнеса не бывало дома. Потому и ждала, чтобы он снова запряг лошадь и отправился в дальний путь — на ярмарку со льном, к кузнецу, на лесоповал либо во-

зить щебенку. Как ни странно, но стоило только Иоханнесу выйти из ворот Виллаку, как Эва начинала ждать его возвращения. Вероятно, Иоханнес догадывался, что сил и здоровья у жены маловато, не зря он всегда спешил домой, а уезжая, чертил вокруг избы знаки, предостерегающие от несчастья. Эва старалась честь по чести выполнять все обязанности по дому и только сжимала зубы, когда начинался приступ боли; но глаз у Иоханнеса был зоркий, и обмануть его было трудно.

Иоханнес был уже не молод, когда они с Эвой поженились. Он долго взвешивал, прежде чем сделать выбор. Придя свататься, он прямо взглянул на Яву и сказал — мол, какова мать, такова и дочь: я беру жену наверняка. Иоханнес глубоко уважал Яву. Он мрачнел, когда кто-нибудь из деревенских кривил рот в усмешке и говорил, что для Явиных детей надо бы застолбить еще одну волость. Это был излюбленный разговор в этих краях — откуда, мол, у Явы берутся силы; одного мужа угробила, тотчас же нашла другого и только и делает, что рожает — ни возраст, ничто иное ей не помеха.

Теперь веренице детей у Явы настал конец. Яак — последний, даже у Явы силы и молодость не вечны.

Было еще и другое обстоятельство, склонившее Иоханнеса остановить свой выбор на Эве. Кто знает, задержался бы взгляд добропорядочного хозяина на Эве, не будь у Явы ее знаменитого брата Алона. Славный и предприимчивый род — не раз говорил Иоханнес и после свадьбы. Да и дядино наследство тоже сыграло здесь роль. Триста рублей были, конечно, не бог весть каким состоянием, но Ява и Матис дали еще и телку, это была хорошая корова, потомок Мирт, она давала много молока, характер имела смирный и большей частью приносила телочек.

Такой человек, как я, не гонится за легкими деньгами, заверил Иоханнес, сватаясь к Эве. Но три сотенные придутся весьма кстати. Иоханнес хочет как можно скорее выкупить хутор, хотя по договору срок последнего взноса истекает лишь в двадцать втором году следующего столетия. Бог мой, какой долгий отрезок времени. У других сроки договоров кончаются в еще более далеком будущем. Иоханнес был первым в деревне, кто сумел отказаться от аренды.

У Эвы начинает гудеть голова, как только она пытается представить себе, как будет выглядеть этот двадцать второй год. Деревья вокруг дома станут, вероятно, наполовину выше, это ясно. А что еще? Ей, Эве, минет к тому времени — она посчитала, прибегнув к помощи пальцев, — шестьдесят три года! На одиннадцать лет больше, чем сейчас Яве. А Иоханнес? Ему пойдет уже семьдесят пятый — ту дюжину, что разделяет Эву с Иоханнесом, никуда не денешь.

После долгих подсчетов Эва вспомнила, что именно сегодня ей исполняется тридцать один год. Не так уж много, а у нее все внутри болит, едва ли такая хворая, как она, дотянет до шестидесяти трех.

Грусть сдавила ей сердце, и она мысленно согласилась с Иоханнесом — да, чем раньше выкупить хутор, тем лучше. Ведь и Эва мечтала своими глазами увидеть, как идет жизнь на собственном хуторе. Иоханнесу больше не придется откладывать деньги в глиняную кубышку, спрятанную на полу кухни под камнем. Вот, смотри, показал он Эве после свадьбы свой тайник. Твое приданое — три сотенные идут к моим. Теперь мы с тобой одно, и деньги у нас общие. Несмотря на это утверждение, Эва никогда не осмеливалась самовольно взять из глиняной кубышки хотя бы копейку. У Иоханнеса была большая цель, он знал, ради чего гнул спину и копил деньги. Не то чтобы муж наложил на них запрет, просто цель Иоханнеса в глазах Эвы была священной. Может быть, только неотложные траты на детей заставили бы Эву отвалить камень. И пусть умные доктора из города и умеют снимать боль, она, Эва, сама будет бороться с болезнью. Даже в тот далекий год наводнения она нашла поддержку в мудрой поговорке: кто терпит, тот будет долго жить.

Порой, когда ей становилось совсем невмоготу, она шла за помощью к Яве. Кто в прежние времена, когда еще была жива ее бабушка, корчмарка, ходил по врачам! В те времена собирали всевозможные коренья, листья и цветы, приготовляли из них мази и настои — и тоже одолевали болезнь. Люди до сих пор вспоминают чудесную бабушкину мудрость. Эве было приятно слышать рассказы об этом, хотя она никогда в жизни бабушки не видела. Ява в детстве все же кое-что намотала себе на ус. Она и теперь испытывает неистребимый интерес ко всякого рода способам лечения. И в церковь ходит не ради

того, чтобы послушать слово божье, а норовит встретиться там с женой кистера. Они между собой обсуждают действие всяких трав, и жена кистера иной раз разрешает Яве заглянуть в ее книгу про врачевание на дому.

Эва и почаще бы ходила в баньку за помощью, если б не совестилась признаваться в своих хворях. Ну, а уж когда она идет туда, на болото, то всегда берет с собой для матери корзину яиц. Словно для того, чтобы не слишком ее расспрашивали и чтоб о болезни говорить только самое необходимое. В доме полно ребятишек, окружат ее со всех сторон и, раскрыв рты, начнут слушать. И вскоре по всей деревне пойдет разговор, что хилая Эва всеми правдами и неправдами умудрилась стать хозяйкой Виллаку.

Иной раз Эва удивляется — до чего же ее когда-то тянуло из дома, а теперь она только бы и сидела в баньке среди своих. Даже и детям Эвы передалась эта ее привязанность. Когда Эва, взяв корзинку с яйцами, собирается в дорогу, Вийда и Наан хватают ее за подол юбки и начинают клянчить, мол, возьми нас с собой. Им нравится резвиться с явиными детьми. Старый Матис тоже, бывало, придет с поля на обед веселый, забудет про еду и начинает таскать всех ребятишек по очереди на закорках. Кружит по двору, фыркает, как лошадь, никакая усталость его не берет, как и Иоханнеса. Дети визжат и хохочут до упаду.

Иоханнесу не по душе, что Эва с детьми ходит в баньку. Эва не понимает: почему? Ведь Иоханнес уважает Яву, даже о распутном Несторе никогда плохого слова не сказал. Летом всегда зовет Матиса поработать у него поденно и не нахвалится — дескать, этот человек в любой работе помощник что надо.

Человек должен корнями прирасти к своему дому, заметил однажды Иоханнес.

Иногда Эве кажется, что Иоханнес чересчур уж возвеличивает хутор Виллаку, словно это оплот древних эстов. Что ж, доля истины в этом есть, в какой-то мере Иоханнес прав, более двухсот лет эта земля находилась в руках одной семьи. Более двухсот лет хозяйки Виллаку рожали крепких сыновей, которые, несмотря ни на что, были в состоянии держать хутор в своих руках. Другие семьи без конца кочевали с места на место, постоянно что-нибудь да мешало им сохранить родовую преемствен-

ность — то болезнь, то смерть, то рождались слабые сыновья: вот и приходилось все время страшиться Юрьева дня. Помещик — ему что, он гнал слабых и отдавал хутор в руки людей более жизнеспособных. Может быть, Иоханнес потому и хочет поскорее выкупить Виллаку, что не верит в своего сына, не видит в нем той силы, что сумела бы без опоры на имущество противостоять житейским бурям. По мнению Эвы, считать своего кровного сына таким немощным было немного несправедливо. Парень еще маленький, вырастет — окрепнет. Эва всегда накладывает Наану мясо пожирнее и велит пить парное молоко. А Вийде лучше и не предлагать жирной пищи, девочка без конца воротит нос: ей подавай одно варенье. Что касается Эвы, то она давала бы дочери столько сладкого, сколько та хочет, пусть бы вволю наелась, но Иоханнес встает на дыбы, когда видит такое баловство. Муж режет хлеб на толстые ломти, кладет их перед детьми и велит есть. Дети его боятся, Вийда ест, глаза от напряжения выпучены, смотреть неприятно. Съев, прячется за шкаф и всхлипывает там, Наан норовит хитростью отбояриться от еды, старается улучить подходящий момент, чтобы вылить молоко в миску — кошке или собаке. Эва рассказывала детям про год наводнения, когда она с братом и сестрой стояла на дожде и ждала Мирт. Умная корова, словно судно, шла по воде к дому, неся в своем вымени голодной семье кружку молока. У Эвы на глазах наворачивались слезы, когда она вспоминала это трудное время. Порой молока бывало так мало, что удавалось лишь разок обмакнуть в него кусочек мякинного хлеба — и как только у них душа в теле держалась?

Вийда и Наан не желают слушать эти старые истории голодных лет, они без конца ерзают и ждут, когда Эва кончит рассказывать. Поучительные истории прошлого ни на йоту не улучшают их аппетита. Эву иной раз брала злость: что, если взять и парочку дней не покормить их. Поняли бы тогда, что значит кусок хлеба!

Как-то сидя за столом и наблюдая за кривлянием Наана, Иоханнес прямо сказал, что, по крайней мере, еще хоть один сын должен быть в доме. Случись, что из этого единственного толку не получится, кто станет тогда хозяином хутора и продолжателем рода!

Эва, правда, считала, что если ребенка как следует кормить и холить, то вырастет он сильным и живучим. Не существует такого ребенка, с которым не было бы никаких хлопот и забот. Как Эва ни старалась утешить себя подобными мыслями, тревога, что у нее мало детей, висела над ней, точно проклятие. Время от времени Эва с дрожью в сердце поглядывала на мужа, когда тот, сидя по вечерам за столом, откладывал в сторону свои подсчеты и погружался в раздумья. Иной раз поздно вечером он уходил в другую комнату поболтать с Роози — Эва не имела понятия, о чем так долго беседовали между собой брат и сестра.

До сих пор у Эвы не было причин для жалоб, Иоханнес проявил себя человеком прямым и открытым, — но ведь кому дано заглянуть в душу другому? Тревога за будущее Виллаку могла склонить хозяина к суровому решению. Обстоятельства не всегда позволяли поступать в соответствии с душевной добротой. К тому же все привыкли считаться с внешним принуждением: вечно за спиной стояли кто-то или что-то и погоняли.

Впоследствии правда окажется на стороне Иоханнеса. Почти пять лет он ждал третьего ребенка. Эве уже давно было ясно, что надеяться больше не на что.

Как раз пять лет тому назад, когда Наан начал делать первые шаги, Эве по ночам стал чудиться скрип телеги. Она просыпалась от этого звука, настораживалась и, успокоившись, снова засыпала. В ту пору сон еще возвращался к ней, не то что теперь, когда до самого утра ворочаешься, не в силах сомкнуть веки. Эва думала, что неприкаянные души Долины духов ночами шныряют по полю — иной хозяин из округи находил свою телегу где-нибудь за хлевом, в зарослях крапивы, где даже самый разгильдяйский из батраков не смог бы ее оставить.

Старые бревенчатые стены Виллакуского хутора казались Эве надежными, сквозь них не могла проникнуть беда.

Но однажды ранним утром шум неожиданно усилился. Скрип послышался за домом, пронесся под окнами, нырнул под навес хлева и на мгновение словно канул там. Эва затаила дыхание: оси прямо-таки визжали, когда чужая телега заворачивала во двор. Только-только начало светать — с таким грузом и не подобало бы ехать под солнцем, на виду у всей деревни. На перекладинах на-

возной телеги, покрытых соломой, стонала и охала Роози. Иоханнес вскочил с постели и бросился во двор — его смертельно бледное от негодования лицо стало одного цвета с нижним бельем: хозяйскую дочь Виллаку, коли уж она заболела, можно было бы доставить домой и более достойным образом. Там, на хуторе в соседней деревне, где служила Роози, проживали знакомые люди. Так неужто сам хозяин не мог проводить Роози? Один только пентюх батрак, словно истукан, стоял посреди двора, рядом с лошадью, и держал в руках вожжи; он нагло сообщил, что его хозяева приказали убрать от них Роози. Перепуганная Эва с ужасом следила за Иоханнесом, который медленно сжимал кулаки и глядел по сторонам, ища дубинку. Эва успокаивающе положила руку на плечо мужа — первым делом надо было позаботиться о больной.

Роози начала пронзительно кричать, когда Иоханнес захотел поднять ее на руки, чтобы отнести в постель.

— Надо переложить на доску, — не разжимая рта, посоветовал батрак, — у нее, кажется, с позвоночником что-то неладно.

Тогда они притащили из избы длинную скамью, както переложили на нее Роози и привязали вожжами, чтобы больная не соскользнула, когда ее будут нести.

Батрак глядел в сторону и морщился, когда Эва и Иоханнес вдвоем суетились вокруг Роози, — помочь он не соизволил. Едва телега освободилась от груза, как мужик стал разворачивать лошадь, чтобы выехать на своей скрипучей повозке за ворота. Иоханнесу пришлось побежать за батраком — он хотел расспросить его, что стряслось.

Скоро вся деревня знала о том, что приключилось с Роози. Батрак оказался не так уж скуп на разговор, как можно было подумать вначале, когда он стоял на дворе Виллаку.

У Роози появилась скверная привычка забираться с хозяином на сеновал. Оба словно с ума сошли. Плотские страсти помрачили им рассудок. Стоило хозяйке накинуть на калитку обруч с наружной стороны, как Роози и хозяин спешили воспользоваться этим. Однако на хуторе нашлись преданные глаза, хотя бы те же девчонки, сводные сестры самого хозяина Юстина и Леэни, — и вскоре хозяйка узнала, какие мерзопакост-

ные дела творятся на хуторе. И тогда она стала подстерегать случай, чтобы поймать виновных с поличным. Как-то раз она сделала вид, будто ушла из дома, на самом же деле, улучив момент, полезла по лестнице наверх и накрыла зарывшихся в сено Роози и хозяина. Вне себя от гнева хозяйка скинула Роози с сеновала. Волею судьбы девушка упала на камень — единственный на всем хуторском дворе.

Иоханнес привез из поселка лекаря. Но тот ничем не смог помочь, он лишь унял боль в спине. Встать на ноги Роози уже никогда не сможет.

Впоследствии Эва не раз кляла себя за несообразительность. Скрип телеги заблаговременно извещал ее о несчастье, почему она не сумела понять этого! Бесчувственная и глупая, ругала себя Эва. Она должна была сама, пусть хоть глубокой ночью, бежать через Долину духов в соседнюю деревню и забрать оттуда Роози домой, даже если б пришлось тянуть эту похотливую девчонку на привязи. Только б не случилось этой страшной беды.

Эва считала, что люди измельчали и стали более поверхностными. Утеряна мудрость прародительниц. Эва не слыхала, чтоб в былые времена случались такие жуткие истории, люди умели внимать предчувствиям.

Уже пять лет каждое утро Роози приходилось поднимать с кровати, сажать на стул и подносить ей ковш с водой, чтобы она ополоснула лицо и руки. Если б Роози могла хоть чуть-чуть наклоняться, чтобы вода не стекала ей с груди вниз. Без конца надо было менять ей перепачканные рубахи. Да и множество других трудностей незаметно прокралось на Виллаку в то утро, когда Роози, точно привязанную к скамье для порки, внесли в дом.

Ведь Роози была еще молодой женщиной, лишь на несколько лет старше Эвы. Какие муки должна была претерпевать ее бедная душа — вечно приходилось зависеть от кого-то, ни жизни, ни радости. Слава богу, что хоть руки у нее двигались. Роози только и делала, что шевелила спицами. Длинные зимние вечера уходили у Эвы только на то, чтобы прясть и сучить для Роози шерсть. Одна беда — из-под пальцев Роози с каждым годом выходили все более странные носки. Поначалу Роози вязала вполне пригодные носки, затем ей это надоело. Она сказала, что мысли у нее длиннее, чем носки.

Мысли у Роози становились все длиннее и длиннее, и вместо обычных носков она стала вязать теперь такие чулки, в которых мог полностью уместиться черенок от вил. Ступни — большущие, впору здоровенному мужику, а сами чулки узенькие-преузенькие, разве что тщедушному ребенку сгодятся. Скоро целый мешок из-под картофеля был полон негодных чулок, связанных Роози, семье же зимой нечего было надеть на ноги. Тогда Эва выуживала со дна мешка чулки, связанные в минувшем году, распускала нитки и вязала заново. Это приходилось делать тайком, чтобы Роози, случаем, не увидела, как уничтожается ее работа. Она так любила похвалиться перед деревенскими бабами — дескать, без нее все виллакуские ходили бы босые, зимой за порог было бы не выйти. Ну как лишишь человека его единственной радости? Эва даже Яве не признавалась, что все Роозины вязания шли прахом.

Желания Роози становились все более странными. Она говорила, — дескать, не в старое время живем, чтобы носить мрачные серые цвета. Эве пришлось продать черных овец, а летом выбеливать шерсть на солнце, чтобы выкрасить ее потом в ярко-красный. Лавочник из поселка то и дело заказывал в городе красную краску, поскольку виллакуские покупали ее пачками.

Когда Роози в свое время с помощью доктора оправилась настолько, что могла сидеть на стуле, Иоханнес и Эва почувствовали было облегчение. Человек словно вернулся к жизни. Они стали придвигать больную вместе со стулом к окну — всегда кто-то проходил или ехал по полю, было на что посмотреть. Иоханнес, который днем заходил в избу лишь пообедать, помогал перенести Роози к столу. Ничего, как-нибудь справимся, утешала себя Эва. Время шло, и сидение на одном месте стало надоедать Роози. Деревенские ребятишки, которые иной раз собирались под окном и, переминаясь с ноги на ногу, не в силах побороть любопытство, смотрели на бледное лицо больной, тоже досаждали Роози. Дети показывали на больную пальцем, шептали что-то друг другу на ухо, кто-то смеялся, и Роози воспринимала это как издевательство. Однажды Роози вышла из себя, стала громко плакать и приказала Эве тотчас же перенести ее за шкаф. У Эвы чуть руки не отвалились, когда ей наконец удалось оторвать стул вместе с больной от пола.

Шатаясь под тяжестью ноши, она все же добралась до угла, где в зашкафной темноте Роози рассчитывала обрести покой.

Вскоре Роози удалось преодолеть плохое настроение, и Эве снова пришлось таскать стул с больной с места на место. Теперь Роози захотелось быть у плиты, у нее появилась страсть к стряпанию, рука сама собой тянулась вперед, чтобы пододвинуть сковородку или приподнять крышку котла. Однако никакой пользы в этом деле от нее не было, и Роози не оставалось ничего иного, как наблюдать за действиями Эвы. Взгляд больной был прикован к рукам Эвы, и Эва думала, как, вероятно, трудно было в старину работать в имении под надзором погонялы. Пальцы Эвы под взглядом Роози становились деревянными, ложки и кружки норовили выскользнуть из рук и упасть. Неловкость Эвы забавляла Роози. У тебя руки словно из теста слеплены, без костей, смеялась она.

Иногда Иоханнес помогал вынести Роози утром во двор. Свежий воздух полезен каждому больному. От человека, если он не видит солнца, начинает нести затхлостью.

Не дай бог, если в этот день начинал накрапывать дождь.

Утрамбованный кусочек земли возле крыльца тотчас же становился скользким, как в гололедицу. Ступеньки, по которым Эва обычно с такой легкостью взбегала и спускалась, теперь вырастали в стену, через которую было почти невозможно перенести Роози так, чтобы ее неподвижные ноги не зацепились за край ступеньки. Каменные плиты в сенях со временем осели, завалились, и Эва, стонущая под тяжестью ноши, вынуждена была очень медленно, по пядям, продвигаться вперед, чтобы не упасть.

Роози стала до того зябкой, что случись ей чуть-чуть промокнуть под теплым летним дождиком, как она начинала дрожать, как в лихорадке, зуб на зуб не попадал, сразу же приказывала затопить плиту. Эве приходилось придвигать стул к самому очагу. Однажды раскаленный уголек упал Роози на ногу и прожег чулок. Роози пронзительно взвизгнула. После Эва смазала обожженное место свиным жиром, однако оно все же вздулось, стало гноиться и никак не хотело заживать. Ява не раз

приходила на Виллаку, чтобы приложить к ноге Роози травы и сделать перевязку.

Поднимать Роози становилось для Эвы с каждым разом все непосильней. Больная отнюдь не была перышком — дунь, и поднимется в воздух. Роози вместе со стулом весила больше, чем мешок соли. Чем чаще Эва перетаскивала Роози из одного угла в другой, тем тяжелее, казалось, она становилась. Порой у Эвы появлялось ощущение, будто руки у нее вытянулись и пальцы висят где-то на уровне икр.

Тем не менее Эва без конца поднимала и поднимала ее. У обремененного работой Иоханнеса редко выдавалась свободная минута, чтобы помочь жене. Однажды Эва набралась храбрости и спросила мужа — нельзя ли, чтобы о Роози заботилась девушка-служанка, а сама Эва будет ухаживать за скотиной и помогать в поле. Иоханнес оперся ладонями о стол, вздохнул и долго молчал, теребя узловатые пальцы. В этот вечер Эва так и не услышала решения мужа. На следующее утро Иоханнес коротко сообщил, что Роози, как хозяйскую дочь, не подобает оставлять на попечение чужого человека.

Ни летом, ни зимой Эва не выбиралась из дома. Лишь на минутку выходила она за порог, когда надо было принести ведро воды из колодца. Постепенно запах балок старого дома впитался в одежду Эвы. Временами ей казалось, что и сама она одна из этих балок, расположенных где-то в нижнем ряду, верхние же венцы давят на нее, и ей никак не выбраться наружу.

Может, Эва вздремнула и темные стены ей приснились? Голова ее устала от рассказов Роози, теперь ей и самой начинает мерещиться всякая всячина. Давно ли это было, когда Роози в полдень вздремнула на стуле, голова ее склонилась на плечо, спицы выскользнули из рук на пол. Тут же она выпрямила шею, в ее широко раскрытых глазах читался ужас.

— Эва, — едва слышно позвала она, — подойди, взгляни — не утащило ли это колесо мои ноги?

Уже не первый раз Роози видела во сне огромное колесо, которое катилось со стороны болота так, что с треском ломались деревья и кусты. По словам Роози, колесо катилось прямо на Виллаку и разрезало дом напополам, как буханку хлеба, и, поскольку Роози не могла убежать и спрятаться от устрашающего диска, он отсекал ей ноги.

В таких случаях Эве приходилось долго и терпеливо успокаивать Роози. Ей приходилось садиться перед Роози на корточки, заворачивать ей юбку кверху и по одной приподнимать омертвевшие ноги, чтобы Роози могла увидеть свои икры и ступни. Эва с ужасом замечала, что ноги Роози усыхали и становились все тоньше. Если б спина больной каким-то чудом и стала здоровой, то эти ножки-палочки все равно не смогли бы держать тело.

Видения Роози пугали Эву. Кто знает, какое несчастье предвещало Виллаку это колесо. Она жалела, что у нее нет дара угадывать предзнаменования.

Однако рассказ Роози о колесе навел Эву на одну мысль. Она стала с интересом разглядывать стулья и скамейки. Оставаясь одна в комнате, она переворачивала иные сиденья низом вверх и изучала ножки. И надо ж им быть такими тонкими! Как сделать так, чтобы у каждой ножки было маленькое колесико? Жизнь у Эвы полегчала бы, она возила бы Роози по комнате, даже если б той вздумалось хоть десять раз на дню прокатиться от шкафа к окну. Может, и кошмарные боли внутри со временем бы исчезли, если б не пришлось больше перетаскивать Роози вместе со стулом с места на место.

Смутная мечта о маленьких колесиках словно вселила в Эву новую веру в жизнь. Удивительно, что для счастья вовсе и не требовалось чего-то большого, необъятного, бесконечного, не требовалось ни мачтового леса, ни господской усадьбы, всего-навсего лишь четыре маленьких, с дзиньканьем катящихся колесика. Так же как для счастья Роози не требовалось ничего, кроме ног, которые держали бы ее тело и могли отходить зараз хотя бы четверть версты.

Мысль о четырех маленьких колесиках так разрослась, что уже не умещалась в сознании Эвы. Доведись этой мечте сбыться, Эва могла бы начать ждать дня, когда в семье Виллаков на радость Иоханнесу родится еще один сын.

Четырех маленьких колес хватило бы, чтобы откатить прочь груз забот.

Однако радостные мысли, от которых она прямо-таки пьянела, приходили лишь на мгновение. Крошечные колесики Матис смог бы вырезать ножом, но как закрепить их к ножкам стула? Страшно представить, если вдруг

колесики одно за другим станут ломаться и отскакивать от ножек стула! Стул кренится, Роози зовет на помощь, упаси бог, если вдруг соскользнет на пол и повредит себе еще что-нибудь. Иоханнес рассвирепел бы: ты, Эва, хочешь облегчить себе жизнь, ты совсем не думаешь, как страдает несчастная Роози. Нет, никакие колеса не выдержат тяжести Роози; хотя ноги у нее — кожа да кости, телом она все время полнеет. За обедом Роози наворачивает, как мужик, и, оправдывая свой аппетит, говорит, что хоть одно удовольствие должно быть в этой жизни у человека.

Но все-таки что-то ведь должно означать это мчащееся на Виллаку огромное колесо!

Однако не каждому событию предшествовали предзнаменования — в этом Эва тоже убедилась.

В прошлом году перед рождеством выпало много снега. Быть может, толстый белый ковер похоронил под собой все таинственные шорохи, скрипы, карканье и шумы? Почему никто из жителей Медной деревни не сумел предугадать надвигающегося несчастья?

Потом-то умных много. Одна старуха поведала о том, что их петух уронил посреди кухни черное перо из хвоста. Перо своим концом указывало в сторону Россы. Очевидно, старуха сама размахивала метлой, подметая пол перед рождеством, и перо вылетело через устье очага во двор. На том предзнаменование и позабылось.

Якоб много лет подряд один управлялся с хуторским хозяйством — батрак с батрачкой в подмогу. Кто знает почему, но он медлил с женитьбой. Ява и Матис уже давно жили со своими детьми в баньке на краю болота. Никто не стоял у Якоба поперек дороги и не оспаривал его прав.

Хотя Иоханнес и сильно опередил хозяина Россы с договором на покупку хутора, но и значительно более молодой Якоб был не из слабого десятка. Несколько лет тому назад и он расписался под важной бумагой. Тоже решил откупить хутор — Росса должна была стать собственностью Якоба и его потомков. Однако что касается матери его будущих детей, тут Якоб еще не принял решения. Жители Медной деревни диву давались, как это Якоб до сих пор не обзавелся помощницей — пара молодых крепких рук пришлась бы ему весьма кстати, не

надо было бы держать работницу и платить ей жалованье.

Неизвестно, то ли подействовали разговоры жителей деревни и на сердце у Якоба защемило, то ли ему стало тоскливо жить без спутницы, — во всяком случае, он решил на рождество распрощаться с холостяцкой жизнью. Так, как Якоб, никто раньше в этих краях невесту не выбирал. Он созвал полволости девиц и сколько-то парней — разбавить общество. В россаской избе гостей ждала бочка пива. Якоб зарезал свинью, и девушка-работница целый день возилась со свиными кишками, настряпав несметное количество кровяной колбасы.

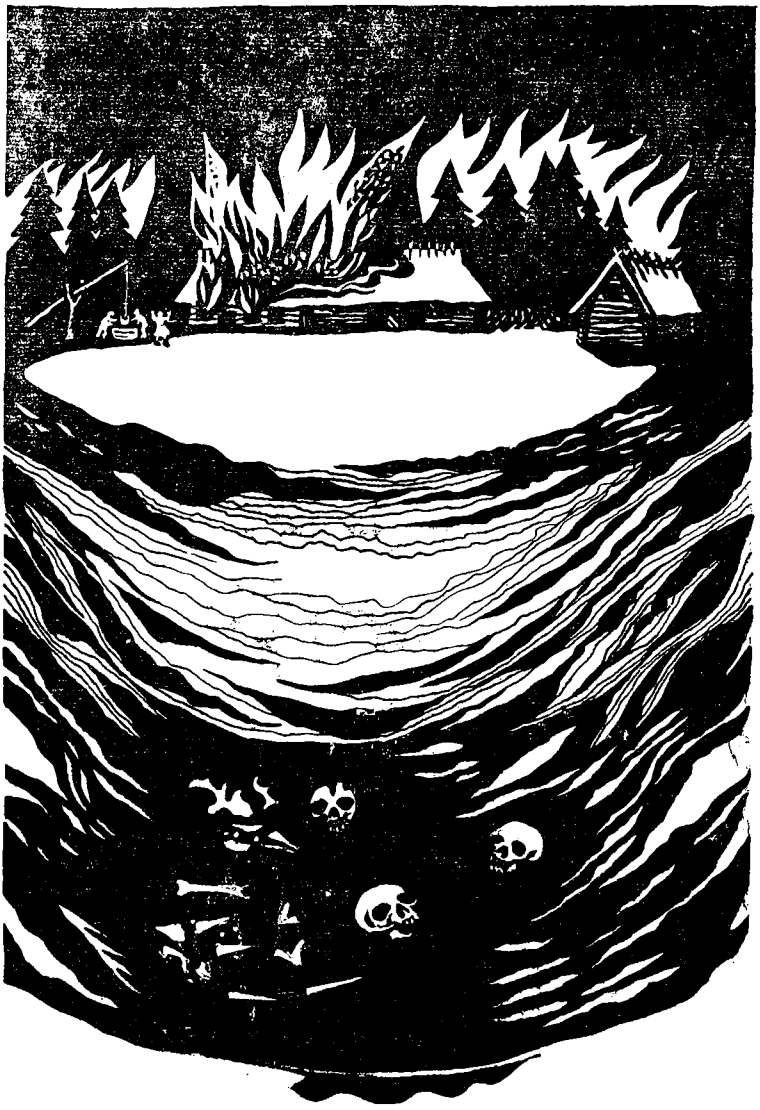
К смотринам невесты готовились на широкую ногу. Впоследствии соседи рассказывали, что россаский батрак то и дело носился к колодцу и зачерпывал ведерком воду, труба беспрерывно дымила — так что убогим и увечным нищим хватало времени нюхать ветер. Эти забытые богом люди должны были заранее знать, к воротам какого хутора стоит являться в праздник с пустой котомкой за поясом.

Вечером, в канун праздника, россаская изба была битком набита. Сквозь стены доносились взвизгивания девушек и смех парней, потревоженные деревенские собаки без конца лаяли. В разгар музыки и танцев Якоб подал знак батраку посильней раздуть огонь в печи, скоро девушка вынесет из холодной комнаты колбасу и поставит сковороды на угли.

Но до того, как колбаса была сунута в печь, искры из щели в трубе попали на крышу, и она вспыхнула подобно кудели. Снег на гребне крыши в один миг испарился и освободил дорогу огню. Поскольку в избе стоял страшный шум и гам, никто вовремя ничего не заметил. Когда же языки пламени набрали силу и взметнулись в небо, страшное шипение и треск внезапно заставили замолчать и застыть на месте всех собравшихся.

С того времени Иоханнес то и дело тщательно месит глину и замазывает трещины на трубе Виллаку.

Когда оцепенение ужаса миновало, в сенях началась страшная давка. Девушки с головой зарылись в кучу одежды, и каждая старалась заполучить свою шубу. Парни помчались к колодцу, кое-кто впопыхах плашмя растягивался на льду, но тем не менее ковш вскоре заходил



из рук в руки, только толку от этой возни не было никакого.

Посреди Медной деревни полыхал пожар, сквозь шум долетали вопли и крики. Надо же, чтобы в свое время хутора строили так близко друг от друга! Горящие пучки соломы взлетали над головами людей, внезапные порывы ветра раскидывали вокруг языки пламени, трещали и плевались искрами балки. Человек может отбежать подальше и сунуть голову в сугроб, если жар станет нестерпимым, а старые крыши никакими силами не спасти, и нет большой разницы, загорится ли стреха от уголька или от горящей головешки. Так за одну ночь сгорело пять хуторов, вся сердцевина Медной деревни. К утру там не оставалось ни одного окна, которое глядело бы на Долину духов, и ни одной балки от стен, лишь закоптелые остатки труб торчком стояли посреди пепла, и снег отступил от сердца Медной деревни. Спасенные великим трудом животные понуро стояли у обгоревших елей.

Заметив зарево пожара, Иоханнес запряг лошадь. Кнут со свистом рассек остекленевший воздух, жеребец захрапел, взвился и припустил так, что уши Иоханнесовой шапки взлетели в воздух, словно на голове у него внезапно выросли ястребиные крылья. Встревоженные ожиданием Эва и Роози ночь напролет дышали в окно — по стеклу катились капли. Дети беспокойно ворочались и разговаривали во сне.

На рассвете над далекими сугробами показалась голова виллакуской лошади. Жеребец шел высоко подняв морду, словно боялся утонуть в снегу. Посреди Долины духов, на выметенном вьюгами месте, внезапно возникло несколько темных фигур. Люди или животные? Эва протерла стекло, и Роози прижалась лицом к оконному квадрату. Иоханнес плелся рядом с дровнями и держал вожжи. За ним ступали двое и вели скотину. Эва с трудом оторвалась от окна. Подошла к плите, поспешно отщепила от полена лучинки и, разжигая огонь, заметила, как дрожит ее рука.

Дверь скрипнула, и серый полумрак, словно сугроб, ввалился в комнату. В обеих руках Якоб держал тяжелые узлы, они, как пудовые гири, оттягивали вниз его плечи. Из-за его спины робко выглядывала небольшого роста девушка. Она положила на край скамьи ворох

одежды и отряхнула пепел с наполовину расплетшейся косы.

Так Якоб нашел хозяйку для сгоревшего дотла хутора Россы.

Эва медленно подняла голову от плиты и узнала Юстину. Юстина оторопело стояла, очевидно сама не зная, горят ли ее щеки от смущения, мороза, или в них еще не остыл зной пожара. Эва молчала. Она нарочно медлила, чтобы Роози не услышала голоса вошедшей. Якоб не понял, в чем дело. Он громко сказал:

— Проходи же, Юстина, проходи.

Вслед за этим случилось то, чего Эва боялась.

Из комнаты Роози послышался вопль — вон, вон!

Иоханнес вздохнул и пошел успокаивать больную.

Надо же было случиться, что Якоб выбрал в жены девушку, сводный брат которой был повинен в несчастье Роози.

Впоследствии Эва неоднократно думала, что мир давно стал тесен для людей. Земля словно паутиной опутана дорогами судьбы, и не удивительно, что нити эти перекрещиваются одна с другой. Какими большими кажутся леса и нивы, вроде бы места достаточно, а ведь именно в Медной деревне столкнулись на поле вражеские войска, превратив его в Долину духов.

Юстина была единственной из собравшихся чуть ли не со всей волости девушек, которая сохраняла спокойствие, когда вспыхнул пожар, и заставила себя, невзирая на страшный шум и треск, действовать. Юстина была единственной, кто не кинулся в сени, топча подруг, чтобы в груде одежды отыскать свою шубу. Напротив, она прежде всего выбросила из окна одежду Якоба, затем кинула в сугроб мешок с шерстью, собрала с постелей подушки и одеяла, даже стол и лежавшую на нем Библию сумела спасти от огня. Расчистив комнату от вещей, лежавших на виду, задыхающаяся от дыма Юстина принялась выносить посуду и котлы, успела сорвать со стены и вожжи. Когда над головой с треском загорелись балки и на нее посыпался дождь искр, Юстина, несмотря на запрет, ринулась в хлев. Она нашла поросят по визгу и вынесла их в мешке.

Потом Юстина подобрала во дворе свою шубу — ноги бегущих втоптали ее в грязь. Вот так вместе с Якобом и

пришла на Виллаку его суженая — волосы полны пепла, на спине черные следы от сапог.

Когда в то мрачное утро они наконец-то уселись за стол, Эва с тревогой стала наблюдать за Роози. Больная вертела в руке ложку, и Эва боялась, что Роози швырнет ее через стол в лицо Юстине. Юстина держала себя в руках, запасы ее душевного спокойствия, казалось, были неистощимы. Эва подумала, каким богатырским духом и волей должна обладать женщина, чтобы стать хозяйкой хутора. В тот раз за столом Эва снова усомнилась — а она, подходит ли она Иоханнесу?

Зато Якоб казался совсем выбитым из седла. Он ерзал на скамье, то и дело подергивал плечами, будто под рубашкой у него сновало множество насекомых. Он понимал, что, как только погорельцы Медной деревни разместят своих спасенных животных по хлевам окрестных хуторов и чуть-чуть придут в себя от потрясения, они снова соберутся вместе, чтобы вершить суд над Якобом с Россы. Эва полагала, что, вероятно, и Иоханнес думает в первую голову о том, как уберечь Якоба от мести обезумевших от несчастья людей. Возможно, лишь уставившаяся на ложку Роози скользила по обледеневшей дорожке памяти, чтобы вернуться назад, в тот далекий знойный день, и зарыться в сено — в последний раз оказаться в плену вожделения и отдаться грешному хозяину.

Вполне возможно, что и Юстина еще раз услышала хруст: сломался о камень позвоночник сброшенной с сеновала Роози.

Они молча и мрачно ели, и Эва увидела за окном хлопья сажи, которые медленно парили, словно пытались заглянуть в комнату. Внезапно Якоб раскрыл рот и сказал: какая же это свадьба без водки.

Челюсть Иоханнеса заходила, словно он размалывал готовые сорваться с языка злые слова.

Но и он пересилил себя и постарался подавить свою досаду — как-то надо было выкарабкаться из-под этой душившей всех тяжести. Иоханнес поднялся из-за стола, громыхнул дверцей шкафа и пустил по кругу стакан с водкой. Роози с жадностью отхлебывала, зажатая до сих пор в руке ложка со звоном упала на стол, и глаза больной стали желтыми, как у кошки. Да и Якоб заливал свое горе довольно-таки странным образом. Он пил водку большими глотками, словно странник в пустыне, которо-

му удалось добраться до источника. От крепкой водки забродила кровь, уставшая после ночных передряг. Якоб поднялся, стал мерить шагами комнату и потребовал, чтобы приготовили постель. Над Долиной духов вставало бледное солнце и тускло заблестел снег, когда Якоб взял за руку молодую новобрачную и потащил ее в горницу. Юстина упиралась, трясла волосами, с которых все еще сыпался пепел, но тем не менее пошла. Роози пристально глядела на дверь комнаты и, словно для того, чтобы удержать равновесие, скрестила на груди руки; выражение ее лица было отнюдь не святое. Эва смотрела в сторону, ей не хотелось видеть, как в уголках рта Роози постепенно появляется отвратительная усмешка, — словно пузырек, возникающий откуда-то из глубины забродившего теста.

Была уже почти ночь, когда осунувшиеся молодожены вышли из комнаты. Якоб надвинул на глаза шапку, взял Юстину за руку, и под покровом темноты они отправились в путь. Они решили обойти Долину духов кругом и пробираться лесом, по снегу, чтобы не встретить ни одной живой души. Эва посчитала, что в такой лютый мороз людям нечего делать в поле, однако молодые остались при своем. Может, так оно и лучше, хотя путь получался длиннее, — не надо было сверлить взглядом темноту над сердцем Медной деревни. От большого пожара не осталось даже маленького костерика, чтобы осветить остатки труб и обгоревшие ели. После полуночи Якоб с Юстиной должны были достигнуть корчмы. Там бы они зажили тихо, как мыши, в бабушкиной комнате, где она когда-то хранила свои лекарства, и запах мяты от стен бальзамом лег бы на их взбудораженные души.

В первые дни февраля Медная деревня опустела. Из далекого леса до самой Долины духов несся стук топоров, с треском валились деревья и, падая, ломали свои ветвистые кроны, как олень рога, чтобы превратиться в бревна для стен. Словно по заказу, в лучшие дни рубки леса, когда ветер едва-едва шевелил ветвями, в небе стояла последняя четверть убывающей луны. Все приметы указывали на то, что стены новых домов Медной деревни будут крепкими, сто лет не возьмут их ни жучок, ни тлен.

Весной, когда строительство пошло полным ходом, никто не захотел больше ставить дом на прежнем месте. Каждая семья порознь выбирала место на краю Доли-

ны духов — будем жить вразброс, сами по себе, тогда беде, обрушившейся на соседа, не так-то просто будет уцепиться за твою стреху или проникнуть в твои ворота, думали они.

Якоб тоже исходил вдоль и поперек земли Россаского хутора, он долго искал подходящий клочок земли, где бы можно было заложить новый хутор. Выбор места — дело не шуточное, не каждая пядь земли годилась для того, чтобы стать священным местом — двором родного дома. Да и грядущие поколения должны были до последнего вздоха помнить траву-муравy отчего крова. К тому же Якоб хотел обосноваться подальше от сердца Медной деревни.

Наконец он облюбовал подходящее место на краю болота. Оно находилось на расстоянии броска камня от баньки Явы и Матиса.

Хоть и много было возни и труда, но к зиме почти все семьи погорельцев имели крышу над головой, в стенных проемах — окна и двери. Ранним утром из трубы каждой избы тянулся кверху благословенный дым родного очага. Никто не хотел вспоминать о минувшем несчастье. Только слабые копаются в прошлом, сильные же смотрят вперед. И сильным быть приходилось, иначе на этой земле не прожить. Может, если кто и вспоминал страшную рождественскую ночь, то про себя, как сейчас Эва, когда на нее находила бессонница.

После того как был построен новый россаский дом, Роози стала то и дело просить придвинуть ее к тому окну, которое выходило на болото. Россаский дом был едва виден из-за деревьев — кого же ждала Роози с той стороны?

Однажды она потребовала, чтобы ей дали палку. С тех пор она берегла эту палку с кривой ручкой как зеницу ока. Годами палка валялась за шкафом среди прочего хлама, кому она принадлежала — Роози не помнила, однако приказала Эве разыскать ее. Поначалу Эва с тихой надеждой следила за сидящей Роози, которая сжимала в ладони рукоятку палки. Можно было подумать, что больная лишь на миг присела на стул и тотчас же, как только чуть-чуть соберется с силами, встанет и пойдет навстречу тому, чьего прихода, казалось, она ждала. Иногда, в сумерках, Эве мерещилось, будто Роози приподни-

мается и ей нужна лишь небольшая поддержка и ободрение, чтобы нетвердым шагом пройти по комнате.

Эва заметила, что и она, подобно Роози, то и дело стала поглядывать в окно. Каждая темная фигура на белой снежной равнине невольно заставляла биться сердце. Но ведь ей-то некого было ждать.

Вязание чулок не интересовало больше Роози. Изо дня в день она сидела у окна, от искрящегося снега глаза ее слезились. Вид неподвижной золовки терзал Эву, лучше бы она перетаскивала больную с места на место — пусть даже надорвалась, — все-таки это больше бы походило на жизнь. Теперь Эва стала чувствовать себя виноватой, словно это ее мысли приковали Роози к месту. Эва пыталась заговаривать с больной, голос ее становился чужим и молящим — Роози не отвечала и отмахивалась от нее. Как будто Эва мешала ей слушать какие-то таинственные шепоты, ни одного слова из которых нельзя было пропустить. Однажды Эва заметила, что стала ходить на цыпочках. Часто она ловила себя на том, что, прижав палец к губам, делала детям знак вести себя потише. И все-таки Эву огорчало, что Вийда и Наан мало резвились и редко баловались, хотя она сама заставляла их неподвижно сидеть на месте, подобно Роози.

Эва жалела о тех благословенных временах, когда Роози вывязывала свои мысли на длинных красных чулках.

Кончилось бы наконец это мучительное ожидание!

Да и ждала ли Роози кого-то?

Может быть, она стерегла болото, чтобы страшное колесо, перерезавшее в ее сновидениях Виллаку, не выкатилось бы из-за кустарника.

А может быть, в долине вот-вот быть какому-то небывалому несчастью.

Судьбе ведь безразлично, что земля Долины духов и так уже вздыблена от костей и черепов. Или Роози просто помешалась? Вдруг она среди бела дня видела пляшущих на снегу духов?

Не могла же Роози надеяться, что сводный брат Юстины, ее прежний хозяин, в один прекрасный день войдет в калитку, приблизится к окну и протянет руки к сидящей за стеклом Роози?

Может быть, Эва и Иоханнес зря скрыли от нее, о чем говорила вся деревня? Может, к Роози вернется здравый рассудок, если они ей все расскажут?

Что делать?

Так, на цыпочках, нельзя было продолжать жить.

Роози и не слышала о том недавнем большом торжестве, на которое пожаловало полволости гостей. Кто бы мог подумать, что после всего того, что случилось, с белого облака на землю спустится маленький ангел. Грешный хозяин и его жена, скинувшая Роози с чердака на камень, с такой радостью встретили появление маленькой дочери, словно в дом к ним пришел спаситель. Они утверждали, что счастливы. Такими словами в этих краях просто так не бросались. В окрестностях Долины духов никогда раньше не находилось места счастью. Разве что на миг, и этот миг навеки сохраняли в тайне.

Эва не думала, что поздний ребенок родился от большого счастья, скорее от отчаяния. А может, они хотели заставить людей забыть о Роози, которая сидела у окна со слезящимися от слепящего снега глазами? Неужто они верили, что чистота и нетронутость нового существа способна заставить забыть о предыдущих поколениях, как молодая весенняя трава о прошлогодней сухой?

С наступлением вечера Роози просила придвигать ее поближе к теплой плите. Там она сидела и глядела в огонь, словно из пламени возникали видения.

Эва клала на колени Роози клубок красной шерсти, но Роози умудрялась сбрасывать его на пол. Чудо еще, что она не сбросила с подоконника красный моток, который, подобно спелому плоду, ждал, когда кто-нибудь позарится на него.

Как-то вечером Эва ощутила неодолимое желание криком изгнать из виллакуского дома завораживающую тишину. Она раскачивалась на пороге комнаты, словно находилась на грани жизни и небытия. Эва призвала на помощь все свои силы и подавила приступ охватившего ее отчаяния — она не хотела пугать детей. Вийда и Наан стояли недалеко от двери, прижавшись спиной к висящим на вешалке шубам.

Рука Роози дрожала, тем не менее она достаточно твердо держала трость, на которой плясали маленькие голубые язычки пламени. Роози не заметила Эвы, а может, нарочно хотела попугать ее — больная пошевелила

тростью, словно хотела заставить огонь гореть сильнее. Горящая палка оказалась совсем близко от стены, там, где висели пучки полыни и ромашки. Рука больной устала, конец палки медленно опустился вниз. А может, она просто хотела поворошить кучу бересты у очага?

Секундой позже Эва поняла, что́ могло бы произойти, не подоспей она вовремя, ведь Роози не в силах была нагнуться, чтобы засунуть палку в очаг. Скоро маленькие голубые язычки пламени поползли бы вдоль палки кверху и перепрыгнули на рукав Роози.

Эве пришлось применить силу, чтобы оторвать от палки Роозину руку. Палка была брошена в огонь. Пальцы Роози один за другим быстро задвигались, это выглядело так, будто капризный ребенок топал ногами.

Ненавидящий взгляд больной колол Эву. И она снова почувствовала себя виноватой. Словно это она отняла у Роози надежду. Не было больше палки, опираясь на которую можно подняться и пройтись по комнате.

Иоханнес не узнал об этом случае. К чему было отягощать его еще одной заботой. У него и так после пожара в Медной деревне появились новые привычки. Он часто вставал с постели, охая разминал усталые кости, в кромешной тьме ощупью натягивал сапоги, несколько раз обходил вокруг дома и хлева, а потом громыхал в кухне заслонками.

Что-то должна была нести на себе и Эва, хоть она и не тянула в полной мере на хозяйку Виллаку. Дни ее были пустыми и легкими, как мякина.

## 5

Якоб не понимал, почему все они с таким трепетом ждали нового столетия. Словно дни и часы текли лишь для того, чтобы разорвалась черная завеса и за ней открылся глазу райский сад. Какого благоденствия ожидали они от новой эпохи? Неужто они в самом деле думали, что в январские морозы засверкают золотые плоды и через порог посыплются в Россу? В последний вечер уходящего года минувшего столетня

Юстина велела Ионасу пустить ягнят в дом. Белые мохнатые шарики скакали по полу, Юула визжала и тискала барашков. Если б не грудной еще Юхан, Юстина, вероятно, и сама стала бы дурачиться с ягнятами.

Да и Якоба заразило общее веселье. Смешно подумать — человеку через три зимы полных четыре десятка, однако и он с удовольствием запускал пальцы в ягнячью шерсть. Удивительный покой снисходил на сердце, как в те далекие времена, когда он клал себе под щеку косу Юстины.

От постоянной, без продыху, работы руки Якоба вытянулись, жилы на шее набухли, точно веревки. От усталости мысли тупеют, а чувства становятся детскими — иначе разве бы он так веровал в новые времена и надеялся на более легкую жизнь.

Но ничто не изменилось. Только забот все прибавляется. Еще тридцать один год Якобу надо уповать на крепость своих рук, прежде чем сможет подвести черту под всеми платежами. До тех пор надо выстоять.

Якоб мог бы сочинить для себя молитву: да святится имя твое, Росса, да будет Росса навечно принадлежать тебе и твоим потомкам, возделывай же свои поля, выполняй волю Россы, и да минуют тебя все искушения.

Странно подумать, что человеческая жизнь вмещает в себя один только рабский труд на благо одной-единственной стоящей на краю болота Россы.

Однако еще рано сводить счеты с жизнью. Но и не стоит, подобно глупцу, ждать небесных даров, которые сами свалятся на тебя.

Взгляд человека должен быть острым и рука твердой. Каждый охотник стремится убить медведя. Но и тот день хорош, когда тебе удается подвесить к поясу зайца. Если ничего лучшего в поле зрения нет, тренируй руку хотя бы просто на вороне. Главное — не поддавайся лени и не будь вялым.

Настоящий мужчина не позволит заботам сломить себя. Вдруг новое столетие окажется с каким-нибудь таким фокусом, что пошлет в сторону Россы большую добычу? Сумей только в нужный момент наложить лапу!

В свое время, когда сердце Медной деревни сгорело дотла, Якоб долго колебался, прежде чем выбрал местом нового дома край болота. Он хотел быть подальше от людей, пусть его оставят в покое. Где бы Якоб ни стал-

кивался с людьми, вечно они смотрели на него так, словно хотели проткнуть ножом. С того самого несчастья Якоб больше не переносил плача и жалоб. Во время больших лесных толок, когда валили деревья для новых домов, Якобу хотелось завязать глаза и залепить уши воском. Всю душу вымотали! Только и делали, что причитали, есть ли, мол, смысл строить добротную избу и трудиться — как бы красный петух снова не вскочил на стреху! И все-таки каждый старался поставить крепкий, отвечающий времени и просторный дом.

Теперь каждая семья живет особняком, сосед у соседа и дыма из трубы не видит.

Место, выбранное Якобом, все же не было столь одиноким, как у других. Тут же, в баньке, жили свои люди. Да и кое-что другое стоило принять во внимание. В отрытом Матисом хорошем колодце хватало воды на всех, и не было нужды сразу приниматься долбить землю. Конечно, жить на краю болота холоднее: еще и в июне под торфом лежал лед. Со стороны болотных ямин порой наползал такой густой туман, что впору было заблудиться даже на собственном дворе. Вначале Якоб и предполагать не мог, что Иудин остров посреди болота окажется своего рода сокровищем. За Иудин остров стоило теперь возблагодарить того доброго ангела, что в свое время направил стопы Якоба во двор будущей Россы, чтобы именно тут застолбить место своего будущего дома.

Что ж, в то время жители деревни могли посмеяться и почесать языком — не было человека, который выступил бы в защиту Якоба. Ничего, пусть думают, будто россаская семья попряталась, как волчий выводок, в кусты. Точно все они лучше оттого, что пожар случайно занялся именно от его, Якоба, дома. Народ Медной деревни вбил себе в голову, что Якоб отмечен злым роком. Без конца возводили всякие поклепы, в один голос сеяли клевету: мол, на хуторе Росса с давних времен лежит проклятие. Дедушка Якоба со стороны отца будто бы смастерил маленького карманного домового, который горстями уносил зерно из закромов соседей, постепенно, но упорно накапливая богатство для своего хозяина. Не забывали и дедушку со стороны матери. Дети и те знали, что корчмарь вынудил свою первую жену броситься под ель и принять яд. Откуда брались все эти истории? Ведь в этих краях не осталось в живых ни одного столетнего

старика, который мог воочию видеть, как дедушка со стороны отца, этот мастер по домовым, не соблаговолил дать своей умирающей жене глотка воды. Да и отцу Якоба не давали покоя на погосте: кто говорил, что недуг помутил его разум и свел в могилу, кто утверждал, будто Ява угробила своего мужа. За несчастье, случившееся по вине Якоба, мстили даже его прародителям.

Как бы там ни было, но в одном Якоб никак не мог одобрить действий своего покойного деда. Почему он — мир праху их обоих — отдал пол-Россы своему родственнику? Что он за мужчина, если не мог сам, своими силами, отрабатывать баршину и платить арендную плату? После того как Медная деревня сгорела, Тобиас, потомок этого родственника со времен Адама, словно иждивенец какой, ходил по пятам Якоба и смотрел ему в рот. Как скажешь ему — поди прочь, если сам виноват в его несчастье! Выбрав место для дома на краю болота, Якоб надеялся избавиться от родственника — может, тот не потянется за ним. Но едва на месте нового дома Россы застучали топоры, как явился Тобиас и, расплывшись в улыбке, сообщил, что и он с семьей селится поблизости. Погляди, дескать, Якоб, там, за рябинами, поднимется когда-нибудь и мой дом. Тобиас был человеком медлительным, постройка отняла у него немало времени. Якоб не мог запретить ему — ведь земля там, за рябинами, не принадлежала ему. Якоба и вовсе за человека бы не посчитали, поддайся он внутреннему чувству и скажи, мол, где две семьи, там третьей не надо. Родственник стал бы, конечно, вспоминать прародителей: вот были единодушные люди, разделили Россу пополам и жили себе в мире и согласии. Как будто он сам был при этом и растроганно гладил кротких прародителей по головам.

Так забытый богом край болота посадил себе на закорки еще и третью семью. Этой кочковатой земле суждено было порасти ромашками родных дворов.

К счастью, обитатели нижней Россы не стремились распространяться, болото и Иудин остров по молчаливому соглашению посчитали исконной землей Россы.

Именно болото и лежащий в центре его Иудин остров больше всего в последнее время заботили Якоба. Дурак он был, что в договоре на покупку не закрепил эту зем-

лю за Россой. Бедность и вечное безденежье заставляли взвешивать каждый рубль.

Якоб не раз доставал из Библии договор на покупку и заново изучал в нем каждую строчку. Нанесенные на бумагу слова сами собой отпечатывались в мозгу, хотя с этим царевым языком можно было себе язык сломать — от шипящих букв прямо-таки дым валил изо рта. В реестре их волости Росса значилась под номером 113-А и состояла из одного основного куска и пяти полос, всего 33,9 десятины. Отдельно были перечислены покос, пастбище, приусадебная земля и пашня. Кроме всего прочего в договоре указывалось, что земли Россы делятся, в свою очередь, на удобные и неудобные. Удобной было 32,95, а той, что, по мнению властей, была не столь удобной, — всего 0,9 десятины. Ну и понятие у них! Все десятины на Россе было одинаково тяжело обрабатывать.

Мужику было удобно только в постели, в обнимку с молодухой. Сенокос находился за много верст, пастбище было полно водоносных жил и зарослей кустарника — руби хворост хоть до второго пришествия. Эти десятины, что носили название пастбища, камнем висели на шее у Россы. Счастье, что Иудин остров кормит скот, не надо тратить драгоценное время и размахивать топором в чащобе. Удобная земля! Эти бумагомаратели, очевидно, полагали, что в тени, под листвой ольшаника, сам собой пышно растет сочный клевер, поедая который коровы с каждым днем все тучнеют.

Болото носило имя Россы, хотя в договоре относительно него говорилось: земля общего пользования. Никому не принадлежит? А об Иудином острове не сказано ни слова. Поди знай, ступала ли когда-нибудь нога помещичьих землемеров на этот сухой клочок земли? Однако болотный остров не был неведомым местом, туда ходили и до Матиса. Но составители плана махнули рукой, тоже ценность, одно красивое название и копейки не перевесит, так стоит ли теперь из-за этого Иудина острова кувыркаться меж болотных ямин и подвергать жизнь опасности.

Будь у Якоба сейчас куча денег, он тут же рассчитался бы с платежами за все тридцать с лишним лет, подкинул бы еще несколько сотенных в придачу и потребовал, чтобы Иудин остров приписали к Россе как полную его собственность.

Да и болото не худо бы присоединить к Россе, на душе станет покойно, когда ты по своей земле зашагаешь к Иудину острову. Пусть никто и близко не подходит. Вдвоем с Ионасом они бы сторожили, чтобы никто из посторонних не прокрался туда. Глядишь, через парочку лет Ионас станет неплохим помощником в пахоте, и тогда висящее на плече ружье уже не зацепится стволом за кочку.

Что касается болота, то жители баньки не имеют тут права голоса. Верно, Матис немало постарался, чтобы сделать доступ к Иудину острову, но что с того? Каждому приходится шевелить руками, если он хочет жить, а особенно Матису, у которого изба полна ребятишек. Обитатели баньки попросту иждивенцы Россы, но поди разбери тех, с нижней Россы. Тобиас до сих пор спрашивает у Якоба разрешения, когда собирается нарезать на болоте торфа для подстилки. Хозяин нижней Россы не раз топтался у двери, шапка в руках, как какой-нибудь проситель. И всегда Якоб любезно шел ему навстречу, родственник благодарил, жал руку, и откуда только взял он такую привычку. Так и тянет ладонь, а как ухватит пальцы, сдавит их и трясет что есть мочи, словно у него от избытка сил мышцы свербят и он должен немедленно от этого избавиться. Может, бумагомаратели не вписали в договор нижней Россы, что болото — земля общего пользования? Как бы заглянуть в договор той семьи, заглянуть потихоньку, одним глазком? Как же, жди, чтобы кто-нибудь повесил такую бумагу на стене избы для всеобщего обозрения! Каждый сам знает, где самые свои важные документы хранит. Якоб мог бы побиться об заклад, что большинство мужиков Медной деревни, когда дело касается их денежных дел, умеют держать язык за зубами, даже если им случается напиться до чертиков.

Хулить не приходится, в Медной деревне крепкие мужики.

Несколько лет тому назад, когда в здешних краях стали пропадать лошади, каждый сам соображал, как обхитрить воров. Один повесил на ворота выгона цепь, другой подвязывал к шее животного трещотку — будто там в кустарнике пасется корова. У всех мужиков ушки были на макушке. Кто боялся, что не устережет, держал лошадь на конюшне и даже в летнюю пору таскал корма в ясли. И все-таки делай, что хочешь, лошади исчезали.

Хоть седлай коня и садись на него верхом, чтобы все время ощущать ногами его теплый круп. Украденные лошади исчезали, как камень в воде. Глупец был тот, кто ходил по ближним ярмаркам, надеясь обнаружить там своего коня.

Как выяснилось позже, воры на краденых лошадях прямиком ехали к Чудскому озеру. Там животное укладывали на дно лодки, и рыбаки переправляли его в Россию. Кому придет в голову искать свою лошадь на другом берегу! Вот каждый и держал наготове дубинку и не переставая пекся о том, чтобы опять не потерпеть убытка, — ничего другого не оставалось. По ночам хозяева бродили по землям своего хутора, подстерегая воров. Однажды Якоб сгоряча едва не убил мужа своей родной сестры Эвы. Благодарение господу, что Иоханнес успел подать голос прежде, чем дубинка опустилась на его голову.

Из этих сыщиков-одиночек только одному Иоханнесу удалось впоследствии изловить настоящего конокрада. Он так жахнул вора по ноге, что тот с криком упал и больше не поднялся. Иоханнес знал, что, если б он попросту передал его жандармам, угон лошадей не прекратился бы. Жандарм по лености не стал бы мурыжить вора до такой степени, чтоб тот назвал сообщников. Хозяин Виллаку действовал наверняка: вытащил из-за пояса острый нож и пообещал напрочь отрезать грабителю ногу, если тот не выдаст шайку. Конокрад в страхе все и выложил — знать, тоже слыхал, что здешние хозяева шутить не любят. Даже деревню на берегу Чудского назвал, и причал, с которого лошадей увозили в Россию.

Иоханнес прославился на всю волость. Ява считала, что всему их роду свыше предопределен венок славы. Одна беда, что о большинстве из них говорили плохо, а хорошо только о некоторых.

Благодаря Иоханнесу хозяева Медной деревни вновь обрели по ночам покой и могли отдыхать от дневной усталости. Слышно было, что конокрадов отправили по этапу в Сибирь. Кто знает, хватит ли у них дней жизни на то, чтобы отбыть срок наказания? Но если кто и дождется свободы, то — надеялись все — едва ли этот замаянный сын рода человеческого сможет предпринять столь далекий путь и дотащить свое бренное тело домой.

Иоханнесу нечего было бояться, что кто-нибудь занесет когда-либо над его головой топор для мести.

Интересно, было ли что-нибудь сказано в договоре на покупку Виллаку по поводу Россаского болота?

Якоб не был ни фарисеем, ни тупым рабочим волом, чтобы считать собственный удельный вес в этом мире вовсе уж ничтожным. Он тягался с коварной судьбой и не так легко поддавался обстоятельствам. Разве такой человек, как он, не был достоин того, чтобы и ему привалило то, что все называют счастьем?

Жизнь станет бесцветной, если из года в год будешь надеяться только на цепкость собственных рук.

Не каждый мужик строит дом, не у каждого хватает упорства и силы, начав с фундамента, вытесать стены, прорубить окна, подвесить двери на петли, покрыть крышу, заткнуть щели — и все сделать продуманно, дабы и у семьи, и у скотины было свое место и ложе. Большинство не обладают такой предприимчивостью, чтобы наряду с работой в поле разбить плодовый сад. Для каждой яблони пришлось вырыть лунку, большую, как болотная ямина. Юстина, изнуренная работой, и та начала ворчать, когда они без конца копали и копали, до тех пор, покуда сами не исчезли за кучами земли. Якоб любил основательность. Усталость свою человек преодолеет, и в измученное тело вольются новые силы. А какая польза от посадок, если через несколько лет яблоня начнет чахнуть? Под корни каждого саженца была положена толстая жирная подушка — навоз пополам с торфом. Навоз они вывезли из хлева на лошади, а с торфом пришлось повозиться. В самые сухие дни середины лета, вымотанные солнечным зноем, стояли они в темной яме и острой лопаткой резали вязкие комья на чурбачки, затем относили их в сторону, где складывали в кучу. Даже в самое малодождливое время на телеге было не добраться до болота. Приходилось дожидаться зимы. От осенних дождей верхний слой торфяных куч намокал, мороз образовывал на них корку, и тут без лома было не обойтись. Сколько труда пришлось положить, прежде чем удавалось накидать комья на сани. За короткий день они успевали вывезти с болота лишь несколько возов чурбачков и сложить их за домом. Упаси бог, въезжая в заваленный снегом сад, случайно потянуть не за ту вожжу — сосредоточенный и острый глаз хозяина умел

разглядеть, под какими сугробами прячутся лунки для саженцев и где земля достаточно твердая, чтобы лошадь не оступилась и не сломала себе ногу. Не раз полозья саней скользили через пустоту, в таких случаях надо было подбежать и подпереть воз плечом, чтобы не случилось худшего. После пот так и катился по спине — кто не рискует, тот лишь на банном полке может разогреть свое тело.

Когда весеннее солнце растопило снег, торфяные работы возобновились. Комья надо было равномерно раскидать на дне лунок. Изо дня в день, словно кроты в земле. К вечеру к постолам налипала толстая корка, едва можно было передвигать ногами. Теперь жители деревни ходят весной в Россу поглядеть, как цветут яблони, — кто еще из них выкопал пятьдесят лунок, заполнил их навозом и торфом и посадил деревья! Если человек сам не потрудился, то он, разумеется, считает, что яблони сами собой поднялись из заброшенной земли и теперь цветут в несметном количестве, дают обильные плоды, так что без подпорок к ветвям не обойтись. Уже две осени кряду Якоб с возом яблок ездил на Пыльтсамааскую ярмарку. Крупные городские торговцы обиняком заводили с Якобом разговор о том, что в этом году сами хотят приехать в Россу за товаром. Надо обмозговать, как выгоднее. Может, есть смысл построить подвал и хранить там яблоки всю зиму? Весной цены благоприятнее.

Жители Медной деревни считали, что Якоб разбил свой сад на золотой жиле, теперь лишь собирай урожай. Им не сообразить, что деревья надо оберегать, ухаживать за ними. Пусть сами попробуют, легко ли, когда надо думать о льне и зерне, о сене и скотине, урывать время для сада? Прошлой осенью вся россаская семья ходила за маленькими елочками на Иудин остров, ветер рвал одежду и дождь пополам с градом бил в лицо — чуть ли не шрамы остались. Каждое молодое деревцо надо было, словно младенца, отнести домой, балансируя меж болотных ямин и ища ногам опору. И снова приходилось им копать промокшую землю — сперва в лесу, а потом дома, в саду. Но зато яблоневый сад был обнесен защитной живой изгородью. Якоб пересчитал деревца — сто двадцать три ели они высадили. Никто в округе не проделал такой работы. Потом на деревне говорили, будто вытянувшиеся пупы у ребят подвязаны тесьмой к шее, — умеют же эти завистники напридумывать всяких глупостей!

Якоб не ждал старости. Но время это неизбежно наступит, и тогда у Якоба будет место, где гулять, опираясь на палку. Он придет под свои могучие яблони, как в райский сад, куда не проникают резкие ветры. На три стороны света выстроились в ряд могучие ели, шумят их высокие кроны. Уже через несколько лет вынесенные из темного подлеска маленькие деревца станут такими большими, что даже лосю сквозь их ветви не продраться.

Якоб не хотел жить на открытом месте. Уж поскольку он создал свое жилище на краю пустынного болота, то пусть это место превратится в зеленый остров. Сейчас, когда снова настала пора цветения и роста, Якоб может испытывать радость от дел своих рук. Липы и вязы, которые он посадил по обе стороны конюшни, зеленеют так пышно, что любо смотреть. Пусть они оттуда, с нижней Россы, пялят глаза сколько душе угодно, они больше не увидят, чем тут занимаются и что делают.

И тем не менее Якоб не считает, что деревьев понатыкано в землю достаточно. Надо бы выкопать перед домом канавы. Если отвести воду, болото отодвинется от строений дальше. На новом берегу, созданном своими руками, Якоб посадит в ряд клены и ивы. Когда на болоте зимой засвистит метель, сугробы остановятся у живой изгороди.

Первая весна нового столетия наступила. И как бы он ни гнал от себя ребячливые мысли, в груди его теплилась надежда.

Жизнь должна обрести новый размах.

Настал час предприимчивых мужчин.

Якоб никому не заикнулся о том случившемся в марте происшествии, которое, несомненно, имело свой тайный смысл.

Было хмурое утро, когда он запряг лошадь. По всем приметам весна обещала быть ранней. Якоб подумал, что сейчас самое время привезти с болота последнюю копну сена, кто знает, долго ли еще болотные ямины будут стоять под толстой ледяной коркой.

Якоб вилами поднимал на сани сено из копны и не видел сквозь трепыхавшиеся клочья ни земли, ни неба, он бы так ничего и не заметил, если б лошадь не захрапела. Якоб прервал работу и огляделся вокруг. Уж не волк ли подкрался?

Якоб не поверил своим глазам. На Иудином острове

бушевала невиданная доселе буря. Якоб инстинктивно потянулся рукой к шапке, чтоб опустить уши, и только тут сообразил, что у копны даже ветерка не ощущается. Длинная грива лошади висела неподвижно, ни единый волосок не дрожал в воздухе. Животное было странно напряжено, ноги расставлены, глаза выпучены. Лошадь прислушивалась, ни один ее мускул не шевелился, даже кожей она не подергивала — будто изваяние, высеченное из красного камня. Якоб мельком посмотрел в сторону дома, дым поднимался прямо в небо, словно кто-то медленно вытягивал из отверстия трубы шерстяную нитку.

Что это — обман зрения? Старые деревья на Иудином острове гнулись, как ольховые прутики. Сорванные с верхушек берез вороньи гнезда, похожие на черные шляпы, кружились в бешеном вихре; оттуда доносились диковинные звуки, словно гудели толстые струны инструмента; какая-то чудовищная сила отдирала от елей длинные щепы. Стволы, содрогаясь и треща, раскалывались надвое. Якоб невольно провел рукой по лицу — не брызнуло ли на него смолой. Взметенные с земли клочья моха летали над болотом.

Завороженный этим зрелищем, Якоб не помнил, долго ли он стоял так — вцепившись правой рукой в рукоятку вил. Только позже он заметил, что с неизвестно откуда взявшейся силой воткнул вилы остриями в замерзшую землю.

Лошадь стояла прижав уши.

И вдруг буря, еще мгновение назад норовившая сровнять Иудин остров, утихла. Отголосок ее еще слегка колебал верхушки деревьев, казалось, будто пьяные люди стремятся найти равновесие.

Якоб отвез недогруженный воз домой, оставив стог открытым. Его тянуло на Иудин остров. Он должен был разобраться в этом деле.

Он брел по снегу и вдруг увидел в кустах лисицу. Лисица, как безумная, ринулась ему навстречу и едва не наскочила на него. Якобу стало жутковато.

Северный край Иудина острова был основательно разворочен. Вековые ели с обломанными ветвями валялись на земле. До верхних выкорчеванных корневищ Якобу было не дотянуться рукой. Деревья помоложе были переломаны. Груда оголенных березовых веток трещала под ногами. Иудин остров выглядел так, будто по нему про-

лись огромными граблями, ухитрившимися даже с камней содрать их мшистую шубу. Снег с одной из полян словно испарился в воздух — Якоб не удивился бы, найди он здесь анемоны. В сердце Иудина острова стояли ободранные деревья, они были с одной стороны сверху донизу очищены от ветвей, и ветви лежали на поляне в куче: сунь факел, и языки пламени взметнутся в небо.

Якоб возвращался домой кружным путем. Он инстинктивно старался идти незаметно, переходя от одного куста к другому, петляя, чтобы его не приметили из домов. У него было такое чувство, будто он ходил на нехорошее дело. Самое странное, что он начал верить в то, что совершил грех, и воспоминание об этом было несказанно сладким. Разруха на Иудином острове ничуть не огорчала его. Недавний смерч вселил в него некую добрую надежду: неожиданности возможны, жизнь полнее и содержательнее, нежели может предположить человек. Якоб был рад, что понял: не все зависит от того, сколько ты в силах поднять сена, навоза, торфа или земли.

Вероятно, Якоб был единственным из людей, кто видел смерч на Иудином острове. И это должно было означать какой-то поворот и в его личной жизни. Предзнаменования стоило примечать — хотя бы для того, чтобы знать, как уберечься от беды. Не зря же на протяжении десятилетий говорили о всяких необычных явлениях. Даже Якоб слышал о том, будто накануне наполеоновского похода летом в небе стояла огромная, с ярким хвостом, звезда. Человеку не следует уж очень бояться — всевозможные приметы могли быть предвестниками и добрых событий. Якоб не собирался рассказывать кому бы то ни было о том, что приключилось на Иудином острове. Узнай об этом народ Медной деревни, поднялся бы крик: со стороны Россы опять подкрадывается беда. Неизвестно, пожар ли на этот раз, но уж по меньшей мере мор на скотину.

Когда в конце апреля на дворе Россы появились господа из города и стали расспрашивать про болотный остров, Якоб насторожился.

Теперь он знал, что Иудин остров хотел припугнуть людей, оградить себя славой страшного места, чтобы ни у кого не возникло желания выволочь на свет божий его тайны. Чтобы никто не отважился приблизиться к нему.

С этого дня сердце Якоба забилось сильнее. Жизнь

стала такой увлекательной, что работа на хуторе норовила застопориться.

В конце апреля горожане прожили под крышей Россы лишь несколько дней. Договорившись с Юстиной относительно питания и ночлега, они каждое утро пробирались по кочкам на Иудин остров и с наступлением темноты возвращались назад. Эти ученые люди не гнушались работой. Кроме взятых под мышку треног, они несли в рюкзаках маленькие кирки и молотки — эти свои рабочие инструменты они направляли на точиле перед амбаром. Даже вечером у них хватало дел: они собирались за столом, подкручивали фитиль повыше и раскладывали свои планы и бумаги. Хмуря брови, каждый из них набивал свою трубку душистым табаком и, без конца попыхивая, не выпускал из рук карандаша. На бумаге возникали новые линии, в некоторых местах ставились таинственные знаки. К полуночи они сворачивали планы и отправлялись спать.

Перед тем как уехать, горожане позвали Якоба и Матиса на совет.

Якобу сообщили, что на этот раз они приезжали, чтобы уточнить свои карты и сделать разведку. Из дальнейшего разговора стало ясно, что они намерены приехать в Россу на целое лето.

Мужчины приказали Матису исправить мостки, по которым носили молоко. Выложили на стол деньги и посоветовали купить на лесопилке прочные доски, а в магазине гвозди — главное, чтобы к их приезду дорога через болота на Иудин остров была крепкой и надежной. Чужаки попросили Якоба отдать им одну комнату и поставить в нее три кровати, а Юстину — каждый банный день стелить им чистые простыни, а также взять на себя заботу о питании: два раза в день в горнице должен накрываться стол.

Почему бы не командовать, если кошелек битком набит деньгами. Не дав Якобу основательно обдумать это дело, они выложили на стол рубли, и разговор был окончен.

Но Якобу и в голову не пришло возражать против столь деловых и точных распоряжений. Про себя он восхищался предприимчивостью городских. В истории Россы происходит нечто очень большое и важное, жизнь входит

в новое русло; правда, на первых порах еще не ясно было, куда судьба собирается повернуть ее.

В один из теплых дней мая во двор Россы въехал целый обоз.

Горожане подошли к растерянному Якобу, пожали ему руку, сунули в карман пачку ароматного табака и спросили, куда можно сложить пожитки. Вскоре перед амбаром стояла целая куча ящиков и узлов. Возчики в парусиновых передниках, топорщившихся на животе, по-свойски хлопотали во дворе Россы и разговаривали громкими голосами. Якоб опасался, что этот шум соберет на Россу всех любопытных из Медной деревни. Возчики страшно громыхали жестяными ведрами, когда снимали их с крюков на задке телег. Они сами доставали из колодца воду и поили лошадей. Напуганный этим шумом, россаский дворовый страж залез под изгородь яблоневого сада и ни разу не отважился даже тявкнуть.

Деловитость и шум нового столетия страшили больше, нежели тихие призраки Долины духов.

Возчики повернули лошадей и уехали со двора. Но чужие запахи, гомон и споры с этих пор невидимым облаком повисли над россаским двором.

Горожане стояли в кучке возле своих ящиков и узлов и спорили. У Якоба в ушах стоял звон, в животе словно ворочался тяжелый жернов, сердце трепыхалось и на душе невольно поднималось беспокойство. Хозяин Россы взял палку и решил разыскать пса. Найдя его дрожащим под изгородью, он парочку раз огрел трусливую дворнягу. Якоб прямо-таки почувствовал необходимость первым делом разъяснить псу, что на Россе живут не перепуганные дикари, которых новые события заставляют прятаться в кусты. Пес скулил и виновато ползал вокруг ног Якоба.

Постепенно к Якобу стала возвращаться уверенность. Чуть побродив под яблонями, он почувствовал себя полноценным хозяином, которого бог наделил ясным умом и сильными руками.

Вернувшись на двор, он кинул взгляд в сторону баньки. И хоть Якоб не увидел ни в дверях, ни за окном ни одной пары подглядывающих глаз, он ощутил, что с этого дня за каждым его шагом следят члены обеих семей. По Якобу начнут равняться и его примеру следовать — едва ли иным способом смогут они свыкнуться с новой обстановкой.

Недолго думая, Якоб запряг лошадь. Он поехал в поселок и купил себе сапоги из тонкой кожи.

В тот день Якоб еще не знал, почему Иудин остров внезапно стал таким важным местом, что ученые мужи приехали сюда на возах с поклажей. Но чутье правильно предостерегло его: не стоило близко подпускать к незнакомцам остальных мужиков Медной деревни. Слова, которые падают с языка горожан, должны достигать ушей одного лишь Якоба. Надо было всячески подчеркнуть, что хозяин Россы это также хозяин и Иудина острова. Только от помощи Матиса он не мог отказаться — не дай бог, если вдруг горожане пойдут по деревне искать рабочие руки. Никогда раньше Якобу не приходило в голову называть мужа Явы Матисом-из-Бани, Матис всегда был просто Матис. Теперь Якоб то и дело настраивал свой голос на громкую ноту, когда обещал горожанам: я скажу Матису-из-Бани, я прикажу Матису-из-Бани унести этот ящик. Тихий Матис улыбался своей кроткой улыбкой, предоставив с тех пор возделывать землю ораве портных, и покорно выполнял все, что ему приказывали. Ведь у Матиса в течение всей его предыдущей жизни не так-то много было дней, когда ему за работу платили деньгами. Работая поденно на окрестных хуторах, он плелся домой с котомкой, перекинутой через плечо, в которой лежала провизия, а карман его по-прежнему оставался пуст. С полосок полей и клочка сенокосного луга обитатели баньки едва получали корм для скота, своего же хлеба семье хватало с грехом пополам до дня Тимофея-полузимника. Что с того, что дети — Симон, Мария и Линда — еще до смены столетия переметнулись в город, — Сабина помогала младшим встать на ноги.

В баньке их еще оставалось достаточно: кроме самих стариков — Таниель, Катарина и Яак, трое портных, последний, правда, еще только подмастерье. Не говоря о Хелин, которую лелеяли как последыша. По мнению Якоба, троих этих швецов нельзя было даже сравнивать со старым Матисом. Матису уже сильно перевалило за шестьдесят, однако тяжелый ящик горожан сидел у него на спине как влитой, — он мог пройти со своей ношей по мосткам до самого Иудина острова, и никакая одышка его не брала.

Юстина позвала свою младшую сестру Леэни в Россу на подмогу. Якоб сожалел, что его дети еще маленькие

и большого проку с них не было, работы же стало выше головы. Когда Якобу случалось вместе с Матисом день-деньской таскать на себе через мостки ящики с грузом, он на следующее утро чувствовал себя таким выдохшимся, что не мог шагать по полю вслед за лошадью.

Тобиас с нижней Россы то и дело являлся на двор Россы и без конца надоедал своими разговорами. А чего уж так распространяться о будничных делах, о погоде, поле и прочем? С работой у родственника все обстояло как нельзя лучше. Его большие руки, бессильно висевшие во время разговора, прямо-таки напрашивались — дескать, используй нас. Любопытство не давало ему покоя, в уголках глаз ощущалось какое-то напряжение, — верно, и ему хотелось сходить на Иудин остров, чтобы знать, что там происходит.

Однажды Якоб увидел свою жену под яблонями плачущей. Не спрашивая, он понял, что Юстине отказали силы. Тогда он разрешил ей взять в помощь и Хелин. Теперь дом наполнился щебетом, словно ласточки свили себе гнездо в углу потолка. Якоб мрачнел, когда слышал пение и смех Леэни и Хелин. Надолго ли хватит содержимого россаских кадушек и бидонов, если придется кормить такую ораву? Хелин взяла на себя комнату и белье горожан. Девчонка каждый день мыла пол. Якоб опасался, что от этого постоянного мытья дом сгниет. Колодезный журавль почти ни на минуту не смолкал. То там хлопотала Леэни, любившая мыть посуду с песком, то Хелин наполняла ведра, чтобы выполоскать в корыте белье. Простыни и полотенца постоянно развевались меж деревьев в яблоневом саду. От хорошей жизни люди очень уж быстро становятся привередливыми — вот ведь эти горожане, они тоже, наверное, родом с какого-нибудь хутора, а теперь им, видите ли, не подобает спать на голом соломенном мешке.

Жители Медной деревни просто сгорали от любопытства; казалось, у них отсохнут языки, если им не дать посудачить о горожанах, обосновавшихся в Россе. Прямо прийти и спросить никто из них не решался, однако найти предлог было не так уж трудно. И надо же, чтобы путь в баньку лежал именно через двор Россы! С большой досады Якоб словно забыл, что сам поставил строения Россы на краю дороги, которая вела в баньку.

По мнению Якоба, жители деревни никогда раньше не шили себе такого количества пальто и жакетов, как нынче. Трое портных из баньки не могли пожаловаться на отсутствие заказов — их дело процветало. В тихую погоду Таниель выносил свою швейную машину на крыльцо, и она беспрерывно жужжала. Редко-редко позволял он себе поднять глаза от иглы, чтобы, прищурившись, глянуть в сторону болота. К счастью, он пошел характером в Матиса и не совал носа туда, куда его не просили. Катарина же и Яак, напротив, ерзали так, словно в штанах у них было полно муравьев. Однако они побаивались своего старшего брата, и стоило ему взглянуть на них, как они тотчас же подчинялись его безмолвному запрету. Просто мука была смотреть на них на двоих, когда, сидя на крыльце баньки, они шевелили иглой, сметывая куски материи, — молоденькие, ведь и они не прочь были сбегать на Иудин остров; в голове — ветер, глаза горят от любопытства.

Порой Якоба раздражало, что грустной улыбки Таниеля было достаточно, чтобы укротить молодых. На его, Якоба, лице никто бы не соизволил что-либо прочитать, — видимо, в его глазах не было тайной силы. Хозяину Россы приходилось выяснять все дела с помощью громких приказов-запретов-распоряжений.

Разумеется, портным нельзя было попусту тратить время, жители деревни потоком валили через двор Россы, неся под мышкой узлы с материей. Скоро сундуки, чемоданы и шкафы в округе будут ломиться от праздничной одежды. Видно, дыхание нового времени успело изменить людей? Якоб и раньше замечал, что стремление пофорсить распространяется все больше. Куда же придет этот народ, если каждый с такой легкостью будет поддаваться пустому чванству?

После покупки сапог Якоб не показывал носа в поселке. Если появлялась в этом необходимость, он приказывал Юстине запрячь лошадь и съездить в лавку — сахара и соли в Россе уходило теперь больше, чем когда-либо раньше. Ум у женщин куриный, Юстина ничего такого сказать не сумеет, если дело дойдет до расспросов, — она и думать-то сама не решалась о том, что делали тут горожане. На всякий случай Якоб научил жену, что говорить: мол, горожане изучают рост деревьев. Объяснение это было не бог весть каким, однако ничего луч-

шего Якобу в голову не пришло — кто хочет, тот пусть верит. Чтобы изучать деревья, нужен настоящий лес, едва ли остров средь чахлого болота мог представлять интерес для такого рода дела.

Незадолго до того, как появились господа из города, хозяева Россы и обитатели баньки выгнали свою скотину на Иудин остров. Из года в год Иудин остров все лето напролет кормил животных. В свое время, закладывая фундамент под дом, Якоб не придавал большого значения Иудину острову. Надо отдать должное сообразительности Матиса, который стал пользоваться этим клочком земли. Не нужно нанимать пастуха или рубить кустарник, а в случае дождя скотина могла найти надежное укрытие под большими елями Иудина острова.

Только женщины ворчали из-за острова, пастбище здесь было им не по душе. Трижды в день им приходилось проделывать нелегкий путь по мосткам, чтобы принести домой на коромыслах бидоны с молоком. Построенные на сваях, мостки эти быстро разваливались. За пару зим доски от болотных испарений прогнили, дорога стала неровной и неустойчивой. Столбы норовили совсем осесть в грязь. Особенно Юстина никак не могла привыкнуть к мосткам, у нее сразу начинала кружиться голова. Она неоднократно поскальзывалась там и вместе с молочными бидонами бултыхалась в болотную ямину. И всегда то был Матис, кто бежал на крик хозяйки Россы, чтобы вытащить плачущую Юстину из болота. У Матиса на этот случай у стены дома стояла наготове жердь.

Скотина оказалась мудрее людей, она лучше приспособилась, хотя ходила через болото всего лишь дважды в год — весной и осенью. Ни одно животное не погибло в болоте, всегда они собственными силами выкарабкивались оттуда. Словно носом чуяли, каким путем надо идти, чтобы сохранить жизнь.

С прибытием людей из города налаженное на Иудином острове пастбищное дело полетело вверх тормашками.

Нетерпеливые горожане, которые сразу же после того, как выгрузили пожитки и отослали возчиков, отправились на Иудин остров, еще в тот же вечер выразили удивление, обнаружив на месте своей работы скотину.

Они с укоризной поглядели на Якоба, словно хозяин Россы поступил непорядочно и нарушил заключенный

в апреле договор. Что их испугало? Ведь коровы не волки, которых следует бояться. Напротив, во время обеденной дойки мужчины могли бы подойти со своими кружками поближе и выпить парного молока. Ведь и их работа требовала сил, не для того же, чтобы порадовать глаз, они велели перенести на Иудин остров свои буры, ломы, кирки и заточенные молотки.

Это наше пастбище, твердо сказал Якоб. Матис и рта не раскрыл, у него не было такого права — встревать в разговор. В крайности, мужик из баньки мог привязать свою корову и телку где-нибудь и на обочине канавы. Зато россаское стадо благодаря Иудину острову основательно разрослось — восемь дойных коров и три телки. Попробуй прокормить их на поросшем кустарником хуторском пастбище!

Горожане были от природы людьми не въедливыми и потому не стали спорить с Якобом. Очевидно, поняли, что должна же скотина где-нибудь щипать траву. Они покопались в бумагах и планах, посоветовались между собой и снова выложили Матису на ладонь сколько-то рублей, показав на задний угол Иудина острова: там они велели поставить загородку — пусть коровы пасутся за ней сколько душе угодно.

На этот раз Матис не сумел спрятать под обычной ухмылкой свое удивление. Он-то знал, что болото вместе с Иудиным островом — земля общего пользования, перед законом хозяин Россы не имел никаких прав, горожане могли бы приказать убрать животных оттуда — не их дело, где хочешь, там и паси свою скотину. От легкой жизни люди становятся странными — горожане щедро кинули деньги на ветер, чтобы построить загон для россаских коров.

В середине Иудина острова, окруженная елями, была поросшая пышной травой поляна — вот с этого приятного места горожане первым делом и начали свои исследования. Прежде всего они принялись сдирать дерн. У Матиса, верно, сердце кровью обливалось, когда он острой лопатой резал хорошую почву на куски, чтобы свалить их подальше в кучу. Один из городских тоже был нанят для черной работы и потел наравне с Матисом. Остальные мужчины большей частью сидели под елями на камнях, мшистая шуба под их задницами стерлась добела и совсем истончилась. Взрослые люди, а ра-

ботали только карандашом, и их разговорам и спорам не было ни конца ни края.

После того как поляну ободрали догола, Якоб увидел, что остров посажен на каменное основание. Теперь мужчины откинули прочь бумаги, натянули на руки кожаные, с длинными отворотами, перчатки и показали, что и у бумагомарателей в мышцах сил достаточно. Кирки и молотки стучали не переставая, каждый отколотый кусок камня они вертели на ладони, а иные отбирали и складывали на простыню. Остальное отбрасывали рывком в кучу дерна или просто в лес. Якоб с сожалением смотрел и думал — была бы на болоте проезжая дорога, вывез бы на лошади хорошую землю, чтобы не смешивалась с мусором. Вскоре на поляне не оставалось ни пяди земли, на которой не валялся бы щебень.

С того момента, когда на острове принялись дробить камни, Якоб увидел, что в руках горожан как бы появилась дрожь. Хотя они и старались делать равнодушный вид, нетрудно было заметить, как они взбудоражены.

Якобу вспомнилось, как в первую весну после посадки деревьев он ходил по своему яблоневому саду.

Теперь источники болтливости горожан повысыхали, говорили они мало, иной раз замолкали на полуслове, вынимали из нагрудного кармана большую лупу и стояли над каким-нибудь осколком камня, нос к носу, так что дыхание одного щекотало бороду другого.

Мужчины больше не проявляли к Якобу ни малейшего интереса. Одному Матису велено было каждое утро находиться на месте, но он большей частью весь день сидел на камне, ожидая приказов. Пусть Матис сидит тут и ждет, пока горожанам не понадобится его помощь. Он, дескать, не знает, в каком месте надо ударить по камню, чтобы отбить от плитняка нужный кусок. Подумаешь, искусство — откалывать эти куски!

Ум горожанина сильно разнился от мужицкого.

Юстина была недовольна тем, что чужаки орудовали на болотном острове. В прежнее время коровы к часу дойки собирались у мостков, теперь же у скотины не было своей воли, все они, как пленники, стояли за изгородью в дальнем углу Иудина острова. Юстине приходилось пересекать весь остров, с тяжелыми бидонами пробираться меж камней и, пригнувшись, пролезать через за-

росли. Возможно, силы совсем бы оставили ее, не помогай старшей сестре проворная и жизнерадостная Леэни.

Теперешняя Юстина уже не вытащила бы пожитки из горящего дома, как некогда во время пожара в Медной деревне.

Якоб жалел Юстину. Он не сказал жене ни одного слова утешения, однако про себя думал: новое столетие должно даровать нам более легкую жизнь, истины, которыми мы жили до сих пор, рассыпаются, человек рожден не для того, чтобы быть рабом. Поверх болота виднеются верхушки елей Иудина острова, в один прекрасный день оттуда воспарит облако богатства и благословения и опустится над Россой.

С точки зрения здравого рассудка не имело смысла лелеять надежды, однако во всей этой истории должна же была быть какая-то своя закавыка. Недаром Якоб видел все это неистовство природы, которым Иудин остров хотел ранней весной отпугнуть от себя людей. Пусть Юстина еще немного потерпит, скоро она, в платье с вытканными на нем веночками из роз, покатит в рессорной коляске.

Много дней Якоб не ходил на Иудин остров. Он сдерживал себя. Хозяин Россы делал вид, что деятельность горожан его ничуть не интересует. Судьба не любит назойливости. Якоб правил и точил косы, на пойменном лугу можно было начинать косить. Ранними утрами они вместе с Леэни отправлялись в путь. Телега плыла через Долину духов, где низкий туман не хотел рассеиваться. Якоб просовывал голову сквозь полосу тумана, смотрел вдаль и думал о тайнах Иудина острова. Миновав долину Медной деревни, телега сворачивала на вязкую и колеистую дорогу, ведущую через ольшаник. Перед самой рекой Леэни приходилось тормошить погруженного в раздумья Якоба, чтобы передать вожжи в руки хозяина. Все-таки надежнее, если через брод лошадь поведет Якоб. На сенокосе они работали до полудня, затем подкреплялись и ненадолго ложились под куст отдохнуть.

Однажды Якоб задремал в тени куста и в полусне увидел груду битого камня, в которой что-то ослепительно поблескивало. Якоб натянул на глаза шляпу, однако все-таки что-то мешало ему. Он провел рукой по лицу и понял, что Леэни травинкой щекочет ему усы. Якоб сел, и Леэни громко расхохоталась.

В этот наполненный шмелиным жужжанием миг Якоб на секунду забыл про Иудин остров. Голова стала странно пустой. Словно между плечами у него находился сосуд, в дне которого стеблем проткнули дырку, и теплая влага растеклась по жилам. Сердце забилось, и душу охватил трепет.

Якобу стало стыдно своей минутной слабости. Он поднялся, недовольно ворча, и поспешил схватить косу. Все послеобеденное время Якоб косил траву, словно должен был сразу, в один присест, выкосить всю пойму — рубаха на нем насквозь промокла. Леэни не сдавалась и ни на шаг не отставала от хозяина Россы. Никто не произнес ни слова.

Одним ранним утром горожане позвали на помощь Матиса и Якоба. Мужчины осторожно пошли по мосткам. Матис шел впереди и ногой нащупывал места крепления досок. Поскользнуться было нельзя — разве ж вытащишь со дна ямины этот ящик с динамитом?

После того как ноша была доставлена на разворошенную поляну Иудина острова, россаским мужикам велели возвращаться назад. Якоб с трудом подавил злость — взять бы дубинку да навернуть дьяволам! Пусть в этих бумагах понаписано что угодно, Иудин остров все равно принадлежит Россе, не кто иной, как Якоб, хозяин этого клочка земли. Разве то, что со времен предков об этих землях пеклись, что здесь прожиты жизни— под одной ногой болото, под другой кустарник, что здесь с утра до вечера гнули спины, — разве все это ничего не стоит? И теперь неизвестно откуда взявшиеся чужаки дают понять хозяину Россы, что у него нет даже права смотреть, как выворачивают наизнанку сердце Иудина острова.

Матис должен был, как часовой, стоять у конца мостков, дабы никто из любопытных не явился на болотный остров мешать господам из города.

На Иудином острове готовились к серьезному и опасному сражению, сообразил Якоб, малость поостыв. Ни одна работа не спорилась у него, хозяин Россы ходил по двору и взволнованно поглядывал в сторону болота.

Перед обедом двое горожан бегом отправились к хутору. Вскоре следом за ними помчался и третий. Доски мостков, подобно пружинам, прогибались под его ногами. Забитые руками Матиса столбы, казалось, еще глубже оседают в землю. Болото словно пыталось всосать в себя

дорогу — вязкая земля на свой лад оберегала Иудин остров, ни у кого, начиная с сотворения мира, не хватало наглости взломать там каменные залежи.

За миг до того, как раздался взрыв, с болота в небо взлетели сотни кричащих птиц. Деревья качались, будто хотели отломать вершину от ствола и откинуть подальше, кусты трепетали, весенние побеги дрожали, подобно овечьим хвостам. Второй взрыв, третий — сейчас строения Россы оторвутся от фундамента и поднимутся в воздух, чтобы затем под треск бревен рухнуть прямо на двор.

Темная вода болотных ямин взбаламутилась, и вверх полетели брызги. Гром перекатывался по подземным ходам и сотрясал землю.

Строения Россы, слава богу, стояли прочно.

Сладкий ужас объял Якоба. Никогда раньше он не бывал так потрясен. С еще не утихшим в ушах гулом от взрывов, он всей своей кожей, головой и сердцем почувствовал, что новое столетие в самом деле наступило и началось оно прямо с Россы. До сих пор переворачивая землю своей силой или силой животного, Якоб только теперь понял, что человеческому могуществу нет пределов.

В этот возвышенный миг Якобу ничуточки не было жаль, что покой природы нарушен, что поднявшиеся с болота птицы кричали над головой, что змеи, уронив каплю яда, спрятались под кочки, что удирающие косули перелетали по воздуху через болотные ямины, а напуганные лоси грудью проламывали чащу — в глазах красное пламя ужаса. Якобу ничего не было жаль, в душе его не было места сожалению. Не каждому поколению дано испытать миг, когда обычный уклад жизни вдруг ломается. Динамитные патроны — Якоб видел их — словно толстые свечи, завернутые в вощеную бумагу, в них таилось нечто гораздо большее, нежели в страшных историях Долины духов, столетиями передаваемых из уст в уста. Мощь, скрывающаяся в этих, наполненных взрывной силой, колбасках, была выпущена на волю на глазах у Якоба, и ей надлежало проложить дорогу для чего-то небывалого. Якоб не знал, как коротко подытожить свои тайные мечты. Ждал ли он счастья? Этому бабскому слову не подобало венчать мысли хозяина Россы. Может быть, он и не хотел большего — лишь бы жизнь была без забот.

В конце концов горожане позволили женщинам прийти на Иудин остров, и Юстина с Леэни поспешили туда с подойниками в руках. Якоб нерешительно брел за ними. Он намеревался немного покружить по сердцу болотного острова, посмотреть, что стало с елями вокруг поляны, и, укрывшись за валунами, взглянуть на место взрыва. Человек не в силах без конца сдерживать свое любопытство. Время от времени приходится в чем-то уступать себе.

Поляна превратилась в огромную яму. Взлетевшие в небо куски камня, падая, скосили ветви со стоявших окрест деревьев. Здесь стоял странный запах. Якоб не мог понять, откуда идет этот горький запах, который застревал в ноздрях. Господа из города сгрудились внизу, в яме, вертели в руках каменные осколки и что-то бормотали, словно заговорщики. Якоб жадно и бесстыдно смотрел на мужчин и груду камней, стараясь все же понять смысл этого предприятия, который до сих пор оставался для него неясным.

— Якоб! Якоб! — жалобно послышалось из-за деревьев.

В этот миг Якоб пожалел, что у него на плечах жена, и хутор, и вся эта штуковина. Стать бы свободным, зажить жизнью, достойной мужчины. Он завидовал тем, что кучкой стояли там, в яме. В эту минуту он готов был снять с себя все и остаться голым, готов был отдать что угодно, лишь бы получить в свое владение взрывчатку, чтобы и он мог вывернуть наизнанку земную кору и взвесить на руке камни, доселе пребывавшие в вечной тьме, и понять то, что до сих пор не давали ему понять жизнь и судьба.

Якоб полагал, что в жизни каждого есть высшая точка, к которой он когда-нибудь придет; сам он пришел к своей вершине полувслепую, и теперь следовало быть настороже, чтобы сразу же не свалиться с нее. Это так легко могло произойти. Останется лишь смутное воспоминание: был однажды возвышенный миг, от которого распирало грудь, и все реже и реже приходит он на память, если изо дня в день ты должен тупо выполнять положенную тебе на хуторе работу.

Меж оголенных стволов стояла Юстина, она с ног до головы дрожала. Куда исчезла отважная девушка, которая рука об руку с Якобом пришла через Долину духов на

Виллаку? Может быть, та Юстина осталась в виллакуской горнице, где пьяный Якоб так необузданно взял ее?

Впервые у Якоба мелькнула такая мысль.

Якоб пошел следом за Юстиной на пастбище.

Леэни стояла, нагнувшись над телкой — та лежала на земле, выворотив глаза, и хрипела.

Самая старая в Россе корова, у которой болотная болезнь выела суставы, отдувалась в орешнике, словно пыталась спрятать в зарослях свое разорванное вымя. В конце жизни у животных появляется сообразительность человека, из глаз коровы глядел смертельный страх. Она как будто искала взглядом молот, который должен был с тяжестью скалы ударить ее меж рогов.

Потрясенный Якоб неверным шагом лунатика поплелся на край пастбища — где же остальные животные? Меж чахлых березок валялась сломанная изгородь, стадо рвануло в болото.

Леэни оставила хрипящую телку. С бледным как мел лицом, она поднесла свои дрожащие руки к вырезу платья и шевелила ртом, но ни звука не вылетало из ее горла. Не глядя под ноги, Леэни пошла к барахтающимся в болотных яминах животным и стала звать:

— Теля, теля, теля.

Вначале то был лишь шепот, затем он перешел в хрип, пока наконец голос не обрел звук и, как ни странно, удивительное спокойствие. Якоб стал прислушиваться: может, это был гул церковных колоколов, паривший над благоухающим лугом и вобравший в себя жужжание пчел?

Леэни по колени увязла в грязи. Она вытаскивала то одну, то другую ногу, все животные смотрели в ее сторону.

— Это не впервой, и раньше выбирались из болота, — уговаривала она коров.

Юстина опустилась на колени перед хрипящей телкой, причитая сквозь слезы:

— Теля, теля, теля...

Сестра вложила ей в уста эти слова.

Туловище телки поднималось и опускалось, она со свистом вдыхала и выдыхала воздух, словно в горле у нее застрял кусок, от которого надо освободиться.

Юстина протянула вперед руки и, подавляя плач, стала повторять:

— Телушка, вставай, вставай!

Она шевелила кончиками пальцев, точно манила животное к себе.

Телка шумно дышала, постепенно глаза ее начали проясняться. Слегка приподняв голову, она нащупала ногами опору, пытаясь подняться на колени.

Якоб понял, что сегодняшний день что-то перевернул в нем. Он много раз наблюдал, как только что родившийся теленок встает на ноги, но ни разу не думал о том, что жизненная сила — это величайшая тайна, которую дано познать человеку.

Леэни стояла по пояс в болотной жиже и беседовала с животными.

Якоб преодолел оцепенение и принялся действовать. Он схватил в охапку втоптанные в грязь жерди от забора, бросил их себе под ноги и направился к Леэни. Взяв свояченицу за руки, он вытащил ее из ямины. Грязь стекала по платью Леэни вниз, ноги были серые и толстые, словно обмазанные глиной. Но она уже твердо стояла на жердине, положив руку на плечо Якоба.

С той стороны, где были коровы, донеслось нечто подобное вздоху и многократным эхом отдалось в кустах.

Смертельный страх, от которого тонут как животные, так и люди, стал постепенно рассеиваться. Коровы подняли головы и передними ногами встали на кочки, правильное чутье вернулось к ним. Снова казалось, что каждая пядь болота хорошо знакома им и они знают, где почва выдержит их, где нет.

Корову с порванным выменем Матис на закате прикончил.

На следующее утро господа из города предложили за корову деньги, но Якоб отказался взять их.

Ведь городские господа извлекли богатство из сердца Россаского болота.

Мужчины сидели в ряд перед амбаром, полный мешок камней был вытряхнут на серые доски пола. Они не уставали смотреть на свою добычу, каждый неровный осколок вертели в ладони и лупой исследовали все его прожилки. Люди из города никогда еще не были такими словоохотливыми, как в это яркое утро.

Сегодня они никуда не торопились. В этот день никто здесь, на Россе, никуда не торопился. Только Юстина не

выходила из дома, она варила и жарила. Гору мяса надо было как-то использовать.

Якоб так внимательно слушал горожан, что голова у него от напряжения начала гудеть. Слишком много оказалось нового, что необходимо было запомнить. Что означали все эти слова? Какие из них были самыми важными?

Аспид, доломит, известняк, свинцовая обманка, галенит?

Господа из города взвешивали на ладони куски камней. В них отчетливо были видны темные блестящие пятна.

Это и были осколки богатства, в которых прятались и медь, и свинец, и цинк. И серебро!

Якоб попыхивал трубкой, набитой душистым табаком, привезенным горожанами, ветерок слал дым в лицо и щипал глаза.

Иудин остров оказался пещерой сокровищ!

Мужчины ясно сказали, что темные крапинки встречаются в светлом камне гнездами.

Якоб был опьянен этими разговорами. Он готов был тотчас же, как крышку от котла, приподнять весь Иудин остров вместе с деревьями и валунами, чтобы извлечь оттуда все темные драгоценные гнезда.

Мужчины тоже были в опьянении. С размякшими от удовлетворения лицами они пустили бутылку по кругу. Леэни принесла из избы полную миску дымящегося мяса и каравай хлеба. Серые доски амбарного крыльца сошли за обеденный стол. Мясо старой коровы, страдавшей болотной болезнью, оказалось удивительно нежным и вкусным. Вскоре начисто обглоданные кости валялись вперемешку с осколками камней. Якоб взял в руки кусок с черным гнездом внутри. Он вытер поблескивающую поверхность камня о штанину — ему показалось, будто кто-то капнул на камень мясного бульона.

Непринужденная болтовня горожан услаждала слух Якоба, подобно райской музыке.

Никогда в жизни он не подумал бы, что в мире, и особенно в недрах земли, можно найти столько удивительного!

Говорят, будто где-то далеко, в горах России, в красном граните прорублены колодцы. Летом ископаемые на-

ходятся под водой, а к осени ходы просыхают, по за добычей идут лишь в сильный мороз, когда не надо бояться обвалов. Более смелые спускаются по веревке на самую глубину и с факелом в руках исследуют жилы в глинистом грунте и бока камней. Из щелей и расселин эти люди достают драгоценные камни и набивают ими свои карманы. Охотники за драгоценностями даже во сне держат в одной руке ружье, а в другой нож. Сколько раз там перерезали глотки, чтобы завладеть сокровищем!

С драгоценными камнями, собранными в щелях, творят всякие чудеса, чтобы придать им красоту. Более светлые запекают в хлебе или в золе, дабы они приобрели золотисто-желтый цвет. Каждую весну гонцы верхом на лошадях едут в горы, скупают там камни и везут в столицу, где их нашивают на царскую мантию, вешают на шикарных женщин или прячут вместе с золотом в железные сейфы.

Иные камни стоят дороже, чем все хутора здешних волостей, вместе взятые.

Постепенно у наиболее ценных камней якобы появляется запах крови: не только в горах перерезают из-за них глотки, даже люди из дворянского рода схватываются из-за такого богатства за карточным столом. Многие из тех, кто проигрался, пускают себе пулю в лоб.

Все, что запрятано в недрах земли в виде гнезд, имеет огромную силу и могущество.

На Иудином острове нашли свинцовую руду. Ружейные пули отливают из свинца.

Если в сердце болота, на Иудином острове, прорубить колодец, может, и там в щелях плитняка можно найти драгоценные камни? Вдруг из светлых расселин посыплются красные, и синие, и желтые, и зеленые бусинки.

Пьяный Якоб мысленно повторял себе: Иудин остров принадлежит Россе. В этом нет ничего невозможного. Мир полон толковых людей, предоставь им только возможность, и голова у них заработает. Кто-нибудь да придумает, как к купчей на покупку хутора пристегнуть и Иудин остров вместе с болотом.

## 6

В последнее время Таниель никак не мог избавиться от одной мысли: надо уходить с болота. Пора дать место другим, он и так чересчур задержался под крышей родного дома. Он чувствовал, что стал помехой для всех, хотя с детства жил обособленно и старался не путаться ни у кого под ногами. Когда Якоб поставил дом поблизости от баньки, Таниель и вовсе замкнулся в стенах своего дома. Он старался без надобности не ступать на землю Россы и чувствовал себя хорошо и уверенно лишь на лужку возле баньки. Право имеет свои границы, и каждому положено знать свое право и его границы.

В ту пору, когда Матис построил на краю болота баньку, Таниелю было столько же лет, сколько сейчас Ионасу, старшему сыну Якоба. Таниеля поражало, насколько дети теперь иные, чем в его время. Возможно, Таниеля сделали рохлей разговоры, которые до того, как они поселились в баньке, без конца вели Матис и Ява. Они то и дело твердили, что, как только Якоб достигнет совершеннолетия, он по праву наследника своего отца возьмет бразды правления на хуторе в свои руки. С малых лет Таниелю внушали, что Якоб среди них самый важный, с ним должна считаться вся семья. Право первородства уже с колыбели уготовило ему надежное место под солнцем.

Да и на протяжении более поздних лет Таниель замечал, что и Ява и Матис относятся к другим детям не так внимательно и уважительно, как к Якобу. Если бы Яву мучили угрызения совести, она бы уделяла такое же внимание и остальным детям от первого брака. Однако, когда Эва, Нестор и Сабина оставляли дом, Ява не пролила ни слезинки. Быть может, в баньке даже почувствовали облегчение, что старшие уходят и освобождают место для младших. И все же словно сквозь туман вспомнилось, как на свадьбе у Эвы Ява плакала навзрыд. Но она повисла на шее не у Эвы, а у Нестора, которому еще только предстояло покинуть дом.

Таниель почувствовал, что мысли его пошли не по тому пути. Жизнь в ее проявлениях, на самом деле, так

неопределенна, что в этом хаосе никак не разобрать, где правда, а где ложь.

Почему его удивляет упорство Ионаса, старшего сына Якоба? Разве ребенку следует бояться обитателей баньки? Ионас с рождения привык к тому, что два дома стоят поблизости, что две семьи живут рядом, — какому мальчишке не нравится слушать рассказы бабушки? Откуда Ионасу было знать, что его сводный дядя, Таниель, чувствовал себя скованно в обществе его отца? Лучше, если б Ионас этого никогда не замечал. Пусть мальчик называет Матиса дедушкой, он ведь ни одного из своих настоящих дедов никогда не видел. Умный старший должен быть глупому молодому поддержкой — это простой и ясный закон жизни.

Таниель понял, что все эти невеселые мысли зашевелились в его голове с того момента, когда он почувствовал необходимость уйти отсюда.

А ведь он всем сердцем прирос к баньке и болоту. Если б душа человека была чем-то осязаемым, то из нее под кочки и на дно болотных ямин должны были бы тянуться ниточки. Они держали его, как якорь. И еще Леэни держала его, хотя и не была коренной жительницей болотного края.

Слишком спокойно текли твои дни, сказал себе Таниель. Не годится так жить дальше — перед глазами узенький квадрат окошка баньки. Дорога, которая вьется через Долину духов и по другую сторону равнины разветвляется, подобно кроне дерева, чтобы направить путника в любой многолюдный город, — открыта перед тобой.

И Таниелю приходилось жить вдали от Медной деревни, но всегда, когда он находился далеко от дома, его не покидала твердая уверенность: я вернусь обратно. Слова — я уйду навсегда — не укладывались в голове.

Надо было свыкнуться с новой мыслью. Она должна была впитаться и в сердце, и в мозг, стать частью его существа, чтобы возникло желание идти. Из необходимости уйти должна была родиться тоска по дальним дорогам, ожидание нового, порыв. Смешно было бы прожить жизнь на краю двора Якоба.

Таниель усмехнулся — и в нем сидит дьявол гордости. Настало время проявить себя. Новое столетие предъявляло людям бóльшие требования. Начался бег наперегонки

гонки. Тот, кто собирался оставаться зрителем, заранее признавал себя побежденным.

Каждый гнался за чем-то. Движение к цели сделало людей ранимыми и завистливыми. Таниель жалел, что прежний тихий покой и простота отношений исчезают.

Ему и в голову не приходило, что он мог чем-то оскорбить Якоба.

Однако Якоб обрушился на него: ты издеваешься надо мной.

Это случилось всего полчаса назад.

Таниель лежал в корыте с грязью, когда из-за кустов неожиданно появился Якоб. Таниель растерялся, он не помнил, чтобы кто-либо когда плутал здесь, за Иудиным островом. Не зная, что делать, Таниель высунул из грязи колени. Не мог же он голым, со стекающей по телу грязью, бежать от Якоба? Ни для кого не было тайной, что Таниель приходил сюда лечиться. Якобу ни к чему задерживаться здесь и глядеть на своего сводного брата. Если ему нужно было что-то сказать, он выбрал бы для этого другое место. Никакого мужского разговора не получится, если один лежит в грязи, а другой стоит, расставив ноги, на кочке с молотками в руках. Не придумав ничего лучшего, Таниель смущенно улыбнулся; непонятно было, почему лицо Якоба свела судорога, будто он хотел тут же заскрежетать зубами. Вот тогда-то он и подумал, что над ним издеваются. Прежде чем Таниелю удалось произнести хоть слово, Якоб повернулся на каблуках, так что с кочки посыпался мох, и умотал прочь. Таниель поднял голову и посмотрел Якобу вслед. На него напал страх: неужто ослепленный гневом Якоб пойдет прямо, — не дай бог, еще в ямину свалится. Как будто он впервые на болоте — здесь надо вести себя тихо и с умом.

Очевидно, оба чувствовали себя смешными. Что мог поделать Таниель, если он таким образом лечил себя? Когда они поселились в баньке, маленький Таниель однажды случайно услышал, как Ява, вздохнув, сказала:

— Этот парень выкашляет из себя все легкие, не знаешь, чем и помочь.

Таниель с детства всегда ужасно кашлял. Слова Явы внесли в дело ясность: Таниель и раньше слышал, как говорили, что, мол, тому или иному суждено умереть. И маленькому Матису, когда он болел, снадобья Явы не по-

могли. Если пахучие пучочки растений не могли спасти человека, надо было кончать счеты с жизнью. С тех пор Таниель стал прислушиваться к своим легким. Хрипы и свист, идущие из глубины груди, пугали его так, что на лбу выступала испарина. Свои страдания надо было держать в тайне, чтобы никто ни о чем не догадался. Если другие поймут, что ты сам поставил на себе крест, то, сами того не ведая, распахнут дверь смерти. Таниель хотел жить, и это тихое желание, как болотный огонек, тлело в глубокой темноте отчаяния. Навострив уши, глаза — нараспашку, Таниель блуждал по Долине духов, когда она бывала окутана туманом, бродил по болоту и часами сидел на камне на Иудином острове — он ждал доброго знака, какого-то намека, который указал бы ему путь к выздоровлению.

Однажды Таниель отправился вместе с Матисом на ярмарку и там услышал разговор двух стариков. Они говорили о ком-то третьем, кто вылечил себя болотной грязью.

На следующее утро Таниель привязал к корыту веревку и потащил его за Иудин остров. Он думал, что никогда не дойдет до места. В тот раз казалось, что в болоте мало ямин. По воде корыто скользило, как заправская лодка, но в топкой земле норовило увязнуть и клонилось набок. Каждая кочка была как гора, которую нельзя было обойти. Кусты, чахлые березки и даже палочник на краю болотных ямин казались непроходимыми, как еловая чаща. Все, что росло на болоте, стояло стеной и не хотело давать дорогу корыту. Мальчишка Таниель думал: это моя Голгофа.

Несколько дней кряду продвигая корыто по болоту, Таниель в конце концов добрался до места. Это было очень тихое место, куда ничья нога еще не ступала. Каждый раз, когда выдавался теплый день, Таниель отправлялся за Иудин остров, зачерпывал с края болотной ямины плотную густую грязь, наполнял корыто и ставил на солнце подогреваться. После обеда он возвращался и ложился в грязь. Прежде чем становилось ему прохладно, он вылезал. Сердце колотилось, когда он, с трудом волоча ноги, брел к елям на Иудином острове. Там, в источнике, он отмывался. Приковыляв домой, Таниель чувствовал себя таким измученным, что не мог под-

нять руки на стол. Может быть, грязь, вместо того чтобы давать здоровье, высасывала из тела последние силы?

Но грязь была единственной возможностью, единственной надеждой — Таниель не смел колебаться, потому что он хотел жить. Он упорно продолжал лечиться. Каждым теплым утром он набирал в корыто свежую грязь. Случалось быть резкому ветру или дождю, и Таниель оставался дома — чувство облегчения в душе боролось с велением долга.

Удивительно, но к осени кашель у него почти исчез, из груди лишь изредка вылетали свист и хрипы.

С тех пор Таниель в каждое лето принимал грязевые ванны. Как он ни старался держать в тайне свое лечение, об этом все же узнали. В Медной деревне стали припоминать старые истории с Пигинийтом и говорили, что Ява — дочь дьявола. Никто в этих краях не рожал на свет таких сумасшедших: один сын Явы сжег сердце Медной деревни, другой изо дня в день валяется в грязи.

Теперь Таниель считал себя вполне здоровым мужчиной. Решив покинуть земли Россы, он захотел напоследок зарядиться силой, которую давало болото. У него должно было хватить здоровья, чтобы выдержать городскую жизнь.

Разумеется, Таниель почувствовал неловкость, когда неожиданно из-за кустов возник Якоб и увидел его в корыте. Картина была, безусловно, неприглядная: светлое лицо на черной поверхности грязи.

Ясное дело, что Таниель выглядел смешно. В этих краях человеку не пристало показывать, что он цепляется за жизнь, как утопающий за соломинку. В окрестностях Долины духов люди в прежние времена хорошо плодились. Тот же, кому на роду было написано умереть, должен был покорно грести к берегу небытия.

Когда злые слова Якоба начали постепенно выветриваться из ушей Таниеля, он вдруг сообразил, почему сводный брат рассердился, почему затрясся от гнева. Хозяин Россы тоже внезапно ощутил себя смешным.

Якоб не хотел, чтобы кто-либо узнал о его тайных походах. Все делали вид, что ничего не знают о деятельности Якоба. Он ведь не предполагал, что наблюдательный Ионас мог и кое-что разболтать.

Задним числом вся эта прошлогодняя история выглядела довольно-таки неправдоподобной. Едва ли какой-

нибудь другой отдаленный уголок земли мог с самого начала ощутить на себе дыхание нового времени — а вот через Иудин остров и болото оно пронеслось обжигающим пламенем.

Таниелю до сих пор оставалось непонятным, почему Якоб возлагал такие большие надежды на деятельность горожан. Хозяин Россы просто возликовал, когда они нашли в доломите следы руды. Якоб словно рехнулся, он без конца поглаживал на ладони осколки камня с блестящими прожилками. Юстина жаловалась, что Якоб даже по ночам бредит этими камнями. Не зря же он с горящими глазами слушал полупьяные разговоры господ из города.

Господа из города пробудили к жизни скрытые в Якобе страсти. Все снова и снова Якоб — он теперь уже не мог иначе — крался к развороченному сердцу Иудина острова, дробил камни, просеивал гальку, рылся и искал неизвестно что.

Якоб забыл о повседневных делах и даже о больших целях, которые до сих пор скрашивали его жизнь. Именно то, за что уважал своего сводного брата Таниель, теперь было предано Якобом забвению. Он больше не хотел сажать деревья. Он не испытывал ни малейшего интереса к своему образцово разбитому саду. Хуторские работы камнем висели у него на шее, с надутым видом он каждую секунду норовил убежать от плуга или косы. Якоб жил, как каторжник, мысли которого неотвязно цепляются за далекие дела. Казалось, он не замечал, как пускают ростки растения, не видел красоты цветения, а запах только что вспаханной земли едва ли достигал его ноздрей.

Должен же был Якоб с его здоровым и ясным умом когда-нибудь преодолеть, как болотную лихорадку, эту странную страсть к камням.

Люди жалели Юстину, которая страдала вдвойне. Все больший груз работ ложился на ее плечи, к тому же ей показалось, что господа из города дали Якобу ядовитый табак, который свел его с ума.

И все же Иудин остров был хорошим пастбищем, радовавшим каждого хозяина. Прошлым летом лучшие поляны болотного острова разворотили, а этой весной в каменные ямы набралась вода. Словно на болоте мало было этих ямин! После первых взрывов Матис с Якобом снесли

на Иудин остров еще немало ящиков с динамитом, и содержимое их тоже с грохотом взлетело в поднебесье.

Земная кора показала, что манила людей зря. Чем ниже исследовали недра Иудина острова, тем скуднее становились пробы. К осени чужаки собрали свои пожитки и велели отвезти их в город. Они прямо сказали, что копать в этих краях бессмысленно. Взрывчатка не просто так летит в небо, большая сила ни с чем не считается, всегда остаются жертвы. Не только развороченный Иудин остров принес Россе убыток. У напуганных взрывами коров исчезло молоко, а у телок прекратилась течка. Осенью с Россы на ярмарку потянулся грустный обоз. Разъяренный Якоб хлестал едва передвигавших ноги коров, Матис плелся в хвосте стада, кнут его волочился по земле, он вдруг одряхлел и стал похож на столетнего старика. Ява с Юстиной стояли, прислонившись к воротам, и хозяйка Россы плакала громко и жалобно, словно хотела вместе со слезами выплеснуть из себя и все старые горести.

Обитателям баньки пришлось обходиться без молока до той поры, пока Таниель не добавил денег Матису, чтобы он смог купить на скотоводческой мызе телку. Ява еще раз вспомнила Мирт.

Весной россаскую скотину и скотину обитателей баньки, как всегда, погнали через болото на Иудин остров. В этот день все смогли убедиться, что такое сила привычки. Новые животные, привыкшие топать по суше, не могли пройти через болото на остров. Прежние коровы с телячьего возраста знали, что каждую весну и осень их ждал тяжелый переход. Эти сообразительные рогатые накапливали силы перед трудным путем. Если кому-нибудь из них случалось глубоко увязнуть в грязи, животное всегда само выкарабкивалось и следом за остальными добиралось до места. Иной раз провалившаяся в трясину скотина спокойно переводила дух и выжидала, пока к ней вернутся силы. В таких случаях люди лопатой очищали ей морду, чтобы грязная жижа через ноздри ненароком не забралась внутрь.

А новые животные, как только их выпустили из хлева, понеслись как бешеные в ту сторону, где перед ними не было изгороди. Едва ступив на болото, они начали барахтаться и с опасной быстротой погружаться в трясину.

Раньше у коров на переход с Россы до Иудина острова уходил целый день, каждый шаг надо было взвесить. Новые животные решили как можно быстрее добраться до места, но вместо этого очень скоро оказались в булькающей грязи и смотрели оттуда в небо, выпучив от страха глаза.

Вся россаская семья и обитатели баньки день-деньской провозились в болоте. Матис принес на спине воз досок; взяв веревку, он одним ее концом обвязался сам, а другим поочередно обматывал туловища наполовину откопанных животных и тянул с лошадиной силой. Женщины были по уши в грязи, они тоже тянули за веревку, и к вечеру руки у всех оказались истертыми в кровь. Скотину кое-как спасли. На обратном пути Юстина не могла пройти по мосткам, тело ее не держало равновесия. То одна, то другая нога соскальзывала через край, в конце концов Ява взяла ее за руку, чтобы отвести, как ребенка, домой.

С того дня, как стадо выпустили на пастбище, Матис всегда держал веревку под рукой и то и дело посматривал в сторону болота. Новые коровы не знали, что им придется все лето пробыть на Иудином острове. Матису не раз приходилось мчаться с веревкой на болото, потому что животные поглупее так и норовили вечером отправиться обратно в Россу, — эти коровы привыкли по ночам находиться в хлеву.

В пору цветения двое мужиков стояли на страже: Матис не спускал глаз с болота, чтобы предупредить несчастье, а Якоб посиживал в воротах и глядел на Долину духов. Хозяин Россы ждал возвращения господ из города. Прощаясь, чужаки уронили, что зимой будут изучать пробы камней, возможно, все это предприятие и не обречено на провал. Умоляющий взгляд мрачного Якоба выжал из них эти слова утешения. Якоб не мог примириться с тем, что на Иудином острове поставлен крест, что наступили покой и тишина.

Каждый в душе надеется на лучшие времена, никто не хочет просто так смириться с потерей, никто не хочет признаться себе в том, что очередной круг вновь завершился, часть жизни безвозвратно осталась позади, и ничего больше изменить нельзя. Только Юстина часто повторяла необычным для нее мягким и вынужденно спокойным голосом: как оно есть, так всего лучше.

Но как бы там ни было, а покой из Россы исчез. Воздух постоянно был наполнен каким-то тревожным звоном, словно жужжал невидимый комар, которому дана вечная жизнь. Люди становились все нетерпеливей и угрюмей, точно обязаны были равняться на Якоба, чье лицо изо дня в день хмурилось как туча.

Таниель заметил, что дети Якоба в последнее время почти ежедневно приходили к баньке. Когда Юстина звала их есть, они нехотя плелись через двор домой. Даже зимой они босиком неслись по сугробам в баньку, чтобы с разбегу прыгнуть на полати стариков и спрятать покрасневшие ноги под одеяло. Ява суетилась вокруг озябших детей. Не дай бог, еще заболеют! Запах чая из лесной малины не исчезал из дома. Долг бабушек следить за маленькими и держать под рукой высушенные лечебные ягоды. Молодое поколение надо было беречь, она тоже думала, что новое столетие сулит людям лучшее будущее. Никто из них не должен был зачахнуть, и без того в нынешние времена детей мало. Не то что у самой Явы — за подол ее юбки всю жизнь цеплялось сопливое войско.

Они, Явины дети, не могли тягаться со своей матерью. Эва ходила в церковь и молилась так, что колени у нее опухли, однако должна была примириться с тем, что у нее только Вийда и Наан. Якобова Юстина раньше времени сгорбилась, у нее едва хватает сил таскать через болото бидоны с молоком, вряд ли и она сможет еще произвести на свет потомков. Нестор редко когда пришлет письмецо из России. Время воинской службы давно истекло, кто знает, почему он не хочет возвращаться? Пришелся ли ему по вкусу царский хлеб, или его пугает то, что живет на свете Хелин? Вернешься домой — взрослая девушка перед тобой, дочь, которую отец ни разу в жизни не видел!

Сам Таниель тоже закоснелый холостяк, волосы на его голове стали редкими. Сабина не так давно вышла замуж, у нее одна за другой родились две дочери. Уже не первой молодости, Сабина едва ли сумеет еще хоть на сколько-нибудь увеличить род человеческий.

На Сабине замыкались концы одного родственного круга. Муж у нее корчмарь, такая же работа была и у деда. Мария, которой Сабина помогла устроиться в городе прислугой, прошлым летом приезжала домой и рас-

сказывала, что трактир Сабининого мужа ничего не стоит. Низкий деревянный домишко, зала, где собирались люди, маленькая, вся плавает в дыму. Горожане будто бы не умеют красиво пить водку. Им спокойно и поговорить некогда, недуг беспокойства съедает их чувства и разум: в спешке влив в горло четушку, они либо валятся под стол, либо затевают между собой драку. По мнению Марии, беда в том, что перед трактиром Сабининого мужа нет коновязи. Когда человек подъезжает на лошади, он никогда не переступит границ благопристойности. Стыдно перед скотиной.

Таниель усмехнулся. Люди по-всякому искали дорогу к лучшим обычаям — сумеет ли кто найти когда-нибудь нужную дверь?

Скоро Таниель сможет своими глазами поглядеть и на трактир Сабининого мужа, и на их житье, и на двор, где нет коновязи. Надо будет посоветоваться с Сабининым мужем относительно работы; может быть, они помогут ему снять на первых порах какой-либо угол.

Таниель не представлял себе, как люди вообще могут спать средь городского шума. Он ужасно отстал от времени. Младшие — Симон, Мария и Линда — еще до смены столетия стали горожанами. Да и он, Таниель, какой из него сельский житель: без хутора крестьянину здесь не житье.

Теперь его ничто не держит в родных местах. В этом году Яаку, как и Хелин, минет восемнадцать, им придется самим начать о себе заботиться.

От одной лишь мысли об этом возникла боль: Яак должен сам о себе заботиться. Ведь будущим летом Хелин пойдет куда-нибудь на хутор служить, и тогда Яак с Катариной станут главной опорой семьи в баньке. Жаль, что Хелин дома нечего делать, Яак сразу же сникнет, как только за ней захлопнется дверь. Катарина старше и серьезнее, от нее Яаку мало радости.

Таниелю вспомнились детские игры Яака и Хелин. Весной, когда сугробы начинали таять и уменьшаться, дети, как косули, носились по замерзшему болоту. Они не отставали друг от друга. Если где-то мелькала золотая головка Хелин, значит, можно было не тревожиться за Яака.

Когда Таниель стал принимать за Иудиным островом грязевые ванны, он в первые же дни увидел на краю бо-

лотной ямины короля змей. Таниель не испугался, не испугался именно из-за Хелин — от человека или твари, носящей золотую отметину, он не мог ждать плохого. У Таниеля не было и малейшего повода убить пресмыкающееся — где взять те девять грехов, которые простились бы ему за это дело?

Король змей тоже не испугался Таниеля. Когда после двух лет жизни вдали от родных мест — Таниель учился ремеслу — он приехал домой, то сразу же поспешил к знакомой ямине. Свернувшийся на дне сухого корыта король змей приподнял голову и посмотрел на него.

Кроме домашних, оказывается, еще кто-то ждал Таниеля.

Таниель вернулся в баньку с душой, готовой разорваться от блаженства. Такие удивительные случаи красили жизнь.

Хелин и Яак, оба в ту пору еще дети, схватили Таниеля за руки и принялись дурачиться. Все в тесной комнатке баньки летело кувырком.

В конце концов он вырвался из детских рук и вышел во двор. Справившись с одышкой, Таниель с помощью Матиса снял с телеги большой ящик и внес в дом. Катарина на цыпочках засеменила по половику навстречу ящику, остановилась на полдороге, как изваяние, и скрестила на груди руки. Таниель подумал, что в знаменательные минуты людям вообще бы подошло застывать на месте. Катарина поняла важность события — Таниель привез с собой судьбу.

Таниель подумал, что и дядюшка Алон остался бы доволен, сумей он подняться из могилы и поглядеть, как старший сын Явы и Матиса распорядился своей частью наследства. Таниель за два года обучился немецкому портняжному искусству. Живя экономно, он привез новехонький и современный ножной «Зингер». Сперва швейную машину поставили посреди комнаты, всем хотелось походить вокруг чуда света и со всех сторон оглядеть его. Катарина склонилась над машинкой, и щека ее коснулась металла. Вдохнула ли сестра в себя запах тонкого масла или же поцеловала машину?

Катарина в свою очередь должна была обучаться ремеслу под началом Таниеля. Не мог же их родственник там, в городе, открыть в своей портняжной мастерской

школу, чтобы посвятить в тайны этого искусства всех детей Явы!

Потом настал и черед Яака. Катарина помогала Таниелю обучать младшего брата.

Когда Яак первый раз запустил колесо, он от радости принялся корчить смешные рожи.

Благодарение богу, что Яаку это ремесло пришлось по душе. Парень напал на правильную жилу. Недавно он сам сшил себе брюки, изделие собственных рук воодушевило его. Яак захватил с собой Хелин, и они пошли побродить по Долине духов. Долгое время парень щеголял там, на пустом поле. Хелин рассказывала, что Яак держался так прямо, словно проглотил молодую ель.

В последнее время Яак взял в обычай каждый божий день надевать свои выходные брюки. Хелин хватало хлопот с ним — она ударяла его по пальцам, когда тот протягивал руку за новой одеждой, и совала ему старые штаны, от злости глаза у Яака метали молнии.

Хелин делала вид, что не понимает, почему Яак хочет быть красивым. Парень не спускал глаз с окна, выходившего во двор. Стоило там появиться Леэни, как Яак норовил выскочить за дверь баньки. Когда, несмотря на преграды, чинимые Хелин, ему это все-таки удавалось, она выбегала следом за ним и силой тащила упирающегося парня домой.

Хелин хотелось любой ценой защитить Яака. Все дурное, что есть в мире, должно миновать его. Она считала, что раз уж судьба была однажды так жестока к Яаку, то больше с ним не должно было случиться ничего плохого. Хелин хотела, чтоб Яак не знал ни отчаяния от разочарований, ни унижения от оскорблений.

В свое время народ Медной деревни довольно быстро узнал о несчастье Яака. Ява с Матисом сами позаботились о том, чтобы дать этой истории широкую огласку. Все случилось так непредвиденно.

Ява сидела во дворе баньки на скамейке и кормила Яака грудью. Внезапно со стороны болота поднялась черная туча. Ребенок, сморщив нос, спокойно посасывал. Яве было жалко тревожить его, и потому она не спешила укрыться в избе — авось туча пройдет стороной, не обязательно же небесным люкам разверзнуться именно над двором баньки. Едва эта мысль успела мелькнуть в голове у Явы, как яркая стрела пронзила верхушку стояв-

шей на краю болота ели и раздался невиданной силы удар. Яак отпустил сосок груди и пронзительно закричал. Уши ребенка не выдержали оглушительного раската, барабанные перепонки лопнули, и боль вырвала у него этот крик.

Об этом случае Ява могла говорить долго, пространно и сколько угодно раз. Даже подробности, несмотря на много лет, прошедших с тех пор, не улетучились из ее памяти. Она ясно помнила, как после удара с края болота потянуло едким запахом гари. В крике ребенка она поначалу не сумела разгадать несчастья, она лишь боялась, что из-за грозы где-нибудь мог возникнуть пожар.

Таниель знал, что зимой, после несчастья с Яаком, в самую студеную крещенскую пору, Матис несколько раз до восхода солнца тихонько выходил из баньки и обухом стучал по стволу злополучной ели — пока не отбил сердцевину дерева. Весной ель высохла. Каждый в деревне мог убедиться, что дерево сожгла молния. Несколько лет спустя Матис спилил высохшую ель, и один только пень остался свидетелем трагедии Яака.

Жители деревни принимали рассказ Явы и Матиса за чистую монету, однако добавляли от себя: видимо, бог хотел покарать Яву, и Яаку было предопределено искупить материнский грех. Никто, даже всемогущий бог, не забыл, что Ява угробила своего первого мужа. Последующая жизнь Явы не позволила предать забвению этот поступок — кто велел ей характер показывать? Ведь вот бесстыдство: завела нового мужа, чтобы наплодить еще видимо-невидимо детей. Народ Медной деревни полагал, что, если б все дети Явы собрались одновременно, банька оказалась бы так набита людьми — дверей не закрыть.

Неизвестно, время ли вышло, или Яву выбило из седла несчастье, — во всяком случае, Яак остался ее последним, одиннадцатым ребенком.

А Таниель видел, как на самом деле произошло с Яаком это несчастье. Кроме самой Явы, виноваты оказались в какой-то степени и свиньи Якоба.

Сколько Таниель себя помнил, он постоянно слышал, как Якоб похвалялся: вот стану хозяином Россы и выращу стадо в сто чушек. От принятого в детстве решения Якоб никогда не отступал. Еще в возрасте пастушонка он, как равный с равными, обсуждал с хозяевами Медной

деревни все, что касалось выращивания и откорма свиней. И вскоре все окрест стали считать Якоба знатоком во всем, что касалось породы и болезней свиней. Случалось же кому-либо посмеяться над планами мальчика на будущее, как он впадал в ярость. Со слезами гнева на глазах Якоб отрезал: достаточно он натерпелся голода, больше этого не случится. Столько дней, сколько ему в жизни отпущено, стол на Россе всегда будет ломиться под тяжестью блюд с мясом. Странно, что из их семьи именно Якобу голодное время врезалось в память всего больней.

Став хозяином Россы, Якоб принялся осуществлять свои замыслы. Сто свиней начисто бы объели поля Россы, ну а десяток подсвинков Росса в летнее время выдерживала.

Стоявший в середине Медной деревни старый россаский хлев не вместил бы такое стадо.

Край же болота был удобным местом, чтобы держать свиней, — тем более что поселившиеся в баньке Матис и Ява находились тут же и помогали ухаживать за ними. Таким образом, Якоб и устроил летний загон для свиней во дворе будущей Россы. Он привозил сюда на лошади муку и картофель. Матис кормил свиней. Кроме того, он соорудил для них на случай плохой погоды навес. С тех пор крики болотных птиц смешались с хрюканьем свиней. Орава ребятишек из баньки то и дело качалась на жердинах построенного Якобом загона. Не было ничего невозможного в том, что, лазая и кувыркаясь там, они расшатали сваи загончика, а может, те просто подгнили в том месте, где уходили в землю.

Первая половина истории с несчастьем Яака была действительно такова, как об этом рассказывали односельчанам Ява и Матис. Ява сидела на скамейке перед банькой и кормила Яака грудью. Вдруг до нее донеслись странные звуки. Из-за дома раздавалось громкое сопение. Ява вскочила, увидела, что свиньи Якоба разбрелись и топчут картофельное поле. Таниель и Матис, заготавливавшие на краю болота хворост, услышав истошный вопль Явы, тут же побросали топоры и кинулись к дому, так что пятки сверкали. Увидев мужа, Ява перестала кричать. И тогда в хрюканье свиней врезался пронзительный вскрик. Плач Яака был таким болезненно-тонким, словно младенец в этот миг понял, что никогда боль-

ше не услышит голоса людей и не сможет общаться с ними при помощи слова.

Честность Явы и Матиса до сих пор поражала Таниеля. Он думал, что ему запретят говорить о случившемся. Часто парень оставался с Матисом наедине, каждый ждал, что скажет другой. Они могли бы до скончания века смотреть друг другу в глаза, и все равно ничего бы не изменилось. В окрестностях Долины духов и так чересчур много носилось пустых слухов, кто-то должен был уметь и помолчать. Да и как мог Таниель обвинить Яву — в ту минуту, когда она пронзительно закричала, она же не думала, что губит этим и слух и жизнь Яака. Матис и Ява и без того страдали, — поначалу сельские жители не переставали удивляться, почему это маленький Яак до сих пор не говорит.

Когда Матис и Ява поняли, что из уст их старшего сына лишнего слова не вылетит, они стали распространять историю с молнией, и Матис зимой умертвил ель.

Верно, в ту крещенскую пору Матису не раз пришлось пожалеть, что он рассказывал Таниелю тайны деревьев. Волей-неволей Таниель стал двойным соучастником в случае с Яаком.

А Якоб и поныне держит много свиней, сам закалывает их и никого близко к бочкам с мясом не подпускает. Своей рукой рубит туши на куски и солит их в бочке, обязательно хвостом вниз, как велит народная мудрость. Когда дно бочки начинает просвечивать, Якоб приказывает Юстине поставить мокнуть горох. Свиной хвост надо варить непременно вместе с горохом. В этот день у Якоба забот полон рот: он закалывает очередную свинью и солит ее. После этого утомительного дела долго сидит за столом и обсасывает хрящики жгуче соленого хвоста.

Юстина, когда хочет сшить себе или детям пальто, приходит в баньку и приносит с собой в миске коричневатый, с разводами кусок солонины. Ява соскабливает с сала ржавый налет, и Таниель уверен, что в эту минуту она снова думает о несчастье Яака. Вода в этих краях такая, что, если дать ей постоять, на дне ведерка очень скоро появляется бурый осадок. Вместо того чтобы чуть ли не целиком поднять Иудин остров в воздух, горожане могли бы поискать в болоте железо.

С самого детства Хелин никак не могла понять, что, в сущности, такое с Яаком. Ведь и Матис с Явой не сразу

поверили, что Яак глухонемой. Таниель мучительно отворачивался, когда старики как бы между прочим громыхали за спиной маленького Яака. Только когда на пол кидали какой-нибудь тяжелый предмет, Яак оборачивался или начинал плакать. Поэтому его укладывали спать на тоненький соломенный мешок, и если хотели разбудить, то стучали по деревянному основанию кровати. Никто не решался потрясти его за плечо — кто знает, какие последствия мог вызвать испуг. Во время взрыва на Иудином острове Яак забился в угол комнаты, присел на корточки и, держась за коленки, стонал, лицо бледное, глаза закрыты.

Зато грозы Яак не боялся и чувствовал ее приближение раньше других. В баньке знали: когда Яак начинал бегать от одного окна к другому, значит, скоро в небе засверкают молнии. Хелин, которая верила, что причиной несчастья Яака был оглушительный удар грома, впадала во время грозы в панический страх и оттаскивала парня от окна подальше. Но Яаку нравилось смотреть на огненные стрелы. Однажды Хелин очень уж надоела ему своим приставанием, и он ударил ее.

Хелин забралась на кровать, сунула голову под подушку и обиженно заревела. Когда Хелин плакала, серая тоска заползала в душу всей семьи. Каждый сопел в своем углу, не было охоты работать, точно все ждали судного дня.

В такие мрачные часы Ява брала вожжи жизни в свои руки. Она будто и родилась на свет для того, чтобы в трудные минуты проявлять решительность. Не в обыкновении Явы было кого-то журить или уговаривать. Она садилась на полати, приглаживала складки передника и начинала, словно сама с собой, разговаривать.

Однажды в корчму — дом ее детства — явился один ученый человек, у которого в каждом кармане были разные очки. Узнав, как зовут Яву, он поведал всем находившимся в корчме об острове, который тоже назывался Явой. Все сразу удивились, что у дочери корчмаря столь необычное имя, — поди знай, откуда такое взяли? Остров Ява будто бы стоит средь теплого моря, на дне которого растет жемчуг. На этом острове высокие горы, порой они выбрасывают кипящую воду, а порой извергают жидкий огонь. Кофейные бобы можно срывать с кустов своей рукой. В лесу ползают толстые змеи, спины у них такие

же пестрые, как свадебные перчатки. Но и в том благословенном богом уголке земли есть и свое горе и нужда: если здесь каждые сто лет бывает наводнение, то там через каждые сто лет во многих местах разверзается земная кора — люди, дома и скот падают в пропасть, и горячее облако пара поглощает их.

Чужой мужчина рассказывал о деревьях, растущих на острове Ява, на каждой ветке у них шар цвета солнца. У этих плодов, апельсинов, за толстой коркой будто бы прячется мясо и вино — поешь и попьешь.

Ява до сих пор не видела настоящих апельсинов, но ученый человек, рассказавший об острове Ява, показал его девочке. Он надел на Яву красные очки и велел представить себе плод далекой страны. Потом люди, сидевшие за столом в корчме, тоже нацепили на себя красные стекла, и каждый видел сквозь них то, что хотел увидеть.

На следующее утро незнакомец надел Яве на нос зеленые очки, и снежные поля тут же превратились в зеленые луга.

От бесхитростных рассказов Явы настроение у семьи снова приподнималось. Рыжая кудрявая головка Хелин становилась круглой и приобретала цвет апельсина. Даже Яак сидел тихонько подле Явы и старался прочитать слова по губам матери.

Однако случалось, что никакая сила не помогала, и человек оказывался беспомощным перед обстоятельствами. Так же как не смогла сдержаться в тот раз из-за Якобовых свиней Ява и криком порвала ребенку барабанные перепонки, тщетными оказались и все усилия отправить Яака в школу для глухонемых.

Ява сказала: судьба встала на дыбы.

Матис считал, что большое несчастье, точно крыса, шныряет по земле, а маленькие несчастья, как крысята, следом.

Яаку исполнилось семь, когда Ява отправилась на церковную мызу посоветоваться с Эугениусом-младшим. Она прочитала в газете, что в Вяндра глухонемых детей учат говорить. Эугениус выслушал просьбу Явы и любезно обещал все устроить. Провожая Яву, он, подчеркивая свою важность, как бы между прочим обронил, что заведующий Вяндраской школой глухонемых — друг его по-

койного отца. Стоит ему, Эугениусу-младшему, заикнуться, и место для Яака будет обеспечено.

Ява вернулась с церковной мызы в радужном настроении, словно ей одним разом были отпущены все сто грехов.

В баньке стали ждать вестей по делу Яака. Время шло, и Ява день ото дня мрачнела. Веселые истории ее иссякли. Она без конца ругала людей, которые не держат слова и забывают про обещания. Второй раз Ява отправилась на церковную мызу с тяжелым сердцем. Пасторша отослала Яву ни с чем — за это время пастор был притянут к суду.

В этот день Ява сердито шагала взад-вперед по избе. С наступлением темноты она раскрыла Библию, но тут же снова закрыла ее и сунула священное писание в самый дальний угол шкафа, с глаз долой.

Матис тоже не раз ходил искать Эугениуса-младшего. Судьба преследовала пастора, трудные дни, наставшие для него, никак не кончались — мог ли он думать о каком-то ребенке из баньки!

Ява и Матис сидели по вечерам за столом и обсуждали церковные дела. Внезапно вопросы веры стали сильно занимать их, хотя до сих пор никто из них не был особо рьяным посетителем церковных служб. Этот грех односельчане и даже кистер простили им: бедная пара из баньки не могла загнать свою единственную лошадь ради поездки в церковь. Животное не может в зимнюю пору несколько часов кряду простоять у коновязи. Одеял не хватало даже для того, чтобы укрыть всех детей, а зимой лошадь без попоны, привязанная к церковной ограде, не в силах долго выдержать холод.

Дела веры были разобраны по косточкам, и Ява распалилась против тех, из-за кого пастора без конца таскали по судам. Что за глупые и легковерные люди те, кто отказался от прежнего вероисповедания и переметнулся в православную церковь. Если б в них говорил голос души и совести, Ява могла бы понять этих людей. Голая корысть подстегивала их. Они надеялись получить за бесценок кусок земли и избежать налогов, думали, что их самих осыплют хлебом, а сыновья избавятся от воинской повинности. За чей счет собирались они поживиться в этом бедном мире? Значит, такие, как Матис, корми свою семью, а кроме того, сажай себе на шею нахлебников!

Дурак пусть надрывается, чтобы другой мог наполнять свои закрома и лодырничать, задрав ноги кверху! И без того эстонец — овца овцой. Еще триста лет — и будет круглая тысяча, как он гнет спину на других! А теперь еще брат норовит залезть на закорки к брату.

Ява метала огонь, как вулкан на острове Ява.

Те, кто в свое время ради выгоды переметнулись в русскую веру, теперь горько сожалели об этом. Эугениус-младший, так же как и его переселившийся в царство небесное или в преисподнюю отец, пожалел заблудших сыновей и дочерей и снова принял их в лоно своей церкви. Может, потому молния и ударила в могилу Эугениуса-старшего, что будучи пастырем душ человеческих, он проявил излишнюю мягкотелость? Все грехи до единого нельзя прощать человеку, большие заблуждения каждый должен сам нести в своем сердце к могиле.

Новый царь после убийства своего папаши стал ужасно злым и круто положил конец этой торговле верой. Коли присягнул православной вере, будь предан ей до последнего своего часа, и дети твои тоже пусть идут по твоим стопам. Аминь.

Чем чаще Матис ходил на церковную мызу и, как всегда, возвращался не солоно хлебавши, тем ожесточеннее становилась Ява.

Она не понимала, почему их строгий Эугениус-младший, который любил выговаривать брюхатым девушкам и давал жару в ризнице растерянным отцам-кукушкам, почему он теперь был как мешок с соломой? Выгнал бы вон тех, кто бегал из церкви в церковь, ища более удобной веры, что с ними цацкаться? Весь приход жалел пастора, которого терзал в своих когтях орел правосудия, и только у Явы сердце оставалось упрямым и жестким.

Ява произвела на свет одиннадцать детей, десять из них живы и здоровы. Ни один из Явиных детей не стал конокрадом, пьяницей или негодяем. Впервые в жизни Ява нуждалась в посторонней помощи, она так хотела, чтобы Яака научили говорить. Одного-единственного слова — мама, которое мальчик умел произнести, было мало, чтобы прожить жизнь. Если б ему дали в придачу еще несколько слов, хотя бы самых важных: земля и небо, любовь, жена, ребенок, — Ява успокоилась бы. Она была бы готова в знак благодарности встать коленями на горох

перед церковной кафедрой, сделать все, что угодно, только бы ей помогли!

Или Ява и ее дети не нужны государству царя? Те, кто жили далеко от болота, не хотели понять, что весь эстонский народ вышел из лачуг, где под окном рос папоротник без цветов, а перед крыльцом плескалась темная болотная вода.

Пустая человеческая суета, которая мешала и не давала наладить жизнь Яака, временами приводила Яву в полное отчаяние. Ты последний человек на земле, порой громко говорила себе Ява, и все же не теряла еще надежды. Накинув на плечи большой платок, она снова шла в деревню и жадно слушала рассказы, ходившие о житье-бытье церковного пастора. Иногда вести были довольно безутешными: один суд назначил Эугениусу-младшему денежный штраф — хоть снимай и продавай висевшее над алтарем изображение Спасителя. На другом процессе господа судьи совсем озлились и пригрозили священнику Сибирью. Но вскоре преследованиям Эугениуса-младшего был положен конец, и его временно освободили от должности.

Эти многократные штрафы ничуть не ободрали пастора: снятый с должности, он вместе со своей госпожой уехал в Германию отдохнуть.

Народ в баньке терпел и надеялся.

Срок наказания пастора истек. Однажды над Долиной духов разнесся звон колоколов и достиг самого дальнего уголка Медной деревни — россаской баньки.

Ява и Матис поехали в церковь на лошади, одеяло, вытканное красными розами, лежало на соломенном мешке. Они сидели в телеге в своей лучшей одежде, с торжественными лицами. Бог мой, словно жених с невестой, со двора Россы крикнула им вслед Юстина.

На этот раз Матис и Ява рассчитывали договориться с пастором.

После проповеди они тоже встали в очередь. Многие хотели напомнить о себе пастырю — как-то спокойнее становилось на душе, когда над тобой на миг поднималась благословляющая рука.

Наконец и Ява с Матисом пробрались вперед. Эугениус-младший поглядел на них сочувственным взглядом и прижал к лицу ладони.

Кто бы мог подумать, что на их пути встало новое препятствие, мешающее отправке Яака! Друг покойного отца пастора, державший школу для глухонемых, впал из-за вероисповедания в такие разногласия с русской властью, что его выслали в Палдиски.

Ну что ответишь, если человек сидит на берегу холодного моря меж каменных стен!

Больше Матис и Ява не решились пойти на беседу к Эугениусу-младшему.

Сложная борьба церковных деятелей перестала быть предметом разговоров в баньке. Лишь изредка Ява в сердцах кидала, что вера без дел — мертвая вера.

Матис пытался успокоить Яву. По его мнению, жизнь за пределами Медной деревни была такая сложная и непонятная, что лучше не совать туда свой нос. Матис мог в самую темную ночь пойти через Россаское болото и не свалиться в ямину, он умел плотничать, починить ось или спицу было для него пара пустяков. Обивая лен, вся округа пользовалась обтесанными Матисом валиками, на изготовление их шла карликовая береза — ее древесина с плотным рядом годичных колец была устойчивей. Да и на многое другое годились руки Матиса, только вот за справедливостью ему было не угнаться.

Ява же, напротив, стремилась все вещи в мире тотчас поставить на свои места согласно собственному разумению. Вот и теперь она пришла к выводу, что пасторы сутяжничали лишь для того, чтобы самим прославиться. Ходят на цыпочках вокруг, чтобы невидимый нимб не упал с их голов, — подумать только, они осмелились выступить против царского повеления!

Никакого бы шума не было, если б глухонемого мальчугана из бедной семьи направили в школу.

Таниель учил Яака, как мог. Яак умел нацарапать свое имя и написать цифры: он стоял рядом — в руке бумага и карандаш, — когда Таниель снимал с заказчиков мерку. Да и в портняжном деле Яак проявлял усердие. Несмотря на то что он не мог ни спросить, ни узнать что-либо, взгляд его был острым и даже мелочи не ускользали от его внимания.

Таниель сделал все, что было в его силах. Свои обязанности старшего брата он выполнил. У семьи не возникнет повода для недовольства, если однажды утром он

запахнет полы пальто, потуже стянет пояс и уйдет насовсем.

Таниель не раз был свидетелем разлук. Когда подходило время сестрам и брату оставить дом, Ява давала каждому с собой пучочки тысячелистника и ромашки и провожала свое дитя через Долину духов до большой дороги.

В эти торжественные дни она надевала свой темный шелковый платок. Ступая через Долину духов, она имела обыкновение поправлять платок и как бы незаметно завязывала узелок на одной из кистей. Никто не понимал смысла этих действий. Чем старше Ява становилась, тем больше любила таинственный язык знаков. Может быть, с помощью узелка на бахроме платка она укрощала духов Медной деревни, чтобы те не отправились вместе с уходящим и не помешали жизни кровного ребенка Явы в большом мире.

Таниель много раз думал, что таинственные поступки Явы тем или иным путем повлияли на ее потомков. С раннего детства всем им было ясно, что каждодневный труд, еда и сон — это лишь одна грань жизни. Тем или иным путем все они хотели познать частичку неведомого.

Якоб зря разозлился, Таниель вовсе не считает его действия смехотворными.

После того как Таниель принял грязевую ванну и помылся в источнике, он долго сидел здесь, за Иудиным островом, на стволе упавшего дерева. Якоб же все еще раскалывал камни в развороченной горожанами яме. В бессмысленности может таиться и драгоценное зерно мудрости.

Никто не хочет пользоваться накопленным предыдущими поколениями. Объяснений этому множество: изменилось время, обстоятельства стали иными, каждый человек в чем-то неповторим и у каждого свой путь.

Никто не учитывал, что и до него были предприимчивые люди, которые занимались тем, что переливали из пустого в порожнее.

Много ли таких, кто возвратился из большого мира с сердцем, наполненным счастьем и покоем? И, однако, все новые люди готовятся в путь, стараясь спрятать от самих себя свои страхи.

Таниель оставит в баньке швейную машину и свои рабочие навыки, которые он передал Катарине и Яку.

Все это просто и ясно. А что ждет его в городе? Вместе со швейной машиной он неизбежно оставит и уверенность в себе.

И все же ему придется дать дорогу младшим и ступить в сторону от привычной тропы.

Много лет Таниель одевал народ Медной деревни, да и жителей более отдаленных мест. Люди стали знакомыми, по крайней мере особенности их тел. Постепенно во всем было достигнуто какое-то равновесие. Теперь он сам расшатывает почву под своими ногами, — очевидно, этих мыслей не было бы, покинь он родные места еще в мальчишеские годы.

Таниель почему-то боялся — вдруг в городе его подстерегает несчастье, а может, вернется болезнь? Где там возьмешь спасительную болотную грязь!

Племянник дедушки-корчмаря, у которого Таниель учился ремеслу, нарисовал перед ним страшные картины жизни большого города. Правда, он в свое время жил в Петербурге, который и сравнить нельзя было с какой-то жалкой кучкой унылых домов.

Один только петербургский рынок — это такое место, где человек мог заблудиться, как в дремучем лесу, исчезнуть, погибнуть.

Часто в тихие часы сумерек Таниель возвращался в своих воспоминаниях к рассказам родственника, жившего в Петербурге.

Приземистые здания тесно, бок о бок, стояли на краю извилистых улиц. Вверху дома становились массивнее, пол второго этажа поддерживали бесчисленные столбы, голова начинала кружиться, когда ты пролезал между ними, с двух сторон — непрекращающийся поток беспокойных и нетерпеливых людей. Все хотели что-то продать или купить, шумели и спорили, некоторые держали наготове кулак, чтобы утвердить свое право. Наверху, над узкой улицей, дома срастались, словно кроны деревьев. Солнце никогда не заглядывало в окна лавчонок на нижнем этаже. Но говорят, будто через эти убогие хибары текла золотая река, жалкий товар, лежавший на виду, прикрывал темные сделки. В узких проходах между будками торговали прямо на земле. Родственник рассказывал, что для него петербургский рынок был загадкой из загадок. Кому и для чего надо было покупать этот хлам:

сломанные ручки от ножей, полусгнившие тряпки, перчатки без пальцев, дырявые котлы, рваные галоши?

Для сокрытия чего было разложено на земле все это барахло?

Рынок таил в себе какую-то таинственную подоплеку.. Может быть, это сумасшедшее окружение было необходимо, чтобы чувствовать себя человеком?

Родственник рассказывал, что там же, на рынке, прямо на земле, сидели нищие, на теле — страшные нарывы. В грязных берлогах за копейки несчастным предоставляли ночлег. Утром тот, кто был жив, поднимался с соломы, а тех, кто ночью испустил дух, складывали на телегу и увозили за город, в яму.

Кто знает, может быть, родственник что и преувеличил.

Как выяснилось позже, сам он едва унес ноги из Петербурга — чуть было не отдал концы там, подобно нищему на рынке.

Родственник работал в дубильной мастерской. Им привезли, как обычно, большую партию овечьих шкур, и работа шла своим чередом. Вскоре после того, как заквасили первую связку шкур, несколько рабочих захворало. Только принялись за следующие шкуры, смотрят — уже семь человек лежат пластом. Старые дубильщики заподозрили неладное. Один, который посмелее, осмотрел больных и обнаружил на их теле зловещие смертельные волдыри. Мужчины стали перешептываться: вместе с овечьими шкурами сюда была занесена сибирская язва.

В тот день, когда первый из заболевших умер, родственник дал ходу из дубильной мастерской. Даже жалованья не взял у хозяина. Он прямиком отправился в свою каморку и с ног до головы вымылся уксусной водой. Собрав в узел кое-какие необходимые пожитки, он стал пешком добираться из Петербурга домой. У каждого встречавшегося ему ручья он раздевался догола и ополаскивал тело. Добравшись через три недели домой, он у ворот скинул с себя всю одежду — на его коже не было ни царапинки, не говоря уже о смертельных волдырях. Убедившись, что опасность миновала, он решился предстать перед своими. Этого испуга оказалось достаточно, чтобы бросить нужную профессию дубильщика. Уже взрослый, с бородой, родственник поступил в ученики к портному из немцев. Его пальцы ловко держали иглу, и мужчина

с приветливым характером вскоре стал незаменимым мастером. Он не отказывался ни от каких заказов и шил какую угодно одежду; только когда ему приносили мех, мрачнел и хмурился.

Меж тем жители этих краев принялись с огромным рвением выращивать привезенных из России овец романовской породы. Таниелю без конца несли шкуры, шерсть белая, вьющаяся и мягкая, как шелк. Если таким мехом подбить полушубок, можно без страха блуждать по Долине духов и ночь проспать в сугробе — холод не проберется к телу.

Таниель намотал себе на ус поучительные рассказы родственника. Прежде чем браться за великолепные шкуры, он развешивал их на веревке — пусть проветрятся. Один-единственный громкий вскрик Явы на всю жизнь сделал Яака калекой — Таниель не смел из-за овечьих шкур подвергать опасности всю семью, жившую в баньке.

А в деревне одобрительно говорили, что Таниель не боится труда и отбеливает шкуры — вещь должна получиться отменной.

Особенно много неблагодарных хлопот было у Таниеля с женскими шубами. Шуба не должна была давить на слабые плечи женщин, и Таниель делал все возможное, чтобы она получалась нежной и воздушной. Матис натесал досок для Таниелевой работы и сколотил из них большие щиты. Намочив шкуру снизу — против моли Таниель добавлял к воде размоченные листья багульника, — он клал ее на щит и натягивал так, чтобы она становилась тоньше, а затем гвоздиками прибивал края к доске. Когда шилась шуба, семья должна была потесниться. Шкуры, сушившиеся на щитах, занимали целую стену дома. Таниель следил, чтобы помещение не было чрезмерно натоплено. От жары шкуры делались ломкими.

Когда овечье стадо снималось с гвоздиков, Таниель расчесывал шерсть, чтобы вдохнуть в нее жизнь, — хотя мех под шубой и не был виден.

Теперь с этой работой придется распрощаться. Очевидно, Таниель не сошьет в своей жизни больше ни одной шубы. Все прежние уже стали воспоминанием. В городе Таниель найдет другую работу. Он должен идти в ногу с веком. В эпоху колес, железа и машин мужчине не пристало приглаживать овечьи завитки. Таниель где-то вычитал: если ты достиг в своей работе совершенства, оставь

ее и выбери другую. Согласно этому наставлению он и собирался поступить.

И тем не менее приятно было вспомнить минувшее.

Лишь похвала сопровождала работу Таниеля. Стоило человеку распахнуть полы своей шубы, как из-под нее выглядывало пушистое облако летнего неба.

Однажды Леэни переступила порог баньки, держа под мышкой связку шкур.

Она разложила белых ягнят, и в комнате стало светло.

Таниель оживился, он мысленно поклялся себе, что сошьет для Леэни самую красивую на свете шубу, но в то же время у него возникло странное противодействие: он не хотел брать эту работу.

Внезапно он почувствовал, что устал от всего и в первую очередь от себя: без конца гнешь спину над столом или швейной машиной, редко взгляд твой скользнет через окно на болото, редко улыбка тронет уголки губ. Он бы хотел вскочить со стула, отмести в сторону это белое ягнячье стадо, заполнившее комнату в баньке, распахнуть дверь, взять под руку Леэни и пойти с ней через россаский двор в Долину духов. Он хотел бы бродить там, хотел, чтобы его увели в сторону от дороги и дали переступить через границу времен года. Искрящийся снег тает в весеннем тумане, капли воды поблескивают на бровях Леэни, подходит к концу светлая летняя ночь, красный месяц ранней осени скачет по пригоркам Долины духов.

Он не хотел быть портным, который сопя гнет спину у окна, глаза от напряжения слезятся, иголка ныряет в ягнячью спинку, зеленое сукно для верха прилипает к меху, пока все, что находится в руках, не становится оболочкой для Леэни.

Леэни соблаговоляет еще раз перешагнуть порог баньки, комната на миг наполняется светом, и девушка надевает шубу. Воротник из белой пушистой шерсти, подобно сугробу, поднимается вокруг шеи Леэни, зеленое сукно за один миг превращается в скорлупу, через которую невозможно проникнуть, — Леэни больше незачем приходить сюда, в баньку.

Яак глубоко дышал и следил за каждым движением Леэни. Хелин нагнулась к глухонемому, готовая каждую минуту приструнить парня. Яак кинул на Хелин презрительный взгляд — Таниелю казалось, будто он слышит

безмолвный вопрос своего младшего брата: почему вы считаете меня животным и хотите держать на привязи?

Люди, достигшие возраста Таниеля, привыкли владеть собой — или это тоже было свойственно возрасту, что в тот же самый миг он начал мостить для себя дорогу утрат? Таниель огляделся вокруг. Суровое лицо Явы было полно нежности, выражение его было не только покровительственным, но и покорным. Ее глаза просили — кого? Может быть, бога? Но она давно уже не верила в бога. Ее глаза не переставали умолять. Почему судьба не могла сделать ее сына-холостяка счастливым?

Таниель боялся, что Ява снимет со стены выкрашенный в ярко-зеленый цвет пучок полевицы и протянет его Леэни.

Лучше, если б народ в баньке не пробуждался от своего обожествляющего оцепенения и не делал необдуманных шагов.

Леэни и так знала себе цену. Нельзя было поощрять ее самоуверенность, слишком легко было стать в ее глазах ничтожеством.

Поймав себя на этой мысли, Таниель понял, что он упорно приучал себя к потере.

Так он без конца и отступал — потихоньку, почти незаметно, усмешка, как у Матиса, в уголках губ. В тот раз, когда Леэни, разложив в баньке свои ягнячьи шкуры и сказав все, что надо было сказать, притворила за собой дверь, Таниель пришел к одной совершенно новой мысли. Понимала ли Ява, своим криком порвавшая Яаку барабанные перепонки, понимала ли она, что в силу того же самого мгновенного события в характере Таниеля в течение последующих лет появилась червоточина? Иначе почему бы он так остро чувствовал возможные последствия поступка, отказываясь тем самым от самих поступков?

После ухода Леэни комната в баньке сразу стала серой и неприютной, яркая полевица на стене словно бы увяла, пыль летала вокруг стеблей, Ява укоризненно смотрела на Таниеля. Таниель догадался, о чем думает мать — почему у меня родился такой трезвый и робкий сын.

К счастью, пытливая мысль Явы не наткнулась на свинней Якоба, которые однажды, в далеком прошлом, рыли здесь картофельное поле.

Ява поглядела на Матиса, тот улыбался отсутствующей улыбкой — вот где получило начало существо Таниеля. Очевидно, Ява испытывала в этот миг неприязнь к своему мужу, который когда-то, трезво рассудив, оставил девушку и взял вдову с двумя детьми, чтобы избежать воинской повинности.

Чем руководствуется Таниель?

С этого вечера морщины в уголках рта Явы прорезались еще глубже. В зрачках ее появилась пелена страдания, которая, правда, не лишала взгляд остроты, но тем не менее затуманивала краски жизни.

К осенним заморозкам стадо белых ягнят превратилось в подкладку на шубе Леэни. Хелин с ожесточением расчесывала шелковистую шерсть — под темным потолком избы летали пушинки. Зеленое сукно цвета весенней травы прижималось к барашкам, словно они еще раз были пущены на луг.

Когда выпал первый снег, Леэни снова пришла в баньку. Она оставила наружную дверь за собой открытой, будто хотела повернуться на каблуках и тут же исчезнуть в снежных хлопьях. Любая рука, которая потянулась бы за ней, оказалась бы полной снега.

На этот раз Таниель пошел проводить ее.

Леэни болтала о пустяках, разговор вертелся вокруг Медной деревни и Долины духов.

Снег прекратился. Белый слой, покрывший землю, таял в лужах на тропинке. Темные пятна ширились.

— У тебя хорошая домашняя работа, — внезапно сказала Леэни. Казалось, она все время думала об этой фразе, хотя сама и щебетала о другом.

Таниель молчал. В словах Леэни проскользнуло какое-то презрение, словно она говорила об отброшенном в сторону человеке, который влачил существование на теплой печке.

Таниель чувствовал: если он хочет еще что-то спасти, надо действовать решительно. Надо совершить какой-то безумный поступок. Что? Схватить девчонку и стиснуть ее, как клещами? Заставить ее глотать воздух? Может быть, ему надо было прошептать ей какие-нибудь глупые бессвязные слова страсти? Или спокойно и твердо сказать: я увезу тебя отсюда. Мы сразу же отправимся в самый дальний конец света, где средь зеленого луга растет апельсиновое дерево Явы. Или еще что-нибудь подобное.

Он должен был бы обещать Леэни, что пронесет ее на руках через всю жизнь, снимет с нее все заботы.

Потом видно будет.

Красивую ложь охотно прощают.

Таниель чувствовал — сделать ничего нельзя, тот возраст, когда даются преувеличенные обещания, он проспал. У его тоски крылья из пуха, они не в силах заставить взлететь трезвый разум. Леэни была очень молода, она еще верила, что вместе со звездным дождем с неба падают драгоценные камни.

Таниель безнадежно опоздал.

Леэни не подходил такой жених, который сказал бы правду: мы уйдем отсюда, но нам придется начать с начала.

Кроме преданного сердца, Таниелю нечего было предложить ей. В новые времена этого казалось мало.

Леэни не могла больше вынести этого молчащего мужчину, который, опустив голову, шел рядом с ней.

— Не знаю, почему мне стало грустно, — сказала она вместо прощания.

Очевидно испугавшись, что Таниель попытается каким-нибудь неуклюжим движением проявить решительность, Леэни побежала.

Таниель смотрел ей вслед. Он ждал, что Леэни, как птица, воспарит в Долине духов в поднебесье.

Нет. Земля не позволила ей оторваться.

## 7

Блудный сын Ионас возвращался домой. Может быть, Якоб еще не потерял надежды? Может быть, он стоит, ожидая, в воротах Россы с дубинкой в руке и следит за тропинкой через Долину духов?

Тетя Сабина дала Ионасу деньги на дорогу. Ему следовало прибыть в Россу еще два дня назад. Если телеграмму, несмотря на смутные времена, все же доставили, то на сегодняшний день в Россе, наверное, думают, что Ионас вообще уже не вернется домой, что этот упрямец

отрекся от всего. А может, с ним случилось что-то и вовсе страшное.

— Люди обезумели, — прощаясь с ним, сказала Сабина. — Запомни, ты должен вернуться домой.

Сабина дала Ионасу старое пальто мужа. Черное пальто доходило почти до земли, ветер трепал полы. Ионасу давно хотелось швырнуть неуклюжую одежду куда-нибудь в канаву, но стоило ему остановиться, чтобы осуществить свое намерение, как его каждый раз начинал пробирать озноб. Пальто на плечах казалось ему сущим наказанием. Но все же у него хватало ума понять, что одежда для путника — и крыша и постель. Две последние ночи Ионас спал в сарае у дороги. Сейчас он стряхнул с пальто сенную труху, — впрочем, какую-то часть соринок успел унести ветер. В памяти Ионаса, сжимавшего в руке полу своего пальто, как в густом тумане, всплыла когда-то слышанная история о некоем Карле Пигинийте, который жил в корчме прадеда и занимался всякой чертовщиной. Он тоже носил черное пальто, а порой надевал даже черную маску. Говорят, будто этот старый черт прикончил Ионасову прабабку.

Ионасу стало жутко, и он с тревогой подумал о своей матери Юстине.

И тем не менее Ионас сомневался: расставили ли ему ловушку, или дела на Россе и впрямь так плохи, как сообщил отец?

Я возвращаюсь в Россу ради матери, сказал себе Ионас. От резкого ветра на глазах его выступили слезы.

Мать не будет ругать меня, она не подумает, что я нарочно медлил, убеждал себя Ионас. Сны должны были все разъяснить ей, она, конечно, узнала, что поезд остановился. Паровоз спустил пар, и Ионасу пришлось на полдороге вылезти из вагона. До темноты он шел по шпалам. Ночью в сарае он подобрал под себя дрожащие от усталости ноги, натянул на голову пальто теткиного мужа и до утра поднимался по бесконечной черной лестнице.

Однако почему Юстина ни с того ни с сего должна была поверить, что Ионас образумился? Но если нет веры, не будет и вещего сна, который объяснил бы, как обстоит дело. Может быть, Юстина думает, что Ионаса нет в живых, и примирилась со своей судьбой — она не единственная мать, чей сын был убит пулей из ружья. Или в облике семерых одноликих побирушек больной

мерещится Саки Кай? Юстина напрягается, чтобы в сумерках разглядеть, нет ли среди закутанных в тряпье баб ее блудного сына. Она считает, что каждый человек, который очертя голову оторвался от родного дома, обязательно становится нищим. Всегда, когда Саки Кай входила в ворота Россы и просила ночлега, Юстина шептала: как такие могут жить? Я слабая, я бы прыгнула в болотную ямину.

Никто не знал, почему Юстина с годами стала такой слабой. Ионас слышал, как люди говорили: Юстину не узнать. А ведь именно она во время большого пожара в Медной деревне оказалась самой отважной, даже пламя расступилось перед ней, давая ей дорогу.

Ионас не умел заглянуть в душу своей матери, тем более не мог понять отца.

Возможно, что и они не понимали своего старшего сына.

Сейчас, по дороге домой, Ионас без конца думал о всяких вещах.

— У меня накопилось столько воспоминаний, — сказал он на прощание Сабине.

Тетка усмехнулась. Ионасу казалось, будто он и сейчас слышит ее ответ: твои пятнадцать лет жизни, включая то время, что отведено на сон, еду и игры, — это как миг.

Конечно, с высоты своего возраста она, возможно, была в какой-то степени права. У каждого голова набита истинами. Но Ионас считал, что большей частью эти истины подобны лебеде, которая и на плохой почве пышно растет. Большинству безразлично, что творится в мире, их волнуют лишь крошечные будничные заботы. Если б у Юстины и Якоба, кроме Россы, было еще что-то, может быть, Ионас и не отправился бы в люди — на сердце и легкость и тяжесть, дом же и укоренившееся с детства чувство долга словно путы на руках и ногах.

Ионас не жалел, что в конце лета удрал из Россы. С детства топча заросли лебеды, Ионас в единственном неприкосновенном месте, в своем сознании, взрастил невиданные доселе новые растения, их ветви незаметно переплели все его существо — скорее, чем можно было предположить.

Только с бабушкой Явой он всегда искал союза. Ионас чувствовал, что Ява знала больше других и умела

заглянуть за черный занавес, туда, куда обычным людям, опутанным лебедой, не было доступа. Но и у Явы был недостаток: старость. Давно позабыв свою молодость, Ява и подумать не могла о том, чтобы относиться к Ионасу как к равному, она не понимала, что у Ионаса чуть больше разума в голове, чем у весеннего теленка. Вернувшись в Россу, Ионас сядет напротив бабушки и заглянет ей в глаза. Он как-нибудь намекнет, обронит какую-нибудь фразу и будет старательно следить за Явиным лицом — не появится ли в нем радость узнавания. Ведь до того, как Ионас ушел из Россы, Ява иногда понимала его. Может быть, они и теперь найдут общий язык? Вдруг Ява поделится с ним своими тайнами? Может быть, она возьмет в руки прошлое, точно огромный клубок шерсти, и начнет отматывать от него нить воспоминаний? Верхний слой — это, конечно, истории Медной деревни и Долины духов. Более далекие времена и исчезнувшие с лица земли люди останутся внизу. Где-то в середине клубка таится самая большая истина. Какая она из себя?

Их двоих, Яву и Ионаса, никто не сможет потревожить. Катарина сидит, склонившись над швейной машинкой, в ушах — жужжание. Хелин уже второй год батрачит в соседней деревне, она редко когда заглядывает в баньку.

Если Хелин случается прийти домой, она от радости принимается взад-вперед носиться по зеленому в полоску половику, прямо как маленькая. Яак все равно ничего не слышит. Для него праздник лишь тогда, когда над болотом начинают сверкать молнии. Яак пришел в восторг, увидев, как однажды, в Иванову ночь, Матис горстями кидал в костер порох.

По всей вероятности, Матис, как и раньше, по утрам исчезает из баньки и возвращается лишь к вечеру. Все эти годы после того, как Иудин остров был взорван, Матис старался стереть там следы, оставленные горожанами. Даже порох он сжег. Якоб неоднократно говорил потом, что Матис впал в детство — разве можно бросать на ветер дорогой товар! Матис, как мог, заложил каменные ямы на Иудином острове. Пока Якоб не кончил копаться там, Матис не решался разровнять землю. Ионас не знал, в самом ли деле Якобу надоело искать сокрови-

ще или затупились сточенные до обуха молотки, которыми он раскалывал камни?

Сын не понимал поступков отца.

Все, что делалось в Россе, проходило как бы мимо Ионаса, и, однако, возвращаясь сейчас, он ясно видел перед глазами и своих домашних, и семью, проживающую в баньке. Не только их внешний облик, походку и то, чем они занимались, — ведь это не имело никакого значения. Ионасу хотелось добраться до сути вещей — он не мог примириться с грустным представлением, что в душах его домашних пышным цветом цветет лишь лебеда.

Ионас хотел, но в то же время боялся любить своих близких.

Давно уже Ионас не имел возможности поглядеть на небо — последние ночи были облачными, и он не представлял себе, как стоит месяц. К тому же время было сейчас утреннее, ветер гнал по небу низкие тучи, возможно, скоро пойдет снег, а возможно, забарабанит дождь. Окажись вечер ясным и взойди в небе полная луна, Ионас знал бы, как избежать расспросов сестры и брата. Он отодвинул бы с окна в задней комнате занавеску, опустился на пол на корточки, спрятал бы голову в колени и медленно поднял руки.

Как всегда, младшие усядутся в темном углу. Оттуда донесется знакомый вздох блаженства и ужаса. Сладкий страх растечется по всему телу тонкой струйкой — от кончиков пальцев до корней волос. На печке, одну сторону которой лунный свет окрасит в светло-синий, запляшут живые духи. Они раскроют пасти, — Юула взвизгнет — не шутка ведь, могут и укусить! Одна тень будет проворно удирать от остальных, но не сдастся. Она станет подстерегать, постарается прокрасться поближе, за это время у нее вырастут длинные болтающиеся уши. На стене драка и шум, Ионас умеет квакать и издавать разные страшные звуки, духи сражаются так, что пыль столбом, они внимания не обращают на маленьких ребятишек, которые визжат от восторга и страха.

Якоб не любил, когда Ионас показывал детям игру теней. Юстина пыталась по-хорошему утихомирить Ионаса, пусть оставит свои фокусы.

— Мне и самой жутко, — призналась она как-то сыну.

После пляски духов дети будто бы плохо спят. Даже Юстине — а ведь она уже старый человек — мерещится, что все черти Долины духов собираются в темноте за окном, скачут там, гремя костями, и свистят.

Но сестра с братом не давали Ионасу покоя. Они искренне верили в сверхъестественные силы старшего брата и даже в облачные вечера, когда в заднюю комнату не проникало ни лучика лунного света, тянули Ионаса туда, без конца требуя, чтобы на печи перед ними возник сладостно-жуткий мир теней.

Дети и слышать не хотели о том, что это Ионас сам, своими руками устраивает для них забаву и никаким волшебством печные духи не обладают!

О подлинной же дьявольской силе Ионаса не знала ни одна живая душа.

Не всегда это настоящее колдовство получалось у Ионаса. Ему надо еще долго упражняться, чтобы все шло без сучка и задоринки.

Для колдовства больше всего подходила безмолвная ночь. Как только свиньи в хлеву, напуганные крысами, начинали хрюкать, все кончалось.

Ионас должен был лежать в постели на спине, слегка раскинув руки и ноги. Надо было пристально смотреть в потолок, так, чтобы ни в коем случае не вращать глазными яблоками. В мозгу должна была господствовать одна-единственная мысль: я лечу. Какое божественное чувство, когда это удавалось! Тело Ионаса поднималось с соломенного мешка на воздух, под потолок, руки и ноги несли его, как крылья.

Если б в этот миг Юстина пришла будить сына, она бы нашла пустую постель.

Может быть, колдовские способности объяснялись тем, что наступили иные времена? Взрослые говорили, что новое столетие сделало людей другими, посеяло в их душах неведомое зерно. Ионас не мог принимать всерьез эти разговоры, — как в минувшее, так и в нынешнее столетие россаская семья и ее заботы оставались большей частью одними и теми же. Говорили о зерне, льне, скотине, кустарнике, пастбище — и так изо дня в день. Пожалуй, только господа из города, поднявшие на воздух Иудин остров, принесли с собой новые ветры.

Ионас не знал, как угадать тот миг, когда тебя подхватит ветер времени. Даже взрослые были немногим

умнее его. Муж Сабины сказал: мы — в зимней спячке, и так будет до тех пор, пока, проснувшись однажды утром, мы не почувствуем, что жаркая волна уже перекатывается через нас.

Может быть, новое время ворвалось в Медную деревню не на пороге столетия, а в тот осенний вечер прошлого года, когда сыновья арендатора скотоводческой мызы выкинули свой номер?

Иначе почему вся деревня так взбудоражилась?

К тому же говорили, что в прежние времена такое дело было бы немыслимым.

В тот осенний вечер на церковной ограде увидели множество стоявших в ряд черепов, и каждый был освещен изнутри.

Сногсшибательная новость, подобно кузнечику, запрыгала с одного хутора на другой. Люди собрались вместе, словно кто-то ударил в набат. Кто осмелился корзинами выносить из подвала часовни черепа? Кто решился поставить в ряд эти мрачные реликвии давнишних сражений? Люди стали упрекать друг друга: я — ты — мы неправильно жили, грош нам цена, если мы не сумели внушить своим детям, что святыня должна оставаться святыней. Никто, кроме детей, не мог совершить такого богохульства! Негодующие люди оторопело глядели друг на друга. Ява потом сказала, что видела в глазах жителей Медной деревни одно и то же: пахарь находит в Долине духов череп, осторожно заворачивает его в холщовую тряпицу и вечером, после работы, относит к церкви, чтобы бросить находку в подвал часовни. Измученные войны и пораженные чумой люди, которые когда-то, во мраке времен, погибли в Долине духов, должны были найти успокоение в освященном месте.

В этот вечер народ вспоминал войны, что велись в стародавние времена, и говорил о страданиях давно умерших людей.

Кто-то рассказал, будто во время самой большой битвы и опустошений тогдашний пастор Христиан начертил углем на дверях церкви большой черный крест. Так он спас старое здание церкви от разрушения и ограбления. Церковь стоит и поныне, шпиль ее цепляется за облака и виден издалека через поля и даже леса.

В черепах, поставленных в ряд на церковной ограде, многие усмотрели злое предзнаменование. За пустыми

глазницами трепетало пламя огня — неужели вражда, кровь и смерть снова подкрадываются в эти края? В конце концов удрученные люди постепенно растеклись по своим домам.

Когда впоследствии народ узнал, что черепа на ограде с горящими внутри огарками свечей попросту шутка сыновей арендатора скотоводческой мызы, за что они получили от своих родителей солидную порку, это отнюдь не сгладило мрачного впечатления. И когда весной до Медной деревни дошли страшные вести: во многих имениях рабочие взбунтовались и сожгли постройки, — люди вспомнили про черепа на церковной ограде.

С того осеннего вечера Ионас стал замечать, что в нем появилось нечто новое и чуждое ему. Что-то словно подзуживало его, и временами он поступал непонятным даже для самого себя образом — будто кто-то другой направлял его шаги. Необъяснимое побуждение гнало его из ворот родного дома. Как только выдавалась свободная минутка — в мороз ли, в метель или дождь, — Ионас кружил по Долине духов. В воскресные дни он предпринимал более длинные походы, уходя все дальше и дальше не только от Россы, но и от Медной деревни.

Пока он однажды не увидел нечто необычное.

Ионас шел в тот раз по большой дороге, которая, подобно руслу медленно текущего ручья, все время сворачивала то налево, то направо, едва перед ней вставало какое-нибудь препятствие — деревья или кустарник. Мимо Ионаса прогромыхала телега, и вдруг лошадь понесла — может быть, темный ольшаник испугал животное? Мужик в телеге встал, изо всех сил рванул вожжи и откинулся назад, того и гляди упадет навзничь. Еле-еле ему удалось повернуть мчащуюся лошадь на проселок.

Из-за поворота показались два медленно вышагивающих диковинных животных. Мужчина, который плелся между ними, казался карликом рядом с их уходящими в небо шеями. Завороженный Ионас остановился посреди дороги. Животные враскачку приближались. Они не видели Ионаса, словно вместо парня на дороге был мусор. Они смотрели куда-то вдаль, в глазах, полуприкрытых веками, не было и тени бесстыдного любопытства, в них сквозила лишь отягощенная мыслями гордость, как будто они несли с собой целый мир, упакованный в запыленные деревянные чемоданы, висевшие у

каждого с двух сторон горба. Животные с горбом? Упаси бог, неужели верблюды? Ионас отступил к краю дороги и мгновение поколебался, колени его дрожали — может быть, кинуться бежать?

Нет, Ионас искал чужой мир, и теперь этот мир неожиданно ступил ему навстречу, неся с собой неведомое и непонятное.

Ионас пошел следом за верблюдами, глядя на их свалявшуюся шерсть.

Меж напоминающих столбы верблюжьих ног, которые, отрываясь от земли, медленно ощупывали воздух, прежде чем снова опуститься на подушку ступни, сквозь пыль мелькали обвислые штаны мужчины. Порванные сзади по шву гамаши волочились по гравию. Ионас понял, что позади у человека и верблюдов долгий путь. Не доходя до моста, мужчина направил животных в сторону от большой дороги, и они пошли к излучине реки пить. Мужчина повернулся к верблюдам спиной, сел на камень и вытащил из кармана кусок хлеба, завернутый в мятую бумагу. После каждого проглоченного куска он все больше и больше съеживался, словно хотел спрятать голову в воротник, чтобы не слышать, как верблюды с хлюпаньем втягивают в себя воду. Он ни разу не взглянул в сторону животных; казалось, он был бы рад, если бы верблюды понеслись галопом и исчезли из виду.

Ионас медленно приблизился к верблюдам. Один из них уже утолил жажду и отошел от берега. Верблюд не спеша повернул свое огромное туловище и вдруг посмотрел Ионасу прямо в глаза. Парень встал на цыпочки, чтобы лучше разглядеть верблюжью морду. Верблюд словно смеялся над Ионасом: нижняя губа его оттопырилась и слегка подрагивала. Сквозь дымку усталости, затенявшую глаза животного, глядела высокомерная мудрость. Вполне вероятно, что животное прожило на свете так же долго, как и Ява. Ресницы у Явы стали с годами совсем коротенькими, а у верблюда, напротив, глаза были окружены длинными и темными стрелками, казавшимися острыми и крепкими, как колючки. Шею животного покрывали морщины и складки — может быть, где-то там, в толстой шерсти, они принесли с собой и песок пустыни?

Мужчина понуро сидел на камне, хотя уже и закончил трапезу.

Верблюд задрал голову кверху и плюнул.

Ионас испуганно отскочил в сторону.

Он представил себе верблюдов на Россаском болоте. Ему внезапно стало до боли в сердце жаль этих животных, словно корабли пустыни уже провалились в болотную трясину.

Мужчина встал и взял в руки закинутые на шею верблюда кожаные ремешки, сперва у одного, затем у другого. Втроем они вышли на большую дорогу. Гравий скрипел.

Позже история с верблюдами дошла и до Медной деревни. Выяснилось, что множество людей столкнулись на своем пути с жителями пустыни. Как будто тысячи любопытных глаз парили над извилистой дорогой, а ведь в тот раз Ионас заметил в излучине реки лишь нескольких мальчуганов.

Люди были озабочены: верблюды обречены в здешних краях на голод. У верблюдов якобы такой строптивый нрав, что ты можешь совать ему под нос сладчайший клевер, а он будет плеваться, на морде презрение, словно ему предложили омег. Верблюды хотят жевать чертополох, а где его взять столько, сколько требуется большому животному!

Однажды Ионас босиком наступил на чертополох, ступня у него вздулась и покраснела, хоть с палкой ходи.

Странный мир наполнил голову Ионаса гудением, которое не давало покоя.

Да и у всех чувства и мысли были накалены.

Появление верблюдов вызвало у жителей Медной деревни всевозможные толки. Ионас, открыв рот, слушал и удивлялся уму других.

Он узнал, что именно из этих мест вышли самые могучие силачи, против которых даже самому царю некого было выставить. Одного из них, который якобы мог поднять в воздух лошадь, позвали к королю страны Востока, чтоб показал свою силу. К локтям силача прикрепили ремни, а к концам ремней привязали верблюдов. Слуги восточного короля стали бить верблюдов, плетеный кнут свистел в мерцающем от зноя воздухе. Верблюды старались изо всех сил, ремни натянулись, как струны. Но как они ни тужились, им не сдвинуть было человека с места,

только пальцы его, которые он держал скрещенными, чуть дрожали. Сила богатыря-эстонца восторжествовала над силой двух могучих животных. Он не сдался, хотя его глаза едва не выскочили из орбит, а пот струился ручьями.

В награду за труд король подарил богатырю побежденных верблюдов.

Богатырь отдал их своему дяде, чтобы тот отправил животных к себе на родину. Когда Ионас увидел их на дороге, у всех троих за спиной уже был длинный путь. Люди хвалили не только силача, но и его хилого на вид, но стойкого духом дядю. Не каждый, гоня верблюдов, в силах отшагать тысячи верст, ничего удивительного, что на длинном пути гамаши дяди порвались по шву. Снова перед Ионасом встала загадка: кто из мужчин на самом деле крепче — тот, кто некоторое время держал мышцы напряженными, или же его дядя, проявивший столько терпения и стойкости?

У Ионаса, когда он слушал историю о верблюдах и могучих людях, в груди рождалось возвышенное чувство. Впервые в жизни он гордился народом, к которому принадлежал.

Болотный берег внезапно стал для Ионаса таким же узеньким, как любая поросшая кустарником обочина канавы. Долина духов как-то ссохлась — на ней можно было успеть сделать за день несколько кругов. Прежде столь страшные болотные ямины оказались вовсе не такими глубокими, достаточно было длинной жерди, чтобы нащупать плитняковое дно болота. Оглушительные взрывы на Иудином острове задним числом воспринимались как далекий гром, о котором и вспоминать-то не стоило. Бесплотные существа Долины духов, которых все боялись и о которых в округе так много говорили, внезапно показались Ионасу хиляками — чуть погромче свистни, и они тут же, дрожа, улепетнут.

В тихие ночи, когда Ионас сосредоточивал свои мысли для полета и поднимался с постели, чтобы немного пореять под потолком, — то и тогда, в блаженный миг невесомости, ему вспоминались верблюды. Творя колдовство, нельзя было отвлекаться, и Ионас падал на соломенный мешок. Несмотря на такие оплошности, он лелеял верблюдов в стране своей памяти. Когда же Ионасу встречался чертополох, он готов был срезать колючие

растения под корень и собрать их, как боровики. Но куда бы он пошел с колючим мешком на спине?

Впрочем, ему и не давали подолгу стоять возле чертополоха и думать о чужеземных животных, дела и заботы подгоняли всех жителей Россы. В особенности же Ионаса, который должен был знать свои обязанности. С малых лет ему разъяснили, что права и заботы первого сына уготованы ему. Эта честь — быть наследником хутора, надеждой и будущим земель Россы — рано возложила на плечи Ионаса тяжелый груз. Леэни, которая с весны окончательно переселилась в Россу, без конца командовала: дескать, молодой хозяин, принеси в дом воды, отнеси свиньям корм, поставь охлаждаться молоко, напои лошадей, и еще тысяча всяких других поручений, когда не было работы в поле. Ионас годился и на то, чтобы таскать бидоны с молоком с Иудина острова на хутор; доверяли ему и ручку маслобойки. Уж если надо было слушаться Леэни, то тем более нельзя было противоречить отцу. Якоб мог в гневе схватить дубинку и задать сыну трепку. Когда он сердился, под носом у него начинали вверх-вниз прыгать усы. Ионасу приходилось выслушивать перечень всего, что Якоб делал ради своих детей. Это по-своему выглядело даже торжественно, когда сердитый отец, стоя посреди двора Россы, простирал вперед руки и, словно с церковной кафедры, громким голосом начинал перечислять свои труды и заботы. Бревна для дома были срублены, вывезены из леса и обтесаны; возведены и другие постройки; лен выращен и продан на ярмарках, земля вскопана, яблоневый сад и ели, защищающие его, посажены. Теперь между ягодными кустами стояли в ряд ульи — ведь и они не сами собой выросли из-под земли.

Ионасу разъяснили, что он ничего из себя не представляет, так себе, бездельник. И те воскресные часы, когда он смотрел на верблюдов, были как бы украдены у Россы. Ионасу надо было всюду успеть, чтобы оправдать свое существование. Человек вынужден бежать, дабы не отстать от жизни, любил подчеркивать Якоб. Ионас годился и на то, чтобы окучивать картофель, выпалывать сорняки, рубить кормовую свеклу и раскидывать навоз. Да и Юуле не давали покоя. Порой Ионас, глядя на Юхана, завидовал малышу, он не был предназначен стать надеждой и будущим хутора.

Только Юстина жалела своего старшего сына. Иной раз она брала из рук Ионаса лопату или вилы и давала парню отдохнуть. А сама протягивала руку, чтобы погладить Ионаса по голове, словно понимала, что сын жалеет об ушедшем детстве.

Вскоре после того, как Леэни обжилась в Россе, Юстина слегла. Сердце мое спокойно, в доме свой человек, уж сестра-то и по хозяйству справится и за детьми приглядит — так повторяла она каждому из Медной деревни, кто приходил проведать ее в горнице на Россе. Оставаясь вдвоем с матерью, Ионас пытался убедить ее, что надо любой ценой встать. Он отказался от полетов в тихие ночи. Вместо этого он сосредоточил все свои мысли на матери и шепотом заклинал: поправься, поправься. Бледное лицо Юстины, ее прозрачные руки не вселяли добрых надежд, но Ионас все-таки верил, что мать вскоре снова возьмет вожжи в доме в свои руки и положит конец самоуправству Леэни. Во время послеобеденного отдыха мать никогда не звала его с сеновала вниз, чтобы он вылил содержимое ведер в корыта свиньям. Никогда не ворчала, если Ионас что-то делал не так. Леэни же только и делала, что стояла у парня над душой и брюзжала. Ионас шел в горницу и просил мать, чтобы она поднялась с постели, как будто болезнь и здоровье зависели от нее. Когда чаша терпения переполнилась, Ионас сказал больной — вот приведу в дом жену, тогда належишься вдоволь, а сейчас вставай и гони Леэни вон.

Ионас не знал, почему он с самого начала невзлюбил Леэни. То, о чем болтали в деревне, ведь не касалось его. Люди жалели портного с хорошей немецкой школой и говорили, что это из-за Леэни Таниель бросил свою работу и с горя перебрался в город. Едва ли из-за этой нестоящей Леэни стал бы Таниель менять свою жизнь, думал Ионас, просто им было не поместиться всем в баньке, а кроме того, жители Медной деревни не нуждались в трех портных. Счастье Таниеля, что он догадался отказаться от Леэни; все равно у него от ее бесконечной болтовни заболели бы уши. Ионасу казалось, что даже глухонемой Яак вздрагивает от громких криков Леэни.

Как-то летним вечером, когда уже начало смеркаться, Ионас случайно увидел совершенно иную Леэни. В самом дальнем уголке сада, у живой изгороди из елей, она

покорно стояла рядом с отцом. Ионас глазам своим не поверил, ему стало страшно. Леэни держала Якоба за руку, точно невинный младенец. Ионас испугался: вдруг они его заметят — Леэни подойдет и начнет трепать его за волосы, — и он бросился на мокрую траву меж ягодных кустов. Со стороны болота доносилось громкое квакание лягушек, и Ионас не слышал, о чем они шептались, стоя у елей.

Он зажмурил глаза и попытался заставить себя поверить, что те двое там — ненастоящие, как тени духов, которых он когда-то, на забаву детям, вызывал на стенку печи. Вытянув шею, Ионас увидел между ветвистыми яблонями светлую блузку Леэни. Якоб шел на полшага впереди, они все еще держались за руки. В душе мальчика шевельнулась новая надежда: Леэни что-то натворила, и отец ведет ее к дому, а она упирается. Ионасу страх как хотелось услышать со двора сердитый окрик отца — давно пора ему поставить Леэни на место, отругать девчонку, которая только тем и занимается, что подгоняет других, а сама ничего делать не хочет.

Затаив дыхание, Ионас прислушался: во дворе было тихо. Ни единого голоса — лишь хор лягушек и далекое уханье совы.

В этот миг разочарования Ионасу захотелось, чтобы со стороны болота налетела страшная буря. Пусть могучий вихрь сорвет с места строения Россы и пусть все, что скрыто в их стенах, предстанет перед глазами. Ионас заметил, что у дверей нет отцовских сапог.

После этого он каждый вечер бродил поблизости от дома.

Очень скоро он понял, как обстоят дела. Якоб и Леэни часто залезали вместе на сеновал.

Ионас стал гадать, как избавиться от Леэни или, по крайней мере, заставить ее уйти.

Однажды он задумал поймать в лесу гадюку и сунуть ее в постель Леэни — но станет ли змея дожидаться девушку? Вдруг выползет из-под одеяла и ужалит маленького Юхана, кровать которого стояла тут же. От ужаса у Ионаса по спине побежали мурашки.

Как-то вечером Ионас пришел к другому решению. Яд и смерть надо откинуть в сторону — человек не вправе поднимать руку на другого, как бы ни было плохо. О Яве до сих пор говорят, что она отдала руку черту — ту

самую, которой укокошила Ионасова деда. Ионас решил вступить в сговор с духами и припугнуть Леэни. Пусть она поразмыслит над своими поступками — может, одумается.

Все знали, что кроме прочих духов в долине Медной деревни обитает белая барышня, по ночам она обычно парит над землей и обозревает свои владения. Если какой-нибудь запоздалый путник окажется ей не по душе, она громко кричит: что ты ищешь в моей долине!

Ионас много вечеров прятался за грудой камней посреди долины, держа за пазухой простыню, чтобы в нужную минуту обмотаться ею и изобразить белое привидение. Однако Леэни и Якоб ни разу не забредали сюда. По вечерам они гуляли либо на краю болота среди кустарника, либо стояли в самом дальнем уголке сада, где стеной росли ели. Якоб и Леэни были трусливы и держались поблизости от россаских строений, они боялись злой барышни из Долины духов, которая в любое время года носила белое развевающееся платье и кружевную шляпу с широкими полями, надвинутую на самые брови, чтобы не слетела, когда она большими кругами носилась над полем. К тому же Ионасу казалось, что прогулки, которые, держась за руки, совершали Леэни и Якоб, становились все короче. Все раньше и раньше поднимались они крадучись на сеновал.

В те минуты, когда Ионасу удавалось сдержать гнев, он не мог не удивляться Леэни: девушка боялась привидений, а в то же время была такой смелой. Разве она не знала, что в виллакуской избе, за шкафом, уже много лет сидит на стуле парализованная Роози; разве не слышала, как случилось это несчастье с непутевой девушкой?

Когда-то Ионас сочувствовал больной Роози, теперь же сердце его ожесточилось.

Поступки взрослых были для Ионаса загадкой. Неужели Леэни действительно считала, что грех не зачтется ей только потому, что она путается с мужем своей родной сестры? Неужели она верила, что Юстина сможет все простить ей и никогда не кинется на нее? Или она полагала, что у Юстины не хватит сил подняться с постели и навести в доме порядок?

После тех вечеров, когда Ионас напрасно сидел на корточках за грудой камней в Долине духов, он долгое

время не проведывал мать. Но однажды все-таки переступил порог ее комнаты; кинув Юстине пару неприветливых слов, он недолго, по принуждению, посидел на стуле, а затем встал и ушел, громыхнув дверью. Душу Ионаса до краев переполняла тоска. Злость его приняла новое направление: мать сама во всем виновата. Почему человек не может собрать всю свою волю и подняться с постели! Пусть приказывает и распоряжается. Пусть бранится с Леэни и даст ей почувствовать, что она тут не более чем батрачка. Пусть покажет, что она, Юстина, здесь хозяйка, и потребует от Якоба привезти из города самых знаменитых врачей, даже если придется ради этого снова вернуть хутор помещику. Ионасу Росса не нужна, он не хотел быть будущим и надеждой Россы, оскверненной подобным образом.

Почему они так поносили сыновей арендатора скотоводческой мызы и в их озорстве усмотрели знак, предвещающий гибель мира? Полуистлевшие черепа с мерцающими огоньками свечей в глазницах, стоявшие в ряд на церковной ограде, вся эта выставка иссеченных мечами черепов была безобидной шуткой по сравнению с поведением беспутной Леэни.

И надо же, чтоб эта проклятая Леэни была столь ловка и так легко перебегала по мосткам через болото, не боясь оступиться и упасть в ямину. Где справедливость? Почему молния должна была сделать глухонемым именно Яака?

Плохим людям живется легче, пришел к заключению Ионас.

Он всей душой хотел быть плохим, причинять другим зло и каждому встречному мстить за свое горе.

Раньше, когда Ионаса посылали в местную аптеку, он с замирающим сердцем приоткрывал дверь с колокольчиками и первым делом заглядывал за высокую стойку, чтобы увидеть прекрасную Луизу. Луиза никогда не делала недовольного лица, ласково разговаривала с Ионасом и угощала коричневой, приторной на вкус конфетой. Луиза была для него частичкой иного и неведомого мира, который завораживал и манил. После того как Ионасу открылся постыдный поступок Леэни, он пришел к поразившему его выводу: в глазах отца Леэни была такой же, как в глазах Ионаса Луиза.

Однажды, направляясь в аптеку, Ионас завернул в тряпку ящерицу и положил в карман. Он собирался сунуть проворное животное девушке в ладонь, пусть вскрикнет от страха, чтобы на весь дом стало слышно. Но, увидев добрые глаза Луизы, Ионас растерялся — неужели человек не всегда властен над собой? На обратном пути он ругал себя за то, что не сумел остаться твердым. Но с чего он взял, что Луиза испугается какой-то безобидной ящерицы? А вот если б Луиза рассердилась на него, то могла бы отплатить гораздо страшнее — схватила бы с полки бутылку с едкой кислотой и вылила Ионасу на руку, прямо в ладонь, в которой притаилась ящерица. Тогда наступил бы его черед закричать — мясо отвалилось бы от кости и рука отсохла.

Если б люди стали так мстить друг другу, то весь мир скоро был бы полон увечных.

Как-то, когда Якоб хотел ударить Яву, бабушка-избаньки крикнула: сын, у тебя рука отсохнет!

Зайдя в последний раз перед тем, как убежать из дома, в аптеку, Ионас просто повернулся к прекрасной Луизе спиной и не сказал девушке ни единого слова. Пусть помучается. Все равно ей не догадаться, почему Ионас так себя вел. Невыясненные положения сильней всего мучают людей.

Вскоре для жителей болотного берега перестало быть тайной, что Леэни живет с хозяином. Лишь одна Юстина делала вид, что ни о чем не догадывается. А ведь Якоб и Леэни ходили спать на сеновал, который находился над домом, и кое-что могло донестись через потолок в комнату.

Однажды вечером, как бы невзначай, Юстина сказала Ионасу: ишь как кошки разбегались по сеновалу.

Юстина жаловалась на боли и сетовала, что яд болезни проникает в глаза и разъедает их — в слезы словно кто-то перцу понасыпал. Это она говорила просто так, чтобы отвлечь внимание Ионаса. Изо дня в день Юстина плакала, но не от физической боли, а от стыда.

От всех таких неразрешимых дел взрослых у Ионаса перехватывало горло. Россаский воздух проникся зловонием, невозможно было больше дышать. Ионас искал какого-то выхода. Мысли его снова сосредоточились на верблюдах. Дядя силача стал в глазах Ионаса символом самоотверженности. Усталый человек, несмотря ни на

что, привел верблюдов на место. Легко ли ему было нести на себе заботы об этих животных чужой страны? Почему бы Ионасу не уйти в город и не предложить себя дяде богатыря в помощники? Он, не препираясь, ходил бы каждое утро за город, на пастбище, и собирал там чертополох. И каждый вечер возвращался бы к верблюдам с колючим мешком за спиной. Ионас — на сердце покой — мог бы радоваться тому, как прошел день. Из-под заостренных черных ресниц-колючек на него смотрели бы умные глаза верблюдов.

А россаские животные? Они лишатся заботы Ионаса.

Эти животные, как и люди здешней семьи, стали свидетелями всего происходящего.

Ионас не мог смотреть им в глаза. Как и людям.

И Ионас решил. Как-то утром он пошел в баньку к Яве и попросил у нее взаймы немного денег. Когда вырасту, верну с лихвой, дрожащим голосом заверил Ионас. Глаза бабушки заглянули в самую глубину души Ионаса, и все увидели, расспрашивать было уже незачем. Она знала Ионаса, мальчик был одной с ней породы. Если какое-то решение принято — пути назад нет. Значит, ему очень понадобилась помощь, из-за пустяков Ионас не стал бы просить ее.

Вечером, после целого дня работы, Ионас вышел в путь. На голове — фуражка с козырьком, на ногах сапоги, в кармане пиджачка краюха хлеба. От страха у него стучало в висках. Однако он храбро шагал, предоставив Долине духов решать его судьбу. Если он поступает неправильно, барышня в кружевной шляпе подлетит к нему и погонит его домой. А то просто собьет с пути, как уже случалось со многими. Заставит кружить по полю, пока у Ионаса не остынет пыл, а утро уж как-нибудь приведет скитальца по белу свету к воротам дома.

Долина духов должна была в этом земном царстве теней дать Ионасу знак, как ему поступить. Если дорога вздыбится перед ним, что ж, может быть, кто-то другой тогда будет собирать чертополох для верблюдов и кормить их.

Духи же, не говоря о барышне в кружевной шляпке, не проявили ни малейшего интереса к одинокому путнику. Ионас старался привлечь к себе их внимание, он кричал, подобно сове, и квакал, как лягушка. Стоял, ждал, свистел. Никому до него не было дела. Не остава-

лось ничего иного, как нехотя зашагать в сторону поселка.

В эту ночь он плакал, как маленький ребенок, хотя на россаском поле уже давно сходил за взрослого.

Стало светать, когда он добрался до станции.

Сонный служащий продал ему билет, даже не взглянув на него.

Перед Ионасом открывался огромный мир.

Стук колес разжигал в нем смутные стремления. Ионас должен найти верблюдов! Словно эти чужеземные животные могли принести ему избавление, освободить от груза жизни на болоте, который непрестанно, подобно удушливой волне, обрушивается на Ионаса.

Все дальнейшее было как сон.

Вокруг Ионаса шумел город. Дома и церкви, двускатные крыши и темные стены — все было как в тумане, глаз Ионаса не мог охватить все это разом. Ионас бродил с улицы на улицу, городской гул отдавался в ушах и утомлял. Заворачивая за каждый угол, Ионас надеялся увидеть двух горбатых верблюдов — они должны были стоять где-то посреди каменной мостовой, неподвижные, задрав головы, словно они остановились для того, чтобы дождаться Ионаса. Он часто вздрагивал и оглядывался на каждый непривычный его уху звук. Выкрики извозчиков, резкие, как удары по жести, раздавались на узких улочках, колеса телег подскакивали на булыжниках — громкий перестук стаей взмывал кверху. Смех незнакомых людей вырывался из раскрытых окон и ударялся о каменную стену. Взгляд Ионаса блуждал в поисках кораблей пустыни. Он и сам не понимал, почему так твердо верил, что верблюды прячутся где-то между каменными стенами или в сводчатых проходах. Но почему они должны находиться именно здесь, любому животному пастбище подходит больше, нежели городская улица! Или город был в действительности пустыней? Может быть, песок принял форму стен, поднялся в небо и стал серым от векового дыма и копоти? Ионас читал вывески и имена на фасадах и дверях домов — почему ни одно из расклеенных на столбах объявлений не сообщало о местонахождении верблюдов? А ведь дядя богатыря, обладавший стойким характером, привел чужеземных животных, чтобы показать их народу, — как же люди могут проявлять такое равнодушие к труду другого?

Ионас чувствовал, что заблудился, нет, не на улицах, он как бы внезапно оказался в темном мешке. Он перестал понимать, чего ищет и что вообще стоит искать здесь, в городе. Тысячи неведомых миров громоздились один на другой, и все они переплетались, не было ни ясности, ни простора, ни горизонта, ни тишины. Даже небо здесь было рваным, разрезанным темными покатыми крышами на жалкие лоскутки; отдельные, оторванные от неба кусочки льнули к окнам, и по стеклам стекал синий свет.

Из-за угла выглядывала белая голова лошади, грива ее была заплетена в маленькие косички. Ионас не решался положить руку на шею городской лошади и тихонько спросить: где верблюды?

Ионас исходил город вдоль и поперек. Когда ноги начали подкашиваться, он отломил от захваченной с собой краюхи хлеба кусок и сунул в рот. В другом кармане позвякивали деньги, которые дала ему Ява. Ионас не думал о будущем, он без долгих размышлений вошел в дом, где показывали живые картины. Вскоре он вышел из темного помещения снова на свет улицы и с досады плюнул, как верблюд. Картина, которую он видел, напомнила ему о Якобе, Леэни и Юстине, хотя все выглядело чуть-чуть по-иному. Двое мужчин дрались из-за одной женщины, на руках у них были белые перчатки, на голове цилиндры. Женщина, одетая в шелковое платье, без конца заламывала руки и падала то на диван, то в мягкое кресло. Под конец одному из мужчин все это надоело. Он приставил к виску дуло пистолета и навсегда ушел из этого мира. Женщина с темными кругами под глазами, плача, бросилась на шею оставшемуся в живых сопернику. Мужчина кружевным платком вытер женщине глаза. В конце картины оба они улыбались сидящим в зале людям, как будто им доставило огромное удовольствие, что тот, другой человек отдал богу душу.

Ни о чем другом они не думали; вероятно, эти люди из картины тоже ходили спать на сеновал.

Негодующий Ионас отправился на зеленую горку, сел на траву. Деревья и кусты приглушали стук копыт — куда это все они едут, только и делают, что снуют взад-вперед.

Вечером Ионас пришел к цирку. Купив на последние копейки билет, он, до смерти усталый, опустился на ска-

мью. Клоуны с вымазанными мелом лицами выскочили из-за занавеса и предстали перед публикой. На двоих у них был один-единственный стул. Оба хотели сесть.

Ну и пихали они друг друга, чтобы заполучить себе место! Народ смеялся до изнеможения, когда клоуны падали и, перекувыркнувшись, задирали кверху ноги в огромных сапожищах. В конце концов один из них захватил стул. В этот момент на арену выбежала большая свинья, на спине седло. Второй клоун поскакал верхом на свинье. Победитель, занявший стул, захотел встать — верно, задумал отобрать и свинью. Второй клоун скакал и гикал от радости, а первый никак не мог оторваться от сиденья. Он ковылял по кругу с прилипшим к заду стулом, слезы из его глаз текли ручьями.

Ионас от души смеялся. Он был уверен, что скоро из-за занавеса выйдут верблюды.

А потом он сидел как на угольях. Вновь проснувшаяся в нем тоска по верблюдам мешала ему участвовать в веселье, которым потчевали публику. А ведь здесь показывали одно чудо за другим. Человека клали в плетенную из прутьев корзину и протыкали ее вдоль и поперек тонкими шпагами. Женщины визжали, но закутанная в белый шелк девушка выходила из корзины целой и невредимой. Затем фокусник собрался поесть. Он отложил шляпу и трость в сторону, повязал под подбородком белую салфетку, взял в руки нож и вилку и стал ждать. Слуга внес блюдо, на котором лежала целая курица.

Ионас ощутил голод.

Только фокусник воткнул вилку в курицу, как она с кудахтаньем взлетела. Из-за занавеса выбежали клоуны и большой сеткой поймали ощипанную курицу.

В помещении погасили свет. Когда вновь зажгли фонари, на столе лежала человеческая голова. Голова заговорила, испуганный Ионас обеими руками вцепился в сиденье.

По сравнению со всем этим то, что происходило в Долине духов, было просто детской забавой. Когда представление кончилось, ошарашенный Ионас, пошатываясь, вышел на улицу.

Он благодарил бога, что они там, в цирке, не поставили в ряд головы верблюдов.

Ионас не знал, что думать о жизни и мире, все вокруг становилось запутанней и запутанней.

Он хотел вырваться из дома, чтобы найти свой путь, который в его воображении, подобно яркому лучу лунного света, вел через холмы и равнины вдаль. Теперь Ионас один-одинешенек брел по вечернему городу, горячий и пыльный воздух доносил до его слуха странные звуки и хихиканье. Он переходил с улицы на улицу, то там, то сям звучала музыка, неслось хриплое пение.

Из сводчатых проходов тянуло запахом жареного. В одном из окон горела свеча, за дрожащим пламенем стояло желтое лицо с оскаленными зубами.

Они бы не смогли жить здесь, если б по вечерам не смеялись.

Когда Ионас после долгих блужданий уснул в задней комнате у тети Сабины, ему тоже захотелось громко, долго, прямо-таки взахлеб смеяться, однако усталость смела все желания, и он тотчас же погрузился в глубокий сон.

Он даже не слышал, как за стеной, в зале трактира, галдели пьяные люди.

Шагающий по дороге к дому Ионас поплотнее запахивает полы пальто. Откуда внезапно налетел такой ураган? А вот и шпиль церкви виднеется за лесом, указывая путь блудному сыну. Быть может, отец посчитал, что одной дубинки мало, и сунул в соленую воду розги... Блудный сын заслужил такой порки, чтоб на всю жизнь запомнилось.

Шаг Ионаса стал неуверенным. Не прилечь ли в ольшанике на обочине дороги и отдохнуть пару часиков, чтобы лучше выстоять наказание! Но лето прошло, исчезло в дымке прошлого, как верблюды и многое другое. Ольшаник уже давно голый. Черные листья лежат на земле, в грязи, разбухшая от осенних дождей кочка не годится под голову усталому путнику.

Отец так не оставит, намнет бока Ионасу. Душа и без того уже как будто растоптана. В городе Ионас то и дело слышал фразу: время лепит человека. И он, Ионас, стал другим, чужим самому себе.

В первое же утро тетя Сабина попыталась образумить Ионаса. И позже она неоднократно взывала к его совести, говорила о слезах матери и душевной боли отца, о Россе, которая в будущем должна стать собственностью Ионаса. Тетя Сабина внушала ему, что судьба была милостива к Ионасу, он, мол, родился под счастливой звездой. Много ли таких, кто появляется на свет с пра-

вами первого сына, да еще на хуторе, достигшем благоденствия! Тетя Сабина говорила, что жизнь бедняков намного суровее — она в свое время ушла из Россы, не имея ничего, кроме пары собственных рук.

Тетя Сабина вспоминала свою молодость. А рассказывая о хлебопекарне в имении, она уронила слезу. Еще до первых петухов ей надо было развести огонь в печи. А замесить хлеб? Иногда она уставала так, что не в силах была вытащить руки из теста. Каждый человек мечтает о более легкой жизни, но немногие рождаются помещицами, которым приносят по утрам к столу теплые булочки. На этом месте тетя Сабина начинала смеяться: теперь она бегала по утрам в булочную через дорогу и приносила к кофе теплые рогалики, однако жизнь от этого не стала легче.

Несмотря на такие разговоры, Сабина сдалась и разрешила Ионасу ненадолго остаться в городе.

Тайная надежда продолжала теплиться в его сердце. Он должен был найти верблюдов и ради этого мог на некоторое время сесть на привязь в трактире Сабининого мужа. Чем дальше, тем чаще Ионас ловил себя на страшной мысли: все люди вынуждены находиться на привязи у чего-то.

Ведь и у Сабины никогда не бывало лишней минуты, словно у нее на плечах лежала вся Росса, — за целый день она ни разу не могла присесть на стул и отдохнуть. Правда, вставать ей приходилось не так рано, как некогда на помещичьей хлебопекарне.

Утро начиналось с грохота, который доносился из тесной кухоньки. Сабина раскладывала по ведрам объедки, собранные прошлой ночью в трактире. На плите варился в котле картофель. В углу стоял мешок с мукой. Сабина — руки у самой красные от пара и воды — готовила свиньям болтушку. На заднем дворе, в сарае, в узеньких закутках жила дюжина хрюкающих от голода вислоухих.

Едва животные были накормлены, как трое ребятишек поднимались с постели. Надо было помыть, одеть и накормить детей. Муж Сабины возился в трактире. Поставив стулья на столы, он убирал со стойки вымытые еще ночью тарелки и рюмки и расставлял их на полках, собирал в корзины пустые бутылки и открывал застекленный шкаф, где в ряд стояли бутылки с водкой. Пере-

считав их, он доставал из-под прилавка счетную книгу в черном переплете и, озабоченно хмуря брови, подсчитывал расход и приход.

Каждое утро он выносил из трактира во двор таз с осколками разбитых ночью тарелок и рюмок и со звоном швырял их в мусорный ящик.

Стук крышки мусорного ящика служил Сабине сигналом. Она разувалась, выливала на пол трактира ведро воды и принималась тереть пол щеткой на длинной палке. Затем она затыкала подол юбки за пояс и начинала собирать тряпкой грязную воду с пола.

Покамест жена мыла пол, муж возился на кухне. Подбросив в очаг дров, он ставил на огонь большой котел. Теперь Сабине надо было браться за стирку скатертей. Мало-помалу и Ионас нашел себе место во всеобщей сутолоке и спешке и включился в работу. Он веслом выуживал скатерти из котла и относил их во двор к колодцу. Налив воду в большое корыто, он прополаскивал их.

В это время муж Сабины стоял на крыльце и принимал товар. Рассыльные приносили трактирщику корзины с хлебом, мясом и прочей снедью.

Едва белье успевали развесить на веревке, как надо было начинать готовить зал трактира к вечеру. Стулья снова ставились на ножки, Сабина выгребала из очага тлеющие угли и принималась утюжить выстиранные накануне скатерти, чтобы расстелить их затем на поцарапанных поверхностях столов. Даже детям находилось занятие: старшая девочка брала с края стойки вазу и выбрасывала из нее увядшие цветы, а младшая наливала в вазу чистую воду. Затем они вместе шли за сарай, чтобы нарвать с грядки свежих цветов. И только маленький мальчик плелся за сестрами просто так. Семья трактирщика спешно, чтоб не путаться в ногах у Сабины, проглатывала обед — мясо с картошкой. Сама хозяйка уже хлопотала у плиты, готовя к вечеру жаркое получше.

Когда наступал вечер и в трактире становилось шумно, смертельно усталый Ионас валился на свой соломенный мешок. Он не слышал, как закрывали ставни и выпроваживали последнего посетителя.

Утром каждодневная свистопляска начиналась сызнова. Ионас только и делал, что носился между домом и

двором с ведром в руках. Почему измученная Сабина должна была таскать свиньям ведра с пойлом? У Ионаса были ловкие руки — он носил в кухню воду, полоскал белье и развешивал его на веревке сушиться. Через несколько дней Ионас уже научился мыть пол в трактире.

Кто знает, что написала Сабина в Россу, — во всяком случае, на первых порах Ионаса не требовали домой.

В свое время в Россе говорили, чем, мол, Сабине плохо живется в городе, есть трактир, и денежки знай себе текут. Деньги, кажется, и впрямь текли, так как трактир, к удивлению Ионаса, каждый вечер был полон народу. Только еще поселившись у Сабины, он иногда думал, ну кто в такой хороший теплый вечер захочет сидеть здесь, в душном помещении. Ближе к осени, когда небо затягивали низкие серые тучи и барабанил дождь, Ионас надеялся, что уж в такую погоду ни один пьянчуга не выйдет за порог своего дома. Не тут-то было, на следующее утро со всех столов снова снимались скатерти. Теперь Ионасу приходилось складывать выжатые скатерти в ведро и по нескольку раз лазать на чердак, чтобы развесить их под крышей.

Однажды вечером, ложась спать, Ионас услышал, как порывами ветра срывает с деревьев шуршащие листья. У него больно кольнуло в сердце. А как же верблюды?

Ионас натянул на голову одеяло и подавил всхлипывания. Листья покроют чертополох, на каждой колючке соберется желтый пласт. Где-то стоят верблюды, резкий ветер вздыбливает их спутавшуюся шерсть, мелкий дождь бьет в морды, вымывая из умных глаз благородное высокомерие; исчезают картины пустыни, постепенно первоначальный испуг сменяется всепоглощающим страхом.

Неужели вот так, самым обычным образом, умирают хорошие мечты и мысли?

За стеной галдели пьяницы, шум заглушал сопение детей Сабины. Из кухни просачивался запах жаркого — ну и поглощалось же этого мяса, словно люди до конца дня должны были наверстать все то, что недополучили за свою прежнюю жизнь.

Ионас откинул в сторону одеяло, закинул руки за голову и принялся думать, он думал и думал, пока в полной растерянности не погрузился в сон.

Где-то далеко, на горячем желтом песке, лежали верблюды, точно лошади на лугу, что с того, что на спинах у них был горб.

Утром Сабинин муж — на лице оживление, в глазах едва сдерживаемая радость — сказал: сейчас мы тронемся в путь!

Трактирщик словно догадался о тревожных мыслях Ионаса и сумел в нужный момент отвлечь его.

Ионас помогал мужу Сабины толкать тележку. Колеса стучали по булыжной мостовой, повозка подпрыгивала и скрипела на поворотах, как будто была живым существом. Ионас сжимал пальцами перекладину, ладони гудели.

Он и не предполагал, что город так велик. Они без конца кружили по узким кривым улочкам, и муж Сабины посоветовал ему запоминать дорогу. Ионас жадно озирался вокруг, по обеим сторонам стояли одинаковые низкие деревянные дома, точно такие, как и трактир. Ионас читал вывески, они зазывали в мастерские и в мелочные лавки, к швеям и портным.

Железные кресты кладбища были для Ионаса хорошей дорожной вехой.

Еще раз завернув за угол, Ионас ощутил новые запахи. Грохот железа, гудки пароходов, плотный поток крытых повозок говорили о близости гавани. У Ионаса расширились ноздри; весь горя от нетерпения, он начал с такой скоростью толкать тележку, что муж Сабины едва поспевал за ним.

Они опять кружили меж приземистых домов и будок, эти захламленные постройки ревниво скрывали то, что было за ними, — и тут он увидел море.

Ионас выпустил из рук тележку, вздохнул и почувствовал себя на миг счастливым.

Они спустились к рыбному причалу. Ионас тотчас бы оставил здесь тележку и побежал к берегу, но трактир держал его на привязи, и Ионас не хотел вести себя необдуманно, как мальчишка. Деловито плюнув на ладони, он помог мужу Сабины снять с тележки поклажу. Мясная туша шлепнулась на прилавок. Муж Сабины привязал к колышкам позади стола парусину, чтобы не задувал ветер. Вдвоем они подкатили поближе толстый чурбан, свесили через край стола свиную тушу, и вот уже острый топор вонзился в мясо. Муж Сабины с ловкостью

мясника без конца кидал на прилавок и складывал в ряд ровно разрубленные куски свинины. Эти куски напомнили Ионасу те дни, когда в Россе варили гороховый суп, и он даже сам не понял, отчего у него вдруг запылали щеки.

Ионасу разрешили немного оглядеться здесь.

Как стрела, пущенная из лука, он метнулся к морю.

У мостков плотным рядом стояли широкие рыбацкие лодки. Здоровые мужики поднимали со дна лодок на мостки ящики с рыбой и несли их к лоткам. Там пронзительно перекрикивались торговки, каждая замотана в большой клетчатый платок, концы которого были связаны на спине узлом. Красные от холода руки женщин проворно сновали над столами, казалось, будто там летали общипанные догола птицы.

Настил на мостках прогибался под тяжестью топчущихся людей. Деревенские покупали салаку прямо с лодок. Ведро за ведром рыбу ссыпали в мешки и взваливали их на спину. На полусогнутых коленях, пошатываясь, покупатели несли свой груз на берег, где у коновязи их ждали лошади.

Ионас бродил меж снующих людей, сквозь шум доносились смех, громкие голоса, хвалившие товар; какой-то тощий мужчина обмотал вокруг шеи угря, как шарф. Щелкали, закрываясь и открываясь, железные пасти кошельков, кто-то торговался, сбивая цену; возле одной лодки звонко ударили по рукам, заключая сделку. Вокруг сновали перекупщики, их зоркий глаз выхватывал самый свежий товар. По приказу оптовых покупателей подручные подтаскивали к месту продажи пустые ушаты, рыба светлым водопадом текла в них; громко понукая, лошадей подводили поближе и ставили товар на повозки. У стены покосившегося сарая мужчины распивали пиво, поблизости от них, на якоре, сидел бородатый старик и растягивал мехи гармони. Соленый морской ветер обдувал щеки торговок рыбой, делая их пунцово-красными; время от времени они вытирали нос рукавом и, не теряя времени, снова зацепляли крючком безмена дужку ведра, чтобы взвесить отобранный покупателем товар.

Ионас остановился, его толкали со всех сторон.

Прямо из серого моря на берег выходили верблюды.

Задрав голову, южные животные смотрели на здешний народ и, высоко поднимая ноги, шагали через лот-

ки, корзины, ящики, бочки, через чурбаны для рубки мяса.

Ионас кинул испуганный взгляд налево и направо. Неужели они действительно не видят на нем отметины? Не видят, что он один из тех несчастных, кто родился на свет с зерном тоски в сердце?

Галька хрустела под ногами верблюдов, подобно осколкам стекла.

Запекшаяся на прилавках кровь вызывала у Ионаса тошноту. Муж Сабины улыбался во весь рот и держал на вытянутой руке свиной окорок.

Ионас не знал, на чем остановить взгляд. Из груды мертвой рыбы на него таращились тысячи застывших глаз. На сером чертополохе топорщились иглы-плавники.

На освободившихся от груза лодках подняли паруса. Ветер трепал их, как будто на берег из трактира принесли полотняные скатерти и повесили сушиться.

Женщины потоком устремились в город, неся в руках корзины, на которых поблескивала чешуя.

С этого дня на заднем дворе трактира почти каждую ночь закалывали по свинье. Утром тушу везли на берег и по кускам сносили в рыбацкие лодки. К полудню свиная туша в облаке белых парусов исчезала за горизонтом.

Двух последних свиней зарезали в одну ночь.

— Теперь на какое-то время в доме будет покой, — радовалась Сабина. — Пока не начнем выращивать новых поросят.

Ионас, как всегда, помогал мужу Сабины толкать тележку. Осенние штормы прекратились, и рыбацкие лодки опять плотным рядом окружали причал. Товар шел хорошо. Муж Сабины переворачивал на лотке куски мяса, смеялся, заворачивал товар и щелкал железным зевом кошелька. Ионас ждал приказа, чтобы теперь уже одному отправиться к трактиру и привезти на тележке вторую тушу.

Вскоре лоток почти опустел, хотя торг еще продолжался. Для Ионаса настало время действовать.

Он пошел широким шагом, тележка дребезжала по булыжнику. Странно, но город за это время принял новое обличье, точно рынок оттуда, с берега, перекочевал и на улицы. Повсюду сновали люди, тут и там собирались группами, словно не слыша пронзительных фабрич-

ных гудков. Неужели вот так и выглядели волнения? О том, что идет какое-то брожение, постоянно говорили в трактире.

Еще недавно Ионас подумал бы, что народ вышел на улицы в надежде увидеть верблюдов.

Вокруг шныряли жандармы, на ремнях у них болтались палаши. Хотя шаг людей в мундирах был уверенным, они все-таки ходили группами.

Ионас припустился во весь дух. Нельзя было заставлять Сабининого мужа стоять за пустым лотком.

Сабина оказалась на улице перед домом и, несмотря на дневное время, закрывала окна ставнями. Она не смотрела на Ионаса, чтобы не выдать своего страха. Сабина мужественно схватила тушу за задние ноги, и вдвоем с Ионасом они взвалили ее на тележку. Ни единого наставления не дала Сабина мальчику. Ее тревога передалась и Ионасу, и ему очень захотелось услышать какое-нибудь напутствие. Сабина колебалась, она было уже собралась идти с ним, однако остановилась. Так Ионас и не понял — то ли размышляя, можно ли доверить ему товар, то ли боясь оставить детей дома одних.

Ионас поднатужился и быстро покатил тележку. Возле угла, где надо было свернуть, он так затормозил, что туша соскользнула по дну тележки вперед. Заросший дерном клочок земли между домами был запружен людьми. Толпа мужчин перелилась через тротуар, и на проезжей части дороги не стало места, чтобы проехать с тележкой. Ионас наудачу пошел прямо, чтобы в следующем переулке свернуть к берегу. Но и из этого ничего не вышло. Посреди дороги стояли жандармы и пронзительно свистели. Ионас испугался, он не понял, кому предназначались свистки. Может, он в чем-то провинился? А может, извозчик нарушил порядок, иначе почему он стегнул лошадь и поторопился отъехать? Что пряталось за поднятым верхом его дрожек?

На теле Ионаса выступил липкий пот.

Невероятно, но, обычно такие пустынные, эти улицы внезапно оказались заполненными людьми, и нигде нельзя было пробраться. Ионас не поддался страху, не возвращаться же назад. Сабина высмеет такого недотепу, а потом в Медной деревне годами будут говорить о трусости Ионаса. Очевидно, все-таки в центре города хоть какая-нибудь улица ведет в гавань.

Из одной маленькой улочки навстречу Ионасу вышла знакомая ему торговка, возвращающаяся с рыбного причала. Эта женщина, распухшие пальцы которой держали дужки больших корзин, показалась Ионасу прямо-таки доброй волшебницей.

Вот отсюда он и станет пробираться к берегу. В самом деле, ничего страшного, можно было двигаться, только вот за следующим углом опять теснилось множество людей. Вся эта толпа, видимо, решила направиться к центру, не может же он с тележкой ехать прямо на людей. Какой-то паренек в кепке шутки ради ударил сапогом по колесу тележки. Испуганный Ионас потянул повозку назад. Он инстинктивно почувствовал, что ни ему, ни его тележке со свиной тушей не подобает находиться в такой день среди толпы. Ему стало стыдно. Что делать? Повернуть назад, признать свою беспомощность? Но муж Сабины ждет на берегу у пустого лотка. После они будут качать головами и с упреком говорить: тебе, Ионас, только борозду пахать, там лошадь сама дорогу показывает.

Капли пота стекали у Ионаса со лба на щеки, с затылка на шею, с шеи за пояс, и все же он шел дальше. Когда народ на улице поредел, он понял, что основательно заблудился. Внезапно среди высоких домов не осталось ни души, не у кого было спросить дорогу. Почему все они направились в центр? Ионас вытянул шею — хоть бы где-то между домами показалось кладбище, черные кресты вывели бы его на правильную дорогу.

У Ионаса зашумело в ушах. Он опустил передок тележки на край тротуара и сам присел рядом. Он потерпел поражение.

Ионас подпер рукой голову. Сердце колотилось, он никак не мог успокоиться. Ища поддержки, он подумал о верблюдах. Южные животные отшагали тысячи верст, с одного края света на другой, и все же усталость не смогла погасить огонь мудрости в их глазах. Они все так же смотрели вперед, выгнув благородные шеи. А чего стоил он, Ионас?

Совсем близко, почти тут же, на осязаемом расстоянии, загремели выстрелы. Ионас вскочил.

Кто стрелял? Где? В кого?

Хлопки выстрелов, словно огромные градины, били Ионаса по ушам. Человеческий крик взметнулся к небу, упал, скользнул по крышам и проник в каждый закоулок улицы, в каждый двор и сад. Вороны над головой Ионаса махали крыльями и каркали.

Из-за угла дома выбежало несколько женщин. Они помчались не оглядываясь, соскользнувшие с головы платки сбились на спину. Ионас вытянул вперед руку, он хотел остановить кого-нибудь, спросить — никто не обращал никакого внимания на стоящего рядом с тележкой мальчика.

Ионас заметил, что тележка накренилась, туша соскользнула назад и свиная нога выглянула из-под парусины, копыто уперлось в пыльную мостовую.

Теперь, когда Ионас шагал через Долину духов по направлению к Россе и ветер бил ему в лицо, в ноздри ему снова ударил запах еловой хвои. Словно он, за сотню верст, принес с собой частичку великой скорби города.

Может, он затем и вернулся назад, чтобы принести весть о кровопролитиях? Чтобы сказать: несмотря ни на что, порыв ветра когда-нибудь сломает лезвие шашки.

Кто сумел бы объяснить Ионасу этот безумный мир? Этот мир, где людей со всех сторон сжимают в кольцо несправедливость и унижение.

С того дня, когда Ионас увидел окровавленных людей, его преследовало чувство стыда. Верблюды плевали в него как во сне, так и наяву. Птицы и люди наперебой кричали на Ионаса, они и сюда последовали за ним. Долина духов наполнилась воплем и ревом.

Мужчины взяли из рук Ионаса тележку, чтобы везти раненых. Ионасу пришлось взвалить тушу себе на спину. Он не мог поступить иначе, потому что уже в утробе матери к его ногам были привязаны путы. Так, спотыкаясь, побрел он обратно к трактиру, неся на спине свиную тушу. Ионас судорожно держался за окоченевшие свиные ноги; свинью, выращенную другими людьми, он не смел кинуть в сточную канаву.

Россаская живая изгородь из елей распространяла запах скорби, словно и с них за это время срезали ветки для похорон.

## 8

Ява не задумывалась над тем, могут ли и другие, кому перевалило за семьдесят, легко и неслышно, без вздохов и стонов встать с постели и незаметно выйти из дома, чтобы никого не разбудить. Выдавались ведь и такие дни, когда Ява волей-неволей обращала внимание на свое самочувствие и возраст, — каждому человеку случается временами смотреть правде в глаза, и хоть грустно становится, а что поделаешь. Особенно огорчали ее ноги: кости выпирали, пальцы искривлены, кожа постепенно приобретает землистый цвет — наверное, за долгие годы в нее въелась болотная грязь. Однако большей частью у Явы не было ни времени, ни желания заниматься такими пустяками. Более весомые заботы оттесняли на задний план все эти никчемные мысли. Да и ноша ее с каждым годом становилась все тяжелее и тяжелее, Ява считала, что ее прошлое — это сокровище, которое нельзя швырять на ветер. Его надлежало хранить про запас до конца жизни, покуда не настанут черные дни. Ей бы не хотелось умирать с пустой головой, страшно, если в смертный час не окажется воспоминаний, чтобы ты мог еще раз улыбнуться чему-то, что давно миновало, или уронить слезу.

Ява сроду не давала своему телу заплыть жиром, точно так же не давала она и пыли забвения покрыть ее расходящиеся в стороны, подобно ветвям дерева, мысли-тревоги.

Ведь и у нее были благословенные мгновения, когда мягкий ветер ласкал ей щеки, благоухали липы и воздух наполняло жужжание пчел, как знак вечной жизни. Но опыт научил Яву: не забывайся, не смыкай беспечно глаз, будь начеку — светлые минуты и тишина только потому и остаются в памяти, что век их короток, как у мотылька.

Ява села на ступеньках баньки и посмотрела в сторону болота. Все там — птицы и ямины, кусты и деревья — было еще под серым ночным покрывалом. Днем по эту сторону темного Иудина острова можно было уже заметить зеленую дымку, в болотных лужах отражалась небесная синь; ночные же тени снова превращали весну

в осень, и ушей касался тихий шелест жухлой травы. И хотя яблони за россаским домом уже зацвели, сердце болота еще долго оставалось холодным.

Ява поправила на плечах большой платок, сжалась в комочек, так что теплая бахрома платка укутала ноги, и внезапно почувствовала облегчение от сознания того, что может поразмышлять сама с собой. Последнее время Ява стала замечать, что устает от людей. В те дни, когда злая ворчливость старухи брала в ней верх, она уходила на Иудин остров. Однако ей недолго удавалось посидеть там на камне в одиночестве. Яак, не спускавший с нее глаз, шел следом. Чуть ли не насильно он уводил Яву назад, к баньке. А ведь Ява не была ни беспомощной, ни дряхлой, ничего страшного с ней случиться не могло. Почему Яак боялся за нее? Ведь он единственный из десяти не знал даже того, что мать Явы когда-то давным-давно приняла яд и легла под ели. А может, тревоги и заботы предков через кровь передаются потомкам и это сильнее всяких слов?

Яак не мог заметить, что Ява еще до петухов выбралась из дома.

Всю ночь ее душил запах пороха.

В эту ночь Ява впервые ощутила присутствие домового. Других — как животных, так и людей — эти обидчики донимали довольно часто. Однажды они совсем извели молодую лошадь, та даже корм перестала брать. Шерсть у нее выпала, ребра торчали, шкура обвисла. Хоть рой для нее яму. В полном отчаянии Матис вечером привязал к спине животного гребень для расчесывания льна — старая народная мудрость не с потолка взялась, — и лошадь удалось спасти. Домовому не понравилось топтаться по острым зубьям гребня. Больше таких неприятностей не происходило. Над дверью риги Матис на всякий случай прибил и чучело совы. Теперь за животных можно было не беспокоиться.

Но со скотиной приключались и другие несчастья, тут уж человеческая мудрость была бессильна. Как узнаешь наперед, что отел у коровы будет неблагополучный? Хождение по болотам всегда изнуряло животных, ну, а с этим делом у них обстояло как и у людей — один может вынести больше, другой меньше.

Земля была мерзлой, когда теленок околел. Матис

отнес его на болото и опустил в ямину, под ледяную корку.

Какими бы крепкими ни казались снаружи россаские постройки, а с хлевом было вечное горе — то ясли, то закутки для свиней норовили вот-вот развалиться. И действительно, вскоре случилась беда — одна из россаских свиней вырвалась из закутка, выбежала во двор и, почуяв запах падали, направилась к болотной ямине, там она, проломив тонкий лед, провалилась и утонула.

Это была досадная история, у свиньи остались поросята. Якоб бушевал, потрясал кулаками и орал на все болото — грозился стереть с лица земли баньку с ее обитателями.

Те домовые, что не давали покоя людям, были порождением самих людей, и тут ни гребни для расчесывания льна, ни перья совы не могли уберечь от беды.

И надо было Якобу так злобно орать?

Вчерашний вечер был слишком спокойным, благодатная тишина разлилась над Россой, в небе — ни облачка. Не отдавая себе отчета почему, Ява вдруг насторожилась. Что-то должно было случиться. Природа словно восстала против внутренней тревоги Явы и уговаривала ее: расслабься, что может быть прекраснее для глаза, чем яблоневый сад в цвету? Ява сидела на скамейке перед банькой, держа на коленях Леэниного мальчугана. Тепло детского тела проникало сквозь передник и тонкую, как бредень, юбку. Маленькие ручонки покоились на узловатых пальцах Явы, и она вдруг ощутила, как по жилам ее ссохшихся рук с новой силой потекла кровь.

Вот тогда-то это тихое и теплое мгновение переломилось, подобно палке, и щепки встали торчком.

Из ворот во двор Россы, опираясь на палку, вошел мужчина. Ява помедлила, прежде чем поднести ладонь к глазам и взглянуть на пришельца. Она притворилась равнодушной, словно хотела обмануть двух братьев — спокойствие и неведение. Солнце било в глаза путнику, лицо его отсвечивало красным. Кто-то когда-то сказал: на закате солнца рождаются ленивые дети, с наступлением сумерек бродяги ищут кров. Эти слова почему-то запали Яве в душу.

Посреди россаского двора мужчина остановился. Он медленно повернулся, посмотрел на болото, смерил взгля-

дом постройки и концом палки ощупал ступеньку крыльца.

Путник снял с головы шапку, забыв пригладить взъерошенные редкие волосы. Тощая котомка словно сама собой соскользнула с плеча. Должно быть, этот человек пришел издалека, раз он поспешил освободиться от такой легкой ноши.

Ява взяла ребенка Леэни на руки и встала со скамьи. Она узнала путника. Ява прижала мальчика к груди. В жизни у нее бывали неожиданности и пострашнее, ни к чему было так сжимать ребенка, ища опоры.

Перед крыльцом россаского дома стоял Нестор.

А может, этот обтрепанный, жалкий человек был всего лишь смутным подобием прежнего Нестора?

Неопределенного цвета одежда висела на его исхудавшем теле, костлявая рука, опирающаяся на палку, подрагивала, а обмотанные тряпьем ноги подгибались.

Ява закусила губу, но зубы, очевидно, затупились, и она не почувствовала боли. Ей хотелось крикнуть, но она опять держала на руках ребенка и поэтому вынуждена была сдержаться. Ей хотелось уцепиться за Нестора, а руки были заняты. Только у сердца была своя воля — и оно колотилось, как бешеное. Так, молча, не проявляя никаких признаков душевного волнения, разглядывала Ява своего почти забытого сына.

Вскоре россаская семья и семья из баньки собрались во дворе. Мать и сын стояли друг против друга, остальные в сторонке. И только Яак медленно придвигался, Ява чувствовала на своем затылке его дыхание — это был безмолвный вопрос: зачем пришел к нам этот чужой человек?

Яве стало страшно, когда она подумала: вдруг так и не удастся втолковать Яаку, что Нестор его сводный брат.

С другими было проще. Нетерпеливая Леэни уже дергала Якоба за рукав и шепотом расспрашивала о пришельце. Секундой позже она широко раскрыла глаза и протянула вперед руки, чтобы взять у Явы ребенка. Ионас жадно следил за своим дядей — он, блудный сын, хотел знать, с каким лицом возвращаются другие блудные сыновья в свой отчий дом. Глаза Ионаса блестели, уголки рта дрожали — бедный мальчик, слабенький, с сожалением подумала Ява. Того и гляди, еще спросит у Якоба:

замочены ли розги? Или Нестора ждет дубинка? Хорошо, что среди собравшейся на россаском дворе родни не было Хелин. Дочь, никогда не видевшая своего отца, могла бы выкинуть что-нибудь несуразное. Ей по горло надоело быть батрачкой на хуторе, и она пошла служить на скотоводческую мызу. Наведываясь домой, Хелин имела обыкновение задавать Яве каверзные вопросы: «Меня что, в омуте нашли? Или вылезла из-под каменной шубы Иудина острова?» — «Будто ты сама не знаешь», — успокаивала Ява свою златокудрую внучку. «Но почему у меня тогда нет близких?» — упрямо спрашивала Хелин, словно нарочно хотела уязвить этим Яву, которая вскормила ее грудью.

И все-таки она была права. Кроме глухонемого Яака, которого девочка считала братом, около Хелин не было никого из молодых. Деревенские девчонки почему-то не находили с ней общего языка, а парни боялись ее. Ява страшно рассердилась однажды, услышав, что говорили за спиной Хелин. Парни якобы сказали, что златокудрую из баньки нельзя водить на сеновал — от ее волос сено загорится.

Ява догадывалась, что жители Медной деревни чувствуют беззащитность сиротки Хелин. Может быть, издеваясь над Хелин, они мстили всему Явиному роду, носившему на себе сатанинскую отметину?

Обитатели болотного берега молча стояли вокруг сникшего Нестора. Оправившись от первой оторопи, они принялись что-то бессвязно бормотать. Ява огорчилась — никто из них не проявил большой и открытой радости. И Якоб, и Леэни пытались изобразить на своих лицах улыбку, но радушие это было неискренним. На их лицах читалось совсем иное: взгляды, брошенные друг на друга, были как бы продолжением расчетливых и трезвых мыслей, суть которых никакая деланная улыбка скрыть не могла.

Просто удивительно, что Якоб не раз пускал деревенскую нищенку Саки Кай пожить у себя в Россе. Но это было зримым благодеянием, каждый должен находить что-то такое, что бы он мог противопоставить собственным грехам. Саки Кай отравила последние дни Юстины. Старуха любила полеживать возле теплой стенки, распевать похабные песни и прихлебывать из бутылки водочку. Саки Кай была человеком предприимчивым —

с каждой свадьбы, крестин или похорон она умудрялась снимать сливки. Сума ее часто висела в россаской кладовке на гвозде, бутылки же, куда ей отливали часть праздничной водки, она держала в углу возле своей постели, чтобы были под рукой.

Жители болотного берега понимали, что у человека, который свыше двадцати пяти лет прожил вдали от дома, не подобало напрямки спросить: надолго ли ты пришел? Чем собираешься заняться? Где думаешь жить?

В сущности, и россаские постройки, и банька были чужими для Нестора. Он легким шагом пошел через Долину духов еще в ту пору, когда сердце Медной деревни не было сожжено.

Есть ли у него вообще основание считать этот край болота своим домом?

В настороженном взгляде Якоба Ява увидела любопытство, угрюмость и страх.

От ростков страха до поля вражды — один шаг. На этом поле вырастает чертополох ненависти, вместо плодов там — колючки слов.

Ява с удивлением подумала, что не знает, какой у Нестора характер. Впади вдруг Якоб здесь, на россаском дворе, в ярость, кинь он брату злые слова — как повел бы себя Нестор?

Может быть, он беспомощно опустился бы на траву и, ища сочувствия, закрыл жалостно лицо? Или же задрал вверх голову, повернулся спиной и ушел из Россы? Пошел бы широким шагом через Долину духов назад, в большой мир, сбивая палкой головки с первых одуванчиков — от сорной травы, как и от воспоминаний, никому нет проку.

Но между смирением и гордостью вмещалась еще сотня возможностей.

Яве было горько — она не знала характера своего родного сына.

От внезапной слабости землисто-серые ноги Явы задрожали. Плохой была она, плоха та мать, которая не знает своих детей и не умеет заглянуть им в душу. Или она и не пыталась этого сделать? Какой матери хочется узнать, что в ее детях кроме бога можно найти черта!

Только Матис признал явившегося на россаский двор блудного сына за своего.

Он взял у Нестора его тощую суму, положил руку ему на плечо и повел в избу.

Леэни стояла на россаском крыльце с сонным ребенком на руках.

Никто, кроме Ионаса и Явы, не обратил внимания на то, сколь отчужденно держалась Леэни. Ява заметила, как Ионас прищурил глаза — солнечный диск как раз опускался за лесом, — возможно, Ионас впервые подумал о том, что и он лишний в глазах новой хозяйки. Может быть, Леэни хочет, чтобы именно ее первенец стал будущим и надеждой Россы!

Весь вечер Матис и Нестор попыхивали в баньке трубками. Ява поставила на стол еду. На пороге появился Якоб, лицо его было приветливым, в руках — жбан с пивом. Заботы спали с него, брат не собирался вторгаться в Россу иждивенцем, и теперь можно было послушать новости — иной раз так приятно провести время в кругу своих. Ионас тоже протиснулся в дверь, за ним по пятам — сестра и брат. Втроем они уселись рядышком на полатях Явы и Матиса и стали болтать ногами. Яак стоял в сторонке, под окном, вполоборота, словно раздумывая, что ему делать — то ли глядеть на незнакомого человека, то ли поискать на болоте что-нибудь более достойное внимания. С болью в сердце Ява подумала, что не написала Нестору о несчастье, постигшем ее младшего сводного брата.

Время шло, темнота из углов начала наползать на середину комнаты. Нестор прихлебывал пиво и становился все разговорчивее. Он засучивал то один, то другой рукав, расстегивал рубашку и предлагал пощупать ему спину. Яве стало ясно, что у русского царя было много врагов. Нестор не ради удовольствия шагал в течение двадцати пяти лет по пыли и снегу с ружьем на плече. Что еще накопил он за эти тысячи дней, кроме ран и шрамов? Да, одна медаль висела у него на рубашке, но она была довольно-таки старой и потертой. А вдруг Нестор снял ее с какого-нибудь погибшего товарища, чтобы, вернувшись домой, казаться значительнее? Ява с горечью подумала, что люди, наверное, никогда не смогут отрешиться от плохого обычая мерить других по одежке. Ей бы хотелось спросить у своего сына: принес ли ты с собой из дальних стран зло или добро, непримиримость или прощение? Есть ли у тебя еще в запасе силы

и мужество, или ты все растратил? Убивая врагов царя, желтых и белых, смуглых и бледных, обрел ты покой или сердечные муки? Может быть, каждый умирающий взгляд взял что-то и у тебя? Оторвал кусочек от твоей веры и жизни и унес с собой, а взамен протянул тебе на слабеющей ладони пригоршню усталости? Сын, согнулся ты от немощи или несешь на своих плечах ужас и страх?

Вечером, в душной комнате баньки, где глаза щипало от табачного дыма, Ява еще не могла составить представление о своем пропавшем и вновь обретенном сыне. Язык у Нестора развязывался все больше. И надо же было Якобу добавлять в пиво багульник и полынь для крепости!

Ява взяла ведра и пошла к колодцу. Ледяная вода брызнула на нее, когда она тропинкой возвращалась обратно в баньку. Пусть путник вымоет ноги — вода из болотного родника лучшее средство от усталости. На крыльце Ява столкнулась с Якобом, в руках у него был пустой жбан.

И тут он воспользовался случаем, чтобы одной-единственной фразой хлестнуть Яву:

— Ну и наплодила ты на свет этих несчастных!

Ночью упрек Якоба принял облик домового и душил Яву.

Ява не получила почти никакого образования, не видела она и большого мира — путеводной звездой ее была совесть. Как же могло случиться, что всегда она оказывалась источником бед и несчастий? Эта мысль постоянно мучила Яву и часто заставляла ее замыкаться в себе, чтобы подумать над событиями своей жизни. Зато в тех случаях, когда все вдруг закручивалось в узел, а растерянность, подобно наводнению, норовила захватить все большие пространства, мир же становился черным, — в такие наиболее трудные минуты в душе Явы рождалась какая-то особая сила: она чувствовала, что должна бороться, должна восстановить справедливость и добиться истины. Долгие рассуждения с собой можно отодвинуть на более спокойное время, а предаваться унынию — в те дни, когда река ее жизни будет течь спокойно, не встречая на своем пути порогов. Но этот внутренний приказ не так-то просто выполнять. Состояние покоя и горячность разрывали Яву, как два противника, борющиеся

каждый за свое. Было совсем не просто держаться прямого пути.

Разве не из чувства справедливости Ява ударила своего первого мужа, или, может, ею овладела слепая злоба? Попробуй найди тут ответ. Задним числом подробности никого не интересовали. Ява загнала своего мужа в гроб, вот и все. Но страдания давних времен остаются непонятными — особенно для нового поколения. Какой смысл рассказывать молодым о наводнениях, голоде, последней краюхе хлеба или о храброй Мирт, которая жевала листья ольхи, шла по глубокой воде и приносила в своем вымени полную кружку молока — все равно не испытанное на собственной шкуре останется чужим и далеким.

Новое время принесло с собой новые беды, и именно они казались самыми значительными.

Люди стали нетерпеливы, им недосуг обсуждать старые дела. Канувшие в прошлое события подытоживались кратко. Яву не удивило бы, скажи ее правнуки когда-нибудь убежденно: наша праматерь была дочерью дьявола, в ней не было ни любви, ни жалости, даже мужа своего она угробила. Возможно, в будущем будут смеяться даже над матерью Явы. Что за странным она была человеком — устала от пустых слов, надела желтую юбку, легла под ель и умерла.

Ява прожила долгую жизнь, родила одиннадцать детей, делила постель с двумя мужьями и жила в трех домах; у нее уже сейчас было десять внуков и могло родиться еще десять или двадцать. Но Яве и в голову не приходило, что труд всей ее жизни завершен и что пора подводить итоги. Свои годы она ведь прожила не вслепую и все же не сумела постичь величия или ничтожности смысла жизни. Было бы грешно ждать смерти, еще надо потягаться силами с другими. Те, кого господь не сподобил чувством справедливости, со смертью Явы лишились бы одного из противников. Лучше уж оказаться в проигрыше, нежели что-то недоделать.

Больше всех заботил Яву сын Якоб. Хозяин Россы давно уже не мальчик — сорок шесть лет, лучший возраст для мужчины, но именно из-за Якоба ей приходилось быть особенно начеку. С ним нельзя было слишком отпускать вожжи, его поступки могли создать у окружающих впечатление, что кривда это и есть правда.

Матис и Таниель знали, что Явин вопль сделал Яака глухим, но даже они не догадывались о вине Явы перед ее первым сыном.

Ява последние дни донашивала Якоба, когда, встав однажды утром, она почувствовала, будто ее подменили. Едва она сделала круг по комнате, как в нее вселился бес. Ни раньше, ни позже она не испытывала такого отвращения ко всему, как в тот предвещавший духоту августовский день. В то утро для нее не существовало ни мужа Якоба, ни дочери Эвы, ни скотины, ни Россы. Она даже думать не хотела о повседневных делах, не говоря уже о том, чтобы немного пошевелить руками и принести еду на стол.

Она почувствовала, что должна куда-то идти — прочь, как можно дальше и от Медной деревни, и от Россы. Она тотчас же должна уйти — скорее, скорее! Точно за ее спиной выросли могучие крылья, лети, куда зовет сердце. Ява выпила штоф прозрачной колодезной воды и точно опьянела от нее. И тогда она пошла, не оглядываясь назад, не сказав ни слова. Она пересекла Долину духов, солнце жгло ей спину, в голове не оставалось ни крупицы разума: тоже мне странник по белу свету, беременная женщина.

Изнуренная палящим солнцем, она спешила все дальше. От большого напряжения что-то случилось со зрением: поля стали красными, лес черным, как ночь, а ручей белым, как снежная полоса.

Ява не отдавала себе отчета, куда она идет. Ноги сами выбрали знакомую тропу, и она вдруг обнаружила себя возле дома своего детства и поняла, что сидит под липой возле корчмы.

Полуденное небо стало вдруг черным, Ява с большим трудом встала и поплелась в прохладную залу корчмы. Тут силы ее иссякли. Она повалилась на деревянную скамью и сквозь полузакрытые веки увидела над собой испуганные глаза тетки и отца. Они принялись суетиться вокруг нее — брызгали ей в лицо холодной водой, растирали ноги водкой — едкий запах ударил в нос.

Отец с теткой подумали, что в Россе случилось что-то ужасное, — как это Ява в таком состоянии отважилась на столь дальний путь? Когда Ява пришла в себя и смогла говорить, она заметила на лицах родных досаду: она не сумела объяснить им причину своего прихода.

Отец собрался было запрячь лошадь, чтобы отвезти Яву в Россу, но, выглянув в окно, снова отошел на середину комнаты.

Небо было черным, как дно котла. Туча закрыла весь небосвод, не иначе как быть грозе.

Вскоре поднялась сильная буря, ветер распахнул дверь, но, несмотря на тучу, ни грозы, ни дождя не было.

Внезапно раздался страшный грохот, за окном стало светлым-светло, старый дом содрогнулся, со стены посыпалась известка, потолочные балки застонали, словно корабельный лес в сильный шторм, — и в корчму проник запах гари.

Отец и тетка вскрикнули в один голос, схватили ведра и выбежали во двор. Ява никак не могла подняться со скамьи. Когда она в конце концов опустила ноги на пол, ей словно заново пришлось учиться ходить. Выбравшись во двор, она вытянула вперед руку, чтобы оросить ладонь каплями дождя, — нет, никакого обмана зрения не было, небо сияло чистотой, тропинка пылила, в верхушках лип шелестел летний ветерок.

Ява нашла хозяев корчмы в хлеву. Они стояли в ярком кругу света — совсем как Иосиф и Мария на божественной картинке.

Лишившиеся от испуга дара речи, они в упор смотрели на мертвую свинью и на маленький серый камень, от которого шел едкий дым. Блуждающий взгляд Явы обнаружил в потолке большую дыру.

После по всей округе говорили: небесный камень убил у корчмаря свинью.

Якоб родился в тот же самый вечер и с первых минут стал орать во все горло так, что дом дрожал.

Из-за небесного камня ребенок явился на свет раньше срока.

Получивший встряску в утробе матери, Якоб должен был теперь всю жизнь страдать от приступов внезапной ярости — а ведь это и самому не легко, когда то и дело причиняешь боль другим!

Почему, будучи уже на сносях, Ява отправилась в тот душный августовский день к корчме? Кто бы смог объяснить это?

Порой Ява сама начинала верить, что она дочь дьявола. Ей надо было любой ценой гнать от себя смерть, все равно она из-за Якоба не обрела бы покоя в могиле.

Как раз в тот самый год, когда на рождество по вине Якоба дотла сгорело сердце Медной деревни, Матис проделал огромную работу. Он, не щадя ни себя, ни лошади, собрал с полей и свез в кучу огромное количество камней. Едва земля замерзла и выпал снег, как Матис опять впрягся в тяжелую работу. Сани то и дело скользили по россаскому полю, Матис без конца поднимал камни и воз за возом отвозил их на болото. Еще летом он вбил в кочки колышки — дорога, которая начиналась от дверей баньки и вела к Иудину острову, должна была стать прямой и широкой, гони хоть на почтовых!

Матис хотел, чтобы к драгоценному Иудину острову было удобно добираться. По мнению Явы, не стоило так надрываться ради того, чтобы облегчить переход двум-трем коровам. Конечно, ко времени дойки коровы возвращались бы к хлеву — людям проще, но все-таки? Матис же считал, что нельзя подходить к каждой работе с меркой — выгодно ли это. К тому же, выбрав местом жительства край болота, он обещал Яве убрать с ее дороги все заботы. Теперь он укладывал камни, один к другому, чтобы дорога получилась надежной.

После того как старые россаские постройки сгорели, Якоб решил поселиться по соседству с банькой. Камней в окрестности хватало, их и после закладки фундамента россаских построек осталось бы еще достаточно, но Якоб предпочитал брать камень там, где полегче. В то время он еще не знал цены Иудину острову. Якоб вывез камни с дороги, которую строил Матис. Матис вроде бы равнодушно взирал на эту несправедливость, спрятав руки в коленях, в глазах — отчаяние, а на лице неизменная улыбка. Ява, словно безумная, во весь голос кричала на сына — образумься, зачем ты разрушаешь работу другого? Справедливость не должна сгинуть с лица земли! Люди мрут как мухи, если у них отнять последнюю веру!

Никакого толка от этих криков не было, только народ в деревне смеялся.

Ява была убеждена: тот, кто не печется о других, не заботится и о своей судьбе. Позже не только их с Матисом коровы, но и россаские увязали в трясине и от восхода до захода солнца месили болотную грязь, добираясь до Иудина острова. Там, тяжело отдуваясь, они ложились на мох, и грязь медленно стекала с них. Первые дни измученные животные не давали молока. Обычно, перего-

няя коров на остров, люди ожидали погоды посуше, иначе животные могли утонуть. Болото и так будто подстерегало их, стремясь засосать; иногда они выбирались на берег по уши в грязи, только глаза и рога не были залеплены болотной жижей.

Каменная дорога Матиса, пожалуй, больше всего пригодилась бы Юстине. Она до конца своей жизни боялась болота. Ява не раз наблюдала из окна баньки, как Юстина неверным шагом ступала по качающимся мосткам, чуть ли не волоча за собой молочные бидоны. Кто-то невидимый словно толкал шатающуюся Юстину то с одного, то с другого боку. С большим трудом удавалось ей удерживать равновесие. Ява часто размышляла о том, что болотные ямины притягивают к себе тех, кто слаб. Со временем Ява поняла, что превратилась в болотного стража. Она опасалась, что Юстина больше не в силах будет противостоять судьбе. Встанет как-нибудь в сумерках с постели, презрительно махнет рукой на потолок — пусть себе этот распутник Якоб тешится там со своей Леэни, пойдет к мосткам и бросится в болотный омут, чтобы освободиться от всего. Однако Юстина не стала сама гасить свечу своей жизни. Позднее Ява много раз с удивлением думала, что ее здоровая и, по крайней мере с виду, спокойная мать была слабее болезненной Юстины.

Все же Ява не зря не спускала глаз с болота. Последыш Юстины — Юхан унаследовал от матери боязнь болота. Чудно́, как все страшное занимает ум ребенка. Мальчик боялся болотных ямин, и в то же время темная и неподвижная вода притягивала его. Еще в раннем детстве он удирал на болото и, покачиваясь на кочке, не отрываясь смотрел на воду. Кто знает, каких тварей он там видел; во всяком случае, что-то пугало его так, что он то и дело, охваченный диким страхом, с криком мчался во двор Россы. После этого его долго нельзя было успокоить.

Однажды, когда погруженный в свои мысли мальчик смотрел на воду, случилось несчастье. Новые коровы, которые после произведенных горожанами взрывов заменили старых, никак не могли свыкнуться с тем, что должны все лето провести на Иудином острове. Одна стельная корова особенно обезумела, она так и норовила повернуть обратно в Россу. Не проходило дня, чтобы она не блуждала по болоту. Корова все время стремилась к людям,

словно боялась, что принесет на свет двухголового теленка. Маленький Юхан как раз стоял между двух болотных ямин — откуда ему было знать, что стельная корова захочет пройти именно здесь. Корова нащупывала ногой кочки покрепче, она была взбудоражена, и ей было не до мальчишки. Вот и случилось, что она задела Юхана своим толстым брюхом и столкнула его в омут.

Не зря Ява не спускала глаз с болота. Догляд никогда не бывает бессмысленным. Она даже юбку не успела с себя сбросить. Кочки пружинили под ее ногами, край болотной ямины заколыхался, подбросил Яву и помог ей прыгнуть. Схватив мальчика, она подняла его на край ямины. Самой же ей пришлось побарахтаться, прежде чем под руку попались крепкие ветви кустарника, схватившись за них, она смогла подтянуть свое обмотанное тяжелой одеждой тело к берегу.

Потом по всей деревне о Яве говорили — глядите, какая старуха, ни черта, ни дьявола не боится, не говоря уж о болотной трясине. Не понимают, что ли, — человек ведь не рыба и не лягушка, чтобы ему долго под водой находиться, еще неизвестно, когда бы эти мужики подоспели на помощь. Как потом выяснилось, Якоба и дома не было. Матис же стал стар и медлителен — того и гляди, сам пошел бы ко дну в своих тяжелых сапогах.

Чтоб не испугать больную Юстину, Ява отвела маленького Юхана к себе в баньку и там помыла его. Разыскав Ионаса, она велела ему потихоньку принести из дома одежду ребенка. Затем Ява напоила Юхана чаем с рябиной и, чтобы рассеять его страхи, стала рассказывать ему об острове Ява и апельсиновых деревьях.

После того как все благополучно миновало, Ява поняла, что, собственно, произошло. Не иначе, слепая судьба хотела отомстить Якобу за то, что он разрушил каменную дорогу Матиса. Страшно подумать, что за несправедливость потребовалась такая большая плата. Нет, у судьбы не было ни глаз, ни сердца. Приходилось быть все время начеку, чтобы вовремя вмешаться в зло, которое несли с собой и люди, и судьба. К тому же с годами люди становятся умнее, не стоит судить о ком-либо слишком строго.

Несмотря на свой преклонный возраст и жизненный опыт, Ява и сама должна была держать глаза и уши востро, чтобы не упустить ни единой крупицы мудрости.

Последний раз она почерпнула мудрости у Юстины. Ничего не значило, что первая жена Якоба была такой хворой. Мужики, которые несли с россаского двора к дрогам гроб с Юстиной, потом рассказывали, что он был таким же легким, как гроб ребенка. Однако несмотря на свое тщедушное тело, Юстина была прозорливее любого здорового. Быть может, именно благодаря покойной Юстине Ява поборола себя и теперь кое-как терпела Леэни. Все же Леэни была сестрой Юстины, должны же эти единоутробные дети хоть в чем-то быть похожи. Надо набраться терпения и подождать, дать Леэни время; может быть, и она сумеет когда-нибудь доказать людям, что способна на что-то хорошее. Ведь и по Юстине тоже не сразу было видно, что у нее такой сильный дух. То, что она, когда случился пожар в Медной деревне, спасла россаское имущество, было, конечно, смелым поступком — что ж, борясь за положение хозяйки хутора, ей пришлось броситься в огонь.

Ничто не вечно. Меняются не только люди, не только облик земли, но и в ее недрах, хоть и кажутся они незыблемыми, идет жизнь и движение. Взамен тех камней, что когда-то давно вывез с поля Матис, из земли на свет божий вылезли новые. Зато те валуны, из которых Матис начинал строить дорогу через болото и которые позднее легли в фундамент россаских построек, так и норовят исчезнуть с глаз людей. Как будто они уже завершили свой круг, как будто у них, как и у людей, свой век, прожив который им предстоит погрузиться в первозданный мрак, где они могут отдохнуть. С каждым годом россаские постройки все больше оседают. Если и дальше так пойдет, то через какие-нибудь несколько десятков весен стенные балки окажутся вровень с землей. Никто не заговаривал об этой беде. Да и какая польза от слов, все равно у людей нет такой власти, чтобы противостоять воле земли.

По мнению Явы, в этом мире существовали две вещи, которым человек не мог противопоставить свое ничтожное «я»: природа и мечта. Вот Нестор ушел из дома двадцать пять лет тому назад, отправился через Долину духов молодецким шагом, широкий мир с неодолимой силой манил его. Кто заранее боится ушибов, тот и порога своего не переступит. Кто заранее начинает бояться смерти,

тому ничего в жизни не свершить. Другое дело, насколько человеку его деяния приносят счастье.

Дети Явы знай себе уходили через Долину духов, на прощание Ява давала каждому частичку своей мечты. У Явы же мечта — несмотря на то что она щедро делилась ею — становилась все больше, душа до краев была переполнена этим чувством. Сама она до сих пор оставалась на месте, она не свободна была следовать своим желаниям, к тому же ей надлежало стеречь болото, и людей, и судьбы, но когда-нибудь она обязательно уйдет отсюда. Да, именно уйдет, а не вынесут ногами вперед. Она потерпит до этого дня, смирится с болотными птицами, которые каждое утро поют ей о далекой сухой пустоши и запахе смолы.

В то лето, когда Ионас убежал из дома, Ява про себя обрадовалась, словно дала мальчику с собой свою душу. Осенью же, когда Якоб отправил в город телеграмму и потом, как разъяренный бык, топтал во дворе траву — дубинка в руке, глаза прикованы к воротам, — Ява твердо решила: как только мальчик появится, она выйдет вперед, пусть Якоб хлещет ее жилистое тело и выколачивает свой гнев. Удары дубинки не сломят ее старую, привыкшую к боли плоть. Кроме всего, долгая жизнь дает человеку такие полезные навыки, которые в нужную минуту облегчают бремя. Ява не допустила бы, чтоб Якоб убил в Ионасе мечту.

Но Яве не пришлось подставлять спину дубинке Якоба. Сама природа выступила в защиту мальчика.

В тот день поднялся невиданный ураган. Небольшие штормы и раньше проносились здесь, но сейчас буря свирепствовала на огромной площади. Стог сена, стоявший посреди Долины духов, оторгнулся от земли, ветер срывал с него пучки, пузатый стог делался все тоньше и тоньше, пока шнуром, сплетенным из стеблей, не поднялся в небо, чтобы позднее где-нибудь в далеком лесу, подобно трухе, повиснуть на верхушке дерева.

Ява стояла на россаском дворе. Ухватившись за колодезный сруб, она следила за бешеной игрой природы. Внезапно, откуда ни возьмись, возле живой изгороди из елей возникла темная фигура. Сердце Явы дрогнуло, когда она увидела развевающиеся черные полы: вдруг это Пигинийт пришел через много лет за своей дочерью? В такую погоду чертям только и шнырять. Ветер завывал в ушах,

ноги сами отрывались от земли — Ява дала волю своим чувствам. Опустившись на замшелый обрубок бревна, она попеременно плакала и смеялась. Редкие крупные слезы ее со стуком падали в россаский колодец.

Это был Ионас, который, спотыкаясь и держась руками за ветки елей, брел к дому.

Едва раскрасневшийся Ионас успел достичь ворот — длинное пальто, подобно черному крылу, развевалось за его спиной, — как еще одна фигура показалась со стороны Долины духов, и тот, второй, тоже держался за еловую изгородь.

Сын Эвы, Наан, делал свободной рукой движения, будто плыл, отталкивая от себя плотный воздух, точно воду, и, пытаясь преодолеть шум, что-то кричал своим. Парень тщетно хватал ртом ветер — ничего не было слышно.

Якобу было не до того, чтобы наказать своего блудного сына. Наан принес страшную весть. Он своими глазами видел из окна виллакуской избы, как с церковной башни сорвало шпиль, будто его и не было там. Ява мгновенно поняла, какая страшная тревога охватила Якоба. Хорошо, что хозяин Россы догадался надеть тяжелые сапоги, только благодаря этому его и не подняло в воздух, когда он кинулся бежать через двор к амбару. В одной руке топор, в другой канат — шапку унес ветер, — задыхающийся Якоб снова возвратился к воротам.

Россаские клены, вязы, ели и липы шумели и стонали, ворота скрипели, словно каждая мертвая жердь норовила сгорбиться, чтобы концы ее выскользнули из паза.

Якоб размотал веревку, трое мужчин ухватились за нее и, шатаясь от ветра, направились через Долину духов к церкви.

Школа стояла под боком у церкви. Средняя дочь Якоба и Юстины — Юула, как и другие дети, сидела в этот день на школьной скамье.

Возможно, Якоб причислял и себя к тем неудачникам, в появлении которых на свет он накануне вечером упрекнул Яву?

Со времен пожара в Медной деревне несчастья преследовали Якоба, подобно стае голодных волков. Юстина слегла с тяжелым недугом и умерла. Иудин остров обма-

нул надежды Якоба. Ионас хотел отречься от Россы. Не говоря уж о всяких других, мелких неприятностях. Вложив душу в камни, Якоб забросил работу на хуторе — лишившиеся заботы поля не плодоносили, стадо не множилось, и в дом волей-неволей норовила прокрасться нужда.

Когда спустя два года после смены столетия в Медной деревне появился землемер, чтобы точно обозначить границы хуторов, Якоб вывернул наизнанку свои пустые карманы и сказал: пусть, мол, делают с россаскими землями что угодно. Хороший россаский покос, находившийся в излучине реки, оказался под угрозой — другие хозяева в Медной деревне стремились за счет Якоба передвинуть свои межи. Тогда Матис из своих денег дал землемеру пятьдесят рублей, чтобы все осталось по-прежнему.

Лишь на одном том, чтобы все оставалось как было, землемер отхватил солидный куш. Ни один хутор в Медной деревне не отвертелся от взятки. Хозяин Виллаку вместо денег дал землемеру целую свинью, у Якоба же в то время в загончике были лишь жалкие поросята. Иной раз так все вкривь и вкось пойдет, что у человека, кроме голого желания, ничего за душой не остается.

Стоя в тот день, когда разыгрался ураган, у ворот и держась рукой за столб, чтобы ветер не унес ее, Ява недолго думала обо всех этих вещах. Если бы деревья не гнулись так отчаянно, что верхушки их чуть ли не подметали землю, она бы залезла куда-нибудь повыше, чтобы увидеть, как мужчины возвращаются назад, ведя за руку Юулу.

Уже было темно, когда они добрались до Россы. В ноябре светлое время воробьиным шагом измеряется. И тем не менее жителям болотного берега показалось, что они прождали не одну долгую ночь.

В тот вечер все они собрались в россаской избе и бессознательно придвинулись поближе к столу, на середине которого горела свеча. Из оконных и дверных щелей в избу задувал такой ветер, что пламя на фитиле плясало.

Тревога улеглась, и это сблизило в тот вечер россаскую семью с обитателями баньки. Юула сидела на руках у Якоба и, когда ветер завывал особенно громко, прятала голову отцу за пазуху. Девочка в который уже раз

принималась от начала до конца рассказывать, что произошло в этот день. Крыша школьного здания разломилась по гребню, и обе половинки, рухнувшие вниз, словно отлетевшая обложка книги, закрыли окна и двери. Ветер врывался сквозь разверстый потолок, стены дрожали. Дети сидели в темной комнате тихо, как мыши, учитель ходил между скамейками и гладил каждого по голове. Успокоив таким образом детей, он запел.

Юула считала, что стены только потому и не обрушились, что песня, лившаяся изнутри, как бы противостояла силе ветра и тяжести крыши. Кроме Якоба с Ионасом и виллакуского Наана, спасать детей пришли и батраки церковной мызы. Одну половину крыши разрубили топорами. Таким образом освободили дверь, и ребята смогли выйти.

Больше всего пострадала от бури церковь. В течение нескольких последующих дней, хотя ветер давно уже стих, никто не отваживался приблизиться к храму божьему. Ураган забросил шпиль башни на крышу церкви и расщепил ее. Что, если стоявшее много столетий здание развалится? Однако ничего страшного не произошло, люди успокоились — в старое время умели складывать прочные стены и своды. Стены церкви стояли неколебимо. Поломанные балки и жерди, сбитые ураганом в кучу, не смогли обрушить своды. Постепенно обломки крыши и шпиля люди стали сносить вниз. Лишь одна загадка мучила их — даже мороз по коже продирал, — куда подевался золотой шар? Веками он находился на макушке шпиля под ногами у петуха и, невзирая на тучи на небосводе, сиял над округой, как собственное солнце.

Поиски не принесли никаких результатов. Новые, более страшные события вытеснили золотой шар из памяти и мыслей людей. Лишь спустя год, на следующую осень, какой-то любопытный мальчуган приметил, что в сводчатом подвале, за церковью, в том месте, где лежали свезенные с окрестных полей черепа, что-то блестит.

В тот вечер урагана, в россаской избе, когда спасенная Юула примостилась у Якоба на коленях, а Юстина, поддерживаемая своим вновь обретенным сыном, вышла из задней комнаты, чтобы посидеть в кругу

семьи, больная хозяйка Россы повернулась к мужу и сказала:

— Якоб, переломи свою палку. Это сатана посеял в душе Ионаса семя, оно пустило там ростки и расцвело пышным цветом.

Ява потом не раз вспоминала слова Юстины.

Только после того, как легкий гроб Юстины вынесли со двора и поставили на дроги, Ява начала смутно догадываться о смысле ее слов.

Под взглядом жены Якоб спрятал глаза — прощение порой труднее принять, чем наказание и гнев.

Наутро Ява увидела, как Якоб кинул свою дубинку в кучу мусора, однако не сломал ее. Он будто и послушался Юстины, однако все же не до конца.

Ява должна была признаться себе, что не только Нестора, но и других своих детей она как следует не знала.

Когда стали гореть имения, Якоб с жаром говорил каждому о вековых страданиях эстонского народа и о том, что власти баронов надо положить конец. Однако сам он факела в руки не взял и не примкнул к восставшим мужикам. Ява догадывалась, как в эти смутные времена, когда горизонт то там, то сям полыхал красным, Якоб словно разрывался надвое. Ни у той, ни у другой его половинки не было ни жизни, ни радости. В те дни он даже на Леэни покрикивал.

К тому времени у Леэни вырос живот. Когда стали жечь имения, она пошла избавляться от ребенка. Если б кто-либо мог тогда предвидеть, сколько людей вскоре погибнет, — возможно, Леэни и сохранила бы жизнь своему ребенку?

Без милосердия род человеческий может исчезнуть с лица земли.

Бывает — одного пожалеешь, другому воткнешь жало в грудь; Леэни не хотела сделать Юстину посмешищем перед смертью. Болтовня болтовней, но никто не смог бы положа руку на сердце поклясться, что у россаского Якоба одновременно две жены и от каждой дети.

На стенах сгоревших зданий уже успели вырасти сугробы, когда одним ясным зимним утром в Медную деревню привезли пушку и поставили на краю Долины духов. Жерло пушки, казалось, смотрело разом на все хутора, где бы они ни стояли — на севере, юге, востоке

или западе. Как будто там, на поле, притаился зверь — туловище его неподвижно, а зрачок бегает и подстерегает добычу. Долина духов с незапамятных времен была проклятым местом, словно навлекавшим на себя кровь и резню.

От страха и ужаса жители Медной деревни готовы были спрятаться под землю. Но земля замерзла, болотные ямины сковало льдом, и спрятаться было негде. Двоюродный брат Леэни и Юстины, не в одном месте поджигавший имения, пришел в Россу в простодушной уверенности — хутор отдаленный, наверное, здесь можно будет укрыться. Но глаз пушки охватывал всю белую равнину, каждый воробей, не говоря уже о человеке, был на счету.

Все же Матис нашел хороший выход. Он повел парня кружным путем, через дальний лес и заросли кустарника, к Иудину острову. Теперь эти взорванные на рубеже столетий каменные ямы пригодились как нельзя лучше. Там, под занесенной снегом крышей из еловых ветвей, двоюродный брат Леэни и Юстины на какое-то время нашел убежище.

События в Долине духов развивались своим чередом. Однажды прогремел пушечный выстрел, снаряд упал на поле и взметнул в небо комья земли, камни и снег. Народ Медной деревни был предупрежден: пресмыкайтесь, будьте покорными — а не то в какой-нибудь из ближайших дней любой хутор может быть превращен в прах. Глаз пушки и днем и ночью стерег мышей, людей и дома этих краев. В те тревожные времена Ява думала: сколько страха может вместить в себя человеческое сердце? Из поколения в поколение их без конца запугивали, били, добиваясь покорности. Ява считала, что сердца людей давно переполнились кислой, как клюква, кровью страха, только надави — и лопнут.

Но человеческое сопротивление не знает пределов до тех пор, пока старая с косой не приступит к своей работе. Вся волость по приказу отправилась в Долину духов, чтобы увидеть, как бунтовщиков избивают и прогоняют сквозь строй. Люди стояли, подобно черной стене, и на их глазах снег становился алым.

Ява не любила вспоминать эти давно минувшие дни. Многое из того, что тогда произошло, она запомнила навсегда. Как только Ява принималась думать о событиях

тех лет, острая боль пронзала ее под лопаткой. Как будто она снова видела, как сын Эвы, Наан, получает свои двадцать пять ударов. Ява до сих пор не верила, что этот тихий парень был способен каблуками сапог разбивать в имении зеркала, не говоря уже о том, чтобы сунуть под стреху факел. Но насилие, как известно, слепо. У насилия нет глаз, насилие смотрит на мир и на людей черным жерлом пушки, за ним, в стволе, свистит резкий ветер.

Когда Ява стояла среди других в Долине духов и смотрела на кровопролитие, она думала: вот сейчас из душ крестьян выбивают последние крупицы достоинства. С этих пор люди станут только ползать, в лучшем случае встанут на четвереньки, однако носа от земли не поднимут.

Почему люди из города не догадались в свое время заложить под дерн в Долине духов взрывчатку? Коров они здорово напугали! Ява вынула бы из печки и вынесла на ладони пылающие угольев, подожгла бы фитиль и пустила на воздух все это насилие вместе с унижением! Когда нет жизни, когда под серым небом нет места справедливости, лучше уж пусть все разлетится в прах.

После кровавой расправы жители Медной деревни говорили, что каратели изгнали из долины духов. Внезапно всем стало жаль злой барышни в белой шляпке и других привидений, которые в пургу и темь морочили и сбивали с пути возниц и вытворяли всякие другие штуки. Отныне стало неприятно ходить ночью через Долину духов, никто не толкал тебя в плечо и не пролетал перед твоим носом. Разом все привычные связи с дальними предками словно пресеклись. К кому же ты тогда прильнешь мыслями в минуту одиночества или в часы сумерек?

Прошло несколько лет, и ни с кем за это время в Долине духов никакого злоключения не произошло. Шаги людей были словно заранее помечены, а ноги как бы привязаны к тропинкам.

Одним осенним вечером Ява все же отправилась попытать счастья. К утру она вернулась в баньку — на сердце были покой и ясность. Слава богу, духи не покинули свою долину. Целую ночь бродила Ява по полю: гирлянды светлых огоньков покачивались то справа, то

слева. Черная кора земли словно по чьему-то велению отодвинулась в сторону, чтобы освободить место зеленым полыхающим прудам, на поверхности которых цвели причудливые синие цветы.

Ява снова поверила в жизнь. Никакое насилие не обладало такой силой, чтобы навсегда изгнать с земли людей и духов.

С тех пор Ява полюбила слушать истории, рассказывающие о бесстрашных людях. А таких случаев, когда бунтовщики, поджигавшие имения, не боялись наказания либо их спасал счастливый случай, было немало. Ява надеялась когда-нибудь встретить человека из соседней волости, который, натягивая штаны после наказания палками, язвительно усмехнулся и в благодарность за порку отвесил низкий поклон. Что с того, что за его дерзость ему добавили розог. Еще прекраснее, по мнению Явы, была другая история: лошадь бунтовщика оказалась быстрее преследующих ее драгунских коней. Жеребец мужика прямо-таки перелетал через сугробы, он проскакал галопом по узкой плотине, на которой драгунские кони заартачились, а затем рысью домчался до станции железной дороги. Как по заказу, там стоял поезд, и сразу же раздался свисток отправления. Прямо из седла мужик вскочил на подножку вагона, и тотчас же колеса завертелись со страшной быстротой. Добравшись до города, он не стал попусту терять время и побежал в гавань. У причала стояло готовое к отплытию судно, капитан чертыхался — не хватало одного матроса. В один миг бунтовщик заделался матросом. В Англии он нашел себе красивую невесту, и вдвоем они отправились в Новую Зеландию. Там на приданое жены они купили песчаный карьер, голова у мужика варила — теперь продают эту манну земную стекольной фабрике и живут себе припеваючи.

Неважно, если народ что-то и прибавил от себя к этой истории. Возможно, парню не досталась в жены дочь англичанина, возможно, и сам он не стал владельцем песчаных копей. Он мог быть, к примеру, простым рабочим, который возит песок, но в том, что он поселился в Новой Зеландии, — в этом Ява не сомневалась. Поскольку этот остров в дальнем море называли новым, то Ява верила, что там никому не дано было право наказывать палками других людей.

Ява услышала и о том, как один солдат-эстонец восстал против своего командира и не приложил ружья к щеке, когда ему велено было стрелять в своего брата по крови. Рекруту-эстонцу связали руки и ноги, положили на сани и отвезли в тюрьму.

Может, то был Нестор?

Может, все это время после бунта он томился в стенах тюрьмы?

Разве не странно, что мать не знает своего сына?

Скоро наступит день, когда Ява сядет со своим сыном на скамейку и расспросит его обо всем. Якоб пусть и близко не подходит со своим горьким пивом, у усталого солдата опять язык начнет заплетаться.

Солнце уже рассеяло туман над болотом.

Так она и сделает.

Неизвестность и Ява были несовместимы.

В этих местах тоже были люди, которые умели вовремя скрыться или ухитрялись каким-то другим путем избежать наказания. Двоюродный брат Юстины и Леэни, отсидевшись на Иудином острове, пробрался в город и поступил работать на большую фабрику. Там лица у всех вымазаны копотью, попробуй среди этих замызганных людей выловить непримиримого врага баронов. Это тебе не Медная деревня, где каждый хутор со всеми его обитателями как на ладони.

Последняя большая ссора Явы с Якобом косвенно началась именно с двоюродного брата Юстины и Леэни. В конце зимы двоюродный брат прислал из города письмо, в котором сообщал, что баронский шкаф, взятый в имении, привезут в Россу. Как бы в благодарность Якобу за убежище на Иудином острове. Когда Ява увидела в россаской избе этот тонкой резьбы, изъеденный молью шкаф, то пришла в бешенство. Она и раньше слышала, что иные из бунтовщиков, которые во имя справедливости карали баронов и сжигали их дома, не забывали и о личной выгоде. Ява считала эти разговоры пустой болтовней. Ведь не из-за этих же шкафов велась борьба не на жизнь, а на смерть. Безумная мысль — забирать господскую утварь и барахло в оплату за собственную кровь!

При виде шкафа глаза ее зло загорелись. Она, как дьяволица, бушевала в россаской избе, кричала и

размахивала во дворе кулаками. Охваченная порывом благородного гнева, Ява непоколебимо решила: пусть вся Росса хоть в болото провалится, она, Ява, будет каждый день приходить к крыльцу дома и проклинать жалких грабителей до тех пор, пока Якоб не уничтожит шкаф. На этот раз она не уступит Якобу! Ладно, то, что он разрушил дорогу, которую строил Матис, можно было еще простить, чего не бывает между своими. Ведь и Якобу в тот раз пришлось туго: молодой мужик, хозяйство сгорело дотла, строй хутор на пустом месте. Что же касается господского шкафа — тут не могло быть ни пощады, ни жалости. Что добыто насилием, ничего, кроме несчастья, в дом не принесет. Ява предостерегала: если в Россу придут жандармы и увидят баронское имущество, Якобу несдобровать — его в кандалах отправят в Сибирь, как конокрада.

Разъяренная Ява метала громы и молнии, и жители болотного берега обходили ее стороной. Дети поменьше не понимали, почему из-за этого шкафа, который стоял в самом темном углу комнаты — под одной ножкой свернутая газета, разгорелся такой сыр-бор. Однако гроза, ощущавшаяся в воздухе, пугала и детей. Ява понимала, что если Якоб сдастся, то россаские молодые волей-неволей отвернутся от обитателей баньки.

Однажды Ява с утра надела праздничную одежду и нарочито медленным шагом пошла через россаский двор. Как и следовало ожидать, Якоб подошел к ней и стал расспрашивать, куда это она собралась. Ява ответила: идет в поселок рассказать жандарму про дело с шкафом.

Тут в свою очередь взбесился Якоб. Ява обрадовалась — что-то сын и от нее унаследовал, и он может принимать быстрые решения. Любо было смотреть, как Якоб ринулся в избу, один выволок оттуда шкаф на свет божий, чтобы столкнуть этот хлам с крыльца.

Ява и не думала о своей праздничной одежде — с деловым видом она притащила из хлева охапку сухой соломы и запихала ее внутрь шкафа.

Вблизи от построек нельзя было разводить огонь. Время весеннее, земля, правда, еще мерзлая, но крыши совсем сухие. Лед на болотных яминах стал хрупким и не держал, так что болото в расчет не шло.

Якоб вывел из конюшни лошадь. Благо, дровни с зимы валялись во дворе, они пригодились для перевозки шкафа.

Ява помогла своему старшему сыну погрузить шкаф на дровни.

Вероятно, и другие обитатели болотного берега заметили, что во дворе происходит что-то необычное.

Когда дровни выскользнули из ворот, по пятам понукающего лошадь Якоба отправилась целая толпа. Хозяин Россы размахивал кнутом, лошадь тянула, но от солнечного тепла дорогу развезло, и полозья застревали в грязи. Ионас и Матис подталкивали дровни сзади. Юула, как жеребенок, скакала через лужи. Самый младший сын Юстины — Юхан, который в раннем детстве плюхнулся в болотную ямину, тоже стал уже походить на человека. Он пихал Ионаса, толкавшего дровни, и громко смеялся. Кто знает, насколько он понимал происходящее, вероятно, ребенок просто радовался тому, что кончилась длинная темная зима, когда надо было сидеть дома. Ручейки переливались и сверкали на солнце.

Шаг Явы стал особенно легким, ей казалось, что она вот-вот взлетит. Конечно же она отчаянно устала от долгих ссор и борьбы, но теперь благополучный конец был виден.

Народ с нижней Россы тоже заметил обоз соседей. Следом за Тобиасом вся семья вышла на дорогу и присоединилась к остальным.

По случаю столь торжественного события никто не усидел под крышей родного дома. Даже Яак вышел из баньки. Ява видела, как ее младший сын с удовольствием распрямил спину, сгорбившуюся от долгого зимнего сидения за швейной машинкой.

Единственным, кто отсутствовал, была Хелин.

Ее и дома не было. А ведь ей стоило лишь на миг прикоснуться своими золотыми кудрями к соломе, набитой внутрь шкафа, — и тотчас же солнечные лучи с ее блестящих волос скользнули бы на сухую труху и подожгли ее.

Мужчины, как перышко, сняли с дровней шкаф и швырнули на черную землю Долины духов. Тут и там ослепительно сверкали последние пятна снега.

Якоб чиркнул спичкой и кинул ее в шкаф.

Яркое пламя на мгновение взметнулось вверх, упало и начало пожирать изъеденный шашелем бок шкафа.

Из полуоткрытого ящика выскользнула серая мышь и помчалась через открытое поле к кустарнику.

Ява заметила, что даже у Ионаса впервые за долгое время рот растянулся в улыбке.

Шкаф горел, весело потрескивая. Это была торжественная минута. Люди стояли вокруг костра и смотрели в огонь.

Ява верила, что в голову им приходили возвышенные мысли.

Хотя бы на миг.

*Таллин, 1972—1973.*

# СТАРЫЕ ДЕТИ

## 1

Мирьям болтала ногами, теплый ветерок ласкал ее голые пятки. Ох вы, мои бедные, натруженные, видавшие виды ноженьки, думала она. Подвинувшись немного, Мирьям стала срывать пальцами ног листочки с дерева. Если по черепкам можно изучать историю, то почему нельзя что-то узнать по шрамам? Мирьям осторожно, будто историческую находку, поставила ногу на тот же гладкий от сидения сук, на котором громоздилась сама. Раньше колени ее были всегда израненные или в ссадинах — да и можно ли бегать и носиться без того, чтобы иногда не споткнуться и не грохнуться наземь! Когда человек выбирается из детства, то уходят в небытие и старые ссадины, с годами и раны становятся больше и рубцы остаются надольше. В минувшую зиму Мирьям, катаясь на лыжах, упала коленкой на острый камень. Раз уж ты неуклюжа, то скрипи зубами, терпи. Мирьям привыкла к тому, что ее никто никогда не жалел. Да и у кого найдется в войну время, чтобы нянчиться с коленкой бестолковой девчонки? В тот раз Мирьям пялилась на свою коленку, похожую на маковый бутон, и думала, как бы ей с честью выкарабкаться из этой дурацкой истории. Она крепко перевязала носовым платком зияющую рану, булавкой схватила разодранную штанину лыжных брюк, чтобы морозу не добраться было до пораненной ноги. Так она с трудом дотащилась до дому, нога за это время одеревенела, прямо хоть костыль под мышку. Колено долго не заживало, наросло дикое мясо, и теперь вот остался широкий шрам. Да невелика беда, главное, что ноги ходят. Вот когда она однажды спрыгнула с забора и лежавшие в высокой траве навозные вилы вонзились ей в подошву всеми тремя зубьями, то

пришлось хромать целых два месяца. Так и ковыляла — одна нога обута в тапочку, другая — в галошу.

Беда эта случилась давно, еще до войны, на пороге детства, перед школой.

Мирьям поставила на сук и другую ногу и крепко, чтобы сохранить равновесие, оперлась спиной о ствол дерева. Если уж отсюда загремишь, то не соберешь костей, сомнения в этом не было.

Мирьям прекрасно понимала, что ей давно следовало бросить свою резиденцию. Забирайся сюда, как вор, и следи по сторонам, чтобы никто тебя не увидел. Без конца донимают, — мол, вроде бы выросла уже, а все по деревьям лазает. Взрослые всегда хотят навязать свою волю, их прямо бесит, если не могут на своем настоять. В случае необходимости не останавливаются даже перед низостью. Если хотят пристыдить, говорят: ведь уже взрослая — и осуждающе качают головой. Но если потянет их секретничать, то сгрудятся вместе и давай хихикать как дурные, а на тебя руками машут: ты еще ребенок, лучше не суй сюда свой нос. Не стало справедливости на земле. Жизнь ведь принадлежит всем поровну, все хотят видеть и слышать — а вот взрослые думают, что им на любопытство выданы льготные карточки.

Мирьям осторожно уселась, скрестив по-турецки ноги; настал черед исследовать и свои многострадальные пальцы на ноге. В войну им здорово досталось — в те дни, когда Мирьям носила обувь нового образца. Ее она изобрела сама — обрезала у довоенных закрытых туфелек носки. Избавленные от тесноты пальцы выпирали через край носка и чувствовали себя свободно. Своей новой обувкой Мирьям вмиг обрела среди других детей известность. Вскоре все щеголяли с голыми пальцами. Однако продолжалось это недолго: человеческая кожа нежная и легко наживает мозоли. Над Мирьям стали издеваться — так ведь хлеб первопроходцев никогда не был сладким. У самой Мирьям пальцы на ногах тоже огнем горели, но она вымучивала улыбку и повторяла, что никогда еще у нее не было столь удобной обуви. Поддаваться боли было нельзя. Взрослые и без того говорили, что лучше было бы дать объявление в газету и обменять тесные туфельки на больший размер. Интересно, у кого же это ноги ссохлись? У Мирьям они, во всяком случае, до сих пор продолжали расти, да и у других,

слыхать, тоже. Мирьям вздохнула. Ничего, теперь война кончилась, настанут лучшие времена. Скоро у всех будет мягкая и по ноге обувь. Мирьям усмехнулась. Уж она-то в это не верила, но пусть поговорят да потешатся. Кое-кто бывает сыт и воздушными замками, как будто ему в руки сунули толстый ломоть хлеба. Эдакую краюху с маслом и медом. Откусишь — и от блаженства в глазах туманится.

Мирьям с грустью подумала, что, может, именно сегодня она в последний раз забралась в свою резиденцию. В войну резиденции вошли в моду, все деревья вокруг были поделены между ребятишками. Соседская девчушка, которая боялась залезать на ветки, притащила под яблоню ящик и устроилась на нем.

Сегодня Мирьям забралась на дерево с ясной целью, захватив с собой оставшиеся от дедушки очки с синими стеклами. Мирьям была уверена, что именно дедушка был тем, кто когда-то сказал: каждый человек должен хотя бы раз в жизни увидеть солнечное затмение, иначе не стоит жить. Кто его знает, Мирьям и раньше замечала, что все самые важные и приятные мысли она стремилась задним числом приписать дедушке. Будто он оставил после себя целый кладезь мудрости. Может, он где-нибудь в самом деле спрятан — в войну все перепуталось и смешалось, попробуй найти что-нибудь.

Мирьям старалась отогнать мысли об умерших людях и ненайденных вещах, которые то и дело одолевали ее.

Она вздохнула и натянула на нос очки.

На темных ветках висели грузные, будто выкованные из свинца, синие листья. Свои многострадальные ноги она явно окунула в чернила. Заросшее сорняком подножье дерева, казалось, проваливается в бездну; Мирьям ухватилась обеими руками за ветку, чтобы не кружилась голова, уставилась в небо. Синие облака дышали холодом, вот-вот начнут сечь свинцовым дождем землю. Вдали рокотал гром — это по булыжной мостовой грохотали колеса телеги. Море поднялось в небо и утопило солнце.

Постепенно страх, навеянный синим миром, рассеялся. Мирьям смогла более трезво оценить окружающее. Дедушка всегда говорил, что люди ничего не должны забывать, поэтому у Мирьям вошло в привычку испытывать свою память. Сейчас кое-кто мог бы всплеснуть руками

и сказать: невероятно, но Мирьям действительно знала, что в начале войны на этом самом месте вырыли окопы. В окопы набралась вода, и никому, кроме детей, не было дела до этих извилистых канав со стоячей водой. Однажды весной в половодье там утонул мальчишка. Какое-то время дети держались подальше от окопов, но вскоре по-прежнему стали через них прыгать. Не играйте со смертью, предупреждали взрослые. Но отказаться от сладостного ужаса было невозможно. Бедные детишки военного времени, сокрушались женщины, устав вмешиваться в их рискованные проделки. И раньше в трудные времена, бывало, пропадали дети. Не могли же взрослые ежеминутно держать судьбу за хвост.

Этой весной полуосыпавшиеся окопы завалили, и бывший парк разбили на огороды. «С лица земли исчезают раны и шрамы», — прочла в газете Мирьям.

Теперь на залеченном лице земли росла картошка. Синяя ботва кустилась вовсю, и среди листвы покачивались мелкие соцветия. Какой-то наивный человек посадил на грядке горох, и туда среди бела дня ходили за стручками. Зато никто не мешал спокойно цвести синим ноготкам.

Солнце по-прежнему мерцало в пучине моря, и над ним чередой проплывали облака. Может, затмения и не будет? Кому же это под силу — рассчитать по минутам само движение небесных тел. Одна пропаганда.

В послеобеденные часы никто не приглядывал за огородами. Это они ночью поочередно стерегут свою картошку. По весне таскали на перекопанную почву печную золу, и тогда земля выглядела безжизненной, будто была обожженной.

На развалины Мирьям старается не смотреть, что там за радость — синие трубы уставились в небо, как угловатые пугалища. Мирьям ненавидела кошмары, всю зиму ей пришлось спать с ними в одной постели. На самом деле это душили одеяла, пальто и шерстяные платки, которые приходилось натягивать на себя из-за нетопленной комнаты, душили, пожалуй, страшнее, чем это смогла бы сделать свора тощих привидений.

Мирьям вытянула синюю ногу и попыталась ухватить пальцами темные свинцовые листья. Скучно! Сук же жесткий, долго не усидишь — больно станет. Во имя вели-

кого мгновения приходится сносить телесные муки. Поди, не каждый день смолят солнце.

Кто это там бродит меж картофельных борозд?

Мирьям забыла о солнечном затмении, подалась вперед, так что закачался сук, и протянула руку, чтобы отодвинуть в сторону листву. Странный вор! Опустился в борозде на корточки, держит портфель под мышкой. Две синие женщины, скрестив руки, стоят в стороне.

Мирьям стянула с носа очки. Мужчина, видно, очень дорожил своим парусиновым портфелем, так что не решался положить его на землю. Вот ведь незадача какая, он как будто хочет что-то поднять с земли, но прижатый локтем портфель мешает этому. И, как назло, еще и кепка сползает на глаза. Женщины и ухом не ведут; вот истуканы, не могут человеку помочь. В последнее время тут и там находят разное добро, кто знает, что это они за клад в картошке отыскали. Странно, что в такую жару мужчина обут в сапоги, ходил бы лучше босиком. Мирьям болтает ногами, воздух совсем теплый.

Из-за ботвы показывается полосатый, черно-белый узелок, совсем как куколка бабочки. Мужчина держит находку на вытянутых руках, может хочет отдать ее женщинам. Те судорожно прижимают руки к груди, и виду не подают, что им что-то протягивают. Прижатый к боку портфель все же соскальзывает наземь, одна из женщин не спеша наклоняется — видать, у нее болит поясница — и берет портфель за ручку. Что же это такое мужчина взвешивает на руках? У насекомых столь больших куколок не бывает. Вдруг из земли вылез снаряд? Однако по виду узелок на снаряд не похож. А может, его нарочно обмотали тряпками? Собираются унести и обезвредить. Главное — с такой ношей уже не споткнешься, и взрыватель нельзя трогать. Не то придется потом сидеть в компании с ангелами на облачке и от нечего делать трепыхать крылышками. Ну, он уже взрослый, сам должен знать.

Любопытство так и подгоняет Мирьям.

Она поднимает к глазам синие очки и испытующе глядит на солнце. Затмение, наверное, будет еще не скоро. Да, впрочем, его с земли можно наблюдать. Намного ли ближе к небу верхушка дерева?

Мирьям охватывает ствол обеими руками и начинает сползать вниз. В одном месте расстояние между ветками

слишком большое, опереться пальцами не на что. Того и гляди, живот обдерешь. Подошвы и без того горят. Мирьям спрыгивает в сныть и кладет в карман очки, которые она до сих пор держала в зубах. Размышлять о том, действительно ли она в последний раз поднималась в свою резиденцию, у нее уже нет времени.

## 2

Мирьям на цыпочках переступает из борозды в борозду — лучше не оставлять за собой следов. Она пробирается сквозь проволочное ограждение вокруг огородов и не спускает глаз с мужчины, несущего в руках загадочный узелок.

Женщины спешат на некотором удалении впереди мужчин. Не стали бы они так улепетывать, если бы сзади не несли снаряд. Мирьям тоже знает, что от опасности разумнее держаться подальше. Но заставить себя остановиться она не в силах.

Все трое сворачивают с вьющейся за развалинами тропки во двор углового дома.

Мирьям делает небольшой крюк в сторону покосившихся сараев и останавливается на тротуаре. Отсюда весь двор как на ладони. В войну забор постепенно перевели на дрова, дымоходам и трубам достался лишний глоток дыма — теперь меж каменных столбов осталась одна калитка.

Мирьям нерешительно распахивает ее. Заржавевшие петли скрипят.

И откуда только народ взялся? Мирьям пробирает дрожь, словно ей за шиворот плеснули холодной воды. Ей не по себе, когда на приступках стоят люди. Будто ступеньки поставлены для того, чтобы все могли смотреть, не загораживая другим. Спускайтесь, подходите ближе — но нет, двор пустой. Опять все делают вид, что происходящее их не касается.

В свое время, когда выносили бабушку, крыльцо переднего дома также кишело людьми и никто из них и шагу не сделал, чтобы сойти. Что они, боялись гроба?

Или бабушку в гробу? Мирьям была тогда до слез оскорблена тем, что жильцы чурались бабушки. Словно стоявшие на крыльце отрешились и от памяти по бабушке и одновременно давали понять, мол, постарайтесь сами справиться со своим несчастьем. Нас уж лучше не тревожьте. Потом Мирьям буквально оторопела, когда мама сказала, что жильцы стояли в почтительном отдалении.

Вот и пойми этих взрослых!

Казалось, землетрясение качнуло крыльцо и смахнуло с него людей. Они толпятся и тянут шеи, чтобы разглядеть узелок, который незнакомый мужчина положил на дно бочки. Мирьям не смогла воспротивиться внутреннему побуждению и тоже пробралась поближе. Сухопарая старуха, по прозвищу Горшок с Розами, беспрерывно попыхивавшая небольшой трубочкой, и на дюйм не сдвинулась с места. Мирьям тянулась, чтобы заглянуть через ее плечо. От резкого табачного чада защипало в глазах. Мирьям все же увидела, что незнакомый мужчина одет в полосатую рубашку и что пуговка под воротником у него болтается на ниточке, вот-вот оборвется. Мужчина уставился в землю и отступает в сторону, словно из желания дать пуговице больше простору для падения.

Мирьям видит полосатый сверток.

До этого мгновения Мирьям полагала, что свою долю всяких неожиданностей она уже получила сполна.

— Итак, граждане свидетели, теперь придется чистосердечно выложить, каким образом умерла эта крошка, — произносит мужчина.

Кашлянув, он достает из кармана носовой платок и начинает вертеть его, словно размышляя, стоит ли ему все-таки сморкаться.

Грудной ребенок с синим лицом уставился застывшими синими глазками прямо в небо. Вместо рта у него малюсенький, без единого зубика синий кружочек. На головке у младенца чепчик, выпачканный в земле, тельце завернуто в пеленки. Белый сверток обвязан черным шелковым чулком, концы его где-то под коленками накрепко стянуты узлом.

— Так кто будет говорить первым? — настаивает мужчина.

Он и не пытается скрывать своего ворчливого тона. Нагнувшись, он подкатывает чурбак, на котором колют

дрова, чтобы сесть. И опять он занят тем, чтобы удержать все свои вещи. Парусиновый портфель обязательно должен находиться у него под мышкой, меж пальцами трепещутся чистые листы бумаги, которые никак нельзя уронить в пыль. Карандаш он все же догадывается сунуть за ухо.

Прикрыв растопыренными пáльцами бумагу, мужчина сидит на чурбаке и выжидающе смотрит на женщин. Он прикладывает кончик карандаша к языку и слюнявит грифель. Все, затаив дыхание, следят за карандашом. Мирьям чувствует, как у нее в голове раздаются команды: говори, признавайся, объясняй! И ей становится как-то неловко оттого, что сказать нечего.

Тут женщины начинают наперебой тараторить. Мирьям удивляется и с почтением глядит на говорящих. Эти люди пустое молоть не станут. Сколько всего они успели заметить!

Позавчера какая-то барышня в шляпе и кофточке в горошек подозрительно долго разгуливала за картофельным полем. Еще одна женщина в мешковатой юбке, кряхтя, уселась передохнуть под кустом. А не мог ли принести мертвого ребенка старик, который недавно бродил здесь? Он то и дело опускал на землю корзину, покрытую цветастой тряпкой, и поглядывал на окна, будто боялся погони. А мужчина с вещевым мешком? Зачем ему надо было останавливаться под вязами и закуривать? У самого руки дрожали, полкоробки спичек извел, прежде чем прикурил.

Язык у мужчины, сидящего на чурбаке, стал от карандаша совсем фиолетовым. Положив портфель на колени, он усердно пишет. Время от времени задает вопросы. Бабья трескотня обрывается, женщины окидывают следователя сердитым взглядом, словно ему нельзя вмешиваться в их объяснения. Пусть не мешает им обсуждать меж собой происшедшее! Временами деловой разговор, того и гляди, перейдет в спор. Ясно лишь одно: детоубийцу надлежит найти и наказать самым строгим образом.

Мирьям старательно разглядывает синее личико, которое виднеется из полосатого свертка. Уж не забыла ли она снять очки? Мирьям шарит по переду платья, рука утыкается в оборванный с угла карман. Пальцы нащупывают округлую проволочную оправу.

Лежащий на дне бочки младенец умер прежде, чем начал говорить. Этот ребенок никогда не произнес с сожалением: и для чего только я родился на белый свет? Уши у Мирьям начинают гореть. Просто позор, что она, будто сентиментальная дурочка, порой поддается минутной слабости и по ночам спрашивает у подушки: зачем? кому я здесь нужна?

На дворе собирается все больше людей. Откуда они узнали? Будто все ближние деревья были усеяны бездельниками, которые забавы ради разглядывали картофельные борозды, чтобы примчаться к мужчине, нашедшему узелок, с вопросом — в чем дело? Подошедшие напирали сзади, вытягивали шеи, пялили глаза и требовали ответа: кто убил ребенка?

— В наших краях черных чулок никто не носит! — заверяет кто-то дрожащим голосом.

Мирьям прижали к спине Горшка с Розами. Ну и влезает же табаку в эту трубку, все еще чадит. Мирьям готова уйти, но какое-то непонятное чувство долга устами доброжелателя нашептывает: запомни, запомни. Глупость, думает Мирьям, разве такое забудешь? Мирьям хочется пропустить и других вперед, ей кажется, что все должны своими глазами увидеть мертвого ребенка. Может, у них не было умного дедушки, который сказал бы им, что есть вещи, которые надо запомнить навсегда. Мирьям вздыхает. На мгновение ей представляется, как она, сгорбленная старушка, готовится уйти в потусторонний мир, но земля не принимает ее. Наконец ей припоминается полосатый сверток, и старушка по имени Мирьям облегченно улыбается, словно давивший ее в груди кошмар вдруг дружески помахал и исчез.

Неожиданно диск солнца тускнеет, будто на него обрушился проливной дождь. Люди начинают ерзать, кое-кто робко, втянув голову в плечи, озирается; разговаривают шепотом — секретами-то все равно надо делиться.

— Что вы с этим ребенком сделаете? — спрашивает Мирьям и сама пугается своего громкого голоса. Дура, клянет она себя. Ведь ясно, что мертвых хоронят.

Мирьям выглядывает из-за старухиного уха, стараясь поймать взгляд мужчины. Ответ последнего нисколько не согласуется с его грустным взглядом:

— Сварю щи.

Он встает, сдувает с бумаг пылинки, которых там нет, свертывает исписанные листочки в трубочку и сует их за пазуху. Расстегнув ремни своего парусинового портфеля, он просит Горшок с Розами подержать его открытым. Затем берет перевязанный черным чулком сверток, взвешивает его на руках и запихивает мертвого ребенка в портфель.

Мирьям не может это вытерпеть. Мурашки бегут у нее по телу. Она прижимает локти к бокам, втягивает голову в плечи и, пятясь, выбирается из толпы.

Дома́ между тем заметно потеснились. А вдруг старые здания устали? Наверное, хотят повалиться прямо на улицу, сомкнуть навесы, чтобы шепотом сетовать о своих деревянных ревматизмах и каменных одышках.

Окна у них пустые и темные, будто глаза больного. Становится все темнее. На столбе дремлет ворона. Мирьям хочется куда-нибудь спрятаться. Она перебегает через улицу и укрывается за воротами. Какая-то собачонка подползает к ней, укладывается возле ног и свертывается клубочком. Света нет, но шерсть на затылке у собачки поблескивает.

— Золотой песик, золотой ты песик, — завороженно шепчет Мирьям.

На ветках вербы тихо щебечут какие-то маленькие пташки. Мирьям пытается выйти из оцепенения. Сейчас навалится сон, и она ляжет спать рядом с собачкой. Сновидение кишит резвящимися щенками, там нет детоубийц и тех, кто варит щи невесть из чего.

— Нет! — Мирьям заставляет себя очнуться. Дедушка ведь сказал, что каждый человек должен хотя бы раз в жизни увидеть солнечное затмение. Она встряхивается, сбрасывает сонливость. Выйдя из-за ворот на сумеречную улицу, она направляется туда, где навесы крыш и чердаки не затеняют неба. Она продирается через проволочную ограду, проволоки за ее спиной звенят, словно струны. Посередине картофельного поля самое лучшее место, чтобы наблюдать затмение. Дедушкины синие очки ладно сидят на носу. На небе виднеется черный диск, с одного бока которого начинает мало-помалу разрастаться искрящаяся полоска.

## 3

Раньше, до войны, Мирьям верила женским байкам, что смерть подает о себе знак загодя. Старуха с косой особой выдумкой не отличалась, и приметы в большинстве были по-человечески обыденными. Близкие будущего покойника слышали стук в окошко, в дверь или потолок. Видно, смерть готовилась прийти и подыскивала дыру, где бы ей удобнее было протащить свои кости. Иногда от такой однообразной стукотни у нее начинали ныть костяшки пальцев — или, может, костлявой надоедали одни и те же обычаи — тогда она принималась мяукать, с отвратительным хрустом грызть стекло или с чавканьем поедать своих собратьев — пауков-крестовиков. В другой раз на нее находила ужасная тоска, и она завывала и повизгивала за вентиляционными решетками, гудела и свистела в дымоходах. Когда смерть сердилась или у нее болел живот, она бушевала в подполе. Расшвыривала бутылки и звонкие березовые поленья, размахивала колуном так, что сверкало лезвие, и изображала из себя палача над пустым чурбаком.

В войну люди нагнали страху на костлявую, и в ее проделках былой удали уже не было. В смертных делах люди сами по всем статьям превзошли смерть. Перед тем как умереть дедушке, скребшаяся в окно ветка заранее подала знак, что старуха с косой бродит поблизости. В войну только избранные души отправлялись из-под одеяла и из теплой комнаты в царствие небесное, куда чаще становились свидетелями смерти окопы и придорожные канавы. Легкий стук в окошко уже никого в дрожь не бросал — кончину человека обозначали выстрелы, обвалы, взрывы и вздымавшиеся к небу искры пожаров.

Хотя у Мирьям не было основания жаловаться на недостаток жизненного опыта, во многих вещах она просто ничего не смыслила. Раньше плакали чаще, даже вымерзшее дерево вызывало слезу. Теперь говорили спокойно, что тот или другой умер, расстрелян, околел на морозе. Возле синелицего ребенка никто не утирал слезы, неужели им совсем не было жалко, что ребенок умер раньше, чем начал говорить?

Мирьям закладывает руки за спину и расхаживает по

двору, брови ее нахмурены, и где-то у самого сердца сосет смутная тоска. Война кончилась уже давно, весной; наступил разгар лета — столько мирных дней! — почему все не стало по-прежнему? На минувшем поставлен крест, мало ли что кое-где с оконных стекол до сих пор не смыты полоски бумаги. В свое время перед окнами подвального этажа для защиты от бомбежек были уложены мешки с песком. Теперь мешковина истлела и песок рассыпался. Война кончилась, кончилась, кончилась!

Да и у самой сердце как из камня, мысленно выговаривает себе Мирьям. Пялилась она, как и все, на посиневшего мертвеца и говорила глупости. А когда-то чуть было не помешалась от горя, увидев повешенную кошку Нурку.

Мирьям стонет под тяжестью вины и не знает, как избавиться от этого груза. Она трусит по кругу — раздругой, — может, тоска развеется? Притопывает ногами — авось из-за пазухи вывалится тяжесть? Размахивает руками — глядишь, станет легче на душе?

Не будь этой ноющей боли, Мирьям решила бы, что она бежит во сне. Да и как могло быть иначе? Там, где сейчас лежали груды камня, тогда стояли дома. Темные двери поскрипывали, в каком-то открытом окошке, удерживаемый руками, трепыхался вверх и вниз ярко-желтый кусок материи.

Мирьям казалось, что она никак не стронется с места. Будто приходится всю дорогу подталкивать каменную плиту, которую ни за что нельзя столкнуть в канаву.

Один из домов словно бы всосал их в себя. На шишковатых сучках истертого пола можно было раскачиваться. За серыми дверьми длинного коридора слышалось невнятное бормотание, оно звучало устрашающе, и у Мирьям была надежда, что мама ни в одну из дверей не толкнется. Мирьям споткнулась о мамину пятку, мама запыхалась. Ее пальто отдавало осенью, будто материя была соткана из намокших веток. Мирьям подняла голову. Потолок был поврежден, драночные плиты лишь местами прикрыты штукатуркой.

Из-за какой-то двери вышел мужчина в синем халате, он отставил руки назад, словно приготовился к прыжку в воду. На миг застыл в нерешительности, затем подался вперед, его угловатые кулаки сжимали ручки носилок. Медленно выплыла из проема лежавшая на брезенте фи-

гура. Мужчины в синих халатах с носилками в руках стали приближаться из глубины коридора.

Мирьям прижалась спиной к стене, чтобы пропустить их. Мамина рука была холодной и сдавила ей пальцы, будто хотела заставить Мирьям вжаться в стенку сквозь обтрепанные обои.

В больнице люди должны бы носить белые халаты, подумала Мирьям. Может, они одевались в синее из-за светомаскировки, чтобы не бросаться в глаза?

У них в коридоре до сих пор по ночам горела синяя лампочка.

Мужчины со своей ношей все приближались. Носилки проплыли мимо.

Мирьям вроде бы даже не поняла, почему по телу прошла холодная дрожь.

Почему лежавший на носилках человек был накрыт отцовым пиджаком?

Кто-то растворил одну из серых дверей и велел им войти. Мирьям остановилась и принялась считать оконные квадраты. Хотя люди и обходили ее, они все же мешали ей, не давая сосредоточиться. Она все сбивалась со счета. К тому же Мирьям не знала, можно ли разбитое с угла стекло считать за целое. Мирьям беспомощно оглянулась, будто хотела спросить совета, и увидела за столом женщину, которая водила пальцем по строчкам в толстой тетради. Наверное, и она тоже мучается со счетом, предположила Мирьям. На пухлом пальце у женщины поблескивало золотое кольцо. Она же никогда не сможет снять его — Мирьям почувствовала удушье, кто-то медленно, но решительно сжимал ей горло. Мама стояла возле стола, руки ее были заняты. Сумка раскачивалась, выжженная на фанере дубовая веточка с желудями начала слегка шуршать. Будто легкий ветерок тронул живые листья.

Женщина вытянула руку, ее пальцы ухватились за краешек белого табурета. Покачиваясь на неровностях пола, табурет подвигался к матери. Мама все не догадывалась сесть. Женщина навалилась грудью на стол, взяла графин и налила в стакан воды. Мама поставила деревянную сумку на пол, сумка со стуком повалилась набок. Мирьям, насколько могла, заткнула уши пальцами. Мама отпила глоток из стакана. Мирьям видела, что она никак не может проглотить воду.

Женщина сдвинула брови и принялась выдвигать ящик стола. Мирьям приподнялась на носки. В ящике лежало несколько коричневых бумажных мешочков. Женщина перекладывала их из одной руки в другую, пока не нашла нужный. Она потрясла им возле уха, раскрыла завернутый пакетик и вывалила содержимое на стол.

Женщина кончиками пальцев разгребла небольшую кучку. Отцовская расческа с тремя сломанными зубцами, клетчатый носовой платок. Два обтрепанных документа и тисненый, с гербовыми львами, поистертый кошелек для мелочи.

Женщина похлопала пухлой рукой по вздрагивающему маминому плечу. Затем поднялась из-за стола и, волоча негнущуюся ногу, потащилась по шишковатому полу к висевшему на стене телефону. Повелительно помахала рукой. Мама пошатываясь подошла к ней. Женщина подняла черную трубку, не прикладывая ее к уху. Мама пыталась набрать номер, ей с трудом удавалось попасть пальцем в нужное отверстие на диске.

Какого цвета был у отца пиджак? Мирьям силилась вспомнить. Она оглядела свое пальто. Синее, в серую елочку. Мама переделала его из старого, и на воротник не хватило материала. Отворотам не хватало опоры, и они коробились, словно листья капусты.

Какого цвета был у отца пиджак? Синий, ярко-синий, без единой полоски или пятнышка.

Женщина шевелила ртом возле черной телефонной трубки. Время от времени ее голова наклонялась вперед, и женщина сердито смотрела на маму. Она не скрывала своего нетерпения. У Мирьям появилось желание поднять с пола деревянную сумку и ударить женщину. Но в белых как мел пальцах у нее не было никакой силы, и ноги, казалось, были прибиты к полу гвоздями.

По дороге домой Мирьям видела в руках у прохожих синие зонты. А может, это и привиделось ей? Плеск дождя был единственным, с чем связывалась ее мысль. Лужи переливались через края, водосточные решетки с клекотом втягивали в себя воду. Мужчины в синих халатах убегали от дождя под виадук. Из каменных стен сочилась вода, и букашки полчищами сбегались на плесень. Серые елочки рисунка на пальто обернулись настоящими плавниками. Вода все поднималась, на поверхности ее кружились желуди. Мирьям барахталась так, что вода

пенилась. Она плыла изо всех сил. Ей нужно было поймать отцовскую расческу, которую относило течением. Она схватила ее, поднесла к губам и начала наигрывать знакомый мотив, который в одном месте прервался. Мирьям начала было снова, мелодия опять оборвалась. Она поняла, что это из-за трех сломанных зубцов.

Улицам не было конца. По обе стороны стояли безмолвные дома, людей не было видно, хотя двери поскрипывали то тут, то там.

Она еще издали увидела эту одетую по-летнему женщину. Мирьям сбавила шаг и попыталась придержать и маму. Должна же эта женщина скрыться за дверью! Но та словно учуяла новость и выжидала с разинутым ртом, готовясь заглотать весть.

Впоследствии немало было людей, кому мама обрывочно, подыскивая слова, говорила о случившемся. Однако кто-то должен же был быть первым.

Женщина, пожелавшая стать первой, сказала маме:

— Я тоже овдовела смолоду.

Мама начала всхлипывать. Дверь едва успела закрыться, как женщина уже вернулась со стаканом воды в руках. Или она предчувствовала, что весть будет тяжкой, и держала воду в коридоре наготове? Мама пила большими глотками и хватала ртом воздух. Она захлебнулась водой и закашлялась. Женщина постукивала маму по спине. Рукав кофточки на локте просвечивал.

Женщина хотела знать все.

— За что его убили?

— В портфеле было много денег.

Отец однажды рассказывал о ребенке, который тайком открыл портфель, нашел там пачку десятикроновых ассигнаций и побросал деньги в горящую печку. Мирьям не помнила конца той истории: то ли отец пришиб сына, то ли сам повесился.

Деньги и смерть — это близнецы, решила Мирьям. Ей стало немножко жутко от сознания, что отец за каждую пятерку в школе платил ей по пять марок.

Со смерти отца прошло немало времени, и немцы уже убрались, когда Мирьям еще раз пришлось иметь дело с марками. Она пришла к своему школьному товарищу как раз в то время, когда ребята во дворе играли найденными где-то деньгами.

Какой-то парнишка из шумной компании взбежал на верхний этаж, перегнулся через подоконник коридорного окна и завопил во все горло:

— Внимание, пошел!

В следующий миг в воздух взлетела пачка денег, и бумажки начали медленно опускаться на землю. Деньги сыпались во двор подобно манне небесной, орава детишек взвизгивала и кричала, каждый пытался поймать купюру. Тот, кто больше всех успел нахватать бумажек, оказывался победителем и отправлялся с пачкой денег наверх, чтобы в свою очередь швырять их в воздух. Победитель смеялся до слез, остальные сновали внизу в облаках пыли, прыгали и вырывали друг у друга, хватали и подбирали. Никакого снисхождения, соперники оттаптывали друг другу ноги, оттаскивали за волосы, кое-кто, подобно кузнечику, подпрыгивал, чтобы поймать витающие над головами бумажные купюры; кто-то бросился плашмя в пыль и прикрыл собой упавшие на землю марки.

Среди игры Мирьям вдруг остановилась, пораженная.

Запыхавшаяся, ей было трудно привести в стройный порядок свои мысли, но все же...

Не те ли самые это деньги, из-за которых убили ее отца?

Мирьям попятилась, ее пинали, отпихивали, она мешала играющим. Спина коснулась холодной каменной стены. Мирьям глядела разинув рот, как порхали бумажные деньги.

Отца нашли у подножья длинной лестницы, которая вела с горы в овраг.

Тогда он был еще жив.

Грабитель стоял на верхней ступеньке и держал в окровавленных руках пачку денег. Внизу, в темноте, стонала жертва.

Ничего другого Мирьям представить себе не могла. Она никогда не видела, как убивают человека.

Холодная каменная стена не способна была остудить Мирьям. Она все сильнее убеждалась, что именно из-за этой пачки денег и убили ее отца. У нее не было ни малейшего сомнения, что так оно и есть.

Мирьям сжала кулаки и ринулась к играющим.

Игра продолжалась. Мальчишки толклись что было мочи. Потные руки отталкивали Мирьям. Все с горящи-

ми глазами хватали деньги. Мирьям от злости напряглась, словно пружина. Она начала шмыгать среди игроков, давая подножку кому только могла. То один, то другой шлепался наземь. Только что тянувшиеся за купюрами руки начали замахиваться, чтобы ударить Мирьям.

— Вот мы тебе покажем! — цедили сквозь зубы мальчишки.

Мирьям бросилась бежать со всех ног.

Впоследствии Мирьям не раз дралась в одиночку с остервеневшими мальчишками. Это были жестокие, не на жизнь, а на смерть, схватки — разве что в сновидениях.

## 4

Одно облако заблудилось, ринулось вниз и беззвучно разлетелось в клочья. Тысячи белых мотыльков рассыпались в воздушном пространстве между двумя домами. В воздушном пространстве? Мирьям усмехнулась.

В воздушном пространстве появлялись вражеские самолеты... В воздушном пространстве происходили жестокие сражения...

Стиснутый крышами клочок неба был весь в белую крапинку. Мотыльки порхали всюду. Они норовили залетать в открытые окна, они парили под стрехами, где в старину обитали голуби. Белые крылышки скрыли загаженные птичьим пометом стены. Казалось, что пляшущие мотыльки собираются закутать обшарпанный и грязный дом в белое покрывало. Порыв ветра принес с собой стаи новых мотыльков, раскаленный воздух мерцал и благоухал цветочной пыльцой.

Зачарованная Мирьям помахивала руками, словно крыльями. Тело ее стало невесомым, ноги не чувствовали земли, она была мотыльком среди мотыльков. Парила вместе с ними, застывала возле черневшего провала открытой в подвал двери и жадно вдыхала холодный воздух, которым тянуло из-под дома. На выступах каменного цокольного этажа распустились белые цветы, которые беспрестанно колыхались и меняли свои очертания.

Большие чудеса лета растопили сердце Мирьям. В ее воображении цвели одновременно и жасмин, росший в глубине сада возле воронки от фугаски, и вековечные каштаны, от которых остались одни пни.

Мирьям закружилась, от белых мотыльков перед глазами у нее зарябило. Она остановилась, отдышалась и попыталась вспомнить, видела ли она когда-нибудь прежде такое множество бабочек. Нет, видимо, они появляются только очень тихим и мирным летом. Мирьям запомнилась одна почтовая открытка, на ней, распустив волосы, бежала с сачком в руках краснощекая девочка. В голубом небе повисли неестественно крупные пестрые бабочки. Мирьям знала, как называют такие картинки: беззаботное детство.

Мирьям неловко усмехнулась. И сейчас можно было бегать с сачком в руках. Трудно ли вообразить, что у тебя светлые волосы и на макушке шелковый бант. Под ногами не пыльный двор, а цветущий луг, сплошь усыпанный ромашками. А над тобой — бескрайнее небо.

Мирьям пальцами ноги нарисовала на песке бабочку.

Взгляду моему открылся голубой простор, торжественно пробормотала себе под нос Мирьям.

И кто его знает, что их подгоняло, что заставило с мешками в руках толпой пуститься в путь. У них не было ничего общего со стаей мотыльков. С сурово-строгими лицами, грузным шагом шли они гуськом по вязкой тропке между огородиков. По обе стороны в канавах струилась грязная вода. Подгнившие мостки перерезали поблескивающую темную ленту, местами течение преграждалось вкопанными в канаву бочками, обросшими зеленой тиной. Земля пошмякивала и как будто колыхалась под ногами. Мирьям слышала, под идущими в ногу людьми могут проваливаться даже мосты. А вдруг почва разверзнется? Может, под землей течет неведомая река или плещется бездонное илистое озеро?

И все равно Мирьям не решилась повернуть назад. Все шли, и она тоже чувствовала обязанность идти.

Впереди высились отвалы золы. По-над серыми холмами полыхала фабрика, она горела уже давно.

Когда дым начал вздыматься кверху и черные клубы его снизу окрасились в багровый цвет, людей охватил страх.

Вскоре уже казалось, что пожар слился воедино с горизонтом.

Между вчерашним и сегодняшним днем встала огненная стена, за ней сгорело прошлое.

В тот раз, когда с начала войны прошло лишь чуть больше двух месяцев, Мирьям не способна была понять, что же на самом деле происходит. Город будто охал, вздыхал, кашлял и хрипел. Сквозь гул и рокот завывали и взвизгивали пронзительные гудки. Одно событие набегало на другое.

Вдруг с гребня отвала начали скатываться колесные пáры. Вначале они катились медленно и зарывались ничком в золу, взметая седые облака пыли. Стронутая ударом серая масса сдвигалась с места, оползала и открывала колесам новую дорогу. Теперь они неслись с безумной скоростью. С вершины серой горы переваливались через хребет вагонетки и, вспахивая золу, скользили вниз все быстрее и быстрее. Казалось, что гора хочет сбросить с себя все: под страшный грохот сверху неслись все новые груды железа. Они наскакивали на застрявшие у подножья горы колесные пары, вагонетки опрокидывались, колеса срывались с осей, перескакивали через весь этот железный лом и катились дальше, будто собирались одним духом докатиться до самого моря. Перед скользящими по откосу рельсами скатывались волны золы, разыгралась зольная буря, которая разметывала далеко вокруг серые хлопья.

Вдруг гора успокоилась. Туча золы начала медленно оседать. Крики о помощи и вопли стихли, однотонный гул снова обрел силу. Фабрика выбрасывала клубы огня и искры.

Понемногу из-за золы стали появляться призрачные фигуры. Кто-то, словно кошка, выжидающе выгнул спину и подождал, прежде чем поднять голову. Серые фигуры бесцельно бродили туда-сюда, отряхивались, исчезая в облаках пыли, кашляли и отфыркивались. Пепельные лица обращались к вероломной горе, никто не мог понять, что это вдруг встряхнуло ее внутренности.

Все мгновенно поседели. Вначале Мирьям решила, что это от страха у людей изменился цвет волос. С этой минуты так и пойдут они, седые дети, седые женщины, с вечной печатью этой седой горы.

Мирьям опустилась на камень и умоляюще посмотрела на фабрику. Нет, это было не просто горящее здание, а судно, которое неслось под пылающими парусами. Благородный корабль, который выбросил из своего чрева бесчисленные кипы хлопка. Они упали перед горой, встали стеной и спасли людей от железной и зольной смерти.

Мирьям оцепенела, в ее уши ворвался смех.

Сзади стояли серые фигуры, серые руки были сложены на животе, они смотрели на гору и в самом деле смеялись. Волоча в золе ноги, Мирьям направилась к остальным. Ей вовсе не было весело, но и она принялась хохотать. Ей было стыдно, но, несмотря на это, она тоже держалась за живот, который готов был надорваться от смеха.

После того как все успокоились, люди принялись за тюки с хлопком. В крепко спрессованных кипах тлел огонь. В нос било резкой гарью, но, несмотря на это, люди вырывали скрюченными пальцами клоки ваты и швыряли их в мешки. Гарь разъедала глотку и вызывала кашель. Перед глазами ходили круги, в них плыли горсти хлопка. Все это вместе напоминало странную игру: перед пламенем пожара и горбатой горой золы стояли люди и швыряли в воздух легкие белые пригоршни — они летели и в мешки и под ноги в золу. Пир хлопка в какой-то далекой жаркой стране, где огонь наперебой с солнцем накалял воздух и каждый шаг поднимал вверх сухие шуршащие хлопья. Хлопковый пир, где можно было вволю разгуляться, — в этой стране не было законов, не было ни запретов, ни указов.

Волокна ваты прилипали к потным рукам, Мирьям разглядывала свои пушистые пальцы. Ей вспомнилась давно услышанная страшная история, которая когда-то произошла на фабрике. Развязали тюк хлопка и обнаружили в нем расплющенную змею. От прикосновения змеиная кожа рассыпалась, остались хрящик и кривые зубы, на которых поблескивали кристаллики смертельного яда.

Мирьям и раньше замечала, как не к месту ей вспоминались разные вещи. Змея, которая могла оказаться в тюке, отшатнула ее. В голове как-то странно прояснилось. Мирьям была уверена, что стоит ей еще раз

коснуться тюка, и яд оттуда попадет под ноги и всосется в кровь. Мирьям уже почти видела, как падает ее мертвое тело и хлопья золы волной сходятся над ней.

Аминь, хватит, решила Мирьям и вытерла руки.

Она отыскала камень, уселась и стала смотреть на фабрику. Ей было до боли жаль здание. Это исполинское с огненными парусами судно уткнулось носом в золу и уже никогда не сможет вырваться из серого плена.

А может, пришел судный день? Мирьям никогда не принимала всерьез бабьи россказни о конце света. Ею владела уверенность, что, пока живет она, Мирьям, судного дня не будет. Здесь, у подножья горы, она впервые задумалась о продолжительности собственной жизни. Вдруг показалось возможным, что ее дни могут совершенно неожиданно закончиться. С какими глазами она в загробном мире посмотрит в лицо другим и скажет, что ах, я недавно ходила потрошить кипы хлопка. Воровка, в сердцах обозвала она себя.

Пришел вечер, и игра белых хлопьев кончилась.

Они снова шли гуськом по тряской земле. По обе стороны тропинки за проволочной оградой росла обычная капуста, с сонными червями на кочанах.

Пока не вскрикнула одна из женщин, никто и не подозревал, что они сами несут на себе огонь судного дня.

Женщина скинула мешок и начала вытряхивать его содержимое. Она разворошила кучу и выбросила тлевшую вату в канаву. Вода унесла полуобгоревший клок. Какое-то злорадство охватило Мирьям, она не могла объяснить себе этого чувства.

Через несколько дней, когда от фабрики остались одни закопченные развалины, в подвалах окрестных домов то и дело вспыхивали маленькие пожары. Просачивающаяся гарь гоняла женщин с ведрами в руках в подполы. Заходясь кашлем от угара, они снова и снова наводили где-нибудь в сарае на этот раз порядок. Содержимое мешка вытряхивалось на пол и тщательно перебиралось. Но искры, запавшие в хлопок, были живучими. Кое-кому пришлось по нескольку раз вытряхивать на пол свою добычу и тушить в ведре с водой клоки тлеющей ваты, пока зловещий чад не рассеивался. После этого содержимое мешков заметно таяло и некогда столь белая вата оказывалась перепачканной.

В те дни окрестные ребятишки превратились в неплохих ищеек, которые с увлечением сновали по подвалам. Заметив что-нибудь подозрительное, они бежали наверх и хором кричали:

— Воришки, воришки, ваш хлопок горит!

Никто не хватал их за волосы и не наказывал.

Должно же у детей и в войну быть какое-нибудь развлечение, ведь в те времена не было нашествия белых бабочек, на которых можно было любоваться.

## 5

Мирьям знала, что от белых бабочек родятся вовсе не феи, а зеленые гусеницы. И все же неожиданно появившаяся белая стая пробудила в ней какие-то светлые чувства. В глубине души некий легковер возводил хрупкое здание надежд. А вдруг и в эти края вернутся старые добрые времена?

Действительность с необыкновенной легкостью разрушила прозрачные стены воздушного замка. Куда бы ни устремлялась мысль, она всюду заходила в тупик. Мирьям не знала, как это поточнее выразить: то ли ее сжимает мертвящий круг, то ли она сама находится в кругу мертвецов.

В свое время, когда умер дедушка, родные торжественно провозгласили: он ушел от нас в царствие небесное. К другим применяли слова попроще. Отца убили. Дядю Рууди одолела чахотка. Бабушку разбил паралич. Тетю Анну застрелили, никто даже не знает, где ее похоронили.

Порастерялись и старые друзья Мирьям. Кто остался сиротой и был увезен родственниками, кто перебрался в деревню, а кто — в другой город. Соседская девчонка вместе с отцом и матерью удрала в Германию.

Даже белая лошадь, жившая у них во дворе, такая большая и сильная, и та не выдержала. В одну из долгих и мрачных военных зим она протянула ноги, испустила дух. Люди говорили: не выдержала животина. Конюшню разобрали, доски пошли на топку.

Осталась голая земля.

Мирьям не помнила ни одного лета, когда бы она чувствовала себя такой одинокой. Теперь можно хоть навесить на рот замок, отмыкать его только во время еды, и все. И сестра далеко, во время войны у Лоори ослабли легкие, и ее отправили в санаторий. Мама уходит рано утром, возвращается поздно вечером, с посеревшим лицом. Хлеб режет тонюсенькими ломтиками и без конца повторяет, что надо как-то перебиться.

У Мирьям и желания нет заводить новые знакомства. Да и кто бы мог заменить собой умерших или потерявшихся людей? Кто бы только мог счесть себя достойным!

Мирьям вздохнула и с благодарностью подумала о дедушке, который наказывал все запоминать.

Теперь Мирьям общается с воспоминаниями. Она испытывает удовлетворение от того, что воспоминания принадлежат ей одной Прошлое нельзя терять в отвалах золы, как это случилось однажды с ключом. Никто не может присвоить чужих воспоминаний, их даже невозможно сжечь.

Мирьям может в своем воображении встретиться с кем угодно. Стоит лишь захотеть, и будет мигом придумано, что бы она написала отцу, если бы он был жив. А если как следует сосредоточиться, то можно представить и ответ отца.

В жизни Мирьям только однажды написала отцу, да и то это была приписка в конце маминого письма. Случилось это давно, в один из ясных зимних дней. Мороз трещал по заборам, и снег искрился. Мама же сказала, что синицы падают на лету. Если еда придает силу людям, то почему бы она не могла придать силу птицам и животным? Они приколотили за окном кусок фанеры, на который насыпали хлебных крошек. Синицы начали прилетать и совсем не боялись людей, которые разглядывали их сквозь стекло. Голод оказался сильнее страха, и синицы не пугались даже кошки Нурки, которая прилипала к стеклу передними лапами и щелкала зубами. Вечером Мирьям так и написала отцу о самом важном событии дня. Это было единственное, с усердием и трудом выведенное предложение:

«К НАМ ЗА ОКНО ПРИЛЕТАЮТ КОРМИТЬСЯ СИНИЧКИ НУРКА ЩЕЛКАЕТ НА НИХ ЗУБАМИ».

Теперь, задним числом, было чудно́ подумать, что Мирьям за всю свою жизнь не написала отцу больше ни единого слова. Еще более невероятным было сознание того, что она никогда не получала писем от отца. Почему же мама смеялась, когда Мирьям выводила печатными буквами слова в конце ее письма? Может, она просто не знала, что Мирьям составляет самое важное в своей жизни послание. Его уже никогда нельзя будет ни повторить, ни исправить.

Не раз Мирьям размышляла об этом единственном предложении. Она пыталась внушить себе, что всегда надо делать все так, будто настал твой самый последний день. Но Мирьям не была достаточно твердой, и из зарока ее ничего не получалось. Слепая вера в то, что ее час еще не настал, мешала ей всерьез воспринимать злую судьбу. Несомненно, что каждая песчинка на дворе голосила бы что есть мочи, если бы здесь больше не появлялись ее голые пятки.

Мирьям никак не могла привыкнуть к переменам.

На ее взгляд, было что-то совершенно нелепое в том, что новые жильцы в доме никогда не видели бабушки. Попробуй поведай ты им о бабушкином халате-спасителе! Пожмут плечами, да и пойдут своей дорогой. Они же не знают, как это бабушка одетая плюхнулась в море, чтобы тонувшая подруга могла ухватиться за полы ее халата. Они даже в жизни не видели, как бабушка шла из винного погреба, держа графин в руке и распевая песни.

Что из того, что бабушку все время тянуло выпить, зато при ней в доме был порядок. Раньше, прежде чем въедут новые жильцы, бабушка всегда производила в пустой квартире ремонт. Сама белила потолки и обклеивала стены новыми обоями. Только и латай этот Ноев ковчег, ворчала бабушка.

Без бабушки жизнь покатилась под гору.

Вчера будто из-под земли появилась какая-то странная пара и в нерешительности остановилась возле дома, выходящего на улицу. Мужчина был в сапогах и слегка прихрамывал на одну ногу. На голове женщины красовалась свадебная фата, но обута она была в синие носки и белые теннисные туфли. Открыли ключом дверь лавки и стали устраиваться на житье в подвале. Было странно

подумать, что они поставят кровать на каменный пол в каморке, где когда-то держали молоко, будут глядеть из окошка на тротуар и по утрам выходить прямо из комнаты на улицу.

А сегодня прилетели два голубя и начали устраиваться под пустым навесом.

Кто-то вымазал голубей в саже и повыдергивал из хвостов перья.

Прежде голуби прямо-таки лоснились на солнце. Это были совсем другие птицы, с роскошными беловато-зелеными выгнутыми шеями. Под стрехой жила огромная голубиная семья. Они были словно прирученные орлы, весь двор наполнялся шумом крыльев, когда кто-нибудь бросал голубям крупу или крошки хлеба. Голуби пожирали еду жадно, устраивали из-за лучших кусков маленькие драки и много гадили. Под вечер они нахохливались и начинали сладко ворковать. Иногда устраивали представления для своих птенцов: пролетали низко над землей и дразнили разъяренных кошек.

Эта общипанная пара под стрехой была жалкой и робкой. Они словно раздумывали, стоит ли им поселяться тут.

Вдруг они прослышали что-то о судьбе своих сородичей?

В третье военное лето всех прежних голубей порешили.

С едой, как обычно, было туго — да Мирьям уже и не помнила, когда она в последний раз наедалась досыта. Бабы то и дело повторяли, что на рынке торгуют одними цветиками да приветиками, есть нечего.

Видно, именно бабушка и стала зачинщицей. Вряд ли кто из жильцов осмелился бы без разрешения хозяйки пойти на такое дело. К тому же бабушку окружал некий ореол власти, и к ней все относились с особым почтением. Ведь это она смогла подняться со смертного одра, далеко не всякий человек настолько крепок, чтобы пойти наперекор смерти. Мало ли что после паралича у бабушки слегка перекосило рот и что при ходьбе ей приходилось опираться на палку. Все равно люди говорили, что с бабушкой произошло чудо. В те времена, даже когда палило солнце, бабушка не расставалась со своим халатом-спасителем. Длинные полы скрывали

увечность ног, издали бабушка казалась прежней — солидной, прямой и сильной.

Когда Мирьям очутилась во дворе, ловля голубей уже была в полном разгаре. Бабушка стояла на крыльце и отдавала приказания. Бабы рассыпали перед дверью прачечной хлебные крошки и медовыми голосами приманивали голубей. Все: гули-гули-гули! Голуби не заставили себя долго упрашивать, и они в эти годы прозябали на скудных кормах. Не иначе как подумали, что наконец-то вернулись лучшие времена. Птицы кружили плотной стаей, шумно били крыльями и одна за другой опускались на землю. Они жадно клевали, некоторые, побойчее, наскакивали на других — но и то, пожалуй, скорее от озорства, чем от злости.

Когда голуби, расхватывая последние крохи, сбились в кучу, бабы, выжидавшие подходящий момент, набросили на голубей кружевные занавески.

Птицы начали остервенело биться. Они пытались разорвать крыльями сети, запутывались еще больше, ломали свои птичьи косточки и теряли перья. Спасения не было. Бабы подкатили деревянную кадку с крышкой, залезали руками под сети и совали схваченных голубей по одному в кадку. У Мирьям заколотилось сердце, будто кто ее саму схватил потными руками за грудки. Каждый раз, когда приоткрывали крышку кадки, оттуда летели перья.

Бабушка уселась на крыльцо и неестественно рассмеялась. Мирьям душил страх. Она опустилась рядом с бабушкой и внимательно смотрела на нее. Перекошенный бабушкин рот дергался, ее неверные пальцы почему-то поглаживали засаленные обшлага халата-спасителя. Мирьям охватило отчаяние, бабушка вдруг превратилась в глупого ребенка. Мирьям почувствовала, что ей надо отвечать за бабушку. Никогда раньше ей и в голову не приходило, что бабушка дряхлая, а она, Мирьям, наоборот — сильная. Мирьям хотелось как-то поддержать бабушку. Будто они с этого момента поменялись ролями: бабушка была ее плотью и кровью. Мирьям взяла своей ручонкой больную бабушкину руку. Рука была белая, жилистая и холодная. Мирьям гладила дрожащую руку, бабушка даже не взглянула в сторону внучки. Может, у нее кожа стала бесчувственной?

Занавески валялись на земле. В вышитых шелковыми нитями розах торчали голубиные перья.

Кто-то из женщин отвернул в прачечной кран. Вода полилась на каменный пол. Мирьям догадалась, что они там за стиральной лоханью будут отрезать голубям головы. Вода смоет с пола кровь.

Мирьям поняла, что она и сама оказалась бесчувственной. Они с бабушкой словно соединенные воедино. Мирьям была не в состоянии подняться со ступеньки. Казалось, что у нее с бабушкой одни вены, по которым медленно струится почти бесцветная жидкость.

Почему она не бросилась к убийцам птиц, почему не сорвала с живых голубей занавески? Она должна была кричать, реветь, топать ногами, бить женщин, кусать их за руки или за ноги. А она, как парализованная, сидела возле своей немощной бабушки. Почему? Наверное, на нее давила невидимая сила. Мирьям ненавидела эту волю толпы, которой невозможно было противостоять в одиночку. Она презирала галдевших баб, которые вкатили лохань с голубями в прачечную. Сквозь зарешеченное окно летели перья.

А бабушка? Ведь это она начала? Ненавидеть ее Мирьям не могла. У бабушки уже нет полного разума, старалась она внушить себе.

Вот она бредет. Полы ее халата-спасителя волочатся по пыли.

Раньше Мирьям не раз ходила за ручку с бабушкой в баню. В заполненном паром помещении собиралось много женщин. Мирьям представила себе на миг, как на беззащитных голых женщин сверху опускается сеть. Они барахтаются, падают на скользком полу, руки-ноги переплетены. Из кранов вырывается пар, а сеть все стягивается.

Вечером устроили семейное пиршество. На столе, застеленном белоснежной скатертью, стояло блюдо с мясом. Никто о голубях не говорил. Все делали вид, что ничего не понимают. Мирьям знала, что, если бы она назвала живущих в доме женщин убийцами птиц, отец сказал бы:

«Куриное мясо ты ведь ешь, а у кур точно так же отрезают головы».

Мирьям нечего было бы на это ответить.

## 6

Когда-то давным-давно по булыжной мостовой погромыхивала тележка и тряпичник выкликал:

— Тряпки! Кости! Старое железо!

Мирьям незаметно похлопала по столбу возле ворот, хорошо, хоть он еще устоял. Теперь уже никто не собирает тряпки, кости и старое железо, потому что ничего, кроме тряпок, костей и старого железа, у людей и не осталось. Никому и в голову не придет охотиться за тем, чего стало слишком много. Сгорело пол-улицы, там валяется всякий хлам. Камни вперемешку с золой, на ветру громыхают разбросанные листы кровельного железа. Возле развалин деревья круглый год стоят голые, кора опалена, и обугленные ветки уже никогда не зазеленеют. Ох и костей же захоронено в развалинах по всему городу! Говорят, что жуть сколько людей сгорело.

Теперь уже никто не бродит среди развалин и не просеивает золу. После большой бомбежки люди выбрались к своему бывшему жилью, еще когда тлели головешки и зола была неостывшей. С железным прутом или кочергой в руках они рылись на пепелищах своего недавнего очага и выискивали уцелевшую утварь. Многие находили под обломками кирпичей то помятые кастрюли, то сковороду либо ковшик. Особенно хорошо выдержали испытание огнем печные щипцы. Полуобгоревшие книги люди раскидывали вокруг развалин. Стоило неосторожно коснуться горелых страниц — и слова рассыпались в прах.

Сперва на пепелищах маячили погорельцы, уносившие с собой закопченные горшки, потом появились добытчики. Когда Мирьям услышала о них, ей это показалось смешным — она представила себе согбенные фигуры. Подняв воротники, они зыркали по сторонам и наполняли обломками кирпичей мешки. Ведь говорилось, что вор оставляет за собой хоть вешалку на стене, после пожара же остается один лишь пепел — чего там в этих развалинах было добывать?

Но стоит человеку хоть чуточку раскрыть глаза и

уши, как он тут же, сам того не желая, набирается умаразума.

В центре города мужики откопали под обломками кирпича железную дверцу, которая вела в винный погреб. А там полки до самого потолка были уставлены дорогими винами, зови на пир хоть царей да королей. Мужики, конечно, уселись на дубовые бочки и принялись осушать бутылки. Несколько дней из-под развалин неслись пьяные песни и галдеж. Объятые страхом люди далеко обходили это место. Видно, думали, что души погибших разгулялись и справляют вознесение господне.

Мирьям не понимала, почему люди боятся воскрешения мертвых. Сами ведь отлично знают, что умершие не могут вернуться. Можешь ждать их духов хоть до седины, однако на такую встречу надеяться не приходится, разве что когда сам отправишься на тот свет.

Будь у Мирьям королевство, она бы отдала половину его, лишь бы еще разок посидеть на крыльце возле своей беспомощной, неестественно смеющейся бабушки. Только пусть бабы усмирят свою страсть к убийству и оставят в живых голубей.

Мирьям не испугалась бы, появись дядя Рууди, с тросточкой в руках, с улыбкой во все лицо, и спроси: ну так как, пойдем прожигать жизнь? Люди, собравшиеся у его гроба, говорили, что покойник красивый. Так что внешний вид дяди Рууди не был бы помехой его возвращению.

Добытчики знали, где их ждет добыча. Они были хитрые. Стоило в нужном месте накидать в решето золы и промыть просеянный мусор водой, как можно было набить карманы золотом. Ходил слух, что кто-то отвозил на тачке домой стекшееся в слитки столовое серебро. Говорили, что какой-то человек нашел горсть сверкавших как звезды драгоценных камней, которые стоили жутких денег. Почему только люди до сих пор еще все меряют на деньги — этого Мирьям понять не могла. Деньги — это же просто бумажки. Они бы могли лучше сказать, что за эти драгоценные камни можно получить уйму свиной поджарки, клубничного варенья или даже бананов и апельсинов, сам вкус которых и то уже позабыт.

Прислонившись спиной к столбу, Мирьям размышляла о сокровищах, которые находят в развалинах. Ее рассеянный взгляд скользил по пепелищам. Вдруг она заме-

тила там какое-то движение. Мирьям нахмурила брови и напрягла зрение — возле полуобвалившейся трубы прикорнула какая-то фигура. Человек что-то раскапывал — в воздух взлетал пепел и порой доносилось глухое покашливание. Накликала-таки духов, подумала Мирьям, только этот добытчик безнадежно опоздал. Времена «золотой лихорадки» уже минули. Теперь кое-где из развалин вывозят кирпич, чтобы строить новые дома.

Мирьям сплюнула на тротуар, засунула руки в карманы и решила внести ясность. Истории, которых она наслышалась, всплыли в ее памяти. Она предпочла бы встретиться с духом какого-нибудь знакомого человека. Только ведь в то же время среди развалин бродят разные проходимцы и прочая шпана. На всякий случай Мирьям продвигалась не спеша, остановилась посреди улицы и принялась разглядывать канализационный колодец, который из-за отсутствия люка был накрыт конфоркой старой кухонной плиты. Дух, видимо, испугался Мирьям — что за наваждение, фигура, которая только что копалась в золе, будто сквозь землю провалилась. У, страшилище, пробормотала для бодрости себе под нос Мирьям. Она взобралась на груду мусора, столкнула ногой пару кирпичей, вспрыгнула на угол цокольной кладки и огляделась. Дух бросил на куче золы маленькую саперную лопатку. А работящие пошли духи, подумала Мирьям. Она решила немного подождать. Дух мог и сам объявиться. Мирьям не хотелось пачкаться, лезть за ним в трубу. Где еще могут прятаться духи, как не в дымоходах или в бутылках? Мирьям переминалась с ноги на ногу, ей надоело торчать здесь впустую. Мирьям охватило беспокойство, она сунула в рот два пальца и пронзительно свистнула.

От резкого звука она и сама вздрогнула. Давно уже не свистела вот так, в два пальца. Кого тут звать, когда все либо пропали, либо разбрелись.

— А я тебя вроде знаю, — раздалось за ее спиной.

Мирьям молниеносно обернулась и увидела Клауса. Парень навалился грудью на неровный край ямы, оперев локти в золу, в зубах у него дымился какой-то странный окурок. Когда Мирьям бегло оглядела Клауса, до ее сознания дошло серьезное изумление. Она пошевелила губами и, собравшись с духом, как можно презрительнее сказала:

— Да, я твою вывеску тоже где-то встречала.

Клаус прыжком уселся на край ямы, он не обращал никакого внимания на золу и кучи мусора.

— Духи среди бела дня, — заметил Клаус, дымя вовсю.

— Мои слова, — отозвалась Мирьям.

— Ну, барышня, приземляй свой зад на мой диван, — предложил Клаус и, хлопнув ладошкой, взметнул золу.

— Пошел к чертям, — дружески отозвалась Мирьям. Оглядевшись, она отыскала камень почище, положила его поблизости от Клауса и села.

Клаус вытащил ноги из темной ямы, и Мирьям уставилась на его брезентовые ботинки с деревянными подошвами. Такой обуви она нагляделась вдоволь, но то, что и Клаус ходил в ней, казалось невероятным. А впрочем, чему тут удивляться, подумала Мирьям, и по нему война прошлась. Последний раз Мирьям видела Клауса прошлым летом, перед тем как бежали немцы. Тогда Клаус щеголял в вязаных гольфах, в штанах из козьей кожи и в зеленой шляпе с пером.

— Значит, переменил декорацию? — невольно спросила Мирьям и прикусила губу. Она нечаянно произнесла один из любимых оборотов Клауса — раньше они старались ни за что не пользоваться его фразами. Немчишка, презрительно называли они его. Другого, более обидного прозвища никто придумать не смог.

— Слегка опустился, — беззаботно ответил Клаус.

— Ты прямо из Берлинской оперы? — спросила Мирьям, сосредоточилась и сплюнула в золу. Ей хотелось выглядеть как можно независимей.

Клаус рассмеялся:

— А у тебя мозги на месте, не свихнулись.

Клаус во время войны был в здешней округе самым важным и знатным парнем, хотя его и редко видели. Большей частью он появлялся весной, летом загорал на пляже, говорил, что книги намного лучше людей, носил часы, которые показывали число месяца, умел плавать под водой и, заходя в море, надевал резиновую шапочку. Когда наступала школьная пора, он, заложив руки за спину, разгуливал с озабоченным видом. Случалось, кто-нибудь из ребятишек заговаривал с ним, и тогда Клаус объявлял, что в общем-то здесь и ничего, однако его ждет Берлинская опера.

— Послушай, как же это пароход тебя здесь бросил? — удивленно воскликнула Мирьям.

— Это я его бросил, — заносчиво ответил Клаус.

— Тогда ты просто авантюрист, — кивнула Мирьям, словно ей теперь все стало понятным. Она была слегка разочарована — в здешних краях к людям с жаждой приключений всегда относились с осуждением.

— Дурочка, — дружелюбно сказал Клаус, вздохнул и заявил: — Я же не за ветром бегаю.

Мирьям решила обуздать свое любопытство. Клаус, несмотря ни на что, вызывал у нее уважение. Он прожил на свете на целых два года дольше ее. Было бы глупо надеяться, что человек его склада станет распространяться о своей жизни случайно повстречавшейся девчонке. Много ли ей понять! Хотя Клаус и изъяснялся бегло по-эстонски, но в свое время он употреблял такие мудреные слова, что хоть убей — ничего не поймешь.

Тоска подкралась к Мирьям. Видно, мама права, когда она спрашивает у своей младшей дочки: и когда только ты наконец ума наберешься?

Клаус пристально взглянул на Мирьям, которая сидела и посапывала. Может, его удивило, что девчонка умолкла и больше ни о чем не спрашивала. Болтливые карапузы действуют на нервы всем нормальным людям.

Клаус встал с золы и хлопнул ладонью по обвислому заду солдатских брюк. Взял окурок пальцами, вытянул руку и изобразил, будто он тушит папироску о стену.

— Мне пора.

Мирьям тотчас же послушно поднялась, словно не имела права оставаться одна тут, среди развалин.

Следом за Клаусом она спрыгнула на землю. Мирьям едва не схватила его за плечо. Внезапно она отчетливо почувствовала, что не в силах будет дольше выносить одиночество.

Мирьям попыталась изобразить на лице презрительную гримасу и в мыслях все повторяла: немчишка, Берлинская опера, авантюрист. Он ведь табак курит, припомнилось ей еще одно позорное пятно Клауса.

Мирьям заставила себя остаться на месте и посмотрела вслед удалявшемуся Клаусу. Тот шел, стуча по каменным плитам деревянными подошвами. Ему что, он и один проживет. Исчезнет сейчас за углом и забудет про Мирьям, явившуюся в развалины в поисках духов.

Мирьям не терпелось, ею овладело желание окликнуть Клауса. Надо воспитывать характер, внушала себе Мирьям и не открывала рта. Хоть бы этот Клаус оглянулся! Ведь как знать — может, они встретились в последний раз. Она пыталась оправдать в собственных глазах свое желание.

Мирьям за свою жизнь успела украдкой прочесть пару романов. Там женщины с плачем бежали за покидавшими их мужчинами, заламывали руки и умоляли: не оставляй меня, вернись, я буду вечно тебя ждать! Мирьям было как-то даже неловко думать о такой чепухе. По книгам ничему разумному не научишься. Задушевные слова не годились здесь, среди развалин. И вообще — очень ей нужен этот Клаус?

Мирьям подняла руку и тут же опустила ее. Она сама не знала, что означало это движение — то ли она хотела помахать удалявшемуся Клаусу, то ли просто махнула рукой.

Она поддала еще и ногой, скорее затем, чтобы придать себе твердость. Поддала, глянула на землю и уставилась на выщербленную каменную плиту. Мирьям была готова биться об заклад, что эту зеленую лягушку подбросил ей под ноги именно Клаус. Идет себе, ухмыляется и думает, что Мирьям сейчас завизжит. У нее на душе стало как-то легче. Она взяла лягушку в руки, отнесла ее на поле и опустила в картофельную борозду.

## 7

После встречи с Клаусом Мирьям частенько околачивалась возле ворот. Она была убеждена, что встретилась с Клаусом по чистой случайности, надеяться на повторение приятных неожиданностей было бы глупо. И все же Мирьям каждый день хоть разок обходила развалины, а затем с независимым видом, заложив руки за спину, прохаживалась по улице.

Задумавшаяся Мирьям чуть было не наткнулась на красотку Айли. Красотка Айли как-то виновато улыбнулась, хотя неуклюжей оказалась Мирьям, а вовсе не она.

Мирьям невольно пригнулась. При виде Айли у нее всегда появлялось желание низко поклониться и возвестить: слава падшим. К счастью, Мирьям спохватилась. Если припомнить как следует, то именно Клаус бросил ребятам упрек в пошлости. Тоже мне дело — дразнить немецкую потаскуху. Сейчас немцы убрались, может, поэтому красотка Айли и улыбалась так виновато. Странно, что она не удрала вместе со своими ухажерами.

И почему только Клаус не отчалил?

В те времена, когда Айли еще гуляла с немецкими офицерами, про нее рассказывали всякие истории. Говорили, что она моет молоком лицо и носит кошачью шубку. Мирьям стало страшно за свою Нурку. Вообще-то бабы Айли не поносили: потаскухой она была вполне порядочной и даже опрятной. Даже ночные рубашки у нее висят в шкафу на вешалках, и плечи у них подбиты ватой, как того требует мода.

Мирьям вздохнула. Редко приходилось встречать таких красивых людей, как Айли. Она были ничуть не хуже киноактрис, а некоторых из них даже и превосходила.

И надо же было случиться, что Мирьям попала в кино именно в тот вечер, когда началась большая бомбежка! Конечно, попала она туда далеко не случайно, напротив, посещение это она подготовила до мельчайшей подробности. На фильм дети до шестнадцати лет не допускались. Попробуй пробраться, когда тебе до этого почтенного возраста недостает еще стольких лет. Мирьям замаскировалась, как только могла. Намазала губы в ярко-красный цвет — помада попала также на зубы, у нее оказался отвратительный вкус. На голову Мирьям нахлобучила мамину широкополую шляпу, которая никак не подходила к ее убогому пальтишку. К тому же какая уважающая себя шестнадцатилетняя девушка станет носить заштопанные на коленках чулки?

Но билетерша отвела взгляд и пропустила Мирьям в зал.

После темной, в бугристой наледи улицы, после мрачных, безглазых домов и скрипевших на ветру висящих на одной петле ворот Мирьям друг очутилась в совершенно другом, удивительно красочном и живописном мире. На экране возникали сказочные картины: разливались хлебные поля, сверкали реки и белоснежные овцы пощипывали в тени дубравы травку. Мирьям глядела во все гла-

за, приоткрыв рот, она даже забыла о голодных крысах, которые всегда во время сеанса шумно бегали по полу в поисках пищи.

Меж зеленеющих лугов неслись сытые кони, в коляске сидела удивительной красоты девушка, волосы ее развевались на ветру. Ее кружевной воротник был таким же белоснежным, как и куриное стадо, что копошилось возле построек богатой усадьбы. На дубовом обеденном столе стояли блюда с хрустящей поджаркой, красные помидоры и росные огурцы. Яблочная корзина издавала такой аромат, что можно было учуять даже в кинозале. Но красивая девушка все же была недовольна жизнью. Она хотела непременно жить в золотом городе. Там она повстречалась с распутным мужчиной, который носил усики. И почему только девушка была столь глупой, — не знала, что усатые, с прилизанными волосами мужчины, как правило, бывают распутные. Понятно, пришла из деревни, от хорошей жизни, у нее не было опыта. А тот прощелыга закружил ей сладкими речами голову, напустил сладкого туману, наделил ребенком и выгнал напоследок из дому. Собрала девушка свои пожитки и вернулась с поникшей головой в богатую усадьбу. Родители разгневались по поводу дочкиных городских похождений, да и нужды в наследнике не было. Брюхатая девушка в плач — ясное дело, сперва веселишься, потом прослезишься. Что ей оставалось делать, кроме как брести в болото.

В тот самый миг, когда девушка разбежалась, чтобы прыгнуть в омут, в зале включили свет и по ушам резанул сигнал воздушной тревоги.

Мирьям всей душой сочувствовала девушке. Она горько плакала, терла кулаками щеки, и шляпа сползла с затылка на глаза. Мирьям как-то сразу даже и не сообразила, что происходит вокруг нее. Когда зрители с шумом повалили из зала, пошла и она. Но перед ее глазами все еще стоял отливающий синью болотный омут. Вот-вот девушка исчезнет в его бездонной глуби, на поверхности заколышутся лишь ее золотистые волосы.

Сгрудившаяся в дверях толпа вынесла Мирьям на улицу.

Над головами людей мерцало призрачное сияние. Земля в обледенелых буграх светилась зеленоватым отблеском. От торопливых ног падали неверные, изломан-

ные тени. Мирьям стащила с головы шляпу, ее неровные поля мешали обзору. В небе, прямо в воздухе, висели невероятных размеров светящиеся фонари. Пронзительный сигнал воздушной тревоги подстегивал искать убежище. Мороз щипал пальцы на ногах.

От холода Мирьям дрожала. Ноги отказывались слушаться. Мирьям хватала ртом воздух и заставила себя бежать. Суставы хрустели. Гололед старался сбить с ног. Она успела ухватиться за забор. Мирьям громко кряхтела. Она слышала себя — значит, была еще жива. Где-то поблизости разорвалась бомба. В лицо ударила воздушная волна. В ноздрях защипало от резкой гари. Мирьям зацепилась рукавом за что-то острое, она изо всех сил дернула, чтобы освободиться. Нельзя было отставать от других. Они завернули в какую-то подворотню. Мирьям ощутила под ногами ступеньки.

Бомбы сыпались градом.

Где-то заполыхал пожар. Сквозь незавешенное подвальное окно отсвечивало жуткое кровавое зарево.

Подвал был забит людьми. Какой-то маленький ребенок, всхлипывая, плакал. Чей-то голос между взрывами мрачно произнес:

— Души невинные испепеленные уносятся в рай.

Мирьям присела на корточки, она стала пробираться через частокол людских ног и остановилась лишь тогда, когда уткнулась лбом в сырую и холодную каменную стену. Спрятав лицо в колени, она все еще не могла отдышаться. Понемногу одеревеневшие от холода колени начали отходить. Мирьям не желала быть невинной душой, которая испепеленной уносится в рай.

После каждого взрыва что-то с грохотом скатывалось по ступенькам, которые вели в подвал. Словно кто-то бросал временами сверху вниз пригоршни гороха. И хотя этот звук был странным, ничего устрашающего в нем не было. Другое дело — завывание бомб. Когда звук становился особенно пронзительным, бомба через мгновение взрывалась где-то поодаль. Наоборот, когда завывание неожиданно, словно обрезанное, прерывалось, тогда жди худа. Бомба могла свалиться прямо на голову. Последнее зловещее мгновение перед взрывом пошло бы только на то, чтобы попрощаться с жизнью.

Люди в подвале, затаив дыхание, прислушивались, как несшаяся к земле бомба временами, подобно обезу-

мевшему человеку, свистела и визжала. Когда грохот очередного взрыва спадал, начинались причитания, хотя именно в этот миг непосредственная опасность миновала. Господу богу пришлось бы разрываться на тысячи частей, чтобы поспеть повсюду, где призывали на помощь. Галдеж и всхлипывания стихали, когда слух прорезало завывание новой бомбы. Размеренность накатывавшихся и отливавших волнами причитаний нарушалась лишь монотонным плачем грудного ребенка.

Мирьям была уверена, что после первых же взрывов наступит тишина и она сможет отсюда выбраться. Теперь время словно бы обернулось неверным призраком, который с трудом, пошатываясь, волочил свои озябшие ноги от одного часа к другому. Когда бомбы начинали падать гуще, призрак времени передвигался ползком, в растянувшуюся минуту вмещалось несколько взрывов.

Мирьям прижалась зубами к коленке — чулок от дыхания отсырел. Она старалась всячески убедить себя, что все еще жива. Она-то конечно, но, может, одна из этих пронзительно завывавших бомб угодила в ее родной дом? Как там вообще домашние без нее справляются? Мирьям уже не была столь наивной, чтобы верить в благосклонность судьбы. Смерть уже успела вдоль и поперек пройтись по их семье. Дорожка была протоптана.

Мирьям подняла голову, прижалась лбом к камню и пожелала, если уж тому быть, пусть бомба лучше упадет сюда. Не обращая внимания на шум и грохот, она судорожно пыталась вспомнить какую-нибудь приятную мелодию. Иногда Мирьям с утра до вечера преследовала веселая песенка, а сейчас ни один ласковый звук не хотел венчать конец ее жизни.

Мирьям внушала себе, что бомба сейчас упадет именно на этот дом.

Она старалась достичь полного безразличия. Чтобы нывшие от усталости ноги больше не докучали ей, Мирьям опустилась на пол. Аллилуйя, аллилуйя, повторяла про себя Мирьям. Слово это всегда нравилось ей из-за своего звучания. На то, чтобы припомнить какое-нибудь приятное мгновение из прошлого, уже не было сил. Только аллилуйя — будто врата небесные, на которых она раскачивалась в этом призрачном, растянутом времени.

В подвал начал просачиваться дым. Чувства Мирьям снова обострились. Давным-давно она раз или два по глупости запиралась в платяном шкафу и испытывала удушье. С тех пор она безумно боялась нехватки воздуха. Теперь ей так же, как некогда, хотелось бы выкатиться из шкафа на пол и хватать ртом свежий прохладный воздух.

Дольше тут она не должна была оставаться.

Мирьям знала, что, если она сейчас вздумает подняться по лестнице, ее тут же стащат обратно вниз. Приходилось хитрить. Она поднялась и начала пробираться к двери. Кто-то возмутился — что это ребенку спокойно на месте не сидится. Мирьям буркнула в ответ, мол, потеряла на лестнице туфельку, нога замерзла. Люди старались пропустить ее. Странно, что их не пугает запах дыма. Все по-прежнему охают да причитают после каждого взрыва.

Мирьям споткнулась, руки уперлись в ступеньку. Она так и осталась стоять в согнутом положении, подобно бегуну на старте, — отсюда, с этих ступенек, надо было одним махом проскочить до входной двери.

Еще можно было немного подождать, пока оставался воздух.

Всегда, когда положение хоть немножко улучшается, непременно кажется, что был достигнут предел — больше выдержать не было силы. Как только взрывы бомб улеглись и завывание самолетов удалилось, люди бросились к выходу.

В дверях в нос ударило запахом горячей смолы. В воображении Мирьям мелькнула страшная картина: пылающее озеро стекает сверху, с горы, в город. Скоро все улицы будут в огне.

Мирьям со всех ног побежала домой.

Она смотрела прямо перед собой, будто можно было взглядом укоротить улицу. Она не хотела видеть ничего, кроме своего дома. И все равно все как бы само собой входило в сознание, словно у Мирьям было несколько пар глаз. Окружающее властно напирало на нее.

Спутанная проволока норовила свалить с ног торопящуюся Мирьям. Осколки стекла скрежетали под подошвами, куски кровельного железа скользили по обледенелой земле. Мирьям бросалась в сторону, когда какой-нибудь лист железа грозился впиться в ногу.

Кругом горели дома. Огненные столбы шумели. Порывы ветра то налетали сзади, то били в лицо.

Какой-то старик обхватил руками ствол большущей ивы. Он прижимался лицом к шершавой коре. Ветер развевал красные кисти его шарфа — казалось, что огонь когтями вцепился старику в шиворот.

Немного поодаль рухнуло перекрытие зеленого дома, искры роем взметнулись вверх и облаком опустились на верхушку росшей в углу участка туи. Больше не было над парадной дверью круглого окошка. Там, за стеклами, стоял мохнатый кактус. А девочка? Та, что носила клетчатую шапочку, которая под подбородком застегивалась на пуговку? Она ходила легким пружинистым шагом и всегда поднималась на цыпочки, чтобы нажать на кнопку звонка. Мирьям не раз смотрела, как отворялась дверь. Ей никогда не удавалось увидеть в дверях человека, открывавшего замок.

Над улицей поплыл какой-то флаг. Мирьям втянула голову в плечи и взглянула вверх. В воздухе парили вышитые на белом коврике карлики в остроконечных шапках.

Мирьям неслась домой что было духу. За спиной послышался грохот. Длинноногий парень вприпрыжку катил тележку. Спереди на тележке крутился пропеллер. Парень изо всех сил нажимал на поперечину, но она все равно вырвалась у него из рук. Парень откидывал голову назад, чтобы поперечина не ударила его в подбородок. Мирьям испугалась — какой ужас, если челюсть, словно стручок гороха, расколется пополам!

Сломанный у самой земли каштан привалился к стене какого-то дома. Огонь пожирал строение изнутри, развесистая крона наваливалась на обуглившуюся обшивку, этот дом дышал уже на ладан.

На фоне зарева метались люди, кто-то выкидывал из окна первого этажа узлы. Падая, они развязывались, и на тротуар беспорядочно вываливались белье, обувь и диванные подушки. В стороне, перед не тронутыми огнем воротами, стоял комод, и какая-то женщина рылась в его ящиках. Медная ручка одного выдернутого ящика покачивалась, словно пушинка, которую вот-вот подхватит ветерок.

Горячим порывом ветра обдало ноги. Мирьям оста-

новилась и принялась хватать ртом воздух. Ей казалось, что сейчас возникнет смерч, который с неимоверной силой втянет в себя и людей и вещи. Мирьям глянула в небо, она почти что уже видела там парящих людей, которые судорожно держались за какой-нибудь летающий ящик комода или обломок доски. Потерпевшие кораблекрушение в воздушном океане.

Языки пламени с горевшего дома лизали соседнюю крышу. От жары смола там начала пузыриться, будто сало на сковородке. С домом через дорогу огонь свое дело уже сделал: на нижнем перекрытии потрескивали обломки потолочных балок. Вокруг стояли люди, на мрачных лицах блуждало красное зарево.

Мирьям споткнулась о кусок стропила. Возле него змеилась веревочка, которая словно бы хотела указать куда-то дорогу. На самом деле ее обгоревший кончик указывал на валявшуюся на земле рубашку с защепками. Мирьям обошла стороной белую сорочку.

На углу стоял высокого роста человек, его черная шуба доставала почти до самой земли. Мирьям стало немного легче. Она встанет за мужчиной и начнет понемногу выглядывать из-за его шубы на свой дом. Горящие дома будут появляться на виду постепенно. Увидеть все несчастье разом — этого бы Мирьям не вынесла.

Дюйм за дюймом подкрадывалась Мирьям к шубе. Она внимательно разглядывала черную спину. Из-под нижнего края шубы виднелись белые подштанники. Мужчина был обут в комнатные туфли. Фигура его показалась Мирьям подозрительной: голова мужчины была скрыта за меховым воротником.

Вдруг Мирьям почудилось, что возле ее ушей гудят бабушкины морские раковины. Внутри этих больших раковин были, в свою очередь, скрыты какие-то маленькие инструментики, которые издавали свист.

Мирьям поняла, что звуки раздаются из-за поднятого воротника.

Чего я жду? Мирьям пыталась успокоиться и ободриться. Она внушала себе, что на их дом не упала ни одна бомба.

Неожиданно мужчина оглянулся через плечо. Опешившая Мирьям чуточку попятилась. У дяди Рууди в глазах отсвечивалось зарево пожара.

## 8

У отца, в общем-то, не было привычки отмечать день рождения. Мирьям замечала, что взрослые не проявляют особого воодушевления, когда становятся на год старше. И все же, когда отцу исполнилось тридцать девять — это был его последний день рождения, — позвали нескольких гостей. Отец заранее принес домой небольшой бочонок рома, мама раздобыла ячменной муки. Вечером на стол поставили пирог из темного, сероватого теста, мама сварила целую кастрюлю злакового кофе и высыпала из коробочки в сахарницу таблетки сахарина, будто это были кусочки сахара.

Отец был в том же синем костюме, пиджаком которого спустя полгода был укрыт его покачивавшийся на носилках труп. Сейчас этот пиджак, отмытый от крови, с помятыми лацканами, висел на плечиках в шкафу. Видимо, это единственная одежда, которая осталась от отца. Когда отец праздновал свой последний день рождения, он и подумать не мог, что оставшуюся после него одежду уже на следующий год обменяют в деревне на продукты. То, что в один прекрасный день на улице мог попасться навстречу какой-нибудь незнакомый мужчина в отцовом пальто, казалось невыносимым.

Тогда, на дне рождения, гости наперебой хвалили как пирог, так и сладковато пахнувший ром. Они вообще слишком много говорили о напитках и выпивке. У Мирьям заныло сердце — и чего они там подогревают отцовскую слабость к вину. Мама тоже смеялась так беззаботно, будто она никогда не тащила на кровать мертвецки пьяного отца. Не умеют они держать себя в руках, думала возмущенная Мирьям.

Знала бы она, что они в последний раз празднуют день рождения отца, не корчила бы такой рожи. Даже гости заметили, что Мирьям бурчит что-то себе под нос. Они говорили, ты только погляди, какой милый сердитый ребенок. Им это казалось ужасно потешным, все смеялись до слез.

Когда гости ушли, отец взял Мирьям за челку. Он дружески потрепал ее и спросил, чего это она дуется.

Мирьям не посмела бросить отцу упрек и буркнула, что ей скучно.

Она не помнила, чтобы отец когда-нибудь хотел повеселить ее. Теперь же он разыскал бутылочку с валерьянкой и позвал в комнату кошку. Отец налил на пол валерьянки, и кошка бросилась лизать. От удовольствия глаза у Нурки щурились и горели зеленым огнем. Валерьянка так понравилась Нурке, что она готова была слизать с пола краску.

Затем Нурка принялась кататься. Лапы у нее обмякли, хвост волочился по ковру и брюхо все время было выставлено вверх.

Отец смеялся и мельком поглядывал на Мирьям. Мирьям чувствовала, что должна радоваться. Она пыталась визжать, выдавить из себя смех было трудно. Тем более что опьяневшая кошка была просто противной, Мирьям сдерживалась, чтобы не ударить барахтавшуюся Нурку.

Потом, когда стало ясно, что отец отпраздновал свой день рождения в последний раз, Мирьям ощутила угрызения совести. Ну почему ей было не постараться? Могла бы спеть какую-нибудь песенку собственного сочинения или просто попрыгать, подхватив краешек платьица. На худой конец, могла бы выучить наизусть какой-нибудь стишок из хрестоматии и прочитать его. Неужели так трудно подавить свою волю во имя того, чтобы доставить другим удовольствие!

Накануне вечером появился Клаус и даже зашел к ним во двор. Он словно кого-то искал. Когда он увидел Мирьям, на лице у него возникло некое подобие разочарования. Что поделаешь, если здесь не осталось ни одного дельного парня. Клаус буркнул, что коль скоро он уж наткнулся на Мирьям, то пусть она завтра зайдет к нему в гости. Горя от возбуждения, Мирьям пробежала несколько шагов следом за уходившим Клаусом и услышала, как тот протянул:

— Четырнадцать тоже так себе дата. Придется и этот возраст прожить.

Все утро Мирьям готовилась ко дню рождения Клауса. Второй раз она никому не хотела омрачать его торжественный день.

На радость Клаусу надо было прилично одеться.

У Мирьям были красивые деревянные башмаки, которые ей все жалко было надевать. Теперь она их достала. Много в этих башмаках, конечно, не походишь, украшенные орнаментом подошвы были цельные, у них не было обычного сгиба под ступней. При каждом шаге ремешки из редкой тесемки растягивались, концы вырывались из-под шляпок гвоздей, которыми были прибиты.

Мирьям натерла промасленной тряпицей края подошв с выжженным узором. В лоснящихся, словно лакированных, башмаках можно было идти на любое празднество. Пригодным оказалось и отутюженное платьице, тем более что оборванные уголки карманов она зашила. Потом настал черед прическе. Мирьям взяла большие ножницы и приставила их ко лбу над самыми бровями. Щелкнули разведенные лезвия, прядки волос стали разом короче, теперь и глаза стали хорошо видны.

В назначенный час праздничная Мирьям вышла за ворота и мелкими шажками великосветской дамы — чтобы не развалились башмаки — засеменила к развалинам.

Мирьям осторожно забралась на край фундамента, обходя стороной толстый слой золы, пробалансировала по согнутой железной балке, которая местами выступала из-под камней, и медленно, дюйм за дюймом, приблизилась к обиталищу Клауса.

Чужому глазу валявшийся среди битого кирпича кусок жести мог бы остаться совершенно незамеченным. Мирьям знала, что под этим как бы случайно оброненным листом жести находится жилище Клауса. Гостья осторожно, чтобы пятки не отрывались от земли, присела на корточки и постучала по железу.

Клаус отодвинул крышку с входа в подвал.

— Прошу, уважаемые дамы и господа, — сказал он вежливо и пригладил рукой волосы, которые волной падали на лоб.

Мирьям вытянула шею, чтобы заглянуть в подпол. Взгляд ее уткнулся в темноту, словно там внизу был бездонный колодец. Просто страшно было подумать, что сейчас придется нырнуть туда, в неведомое. Однако Клаус отнесся заботливо к растерянной гостье. Он поставил внизу какой-то ящик. Мирьям опустила ноги и юркнула вниз. Сзади поднялся пепел, и в следующий миг башмаки стукнулись о ящик.

Мирьям спрыгнула с шаткой опоры на каменный пол и удостоила Клауса вежливым довоенным книксеном. Протянув имениннику в подарок пучок моркови и завернутые в бумагу ломтики хлеба с мясом, Мирьям выразила пожелание, чтобы Клаус рос большим и был что надо. Клаус расхохотался и потрепал Мирьям за челку.

Мирьям оглядывала темные углы и вздыхала. До этого ей всего один раз пришлось бывать на именинах мальчишки. Было это перед самой войной, огромный стол был накрыт белоснежной скатертью. После еды мать именинника раздала всем гостям по карандашу и велела каждому написать прямо на скатерти свое имя. Мирьям еще никогда не приходилось сталкиваться с такой порчей вещей, но она сделала, что было велено. Потом мамаша сказала, что она вышьет синим шелком все имена и ее сын сможет по этой скатерти даже через сто лет вспомнить своих друзей. Мирьям испугалась, ведь она написала свое имя очень большими буквами. Подумать только, сколько матери именинника придется трудиться, чтобы вышить все эти столбики!

С днями рождения Мирьям решительно не везло — все как белая ворона среди других.

Мирьям уселась на пододвинутый Клаусом ящик, стараясь держаться прямо, положила руки чинно на колени и ждала, что будет дальше.

Клаус чуточку попятился, зацепился каблуком за рваный картофельный мешок, который лежал на полу вместо ковра, и уселся в продолговатый ящик, держа в руке пучок моркови, как букетик цветов.

Постепенно глаза Мирьям стали привыкать к темноте. Продолговатый зеленый ящик служил, видимо, Клаусу кроватью, сложенное серое солдатское одеяло свисало с одного конца.

Клаус понюхал морковку. Обломал у одной верхушку и бросил корешок Мирьям. Морковка приятно хрустела в зубах. Клаус пристукнул пяткой по ящику и сказал:

— Обрати внимание, ящик этот из-под снарядов.

У Мирьям похолодело под сердцем. Вдруг Клаус спит в обнимку со снарядом?

— Ящик что надо, как люлька, — усмехнулся Клаус. Он пошевелился, и сено под ним зашуршало.

— А сны в этом ящике снятся? — в нерешительности спросила Мирьям.

Клаус не обратил внимания на вопрос, он продолжал свое:

— В следующую войну снаряды будут куда больше и ящики для них будут с жилой дом. Все здания сровняют с землей, оставшиеся в живых люди будут жить в снарядных ящиках. Выпилят в них окна, поставят перекрытия и сложат трубы.

— И насовсем туда жить переедут? — удивилась Мирьям.

— Должна же у них быть хоть какая-то крыша над головой, чтобы выпускать еще более мощные снаряды и строить для них еще бóльшие ящики.

— Разве и нам придется в будущем жить в ящике? — испугалась Мирьям.

— Нет, я думаю, что в следующую войну настанет наш черед погибать.

— Не хочу я больше слушать эти погибельные разговоры! — рассердилась Мирьям.

— Тогда заткни уши, — дружелюбно посоветовал Клаус.

Мирьям заставила себя быть поприветливее. Клаус указал большим пальцем в потолок и заявил:

— Там, где-то у нас над головой, лежат под золой и камнями кости моей бабушки. Не правда ли, своеобразное положение: живые — под землей, а мертвая — на земле.

Мирьям не помнила бабушки Клауса, но слышала, что в бомбежку она осталась в доме. Клаус мог испытывать точно такую же жалость к Мирьям, какую Мирьям испытывала к людям, которые никогда в жизни не встречались с ее бабушкой. И как только Мирьям жила так замкнуто, что никогда даже не говорила с бабушкой Клауса. Сколько дней уплыло впустую до той большой бомбежки!

— Ты караулишь кости своей бабушки? — заинтересовавшись, спросила Мирьям.

Клаус кинул гостье еще одну морковку.

— А ты бы караулила?

— Не знаю, — жуя морковку, ответила Мирьям.

Клаус перегнулся за ящик, пошарил в темном углу и достал закоптелый подсвечник. На три медных рожка у него был всего один огарок свечи.

Клаус поставил подсвечник посреди пола, зажег фитилек, забрался, громыхая сапогами, на ящик и натянул сверху на лаз железный лист.

Теперь в подвале стало еще таинственнее. Мирьям увидела в углу приваленную к стене груду полуобгоревших книг. Заржавленные полозья санок взвизгнули, подобно замерзшей на ветру собачонке, когда Клаус коснулся их носком своего сапога. В бутыли из-под вина раскачивался на паутине паук. Бока деревянного чемодана покрывала плесень, в поломанной корзине валялась жухлая крапива.

Пока Мирьям оглядывала подвал, Клаус молча стоял за подсвечником. Он медленно поднял руки и скрестил их на груди. Затем откашлялся и провозгласил:

В больших дворцах пиры горой,
я росную розу держу рукой.

Завороженная Мирьям пялилась на Клауса, его огромная тень покрыла всю стену и упиралась в потолок. С побледневшего лица вдаль глядели горящие холодным блеском глаза, но вслед за его словами в стылый подпол донесся приглушенный гомон роскошных пиров. Дворцовый зал ломился от людей, развевались пурпурные одежды, сверкали тысячи свечей, светились высокие сводчатые потолки, и в окна с цветущими яблоневыми веточками в клювах влетали ласточки.

Ты видишь, как пляшут скелеты,
все требуют: где ты, ну, где ты?

Мирьям слышала шелест тяжелых шелков, красные халаты-спасители были опушены белым мехом, слуги разносили на серебряных блюдах стручки гороха; золотые туфельки скользили по черно-белым квадратам пола, и в углу стоял бочонок с ромом. Но скелетам до сияния свечей не было дела. Оскалив зубы, они плясали прямо среди веселившихся гостей, они ничуть не стыдились того, что их бедра прикрывали дырявые картофельные мешки. На паркет сыпалась земля и жухлые, проросшие белыми ростками картофелины.

Мирьям попало под ногу что-то круглое. Она взглянула вниз и увидела прошлогоднюю картофелину с длинным ростком. Или она оставалась тут еще с той поры, когда был цел и невредим дом?

Мирьям помрачнела, красивая жизнь так скоро кончилась.

Клаус заглянул в глаза Мирьям и настоятельно произнес:

— Нам следует сыграть спектакль.

## 9

Однажды Мирьям пришлось стоять на виду у множества людей. Всяк мог видеть ее мокрые щеки и опухшие от слез веки.

Там, перед алтарем, Мирьям очень хорошо поняла, что если человек поставлен у всех на виду, он должен вести себя достойно. Она не смогла совладать с собой. В крайнем отчаянии мысли ее ухватились за бабушку. Темная фигура, руки сложены на животе, лицо спокойное и задумчивое — так она стояла часами у дедушкиного изголовья. Мирьям воскресила перед собой ту далекую картину и попыталась сквозь завесу времени заглянуть бабушке в глаза. Может, сила духа передается из поколения в поколение? Что, если бабушка находила опору, вспоминая свою бабушку! Стояла когда-то в древности над гробом старушка в домотканой одежде, с ясными и сухими глазами.

Мирьям попыталась выпрямить спину. Пальто вдруг стало словно скорлупой жука и трещало по швам.

Люди продолжали подходить, они по очереди пожимали всем троим руки. От каждого невнятно произнесенного соболезнования у Мирьям подкатывал к горлу новый комок. С одной покосившейся свечи стекал на пол стеарин. Мирьям уставилась на трепещущий огонек и всякий раз, когда падала капля, смежала веки.

Самое страшное — неожиданная смерть, говорили жилички дома. А разве смерть может быть когда-нибудь жданной? Ошеломленная этим новым сознанием, Мирьям начала потом кое-что соображать.

Мама долго рылась в комоде, чтобы отец мог в подобающем одеянии отправиться в последний путь. Мирьям, затаив дыхание, следила за тем, как мама разглядывала

черный отцовский костюм. Было ужасно неприятно, когда мама достала коробку с нитками и принялась латать протершиеся сзади черные отцовы брюки. До поздней ночи она склонялась перед лампой. Проходило немного времени, и в коробке опять поскакивала катушка: мама вдевала новую нитку. Она все штопала и штопала, веки у самой были вспухшие и кончики пальцев дрожали. Потом она подняла брюки к свету и оценивающе посмотрела на результаты своей работы.

Мирьям решила никому вовек не говорить, что отца положили в гроб в латаных брюках.

Рано утром утюг с шипением разглаживал только что накрахмаленный воротничок. Шел пар, мама отворачивала лицо, глаза у нее были и без того красные. На столе петлей лежал черный галстук, рядом с ним белое теплое белье.

Затем мама отправилась в покойницкую, держа в руке чемодан с отцовской одеждой.

Мирьям глядела матери вслед. Она пыталась представить себе, что где-то по перрону прохаживается в нетерпении отец, к глухому вагону прицеплен спереди орган. Тысячи его труб испускают пар и гудят. Наконец прибегает запыхавшаяся мама. Одетый в черное дежурный по станции урчит и щерит зубы. Мама плачет и извиняется: неожиданная смерть.

Когда умер дедушка, со шкафа сняли фанерный с закругленными уголками чемодан. Отщелкнули замки и открыли крышку. Из-под пахнувшей горечью полыни достали новый с иголочки суконный костюм. Похоронное платье для бабушки было сшито еще во время ее первого паралича. Оба они смогли достойно предстать перед господом богом.

В церкви у гроба Мирьям снова начала плакать. От стыда и смущения щеки у нее зарделись. Отец не мог повернуться к богу спиной, вдруг будут видны заплаты.

Стоя перед алтарем, Мирьям снова начала всерьез верить в бога. Да и священник сказал, что господь послал вдове и детям тяжелые испытания.

С трудом Мирьям удалось взять себя в руки и немного успокоиться. В набрякший от горя мозг железным клином вонзалось своеобразное чувство гнева. Сердитой Мирьям бывала и раньше, она способна была с легкостью вспылить, когда причинялась несправедливость, —

но этот неизведанный доселе гнев, который охватил ее в церкви, ей самой доставил удивление. Мирьям искала объяснения своему подспудному ощущению — сознание было беспомощно и нерешительно нашептывало на ухо, что вроде бы новый гнев синего цвета. Синий гнев, словно ища выхода, содрогал Мирьям, когда она стояла у изножья отца, в непосредственной близости от его черных носков. Мирьям чувствовала, что она должна восстать против незримой несправедливости и отплатить. Она готова была взять своего безмолвного отца за руку и самолично предстать пред очами всемогущего, дабы объяснить, почему отец не может повернуться к богу спиной. Поймите же, его убили. Неожиданная смерть.

Синий гнев придал Мирьям какую-то необычную силу, которую было страшно трудно держать про себя. Когда Мирьям раньше, бывало, ощущала свою силу, ей хотелось лететь и петь.

Мирьям словно бы забыла, что она поставлена у людей на виду и не смеет обращать на себя внимание. Обязана была стоять с опущенной головой, смиренно, она же, наоборот, сверкая голубыми глазами, глядела вокруг и совсем не слышала проповеди священника.

Перед похоронами отца многие нашептывали, что убийца обязательно явится взглянуть на свою жертву. Мирьям скользила взглядом по лицам, — убийца должен был находиться среди присутствующих.

Священник стоял как раз на коленях перед алтарем, и лоб его касался книги с крестом. Почему бы ему не обратиться к народу и не сказать, что пусть отойдут в сторону те, у кого совесть чиста?! Убийца остался бы в одиночестве стоять посреди церкви.

Мирьям отбросила эту мысль. Надеяться на чужих не стоит. Никто не сделает того, что ему не угодно.

Казалось, что стены церкви пронизаны холодом и мраком, чем угол дальше, тем он чернее. На скамьях из темного дерева и за высокими прислонами могла упрятаться целая разбойная рать. Трудно ли укрыться за столбом или под кафедрой?! Может, убийца в этот миг выглядывает из-за закраины алтаря? Одна деревянная статуя как раз подозрительно вздрогнула. Та самая, что держала в руке секиру, отточенное полукруглое острие готово было опуститься на шею жертвы. Может, это и

есть бог душегубов? Вдруг за его спиной стоит именно тот, кто убил отца?

Мирьям склонилась и осмотрела пол. Нет, из-под алтаря ничьих ног видно не было.

Она разглядывала лица собравшихся в церкви людей. Большинство из них Мирьям не знала. То ли они отцовы прежние друзья, то ли враги? А может, приходят поглазеть на покойника и скорбящих из простого любопытства? Мирьям хотелось заглянуть каждому из них в глаза, но все они стояли слишком далеко. Время военное, электричество было тусклое, и горела только та люстра, которая освещала место перед самым алтарем. Посреди свечей на железной лошади сидел железный человек. Из головы всадника прорастала толстая металлическая петля, в нее был продет крюк. Если бы у железного человека было в груди сердце, можно было бы попросить: спустись и возьми с собой свечи. Посвети, я должна всех их хорошенько рассмотреть. Мирьям слышала, что в глазах убийцы будто бы навсегда застывает лик жертвы. Душегуб может потом хоть широко раскрытыми глазами смотреть прямо на солнце, напрасно было бы надеяться, что сильный свет сотрет образ жертвы. На веки вечные останется на нем печать преступления. Поэтому убийцы и прячут глаза и отворачивают лицо, когда с кем-нибудь разговаривают. Они живут в постоянном страхе — вдруг кто-нибудь укажет пальцем и скажет, глядите-ка, в его глазах застыла жертва: из головы льет кровь, она стекает по плечам и капает с пальцев на землю.

Человек, который поднял на кого-нибудь руку, никогда уже не обретет покоя.

Мирьям представила себе, как убитый преследует своего убийцу. Душегуб открывает случайно дверь, она пронзительно скрипит, будто вскрикнула жертва. В безумном страхе, задыхаясь, бежит он по темной улице, мертвец легко приплясывает рядом и смеется убийце прямо в ухо. Задыхающийся душегуб замедляет шаг, и невидимый мертвец своими костяными пальцами тут же оттаптывает ему пятки. По своей воле убийца к гробу жертвы не явится. Мертвец холодной рукой сжимает его запястье, упирающийся убийца тащится по мокрой от дождя улице и вдруг натыкается на церковную дверь, из-за которой доносится гудение органа. Убийцу втаскивают, пе-

репуганный преступник волочит ноги по каменным плитам, в полумраке, под хорами, он чувствует себя запертым в покойницкую. Если бы смог, он вцепился бы в скамейки, спрятался бы за высокие прислоны или, взывая к помощи, ухватился бы за бороду какого-нибудь святого. Он не хочет смотреть на труп, который лежит перед алтарем. Перепуганный убийца дрожит. Сжимающая запястье холодная рука направляет его. Убийцу приводят на свет, под люстру. Скрутки троса под высоким сводом расплетаются, железная люстра грохается вниз и разбивает убийце череп так же, как он разбил голову другому человеку.

Убийце приходится бояться всего вокруг себя. Он уже начал презирать безжизненную люстру, которая висит над его головой. Убийцу ведут вперед. Он останавливается перед алтарем, ботинки носками упираются в каменную ступеньку. Прямо впереди, рукой подать, стоят скорбящие. Убийца вынужден смотреть на них, он обязан замечать даже малейшие подробности. Последней стоит девочка в синем пальтишке. У пальто почему-то нет воротника. И шапка у нее маловата. Потрепанные завязки крепко стянуты у подбородка, из-под длинной, скрывающей брови челки смотрят большие, излучающие синий гнев глаза. Взгляд ребенка сверлит убийцу. Он опускает веки и смотрит на девочкины чулки, которые на коленках заштопаны темными нитками. Преступник почти совсем закрывает глаза и все равно видит разъехавшиеся с задника по шву туфельки и шерстяные в полоску носки, которые на щиколотках отвернуты вниз.

На уровне скрещенных на груди рук покойника стоит другая скорбящая. Убийца не знает, что зовут ее Лоори. Он лишь видит, что у светловолосой девчушки на уши натянуто подобие шляпы. Девочка, видно, больная. Иначе зачем бы ей склонять голову на плечо, будто хочет согреть больное ухо. Руку прижимает к боку, будто там колет.

Не может быть сомнения, что третья в этом ряду — вдова жертвы. Со странной, плоской шляпки вниз свисает черная вуаль, женщина вся в черном. Даже чулки черные, в угольно-черную полоску, и выглядят светлее возле икр, чуть выше верхнего края обуви. Каблуки у ботиков сзади стоптаны.

Убийца медлит, он собирается с духом, чтобы взглянуть на жертву. Еще раз скользит взглядом по черной вуали, которую прижимает к вдовьему лицу поток теплого воздуха, поднимающийся от свечей. К удивлению своему, он замечает, что у склонившего голову ребенка кончики волос в мелких завитушках.

Ледяное кольцо на запястье убийцы сжимается. Душегуб знает, что от него требуют.

Он видит беловатые костяшки длинных пальцев, желтоватый кончик носа и выпуклый лоб. За ним застыли извилистые мысли. Две из них в роковую секунду оказались одна подле другой, чтобы в момент удара вклиниться друг в друга: скоро я буду дома; я никогда уже не попаду домой.

Мирьям сжала зубы. Когда она в своем воображении дошла до этой точки, ее вновь потрясла огромность утраты. Душа отца унеслась, и мысли его застыли наполовине. Все равно в другом мире его станут мучить вещи, оставшиеся при жизни незавершенными либо непонятыми.

Отец так никогда и не узнает, что стало с его детьми. Может, он не успел дописать какое-нибудь важное письмо? А вдруг осталось невысказанным какое-то существенное слово?

Возбужденная Мирьям готова была поклясться, что с этого момента будет говорить людям только добрые слова. Она уже готовилась побожиться землей и небом, что это станет основным правилом ее жизни. Но какой-то трезвый рассудок отклоняет ее благие неземные намерения. Ведь Мирьям не знает, кто убийца ее отца. Любой из этих благоговейно стоящих людей может быть тем, кто поднял руку, чтобы нанести смертельный удар. Нет, лучше уж отказаться от клятвы. Не то вдруг и убийца услышит из ее уст приветливые слова.

А это было бы предательством!

Орган с хрипом вдохнул воздух, трубы начали с пропусками издавать скорбные звуки.

Люди подпевали жалостливыми голосами. Кто из них молчит? Мирьям ревностно вглядывалась в сгрудившихся людей. Рты у всех шевелились. Но ведь убийца не смог бы петь! И все же позади, возле столба, понурилась высокая фигура, лицо человека было прикрыто поднятым воротником. Он склонил голову просто так. Мирь-

ям напрягла зрение. Ей хотелось снять люстру с крючка. Собрала бы все силы и потащила бы эту гроздь свечей за собой по полу, проверила бы все темные уголки в церкви, заглянула бы каждому присутствующему в лицо.

Прищурившаяся Мирьям узнала длинного человека. Дядя Рууди все-таки сбежал из больницы и явился на похороны.

Мирьям спохватилась, ведь она и сама не раскрывала рта для пения.

## 10

Мирьям питала глубокое уважение к тем, кто был при рождении наделен талантом. Дядя Рууди как-то сказал, что человеческая жизнь — сплошная лотерея на лотерее. Уже при появлении на свет каждый держит в руке свой жребий — ребенок то ли здоровый, то ли увечный, талантливый или бесталанный.

Мирьям была убеждена, что у Клауса в кармане лежит золотой талер таланта.

Затея Клауса сыграть пьесу взбудоражила Мирьям. Засыпая вечером и просыпаясь утром, она представляла себе занавес, который медленно отходил в сторону. Из-за него появлялся сводчатый зал древнего замка. Даже дух захватывало — настолько это было интересно. Когда же Мирьям поосновательнее задумывалась над всей этой историей, ей становилось грустно. Актрисы из нее не получится. В школе не приняли даже в хор, куда зачисляли даже почти что последних двоечников. Что поделаешь, если Мирьям была способна тянуть лишь одну ноту. И хотя на торжественных вечерах ей никогда не поручали читать стихи, Мирьям все же не могла сетовать на несправедливость. Она понимала, что никому не доставляет удовольствия слушать, когда красивые слова просто тарабанят скороговоркой. Учитель подчеркивал, что стихотворение нужно читать с чувством, так, чтобы у других в душе начали звенеть колокольчики. Про себя, когда никто не слышал, Мирьям блистала красноречием. Но от

этого никакой пользы театральным планам Клауса не было.

Мирьям искренне жалела, что она проиграла самую важную лотерею своей жизни и явилась в свое время на свет с пустым билетом.

Зато сама она нашла в искусстве поддержку.

Было это давно, года два тому назад, когда кошка Нурка вдруг стала какой-то беспокойной. Она жалобно мяукала, бродила из комнаты в комнату и старалась забраться под шкаф, но не помещалась там. Мирьям начало мучить грустное предчувствие, что неспроста кошка становится все толще. Не иначе как собиралась окотиться, котята уже не умещались в животе. У Нурки раньше котят не бывало, откуда было бедной кошке знать, как котят принимают. Мирьям тоже не приходилось видеть такого дела — как тут поможешь Нурке? Только Нурка оказалась куда сообразительнее, чем Мирьям могла предположить. Кошка свернулась за дверью возле печки клубочком, и вскоре из нее посыпались жалкие мокрые котята.

Хотя воздушная тревога начиналась всегда внезапно, Мирьям все же показалось, что в это ясное апрельское предвечерье сирены завыли настолько неожиданно, что сердце готово было остановиться. Нурка на тревогу и внимания не обращала. Уже появилось целых четыре котенка — и хватило бы. Но Нурка все вылизывала их и продолжала тужиться. Мирьям сделала пару нерешительных шагов в сторону двери — при воздушной тревоге нужно было немедленно спуститься в подвал. Но не могла же она оставить Нурку с ее беспомощными котятами одну! Она понимала, что Нурке и без того трудно, и слезами ее утешать нечего. Надо было предпринять что-то более разумное. Тогда-то Мирьям и нашла опору в самом красивом стихотворении из всех, которые знала. Она глубоко вдохнула, подобно певцам, сдавила руками грудную клетку и прочла как можно громче и выразительнее:

Много цветов собрал бы,
Я пояс бы сплел — пускай
В одно бы связал тот пояс
Тебя, мой несчастный край! [1]

[1] Стихотворение классика эстонской литературы Юхана Лийва (1864—1912).

Так как в апреле Эстония выглядит особенно несчастной, это обстоятельство предоставило простор воображению Мирьям. Деревья стояли в талой воде и потрясали голыми ветвями. Ручьи несли с собой ящики из-под взрывчатки, в которых сидели покорившиеся судьбе зайцы. Постепенно на берегу моря таяли груды льда, обнажались прибитые осенними штормами бутылки, в которых содержались немые призывы о помощи. Дороги превратились в трясины, при дожде по ним плыли пузыри. Будто болотные черти дышали из-под земли ядовитым смрадом. Зима перекосила садовые скамейки, на них проросли грибы.

Холодная дрожь, которая всегда при пронзительном реве воздушной тревоги извивалась возле позвоночника, теперь куда-то исчезла, Мирьям нагнулась и погладила голову уставшей Нурки. Между лап у кошки лежали шесть полосатых котят, и Нурка по очереди облизывала их. Обмытых деток нельзя было оставлять на голом полу, они могли простудиться. Мирьям ходила по комнате, нахмурив брови и засунув руки глубоко в карманы. Надо было действовать. Мирьям принялась громко насвистывать, надо же было и себе показать, что она стоит выше времени и обстоятельств. Она с шумом побежала в подвал — пусть они сидят себе в проходе — и принесла оттуда подходящую корзинку. Мирьям металась между комнатой и кухней, нашла кусок материи на подстилку и переложила Нурку вместе с котятами на новое место. И вовсе не было противно брать в руки этих чуточку мокрых и беспомощных котят Они начали тыкаться мордочками Нурке в живот и отыскивать сосочки. Глаза у Нурки заблестели. Послышалось мурлыканье — Нурке было ни холодно ни жарко оттого, что где-то поодаль рвались бомбы.

Когда Клаус говорил о спектакле, он между прочим сказал, что, доставляя переживания другим, мы и сами переживаем. Мирьям, которая на людях не могла петь и декламировать, заслышав такое, ушла в себя. Так как Мирьям не хотела признаться Клаусу в своей бесталанности, она просто смолчала, как чурбан. Показное безразличие Мирьям подстегнуло Клауса разразиться еще более пламенными речами, чтобы пробудить сообщницу от равнодушия и приобщить к своим грандиозным планам.

Пьеса, которую собирался поставить Клаус, была, в общем, что надо.

Принц недавно похоронил отца. Он скорбел и никак не мог смириться с потерей. Однажды мрачной ночью покойный король явился к сыну. Принц узнал, что отец умер не своей смертью, а погиб от руки брата. Король прилег после обеда отдохнуть в саду под яблоней и не мог даже предположить, что коварный брат нальет ему во сне в ухо яда. Злодей хотел завладеть троном и королевой.

Узнав от духа отца всю правду, принц решил проследить, доказать виновность и отплатить злодею. Для этого подвертывается подходящий случай. В замок прибывают на ночлег бродячие актеры, и принц просит их дать представление. Пьесу принц выбирает сам, и в ней рассказывается история страшного злодейства: родной брат наливает королю в ухо яд. Принц приглашает нового короля вместе с королевой на представление. Все замечают их волнение, и принц улавливает в глазах нового короля лик убитого отца. Испуганная королева нечаянно выпивает вино, которое было приготовлено для сражавшегося на дуэли принца. Новый король хотел и от принца отделаться, он налил в вино яд. Кроме этого, он намазал ядом меч противника. Оружие переходит из рук в руки, и раненый принц закалывает своего противника отравленным мечом.

В том, что король виновен в отравлениях, признается перед смертью противник принца. Принц хватает меч и убивает под конец самого короля.

К концу представления сцена оказывается заваленной трупами. Королева лежит навзничь, новый король повержен на вожделенном троне, принц и его противник валяются на полу замка. Нежную невесту принца пришлось схоронить еще в середине представления. Она с горя сошла с ума, прыгнула в омут и утопилась.

На сердце у Мирьям долгое время камнем покоилась грустная судьба королевского семейства. По крайней мере, боровшийся за правду принц мог бы остаться в живых. От этого представления остается ощущение, что в жизни и нет ничего другого, кроме черной неправедности. Человеку, который смотрит спектакль следует все же оставить в душе хоть какую-то надежду — как же так, неужели вся справедливость на земле кончилась?

Одновременно в сознание Мирьям стала просачиваться и другая, более личная забота. Даст ли Клаус ей все же чью-то роль? Мирьям не знала даже, кого бы она желала сыграть. Умирать ей не хотелось даже на сцене. В пьесе, конечно, кое-кто оставался в живых, но это были все второстепенные персонажи. Простые стражи и прислужники, советники короля и принца. Куда приятнее было бы сыграть королеву или сошедшую с ума невесту принца. Мирьям понимала, что это наивно, но ей все же хотелось бы восседать на сцене увенчанной короной из золотой бумаги.

Да какая там корона, думала Мирьям. У самой нет никакого таланта, а тоже блистать хочет. Сознание подсказывало, что надеяться не на что, однако сердце не хотело смиряться и где-то в глубине души непрестанно щемило. Мирьям уже наперед завидовала тем, кому достанутся лучшие роли.

Вдруг Мирьям спохватилась, что она и брат короля — одного поля ягоды: тот тоже завидовал настоящему королю.

Мирьям наступила пяткой на пальцы другой ноги и надавила изо всех сил, чтобы только было больнее. Этот старый испытанный прием помогал всегда, когда в голову лезли дурные мысли и всякое ребячество.

Если у человека нет отца, то он сам должен при надобности наказывать себя. Мирьям была уверена, что отец презирал мелочных людей.

## 11

Серый борт судна словно отвесная скала поднимался из моря. Вверху, на огромной высоте, прислонившись к поручням, стояли матросы. Лица, будто булавочные головки, уставлены в ряд. Отец стоял, засунув руки в карманы. Он казался Мирьям капитаном, который не знает, что делать со своей жалкой посудиной. Сейчас они с ходу врежутся в серую стену. Впоследствии Мирьям сердилась, что дает страхам овладеть собой. Ничего страшного не случилось. Их скор-

лупка развернулась и начала удаляться от кормы гигантского серого корабля. Железная стена проплыла за спиной отца. Он повернул голову, и Мирьям расхохоталась. Растрепанные ветром волосы разваливались на две стороны, отец напоминал грустного льва.

Они совершали прогулку вокруг стоявшего на рейде немецкого военного корабля.

Когда они потом сошли на причал, отец сказал о немецком корабле: карманный крейсер. Впервые Мирьям поняла, что единым словом можно большое обратить в маленькое. По дороге домой она развлекала себя тем, что без конца бормотала: карманная башня, карманный поезд, карманный автобус, карманный виадук, а когда увидела очень длинного мужчину, не смогла удержаться и вполголоса проговорила: карманный мужчина. Просто удивительно, как обычный город при помощи одного только слова становился городом кукольным.

В то далекое время Мирьям еще пребывала в возрасте кукол и мишек. Именно в тот самый день Мирьям как раз вспорола мишке брюхо, чтобы посмотреть, что там у него внутри. Взбучку она уже получила, и мама даже упрекнула отца, что он ленится воспитывать детей. Мирьям благодарила бога, что поркой в основном занималась мама. Зад от ремня, правда, бывал в рубцах, но после отца от ягодиц, чего доброго, вообще бы ничего не осталось.

Теперь эти времена телесного наказания давно миновали. Только заду доставалось куда больше, чем когда-либо раньше.

В последние зимы на ягодицах появились гнойные нарывы. Едва заживал один чирей, как рядом возникал новый. Мирьям слышала про такую болезнь, как проказа, когда людей отправляли в заключение. Поэтому она всячески старалась скрывать от всех свои болячки. И без того иногда просыпалась по ночам в холодном поту, казалось, что за дверью громыхают цепями — там для нее готовили кандалы и наручники.

В последние годы войны приходилось в ясные ночи спать одетым, накрывшись толстыми одеялами-кошмарами. Когда начинала завывать сирена воздушной тревоги, не нужно было долго собираться — хватай с кучи одеял пальто и напяливай на себя, обувь стояла всегда наготове возле кровати. Бредя спросонья в подвал, она

не чувствовала особых болей; но внизу, на чурбаке, начинался ад. Чирьи на ягодицах особенно злобились, что потревожили их покой. Нарывы вот-вот должны были прорваться, кожа грозилась лопнуть, хоть в голос кричи. Но Мирьям должна была скрывать свои болячки. Когда поблизости разрывалась какая-нибудь бомба, Мирьям могла, как бы со страха, ради облегчения громко вскрикнуть. Никто не допытывался, где там у тебя что болит.

Потом Мирьям стала примечать, что и другие дети не могут долго выдержать сидения на жесткой школьной скамейке. Когда отключалось электричество, в классе слышался вздох облегчения. Огарок свечи на учительском столе, к счастью, давал мало света, и всяк старался под покровом темноты устроиться поудобнее. Кто забирался с ногами на скамейку, кто вообще вставал на коленки и выставлял зад. Если же школа оставалась нетопленной и разрешалось приходить на уроки в верхней одежде, все подбирали под себя полы пальто. На мягком чирьи как бы становились покладистее, хотя с их стороны это была временная уступка.

Наблюдая за другими, Мирьям поняла, что у всех у них страшная проказа.

Вскоре о чирьях, хотя и было стыдно, стали потихоньку говорить. Утром, по дороге в школу, жаловались друг другу, как кому накануне, придя домой после уроков, приходилось лечить себя. Прежде всего нужно было отдирать от тела белье, головки чирьев начинали кровоточить. Каждый накладывал на больное место, что мог, большинство употребляло черную ихтиоловую мазь, которая ужасно воняла. Даже учитель однажды на уроке потянул носом и сказал, что в этом помещении, наверное, раньше размещался полевой лазарет.

Спустя некоторое время чирьи стали общей хворью, и о них заговорили совершенно открыто. Взрослые утверждали, что нарывы возникают от недостатка витаминов. Однажды в школе каждому дали с собой по коробочке драже. Был как раз пронизывающе холодный день, окоченевшие ноги отказывались держать тело. Мирьям решила, что если птахи от хлебных крошек получают на морозе подкрепление, то и эти витамины следовало отправить в пустой желудок. Окоченевшими пальцами она разорвала коробочку и в один прием съела все витами-

ны. Да много ли их там было — всего пригоршня горошинок. На душе повеселело, и Мирьям была уверена, что уж теперь-то чирьям нанесен смертельный удар. Однако враг оказался сильнее, чем можно было предположить. Едва Мирьям добралась до дому, как ее вырвало, и чирьи никуда не исчезли. Она чувствовала себя слабой и разбитой, Мирьям уже подумала, что ей теперь, наверное, никогда не встать на ноги.

То, что Мирьям ходила в школу в такую даль, было ее собственной виной. Мама ей несколько раз говорила и настаивала, чтобы она шла в школу рядом, через площадь. Плохо ли: раз-два — и ты уже в школе. После смерти отца — занятия начинались только в октябре — Мирьям взяла и послушалась маму. Отыскала нужный ей класс, уселась на одну из дальних скамеек, положила руки скромно на парту и стала ждать, что будет дальше. Мирьям казалось, что в новой школе все начнется как бы сначала, она подумала, что жизнь, видимо, и впрямь станет легче — отсюда после уроков можно мигом добежать домой. Да и утром можно будет дольше поваляться в постели.

Учительница в сером жакете занесла в журнал фамилии учеников, пожаловалась, что не хватает учебников, и посоветовала друзьям-товарищам готовить уроки вместе. Зазвенел звонок, и первый урок на этом закончился. Мирьям собиралась выйти из класса, но учительница подозвала ее. Она подвела Мирьям к окну, будто собиралась на свету разглядеть девочкино лицо. Мирьям растерялась. Учительница положила руку ей на плечо. Мирьям разглядывала полы серого жакета, прикрывавшие живот учительницы.

— Расскажи, как убили твоего отца?

Мирьям съежилась. Серый жакет зарябил перед глазами. Мирьям стала хватать воздух и вскинула голову. Она увидела в глазах учительницы уже знакомый ей блеск. В воображении Мирьям предстали женщины, которые накидывали на голубей сети. Отец наезжал полным ходом на серую стену. Мирьям захотелось с налету удариться головой в серый живот. Она сдержала себя. По телу прошла дрожь, и Мирьям разревелась самым непристойным образом. Оставив учительницу стоять в недоумении у окна, она бросилась вниз по лестнице. Гардеробщица не хотела отдавать пальто. Мирьям, всхли-

пывая, сказала, что у нее температура. Сорок градусов, заявила она, чтобы скорее отпустили.

— Карманная учительница! — громко и со злостью сказала она по дороге домой.

Больше Мирьям не переступала порога этой школы. Она будет каждое утро тащиться хоть за тридевять земель. Пускай лентяи дрыхнут вместе со своими кошмарами, сколько им влезет. А она может встать и пораньше, чтобы заблаговременно отправиться в путь.

Лишь теперь, после войны, Мирьям поняла, что ее чирьи и учительница в сером жакете не стоят того, чтобы о них говорили. Она вернулась в свою старую школу, и никто ее за это не наказал. Она могла свободно перебегать и выбирать себе место по своему усмотрению.

Старые рубцы показались Мирьям довольно ничтожными, когда она задумывалась об ужасах, о которых говорили женщины. Немцы избивали арестованных плетьми из колючей проволоки. Жертвы не могли убежать, они стояли прикованные за руки к стене. Просыпаясь по ночам, Мирьям видела перед глазами белые спины, колючая проволока впивалась в тело, из ран сочилась кровь. Алые струйки стекали по бокам, кровь сливалась в ручей и скатывалась по ногам. Ручьи крови, стекая с жертв, стоявших рядами, сливались поодаль в красную реку. Она катилась по стремнинам, чтобы только унестись подальше.

Мирьям казалось, что кровь живет и чувствует, так же как сам человек, — кровь хотя бы могла убежать оттуда, где уже никакой надежды не оставалось.

Люди ведь неспроста при несчастье становились мертвенно-бледными.

## 12

Клаус обидел Мирьям. Он сказал, что она тупа и неповоротлива, как крестьянская лошадь. Если человек хочет заниматься искусством, он ради достижения цели должен себя все время подстегивать. Почему Мирьям до сих пор не присмотрела подхо-

дящих людей, из которых вышли бы артисты! Дни идут, сетовал Клаус. Так можно всю жизнь проморгать.

От слов Клауса у Мирьям загудело в ушах. Она переминалась с ноги на ногу и не знала, что делать. Послать Клауса к черту вместе с его королями? Тогда она опять останется одна-одинешенька. Стой в воротах или слоняйся по пустому двору. Обстоятельства вынудили Мирьям покориться. Она сцепила зубы и не стала спорить с Клаусом.

Откуда взять артистов? Все старые товарищи раскиданы по свету.

Под вечер Мирьям с поникшей головой поплелась в приморский лесок.

Былые сражения, которые они вели камнями с городскими ребятишками, теперь казались смешными. Может, и они в этой большой войне поумнели и не будут раздувать старую вражду. К тому же это они в свое время вышли победителями. Не имело значения, что при плохой погоде у Мирьям ныло под левой лопаткой, туда как-то во время сражения с городскими угодило камнем. Ладно, можно и помириться. Кто не погиб в настоящей войне, тем теперь следовало бы держаться сообща, подружиться бы не мешало. Если вражда не уймется, люди поубивают друг друга, и земля останется совершенно пустой.

Охваченная благородными мыслями, Мирьям надеялась встретить на лесной поляне городских.

Она опасалась сворачивать с большой дороги. С тех пор как в начале войны через город прошли бои, Мирьям тут, под соснами, не бывала. Война из некогда столь тихого лесочка сделала приют опасности и ужасов, куда осмеливались ступать лишь отъявленные смельчаки.

Кроватью для Клауса служил ящик из-под снарядов. Он явно притащил его в свой подвал отсюда. Сознание этого ободрило Мирьям и помогло ей побороть страх.

Когда полыхала текстильная фабрика, люди выходили на добычу и в этот прибрежный сосняк.

В то зловещее тихое утро не раздалось ни одного фабричного гудка, ни один автобус не подъехал к остановке, — казалось, что за воротами вместо города начинается огромная пропасть, на дне которой бушует огонь. Окна были закрыты до единого, в лучшем случае люди выглядывали на улицу из-за шторы. Прикрывшись ли-

чиной безжизненности, люди пытались обмануть судьбу. Случайной пуле нет смысла залетать в окно, тут властвует пустота. Однако ядовитый смрад страха развеялся уже через несколько часов. И хотя никто ни с кем не сговаривался, в путь все же пустились и те, у кого мешок под мышкой, и те, у кого тачка с собой.

Как всегда, они втроем оказались самыми беспомощными и ничего не сумели предпринять. Но наконец и до них дошел слух, от которого защекотало в ноздрях и потекли слюнки. Мама взяла дочек за руку, и они несмело вышли за ворота. Они тоже пытались по-своему провести за нос чреватую опасностями судьбу. Будто на прогулку отправились. Сколько раз они ходили этой дорогой, что вела к морю! Мирьям показалось, что за ночь сюда, под деревья, свалили железо со всего света. Перевернутые машины, пушки, пулеметы, отливающие холодом снаряды. Мирьям казалось, что снаряды поворачиваются ей вослед, под ними шуршала сухая хвоя. Недалеко от дороги провалилось в землю стадо маленьких слонят — из травы торчали противогазы с гофрированными хоботками и с большущими стеклянными глазами. Мирьям знала, что опасность коварна — не мины ли в тех ящиках, что сложены штабелями? Может, успели часть из них заложить под кочки? Наступишь — и взлетишь за облака. Где-то поодаль, может, в центре города, в небе поплывут и опустятся на мостовую обгоревшие лохмотья ситцевого детского платьица.

Там и сям между деревьями двигались люди, которые не боялись риска. За пушкой раскидывали какую-то кучу, лезли в кузов машины, перекатывали бочки, кто-то с граблями на плече протопал меж раскидистых сосен, словно разом собирался сгрести все лежавшее под деревьями добро.

Они втроем шли, прижавшись друг к другу, по самой середине дороги, держась инстинктивно подальше от лежавшей по обе стороны опасности. Будто лес вместе с боеприпасами мог сдвинуться с места и штормовой волной навалиться на них.

Прямо на берегу моря стоял хлебный фургон, колеса машины завязли в песке. Если бы шофер проехал еще чуточку, то хлебы разбросало бы по морю. Каких только странностей не принесла с собой война! Мирьям завороженно бормотала: караваи морские, караваи морские.

В воображении своем она видела бабушку в халате-спасителе, которая плавала среди караваев.

Дверца автофургона была открыта, какой-то мужчина стоял перед сложенными штабелем буханками и раздавал людям хлеб. Собравшиеся у фургона женщины и дети становились в очередь — удивительно, что хлеб напомнил людям о правилах поведения. Вряд ли там посдаль в лесу кто-то с кем-то считался. Мужчина, раздававший хлеб, был справедливым — и выдавал каждому по две буханки. Даже детям, несмотря на то что они маленькие. Те, кто получил свою долю, не торопились уходить. Все нежно, будто младенцев, прижимали к груди свои буханки, вдыхали аромат запеченной корки и блаженно бормотали:

— Настоящий ржаной хлеб!

Мирьям оглядела берег. Тут не было ни снарядов, ни военных машин, и все равно все изменилось. Нарисованные на деревянных щитах красивые женщины, которые держали в красных губах дымящиеся папиросы, были повалены. Огромные папиросины буравили тлеющими торцами песок. На крыше эстрады лежали камни. На крыльце этого восьмигранного строения валялась соломенная шляпа с черной лентой. Такой же головной убор носил тот противный мужчина, который до войны расхаживал голышом по набережной с тростью в руке. Мирьям удивлялась, почему такого типа не прогоняют с глаз. Наоборот, взрослые говорили, что нагота входит в моду, скоро все будем ходить без штанов.

По дороге домой Мирьям отщипывала понемножку от буханки.

Лоори ворчала, мол, порядочные люди отрезают от буханки нужный ломоть. Непонятно, откуда у мамы взялось столько смелости, что она свернула с дороги. Она подошла к свалившемуся набок котлу с трубой и на колесах. Повар забыл возле походной кухни длинный нож. Мама держала его в руках, словно меч. Мирьям подумала, что теперь они защищены. Пусть только явится какой-нибудь алчный грабитель, который захочет отнять у них хлеб, — мама сунет ему под нос нож, и разбойник бросится наутек.

Позже Мирьям поняла, что их добыча никого бы на разбой не толкнула. Люди в тот день междувластья, оказывается, натащили себе большие богатства. Из леса нес-

ли солдатские одеяла, котелки, консервы и копченую рыбу. Мирьям представила себе, как на сосновых ветках висят, словно игрушки на рождественской елке, золотисто-коричневые рыбины. Какая вкусная еда: лесная рыба и морские караваи. Кто-то нашел среди снарядов целый бидон сахарного песка. Потом по дворам спорили, идет ли в бидон двадцать или тридцать килограммов сахара. А тот, кто отважился отправиться подальше, разжился такими трофеями, что и не снилось. Какой-то мужик на лошади перевез с ближнего к городу луга к себе в сарай полсамолета. Крыло так и осталось торчать в дверях. Мужику привалило забот — стерег свое добро да отгонял ребятишек, которые норовили залезть на крыло и покачаться. Какая-то предприимчивая баба прикатила к себе во двор целых три бочки керосина. После она прибыльно сбывала его в розлив. Последнюю бочку обменяла на живую свинью, которая вскоре опоросилась. Самые большие погромщики обеспечили себя дорогими товарами на много лет вперед. Кто-то очистил магазин тканей, да и в обувных магазинах полки опустели. Куда хитрее оказался мужик, который привез домой ящики иголок. Люди говорили, что он в войну всего за четыре иголки наменивал столько еды, что мог всей семьей день прожить. Иголка — и обед. А может, кто-то наедался горстью гвоздей, другой же обращал в свиное жаркое катушку ниток.

Стоявшая возле сосняка Мирьям усмехнулась. Эти плуты в войну оказались куда искуснее, чем трюкачи в цирке. Весной на базарной площади выступал великан, который разом вливал в себя ведро воды. Потом надавливал руками на живот, и вода фонтаном извергалась наружу. А женщина, что в дни боев натаскала домой двести железных ведер, могла беззаботно валяться всю войну на кушетке. Ей не нужно было мучить себя непомерной работой, чтобы добывать хлеб насущный.

Мирьям осторожно пролезла через высокую траву на дне канавы. Нахлынувшие мысли оттеснили на задний план заботу об артистах. Мирьям вздохнула. Так можно извести хоть тысячу часов, выговаривала она себе. Нельзя больше мешкать. Она пойдет прямо на лужайку, из-за которой в свое время велись жаркие схватки. Она помирится с городскими и начнет им заговаривать зубы. Мирьям больше всего боялась, что деловитые мальчишки

отмахнутся от нее: вот нашла занятие — кривляться перед людьми. Но она сделает все, что сможет. Подавит в себе зависть и пообещает городским самые лучшие роли. С великодушием в сердце она щедрой рукой раздаст золотые короны, лишь бы сыграть спектакль! Скажет с бесстрастным видом: благодарите случай, что не хватило принцев. Пользуйтесь возможностью! У благородного принца ведь может быть и свита. Да и парочка королей не помешает. Сперва она и не заикнется, что один из королей уже убит и является только в образе духа. А мальчишка покрасивей может сыграть королеву. Невесту принца она упоминать не станет. Эта чокнутая черт те что несет, — может, она, Мирьям, сама сойдет, чтобы пробубнить слова невесты. Уж лучше невеста принца, хотя и тронутая, чем стоять молчком в роли какого-нибудь стража в углу королевского зала.

Мирьям попыталась продвигаться как кузнечик. Перепрыгивала с кочки на кочку — было меньше риска угодить на скрытую мину.

Раньше казалось, что лужайка находится в глубоком лесу, далеко от дороги. Люди говорили, что в войну у детей остановился рост. Мирьям же полагала, что за последние годы она сама выросла, а старые тропинки, наоборот, укоротились. Дивись не дивись, только вот и лужайка, из-за которой в свое время возникла страшная междоусобица.

Какой жалкий клочок! Возле покосившихся волейбольных столбов кто-то свалил кучу мусора. Мирьям подошла и пнула ржавую пружинную сетку. Сетка качнулась, и сверху с грохотом скатилось ведро без дна. Мирьям на всякий случай попятилась — перед ее взором, как предостережение, возникла колышущаяся гора золы. Не хватало еще, чтобы из кучи хлама начали извергаться консервные банки да осколки стекла.

Мирьям совсем пригорюнилась. Городских не было и в помине. От огорчения на глаза навернулись слезы. А вдруг бывшие недруги все погибли в войну?

Мирьям стояла рядом с кучей хлама, словно само несчастье. Ее надежды рассыпались в прах.

Мирьям прислушалась. Что это за голоса раздаются в кустах? В ее разочарованной душе затеплилось какое-то радостное предчувствие. Сердце громко застучало. Вдруг сейчас из-за деревьев появятся городские? Мирь-

ям представила дружескую ватагу, ребята идут с граблями и лопатами на плечах. Мигом засучивают рукава и начинают убирать с волейбольной площадки мусор и хлам. Повсюду идут восстановительные работы. Каждый хочет сделать что-нибудь полезное. Мирьям уже начала верить своему воображению. На лице ее невольно появилась улыбка. Мирьям спряталась за раскидистыми соснами. Когда ребята будут на месте, она бросит в кого-нибудь маленьким камешком. Оторопевшие мальчишки начнут озираться. А из-за дерева выйдет не кто иной, как сама Мирьям, и с огнем во взоре объявит:

— Давайте сыграем спектакль.

Ребята обрадуются, что старый недруг жив, и не посмеют нос воротить.

Возбужденная торжественной встречей, Мирьям зажмурила глаза. Терпение, терпение!

Она столь стремительно раскрыла глаза, что хлопнули веки.

Нет, это хлопнула бутылка, которую поставили на осколок стекла.

Там переваливались из стороны в сторону трое парней и три хихикающие барышни. Какая-то шутка их всех разом рассмешила. Один из парней стал растаскивать пошатывавшуюся компанию. Он тащил всех за руку и расставлял каждого вокруг мусорной кучи. Постепенно карусель задвигалась, парни с барышнями повели хоровод и, слегка заплетаясь, запели:

Кто в саду,
Кто в саду?
Пчелка в саду...

Слова смешались, и парни с барышнями так и покатились со смеху.

Мирьям смотрела на их нетвердо переступавшие ноги. У двух барышень чулки сползли на пятки, у третьей из-под задравшейся юбки выглядывали лиловые с кружевами панталоны. Один из парней принялся оживленно размахивать руками, будто хотел созвать к мусорной куче весь город. На самом же деле его интересовала только бутылка вина, он чуть было не свалился на мусорную кучу, когда ухватил бутылку. Парень отхлебнул большой глоток и пустил бутылку по кругу. С охотой приложилась к бутылке и барышня, у которой из-под

юбки выглядывали панталоны. Передав бутылку дальше, она стала возиться с юбкой. Мирьям облегченно вздохнула — наконец-то приведет себя в порядок.

Мирьям на миг прикрыла глаза, неприлично ведь смотреть на такие вещи.

Безумные надежды невесты принца!

Барышня все выше задирала подол юбки, лиловые с кружевами штанишки оказались уже совсем на виду. Все покатывались со смеху. На этом представление барышни еще не окончилось. Она принялась подбадривать себя возгласами: раз-два, раз-два! — и стала в такт счета подпрыгивать.

Мирьям не хотела смотреть на эти раздувающиеся панталоны. Когда у барышни от резкого движения волосы откинулись с лица, Мирьям узнала Аурелию.

## 13

В ту ночь, повстречав случайно на пожаре Мирьям, дядя Рууди, мельком глянув на нее, схватил за руку и потащил за собой. Мирьям шла спотыкаясь. Полыхавший через улицу огонь припекал бок. Мирьям смотрела под ноги, по хлопьям сажи волочились белые завязки дяди Руудиных подштанников. Мирьям боялась наступить на них. Когда она поймала себя на том, к чему прикованы ее мысли, ей стало так стыдно, что хоть бросайся в дверь какого-нибудь горящего дома. Почему она не кричит и не плачет от ужаса? Языки пламени вздымались в небо, трещали бревна, пылавшие куски досок факелами разлетались во все стороны.

Люди сгрудились перед крайним домом маленького переулка. Казалось, дом лишь на мгновение задержался на месте, чтобы уже в следующий миг ринуться в огонь. Мирьям показалось, что все стоявшие позади дома терпеливо дожидаются своей очереди. Когда загорится угловой дом, горячая воздушная волна приведет в движение выкованный дедушкой флюгер. Красные от пламени окна мастерской уставились в погибель, от которой нет

спасения. Железное кружево наличника над входной дверью начинает плавиться. Раскаленные капли, разбрызгиваясь, падают на тротуар. Когда огонь прогрызет чердачное перекрытие, противовес входной двери — огромная железная гиря — грохнется через квартиры в подвал и разнесет пол. Почва закачается, канализационные трубы переломятся, их концы вылезут из земли и начнут с клекотом втягивать в себя раскаленный воздух.

— Ведра! Веревки! Лопаты! Быстро! — кричал дядя Рууди, превозмогая шум пламени.

Безмолвно стоявшие женщины обернулись.

Когда Мирьям позднее услышала слово «пророк», она задним числом связала его с личностью дяди Рууди. По мнению Мирьям, пророк был именно таким человеком, который умел заставить стремительно биться сердца людей, вывести их из оцепенения. Вот он стоит, ее дядя Рууди, полы меховой шубы распахнуты, кадык будто огромная шишка посреди горла, щеки ввалились.

— Скорее! — гаркнул дядя Рууди. Его поднятая рука резко опустилась. Может, дядя Рууди представил, что в руке у него бич, может, он даже слышал сквозь ветер посвист воображаемой плети.

— Нет воды! — крикнула какая-то женщина.

— Черт! — завопил дядя Рууди. — Тогда мочитесь на огонь!

Женщины замахали руками. Они перекрикивались между собой, рты двигались быстро, будто откусывали воздух. Только что такие отупелые, лица враз оживились. На них перемежались отчаяние с надеждой, неверие с жаждой деятельности. Галдящие бабы кинулись врассыпную, и Мирьям тоже бросилась бежать. Она изо всех сил толкнула ворота, лоб коснулся досок — они были теплыми. Вместе с Мирьям на обледенелую дорожку двора хлынуло красное зарево, жадный язык пламени лизал темноту. Железная крыша дома Мирьям поблескивала на фоне темного ночного неба. Казалось, будто на дом натянули светящуюся шапку. Передний дом разостлал по его стенам и окнам защитный покров своей тени. Белые накрест наклеенные полоски на оконных стеклах придавали заднему дому какой-то глуповатый вид.

С громким стуком за спиной захлопнулась входная дверь. Кромешная темнота на мгновение пригвоздила

Мирьям к месту. Она вытянула руки и стала нащупывать перила. Пальцы коснулись гладкой доски. Теперь, когда нога оказалась на ступеньке, Мирьям захотелось немного поплакать. Скорее! Неужто и сюда донесся голос дяди Рууди? Ведра, веревки, лопаты! Мирьям споткнулась в проходе на узлы, рука, ища опоры, скользнула ладошкой по шершавой штукатурке. Теперь небось содрала кожу до самой кости, подумала Мирьям и яростно прокричала:

— Ведра!

Кто-то схватил Мирьям за плечо. Она стала вырываться, чего они мешают, пожар не ждет.

— Мирьям! — всхлипнула мама.

— Жива, здорова, некогда, — выпалила Мирьям одним духом. Она вырвалась из рук матери и стала ощупью пробираться в свой сарай. Там она зацепилась ногой за какой-то хлам и брякнулась носом в опилки. Мирьям отфыркивалась и ругалась. Когда она поднялась на ноги, как назло, стали дрожать колени.

В подвальном проходе послышались голоса. Люди причитали и охали. Мирьям снова ощутила желание хотя бы немножко поплакать. Огонь не ждет, сказала она себе. Она пинала ногой темноту. Ведро должно было находиться где-то рядом! Сейчас звякнет железо. Однако носок туфли угодил в корзинку, заложенную бутылками. Это так зазвенело, будто во всем доме разом посыпались из окон стекла. Кто-то жалобно вскрикнул.

— Мирьям! — запрещающе встрепенулся беспомощный голос матери.

Мирьям еще сильнее раскачала ногу. Кто ищет, тот найдет. Откуда-то сверху в придачу к найденному ведру скатилась Мирьямина садовая лейка, которую в далекие мирные времена за ее зеленый цвет называли жаболейкой.

— Воды нет, ничего не спасешь, — сказал кто-то на грохот лейки.

Мирьям притопнула ногой на ступеньке и крикнула:

— Тогда мочитесь на огонь!

Хотя Мирьям и пыталась придать голосу бодрость, до выхода она дотащилась с трудом, будто болтавшиеся у нее в руках ведро и лейка были наполнены расплавленным свинцом.

Расставив ноги, дядя Рууди стоял посреди улицы. Лопата поднялась над головой, чтобы тут же со всего размаху опуститься. Брызги льда разлетелись во все стороны.

— Стена!

— Горит!

— Стекла в окнах плавятся!

Женщины старались перекричать шум огня.

Мирьям глянула на стену. Краска пузырилась, в щелях обшивки плясали огненные язычки, малюсенькие, будто пушинки от красной птички. Кто-то швырял в обугливавшиеся доски гнилые картофелины, слышалось шипение. Стоявшие на подоконниках цветы поникли. Мясистые листья сочились зеленым соком.

— Нету спасу, спасу нету, — охала закутанная в большой платок женщина и переступала с ноги на ногу, словно никак не могла дождаться, когда пламя охватит стену.

— Черт! — ругался дядя Рууди. Он в одиночку поднимал крышку сточного колодца. Мирьям пригнулась рядом, из горла у дяди Рууди вырывался свист. Чугунная крышка с грохотом откатилась в сторону.

Теперь женщины усердно взялись за дело. К одному ведру привязали веревку. Ведро шлепнулось в сточный колодец, вверх брызнули помои. Но ведро не погрузилось.

И тут Мирьям проявила самую большую в своей жизни смекалку. Она притащила из-за ворот осклабившийся старый ботинок. Хорошо, что потерявший его бродяжка не снял шнурок.

Ведро, с бульканьем набирая воду, ушло в темневшую глубину и вскоре появилось вновь, дужкой наполовину в синей пене. Помои вылили в другое ведро, которое стало переходить из рук в руки. Последняя в ряду женщина размахнулась, и содержимое ведра плеснулось на тлевшую стену. С обшивки взметнулись в воздух клубы пара. Вот так дом, обрадовалась Мирьям. Он сам задует огонь.

В ход пошли все ведра. Из окрестных подвалов на улицу выбирались жильцы. Теперь уже два ряда людей стояли между сточным колодцем и тлевшим домом. Ведро за ведром поднимали из колодца пенившуюся жидкость. Задыхавшегося дядю Рууди от колодца оттесни-

ли. Водой без передышки окатывали стену. Мокрое пятно все увеличивалось.

Горшок с Розами взобралась по скобам водосточной трубы наверх. Там она обхватила коленками трубу и выливала на стену подаваемые ведра с помоями. С каждым новым ведром Горшок с Розами действовала все более ловко — ее тело выгибалось дугой, и — раз! Мокрая часть стены все увеличивалась.

Мирьям пробиралась сквозь людские ряды, под ногами хлюпала вода. Ведра гремели, помои плескались. Кто послабее, те стояли в сторонке и звонкими голосами поучали работавших.

Мирьям подошла к дяде Рууди и взяла его за руку. От меховой шубы исходил кислый запах.

— Если сгорит воздух, будем все как рыбы на берегу.

Мирьям замерла. Она-то думала, что дядя Рууди беспокоится о бабушкиных домах.

— Гляди, как пламя мечется! — продолжал дядя Рууди. — Огонь вытягивает воздух вверх, гарь опускается вниз, яд входит в кровь.

Дядя Рууди задыхался.

— Огонь уже отступает, — утешила Мирьям. Она чувствовала себя совсем беспомощной. Через улицу возле забора были накиданы узлы и набросаны стулья. Мирьям силком потащила дядю Рууди посидеть там. Стул заскрипел. Полы шубы распахнулись, белые дяди Руудины подштанники были полосатыми от копоти.

Дядя Рууди уперся ладошками в свои острые коленки и уставился на огонь.

Стену углового дома залили как следует. Однако рвения самозваных пожарников это не уменьшило. Горшок с Розами по-прежнему висла на водосточной трубе. Часть ведер вносили в дом, выливали на стену и из окон второго этажа. Те, кто посноровистее, плескал помоями вверх, чтобы окатить получше и под стрехой.

Столб огня, поднимавшийся над тремя горевшими домами, постепенно начал оседать. Опасность миновала. Люди собирались в кучу, хвалили друг друга. Горшок с Розами, усмехаясь, от головешки раскурила свою трубку. Только дядя Рууди устало и безучастно сидел на стуле возле забора, будто он уже тогда знал, что бабушка Клауса сгорела.

## 14

Иногда бывает достаточно один раз чихнуть, чтобы освежить мозги. Прошлой зимой Мирьям как-то возле углового дома сильно расчихалась. Из глаз потекли слезы. Когда приступ прошел, она принялась разглядывать обгорелую стену. По телу снова прошла дрожь. Этот жалкий деревянный домишко грудью встал перед огнем. Мирьям почтительно посмотрела на обуглившуюся местами обшивку дома. Видимо, и у бессловесных домов есть своя душа и сокровенная жизнь, о которой у людей нет и понятия. Дом этот должен бы с благодарностью помнить дядю Рууди. Гляди-ка, в окне весь в ярко-красных бутонах кактус. Мирьям была уверена, что цветок выставлен в честь дяди Рууди.

Дедушка говорил, что каждый должен оставить после себя на земле что-нибудь хорошее. С дядей Рууди как раз и была такая забота, что люди считали его обсевком. Рууди? Ах, это тот долговязый бездельник и балагур, который прожигает жизнь. Так они говорили, ты хоть со стыда сквозь землю проваливайся. Не мешало бы и им порой как следует прочихаться, чтобы освежить мозги. Они же вовсе не помнили, что именно дядя Рууди стащил крышку со сточного колодца и заставил женщин таскать воду. По мнению Мирьям, это достойное дело вполне можно было поставить ему в заслугу. Разве этого так уж мало — спасти один дом? Это же все равно что построить новый!

Но уже тогда, в то хмурое утро, когда огонь унялся и повсюду лежала зола, а в воздухе реяли хлопья сажи, никто и не вспомнил дядю Рууди. Мирьям знала, что дядя Рууди лежит на короткой красной софе, выставив через край ноги и натянув на себя шубу. И все равно дрожит от холода. Мирьям пододвинула стул ему под ноги и со страхом увидела, что черные дяди Руудины носки покрыты белым налетом, будто заиндевели. Страшное предчувствие охватило Мирьям. Люди именно с ног и начинают остывать. Мирьям отгоняла дурные мысли. Старуха с косой и раньше подступала к дяде Рууди, но всегда уходила ни с чем.

В то утро с неба сыпалась сажа. Кое-кто ходил смотреть город и возвращался с мрачными вестями. Горел театр. И надо же им было играть как раз эту историю с домовыми! От заигрывания с сатаной добра ждать нечего. В некоторых местах от целых улиц остались одни развалины, даже трамваи сошли с рельсов, лежат вверх колесами.

Невыспавшиеся люди снова собирались на улице, согревая руки, подвигались поближе к пожарищу. Головешки тлели, из-под золы курился дымок. Мирьям посмотрела на сваленные в кучу узлы возле забора. Какая-то швейная машинка была вытащена открытой, с шитьем под иглой. Всегда запертые, глухие ворота длинного забора были приоткрыты. Лээви тянула шею и выглядывала на улицу. Мирьям не знала, то ли кивнуть ей, то ли не надо. Может, неудобно беспокоить человека, который носит гипсовый жилет. И без того Мирьям пришлось в то утро выслушать, что она просто бессердечный ребенок. Порядочная девочка не бегает при затемнении и под бомбами смотреть кино. Мирьям была поражена, что вспомнили про ее отсутствие. Это же было так давно, когда золотоволосая красавица стояла на кочке и собиралась прыгнуть в омут. Башни златоглавого города сверкали сквозь густой туман — да было ли вообще когда-нибудь такое наяву?

Хорошо, когда человеку ясно, что он из себя представляет. Бессердечный ребенок заложил руки в карманы и принялся рассматривать чужих вымазанных сажей и гарью людей, которые двигались по улице. Кое-кто тащил свой уцелевший скарб в мешке за спиной. Шла какая-то волочившая ноги барышня в шляпе — неуклюжие деревенские валенки на каждом шагу задирали край ее пальто. Рядом с барышней ковыляла женщина с безжизненными глазами, ее меховой воротник был местами опален догола. Куда они идут?

Из-за угла в переулок сворачивали все новые беженцы. Большинство их везло свои узлы-пожитки на санках. Кое-кто из пришельцев находил среди стоявших кучками женщин родственников или знакомых. Кидались друг другу на шею, плакали и смеялись вперемежку. Мы идем из ада, мы идем из сущего ада, повторяли беженцы.

Мирьям больше не в состоянии была оставаться на месте. Внутри у нее что-то окончательно и бесповоротно

перепуталось. Ей хотелось стряхнуть с себя это безликое оцепенение, она сновала среди людей, споткнулась о полоз санок и присела на мгновение на тот же стул, на котором ночью отдыхал дядя Рууди. Перед Мирьям остановилась какая-то женщина, она держала за руку двух мальчиков. Она пристально смотрела на Мирьям, машинально застегивала и расстегивала пуговицы и все повторяла: ни кола ни двора, ни кола ни двора. Женщина уставилась на стулья. Она так и повалилась на сиденье со стоном:

— Где же ты, мамочка моя?

Мирьям сжалась в комочек и крадучись поспешила отойти подальше.

Женщина принялась разбирать узлы, лежавшие рядом со стульями. Будто помешанная: развязала несколько узлов и стала разбрасывать вещи. Она швыряла через голову полосатые нижние юбки, которые опускались, словно парашюты. Через плечо женщины летели полотенца и наволочки, вышитые покрывала и дырявые занавески. Мальчики взяли одну занавеску за оба конца и еще больше разодрали ее. Уж не думает ли эта женщина отыскать в узлах свою мать? Мирьям представила себе, как женщина вдруг вскрикнет: ощупывая кусок ткани, она вдруг наткнется на маленькую сухопарую старушку, которая застыла в сидячей позе. Старушка держит в руках спицы и смотрит поверх очков на собственную дочь. Женщина берет старушку на руки и не знает, что и подумать. Фарфоровая ли это статуэтка или ссохшийся от жары человек?

Женщина вскинула голову и стала топтать разбросанные вещи. За что она только мстила этим тряпкам?

Мирьям не могла больше смотреть на безумство женщины. Она ушла бродить по соседским дворам и садам. Повсюду сновали люди. Мирьям и представить не могла, что в этих домах живет столько народу. Кто-то готовился бежать: хлопая дверями, люди носились между двором и домом, тащили на санки чемоданы. Из какого-то окна вытаскивали мебель. Длинный диван со спинкой рывками соскальзывал вниз, женщины, стоявшие во дворе, были не в силах удержать тяжесть, и диван грохнулся наземь. От удара у него отлетели ножки.

Мирьям расспрашивала людей, не видел ли кто женщины, у которой есть дочь с двумя сыновьями. Той, чьи

стулья и узлы свалены на улице возле забора. На вопросы Мирьям никто не обращал внимания. Может, они просто не слышали? Мирьям сглотнула, в горле застрял комок. А может, у нее пропал голос? Она стащила варежку и провела рукой по губам. Губы были опухшими и шершавыми.

В саду, между яблонями, ломом долбили мерзлую землю. Кого они там собираются хоронить? На краю воронки стояли ванны для стирки, полные домашнего скарба. Хотят зарыть вещи. Под землей ведь самое надежное место. Они собираются спрятать даже время — на куче компоста, подобно перевернутому на спину жуку, лежали напольные часы. Однажды, когда поблизости грохнет какая-нибудь бомба, из-под земли раздастся тиканье. Каждый час из могилы времени будет доноситься бой часов.

Мирьям нигде не сиделось. Она пошла на свой двор и тут же снова захотела выбежать за ворота. Ей пришлось заставить себя заглянуть в окно. За окном стояла бледная бабушка с перекошенным ртом. Занавеска вздрагивала, бабушка держалась за нее дрожащей рукой. Светомаскировка над бабушкиной головой висела в полуопущенном виде. Мирьям решила, что потом пойдет и подтянет черную штору. У бабушки самой не было сил, чтобы потянуть за веревочку.

На улице все еще стояли кучкой и разговаривали бабы. Будто пожар впервые свел их вместе и им теперь жаль расходиться. Кто знает, которую уже трубку выкуривала Горшок с Розами.

Сопевшая Мирьям поплелась за развалины — интересно, какими они выглядят с той стороны? Откуда бы ни смотреть на пустоту, все равно будет пустота. Мирьям поддевала носком золу и постукивала каблуком по обуглившимся головешкам. Она заметила, что чулки у нее были по колено в саже. Мирьям нагнулась, схватила с земли уголек и на ощупь навела себе кошачьи усы.

Она принялась разглядывать полуобгоревший ствол дерева.

— Наша кошка — замарашка... — пробормотала Мирьям. — Черт возьми, — произнесла она, вздохнув. Мирьям хотела было поддеть какую-то кочку, однако нога на полдороге задержалась. Бугорок был с шипами. Мирьям подняла находку и сдула с нее золу. Из малень-

кого горшочка выглядывал малюсенький прелестный кактусик. Она поднесла его к щеке. Как мило он кололся, какая приятная всамделишная боль! Мирьям спрятала цветок за пазуху, как невесть какое сокровище.

Казалось, кактус излучал тепло, у Мирьям даже щеки зарделись. Она вдруг почувствовала голод, и навалилась сонливость. Но отправиться прямо домой она не могла. Надо было осмотреть улицу. Все ли еще топчет тряпки та безумная женщина? Странно, стулья и узлы исчезли. Кто же заново собрал эти выпачканные в саже тряпки? Мирьям направилась к сгрудившимся женщинам, чтобы расспросить о сумасшедшей. Она подвинулась ближе и принялась слушать Елену. Через какое-то время вдруг почувствовала, что клюет от усталости носом, и все равно не могла уйти, не дослушав рассказа.

Когда дрожавшая от холода Мирьям забралась наконец под одеяло, она снова задумалась об истории с Еленой.

Кто бы мог подумать, что и минувшая война была такой тяжкой, хотя тогда и не сбрасывали с самолетов бомбы.

Удивительно, что Елена все так хорошо помнила. Ведь было это так давно, когда Елена, теперь уже совсем старенькая, была еще ребенком. Она даже и думать не думала, что у нее самой когда-нибудь родятся дети: Ауреlия, Валеска и Эке-Пеке.

Мирьям вытеснила из своего сознания лиловые панталоны.

Отец Елены вернулся с фронта домой. Пробыл всего несколько дней у себя на хуторе, как заболела вся семья. Только Елена не заразилась, но ей от этого легче не было. Что мог поделать малый ребенок, когда отец с матерью и сестры с братьями метались в жару и только бредили. В хлеву мычала неухоженная скотина, просто с ума сойти. Отец пришел на какое-то время в сознание и велел Елене бежать к дедушке. Сказать, что всех, мол, скосил тиф. Елена в слезах отправилась в дорогу. Дедушка жил далеко, в соседней деревне. Может, Елене пришлось даже идти сквозь густой лес, вздохнула Мирьям, и озноб вновь потряс ее.

Дедушка оставил Елену у себя. Лечить заболевших отправилась бабушка. Деревенские порога дедушкиного и бабушкиного дома не переступали. Случалось, прихо-

дили по вечерам за ворота и кричали в сторону дома: убери ты этого холерного ребенка из нашей деревни. Дедушка ругался, хватал лежавший возле двери топор и вопрошал: звери вы там или люди?

Елене хотелось обратно домой. Она тосковала по братьям-сестрам и по отцу с матерью. Дедушка уходить никуда не разрешал. Однажды вечером Елене стало тяжело на сердце, она покоя себе не находила. Пойду на немного, только гляну издали, что они там делают, решила она и ушла от дедушки.

В той стороне, где находился их хутор, виднелось зарево. Елена бежала что есть мочи. Кто-то поджег на хуторе все постройки.

Откуда мог отец Елены знать, что вместе со вшами принес из окопов тиф?

Мирьям вздрогнула.

Ей снились вши, которые стояли на привязи возле длинной коновязи. В небе завывал самолет. В небе выли тысячи самолетов.

## 15

В тот раз, когда Мирьям искала в приморском сосняке городских ребят, она поняла, что судьба уже определила свой жребий. Скакавшая Ауреля, похваляясь перед пьяными барышнями и парнями своими лиловыми панталонами, казалось, растоптала в прах все другие шансы, и Мирьям волей-неволей пришлось положиться на Эке-Пеке и Валеску. Мирьям чувствовала себя перед Клаусом обманщицей — она ни разу не обмолвилась об Эке-Пеке и Валеске и не предложила их в артисты. Эке-Пеке и Валеску связывали с Мирьям какие-то весьма запутанные, хотя и невидимые нити. Нити? Сравнение такое потому-то и пришло ей в голову, что Эке-Пеке без конца возился с нитками. Он изводил их километрами. За свое излюбленное занятие Эке-Пеке постоянно получал взбучки, не иначе, как все кости у него уже отбиты. Домашние колотили его за то, что он переводил дорогое добро, окружающие тоже были вынуждены как-то изливать свою злобу, когда Эке-Пеке сво-

ими проделками пугал до смерти ничего не подозревавших граждан. Забавы этого парня могут довести до удара, жаловались люди. По слухам, в доме Эке-Пеке не найти было даже обрывка нитки, повсюду валялись одни пустые катушки. Стоило порваться какой-нибудь одежке — хоть булавкой закалывай, а то просто выбрасывай. Но Эке-Пеке все равно не оставлял своих проделок. Поэтому перед ним держали двери на запоре. Чего доброго, еще придет и очистит коробку с нитками. Никто его за таким занятием, правда, не заставал, но поди знай. Откуда-то он должен был доставать себе нитки.

Многие просто не хотели водиться с Эке-Пеке и за глаза называли его маленьким старичком. Смотреть на него было неприятно: бледный, лицо угловатое, на скулах неопределенного цвета пятна размером со сливу, взгляд острый и цепкий, а вместе с тем какой-то страдальческий, будто у него все время болел живот. Наверное, Эке-Пеке и хотел быть маленьким старичком, иначе с какой бы стати ему носить мужской костюм, который свободно болтался на нем, и этот обвислый, замызганный галстук с туго затянутым на шее крошечным узелком.

В действительности Эке-Пеке звали только Эке, а Пеке просто сорвалось у кого-то с языка и сразу же пристало к парнишке. Все старались всячески отплатить ему за то, что из-за него приходилось таскать с собой в кармане ножницы.

И у Мирьям сердце не раз готово было выпрыгнуть из груди, когда она, пробегая где-нибудь по дорожке или меж кустов, опять запутывалась в нитках, которые натянул Эке-Пеке. Однажды она помчалась на соседний двор, и черная нитка врезалась ей в самые уголки рта, образовав два тонких кровоточащих пореза. Потом она из-за этого долго не могла смеяться.

Так как Эке-Пеке в тот раз тут же попался на глаза обозлившейся Мирьям, она и набросилась на него. Ухватилась изо всей силы за галстук Эке-Пеке и начала колошматить парня куда попало. Эке-Пеке стоял как столб, позволяя избивать себя. Только глаза зажмурил, их надо было беречь, не то в следующий раз не смог бы натягивать нитки. Припадок злости у Мирьям быстро прошел, что за удовольствие колотить бесчувственный чурбан, который совсем не сопротивляется. Мирьям просто не выносила покорных людей. После этого случая она ходила

будто с камнем на сердце. Будто проявила несправедливость к Эке-Пеке. Собственно, так оно и было, ведь Эке-Пеке не нарочно для Мирьям натянул свою нитку. Дня через два Эке-Пеке швырнул ей из-за угла в лицо горсть песка. Справедливость, таким образом, была снова восстановлена.

Отношения с Валеской у Мирьям были еще более запутанными, чем с Эке-Пеке.

В то лето, когда немцы начали войну и всех мужчин забирали в армию, у них у обеих отцы отправились на сборный пункт. Вначале их держали тут же, через площадь, в школе. Вместе с другими Мирьям тоже топталась возле железной школьной ограды, однажды она оказалась там рядом с Валеской. Сзади люди напирали, и их придавили плечом к плечу. Валеска и Мирьям смотрели сквозь железные прутья, как на вытоптанном дворе муштровали мужчин. Любопытно было смотреть на них: все оставались в своих одеждах, на отце светло-серый в черную полоску пиджак, который был узок в плечах — Мирьямин отец продолжал расти и став взрослым, — и все равно они шагали в ногу, как настоящие солдаты. Вот было бы смешно, если и на улицах людей заставляли бы ходить в ногу, и дома раздавались бы одни лишь приказания. Утром — встать! Вечером — ложись! Днем они с Лоори шли бы строем на кухню обедать.

Мирьям прыснула. У маршировавшего отца было суровое солдатское лицо, и чего только они там дурачатся, войны еще и духу нет, одни разговоры. С завыванием пролетал какой-нибудь самолет, сопровождаемый маленькими, похожими на белые хлопья, дымными облачками.

Валеска хотела просунуть голову между прутьями, но ей мешали большие уши. Тоже мне, строит из себя — как будто она станет важнее оттого, что окажется на вершок ближе к своему отцу. Тут-то Валеска и сказала, все еще держа голову между прутьями:

— Теперь мы с тобой одинаковые.

Слова ее остались для Мирьям непонятными. Все дети, у кого отцы были взяты в армию, становились через это событие одинаковыми. Почему же Валеска только себя и Мирьям ставила на весы?

Немного спустя мобилизованных отпустили на короткое время домой, потом собрали снова, на этот раз на

ипподроме. Ипподром был окружен глухим дощатым забором, гладким и высоким, по которому могли ползать разве только мухи. Мирьям выковыряла перочинным ножом сучок и стала обладательницей вполне приличной смотровой щели. У Валески не хватило терпения на такой труд. Она взобралась на плечи Эке-Пеке и попыталась заглянуть через забор. Росту Эке-Пеке на это явно не хватало, и Валеска велела брату, который и без того кряхтел под ее тяжестью, привстать на носки. Эке-Пеке недолго смог продержаться, Валеска соскочила на землю и принялась просто так сновать туда-сюда среди людей. Вдруг она увидела Мирьям. Лицо Валески расплылось в улыбке, нижняя губа оттопырилась, подобно дуге опрокинутой луны. Она встала за спиной у Мирьям и взялась заплетать ей волосы. Заплела две косички и наконец все же убрала руки. Однако она все равно не оставила Мирьям в покое. Мирьям ощущала ее дыхание на своей шее, неприятная дрожь пробежала от этого у нее по спине.

— Мы с тобой одинаковые.

— У тебя нет челки, — буркнула сердитая Мирьям и глянула на Валеску исподлобья. — Какие же мы одинаковые!

За полукружием опрокинутой луны выступили два ряда синих зубов, Валеска ела чернику.

— По отцам, — дружески объяснила Валеска.

Мирьям только надулась.

Слова Валески раздражали ее и, что хуже всего, никак не выходили из головы. Будто гвоздь торчком в туфле. Беспокойство, может, и улеглось бы, разгадай Мирьям, почему ее так рассердила Валескина болтовня.

Когда они вместе тащились от ипподромовского забора домой, Мирьям принялась выкидывать разные нелепые штучки. Возле дороги виднелся затянутый тиной пруд, полный мусора и железного лома. Мирьям, прямо в туфельках, прыгнула в воду, под сердцем даже холодок прошел. К счастью, вода доставала только до колена. Мирьям, хотя ей и было противно, брела по колено в тине среди хлама. Вдруг здесь живут пиявки? Мирьям то и дело поглядывала в сторону Валески — ну, думала она, если мы одинаковые, то не отставай от меня. Валеска улыбалась, словно одобряла ее проделки, но в воду не шла.

Свернув на лесную тропинку, Мирьям начала отщипывать с еловых веток молодые побеги. Она протянула руку и предложила Валеске.

— Бери, знаешь, какие вкусные, — советовала она.

Мирьям, конечно, знала, что побеги успели одеревенеть, время, когда их едят, давно прошло. Все же она закусила зубами хвою, пусть Валеска делает то же, — поди, не дрянь какую-нибудь предлагает. Валеска швырнула побеги через плечо в лес. Жевавшая хвою Мирьям чувствовала себя рядом с ней полной дурой.

А если уж кому дают ясно понять, что у него не все в порядке с разумом, то у бедного недоумка в глубине души обязательно начнет тлеть затаенная злоба.

Потом Валеска забылась, потому что настоящая война вдруг подошла прямо к порогу. Война дотянулась даже к ним во двор, терпкий дым пожаров упорно полз вверх по ступенькам и пролезал, подобно серой змеиной тени, сквозь щели дверей. Крыши стали исполинским барабаном, гремевшим от взрывов и стонавшим вместе с завывавшими сиренами. Неожиданная война вгрызлась и в нутро людей, бабушка говорила, что у нее голова готова разорваться. Война все продолжала трясти да трясти, какая-то жилка в голове не выдержала, и бабушку разбил паралич. И у бабушкиной сестры, тети Анны, видимо, тоже в голове что-то испортилось. Она схватила расписную корзинку, надвинула на глаза платок и исчезла неизвестно куда.

Словно ливневые тучи, проплывали над городом страшные слухи, изливая на каждого черные клейкие мысли. И хотя они своими глазами видели, как отец вместе с другими ушел на пристань, Мирьям все время вспоминался ипподром. Мужчины сгрудившись стояли на поле, подобно пчелиному рою. Они не могли выбраться с ипподрома, так как кругом горел забор. Недаром взрослые говорили, что город находится в огненном кольце.

Однажды утром от натужного завывания глотки у сирен охрипли, и они умолкли. Грохнула входная дверь. Кто-то поднимался по лестнице.

Кто же это там идет отцовской походкой?

В дверях стоял отец, мокрая рубашка прилипла к телу, и штанина на коленке была разодрана.

Полуочумевшие от радости и перепугу, они разом пустились тараторить. Спутавшийся клубок слов отскаки-

вал от стен передней, и Мирьям казалось, что и ее собственная голова взмыла вверх и реет под потолком, уши, будто капустные листья, болтались на ветру.

У мамы подергивались уголки рта, она беспомощно озиралась вокруг, неожиданно лицо у нее прояснилось, и она заторопилась на кухню. Мирьям увидела, как над столом замелькал тот самый большущий нож, который забыл в сосняке у котла солдатский повар. Мама нарезала хлеб. Отец взял в руки ломоть и засмеялся. Он сел, закинул ногу на ногу, голое колено выглядывало из разодранной штанины.

Мирьям отправилась на улицу, чтобы прийти в себя. Ей хотелось объявить на весь мир, что отец вернулся с войны. Никто навстречу ей не попался, и Мирьям вынуждена была как-то иначе выразить свою радость. Она стала напевать, при хорошем настроении песни рождаются сами собой. Мирьям нравилось распевать по собственному почину, можно было что угодно насочинять. Никто не станет выговаривать, что с мелодии сбилась или пропустила куплет.

Росла шишка на сосне,
упала на солдата,
угодила по башке,
вышибла винтовку, —

напевала Мирьям свою песенку. Мирьям не питала пристрастия к тем вымуштрованным песням, где слова должны были обязательно вышагивать в ритме.

В тот прекрасный вечер Мирьям искренне пыталась поверить, что война окончилась. Долго ли люди выдержат такие страшные пожары и разрывы бомб! Мирьям так хотелось быть чуточку счастливой, она старалась забыть про ужасы, о которых сбивчиво поведал отец. Хотя на душе и щемило, она тем более дурачилась, скакала, носилась и напевала свои песенки.

Теперь, задним числом, Мирьям по-разному могла объяснить этот момент.

Дядя Рууди как-то сказал, когда его упрекнули в пьянке:

— Я не водку глушил, а пил большими глотками забвение. — По мнению Мирьям, это были хотя и грустные, но такие красивые и справедливые слова.

Ладно, правда взлетает птицей в небо, ее все равно не поймаешь.

Нынешней умудренной опытом Мирьям тем не менее было приятно вспомнить давнишнюю маленькую Мирьям, которая однажды под вечер в начале войны с простодушным удовольствием сочиняла свои песенки. Маленькая девчушка шла вперед, и песни следовали передом; когда она пятилась, то и песни шли задом наперед:

Положил рыбак на землю рыбу,
накатилась тут волна.
Так за лесом стало море...

Мирьям запнулась, четвертая строчка ускользнула. Чтобы песня не осталась неоконченной, она завершила ее очень просто:

Вот и все.

Дальше Мирьям шла с закрытыми глазами, чтобы интереснее было, и волочила ноги по пыли. Песня рождалась сама собой.

Была затычка в бочке с пивом,
черт в затычке той сидел,
парил над бочкой ангелок
и крылышки почесывал.

Мирьям от собственной шутки сама рассмеялась. Она представила себе, как это ангел в розовом одеянии почесывает крылышки, так что скрип идет и пух белым облаком летает над ним.

Мирьям открыла глаза и увидела, что в двух шагах стоит Валеска и, склонив голову набок, разглядывает ее.

У Мирьям разом выступила в туфельках сотня гвоздей, и все они начали причинять боль.

— Теперь мы уже не одинаковые. Мой отец вернулся! — выпалила Мирьям резким голосом. И надо было этой Валеске оказаться здесь именно в такой счастливый миг! К тому же Мирьям не желала, чтобы кто-то подслушивал ее песни. Потом все равно только и делают, что смеются. Мирьям никак не хотела стыдиться своего счастья.

Валеска стала серьезной. Она сглотнула и покорно спросила:

— Может, он и моего отца видел?

— Вряд ли, — пожала плечами Мирьям. — У кого там в огне было время глазеть по сторонам. Говорит, море горело, пароходы один за другим идут ко дну, кругом кричат и стонут. Мой отец выплыл. Он что рыба, знаешь, вообще ничуточки не боится, пусть море будет хоть десять километров глубиной.

Случалось и раньше, что Мирьям говорила не подумав.

Валеска повернулась и с громким плачем поплелась за ворота. В этот миг Мирьям презирала себя так, что в глазах темнело. Ей хотелось провалиться в какую-нибудь бездну и забыть обо всем.

## 16

Иди! Сострой приветливую мину! Не тяни! — понуждала себя Мирьям. Она никак не могла преодолеть своего строптивого настроения. В воображении она видела нескладную фигурку, которая стоит за воротами Эке-Пеке и Валески. Эке-Пеке накинул на шею бессердечному ребенку нитяную петлю, Валеска в знак презрения повернулась спиной. Мирьям поняла, что она человек нестоящий. Тот, у кого в груди бьется действительно мужественное сердце, способен во имя больших починов забыть про старую вражду.

Мирьям как неприкаянная бродила вокруг домов. Никому не было до нее дела, не у кого было спросить совета. Мирьям с сожалением смотрела на знакомые окна, за которыми некогда жили ее старые друзья. Кто знает, возле каких чужих домов они сейчас бродят, и сердца их готовы разорваться от тоски.

Мирьям уселась на ступеньку крыльца, подперла голову руками и погрузилась в раздумья о своей тяжелой жизни. Легкий ветерок обдувал исцарапанные икры бедной страдалицы.

Вверху, на крытой толем башенке, поскрипывал сделанный дедушкой флюгер. А почему бы не явиться дедушкиному духу, не опуститься рядом с Мирьям и не поговорить бы с ней немного! Мирьям напрягла слух — уж

не дедушкин ли кожаный передник зашуршал поблизости? Глупая надежда, каждый человек должен сам справляться со своими заботами. Разве может усталый дедушка через столько лет все еще водить Мирьям за ручку. Дедушка и без того позаботился о своей семье. Оставил ей крышу над головой и мастерскую: живите да работайте. Для чего же еще рождаются на свет люди? Дедушка не мог предположить, что руки у его преемников окажутся слишком неуклюжими для тонкой работы с железом и что у них к этому нет ни интереса, ни таланта. Мирьям становилась совершенно беспомощной, когда задумывалась о своем будущем. Найдется ли у нее столько же упорства, как у дедушки, чтобы как следует выучиться какой-нибудь работе?

Флюгер скрипнул и затарахтел. Может, это дедушка рассердился, что Мирьям не способна ни на что другое, кроме как с мрачным видом околачиваться на ступеньках крыльца!

Ладно, она пойдет к Лээви. Все какая-то возможность.

Мирьям нашла в углу двора под вербой хороший сук. Что-то нужно было иметь с собой для поддержки. Она оперлась на палку, подобно усталому старику, и медленно вышла на улицу.

Когда Мирьям дошла до длинного высокого забора, ей надоело ковылять. Она побежала, ведя палкой по доскам, так что пошел сплошной треск. Удовольствия хватило ненадолго. Мирьям тут же поняла, что подобные детские проказы не пристали ее возрасту и заботам.

Лээви сама открыла дверь.

— Здравствуй, я пришла к тебе в гости, — улыбаясь, сказала Мирьям. Палку она прислонила к бочке, которая стояла возле угла дома.

От удивления у Лээви вздрагивали уголки рта; видно, она не знала, то ли ей улыбаться, то ли уместнее оставаться серьезной.

Мирьям огляделась в просторной передней. Тут стояла кое-какая случайная мебель, которая, видимо, не поместилась в комнатах. Лээви пошла к вешалке, отвела полы пальто и вытащила из угла стул. Она обхватила его, ее белые руки были такими же тонкими, как и темные ножки у стула. И без того сгорбленная спина Лээви выгнулась совсем дугой. Мирьям топталась на месте как

остолоп какой и догадалась взять стул лишь тогда, когда Лээви вышла на середину прихожей. Одно мгновение Мирьям стояла впритык с Лээви и слышала, как та неровно дышала. Мирьям вопросительно смотрела на Лээви, ожидая знака, куда ей поставить стул. Лээви указала в ту сторону, где на стене висел барометр.

Мирьям уселась, закинула ногу на ногу — так она казалась себе более светской — и решила начать разговор. Взгляд ее упал на коленки, вечно эти ссадины, — у нее запылали уши. Приготовленные было слова разом улетучились, и Мирьям оказалась в затруднении.

Нескладная Лээви прислонилась к продолговатому темному шкафу, и Мирьям показалось, что она сейчас же исчезнет за этой полуоткрытой дверью — забьется, как ягненок от волка, в уголок. На шкафу стоял ящик с крышкой, на его боках летали вырезанные из картона ангелы, с изогнутыми трубами у рта.

Лээви заметила взгляд Мирьям.

— Я могу сыграть тебе пару песенок.

Мирьям благодарно кивнула. Она спрятала ноги под стул и натянула на колени платье.

Лээви привстала на цыпочки и стала поднимать у ящика с ангелами крышку. Заскрипела какая-то пружина, потом раздался громкий щелчок, и крышка, приподнявшись, замерла. Уставшая Лээви натужно дышала, прислонилась рукой к шкафу и осторожно опустилась на корточки. Дверца шкафа стремительно распахнулась и еще какое-то время покачивалась, будто в передней дул сильный ветер. Лээви прижала к груди странные с дырочками круги и улыбнулась Мирьям. Она вынуждена была передохнуть, прежде чем смогла снова подняться. Мирьям не решилась прийти ей на помощь. Вдруг этот ящик с ангелами — самое дорогое у Лээви сокровище? Может, ей бы не понравилось, если каждый станет совать туда свой нос!

Мирьям вытянула шею.

Лээви положила пластинку плашмя в ящик и вытащила прищелкнутую зажимами к крышке рукоятку с деревянной ручкой. Совсем как у мясорубки, подумала Мирьям, только потоньше. Лээви сунула конец рукоятки одному из ангелов между крыльев. Ну вот, подумала Мирьям, теперь ангел распустит свои перья и пустится в пляс. Лээви вцепилась обеими руками в рукоятку и

принялась крутить. Что-то в ящике задребезжало, кто-то пристукнул молотком, повел напильником, и где-то стали царапаться по стеклу кошки. Тут же вдруг в передней зазвучала настоящая музыка.

Лээви работала с полной серьезностью. Мирьям от удовольствия перебирала пальцами ног.

На другой пластинке музыка была куда мрачней, и Мирьям невольно вспомнились слова, которые перед смертью проговорил дядя Рууди:

— Слышите, как черт наяривает вальс?

Черт старался повсюду наяривать свои песенки.

Он даже не стыдился разгуливать по школьному коридору. Мало ли что там он расхаживал в образе ученика выпускного класса, черт на выдумки горазд. С виду так просто, обыкновенная дылда, лоснящиеся волосы зачесаны через голову. Всюду он старался вылезть на глаза. На одной перемене заявился на этаж к младшим школьникам, шел форсистой походкой, задрав нос. Насвистывал и подыгрывал себе на губной гармошке.

Мирьям сразу заметила, что глаза у этого парня, как у кота, с продолговатыми желтыми зрачками. Дело было явно не чисто. Вдруг эта самая дылда и приходила перед смертью дяди Рууди дразнить его своей гармошкой? Ну погоди! Малыши послушно отпрянули, давая сатане с кошачьими глазами дорогу. Мирьям изготовилась, сжала кулачки и в подходящий момент подставила верзиле ногу. Когда сатана, хватаясь за воздух, летел носом вниз, лоснившиеся волосы упали ему на уши, и Мирьям ясно разглядела над приплюснутым лбом бугорки — не иначе как рожки!

Дальнейшее тоже подтвердило, что Мирьям схватилась не с кем иным, как с отпрыском самого сатаны; у долговязого была сатанинская сила: почти коснувшись носом пола, он, словно играючи, вскинулся обратно на ноги.

Кошачий глаз рассвирепел оттого, что прервали его музыку. Долговязый оторвался от пола и приземлился возле Мирьям, — известное дело, ведь у таких под подошвами пружины. Если надо, вскочит и в окно второго этажа. Кошачий глаз запустил свои растопыренные, словно лапки у паука, пальцы в волосы Мирьям и оторвал ее от земли. Мирьям висела в воздухе и чувствовала, как у нее растягивается кожа, совсем как у щенка, даже на

ягодицах потянулась. Долговязый неожиданно отпустил ее, и Мирьям грохнулась об пол с такой силой, что из-под ног посыпались искры. Долговязый не обмолвился даже словом, повернулся и сгинул к своим сатанятам.

Мирьям стояла оглушенная. Когда колесики в мозгу опять пошли в ход, она догадалась ухватить себя за мочки ушей и, потянув с силой, расправила собравшуюся на макушке кожу.

Мирьям была уверена, что скоро ей придется снова иметь дело с тем самым или каким-нибудь другим чертом.

Лээви крутила уже третью пластинку, и через бровь на щеку скатилась одинокая капелька пота.

Мирьям потеряла всякий интерес к музыке. Она подыскивала какое-нибудь доброе слово, чтобы поблагодарить Лээви и отвлечь ее внимание от музыкального ящика. Мирьям кусала губы, ничего подходящего в голову не приходило, казалось, что по дороге сюда она все слова нанизала сквозь буквы «О» на веревочку и оставила связку вместе с палкой возле бочки.

Мирьям вежливо кашлянула, высморкалась и громко сказала:

— Через дорогу, в развалинах, под железной крышкой живет Клаус.

В конце концов, она пришла сюда не музыку слушать, а искать артистов.

Лээви разом отпустила ручку. Из ящика донеслись еще разрозненные звуки, будто какой-то дрожавший от холода человек издал под клацанье зубов немощный писк. Лээви же дула на побелевшие костяшки своих пальцев — уж не ручкой ли ее ударило? Она пытливо уставилась на Мирьям:

— Значит, это не духи там?

— Человек из плоти и крови, в деревянных башмаках, — твердо заявила Мирьям.

Лээви вытянула вперед свои тщедушные руки и подобно лунатику подошла к Мирьям. Ее легкие, как ветерок, пальцы коснулись плеч Мирьям.

Будто ангел из папье-маше, подумала Мирьям, и ей стало невероятно жалко Лээви. Она готова была немедленно вступиться за нее, только ни одного врага под рукой не оказалось. Вот если бы несправедливость жизни обрела, например, вид погнутой железяки! Тогда Мирь-

ям, собравшись с силами, выпрямила бы эту железяку. Дедушка оставил после себя несколько больших молотов.

Лээви наклонила голову, указала взглядом и прошептала:

— Я боялась, что там, под золой, притаились духи и ждут случая, чтобы наброситься на моего отца.

Мирьям заглянула через две открытые в заднюю комнату двери. Там, возле стены, стояла кровать. Головы лежавшего в ней человека видно не было. Скрюченные колени приподняли одеяло. Из-за косяка показалась рука, державшая маленький мячик. Лээви поймала испуганный взгляд Мирьям и объяснила:

— Он сжимает мячик, чтобы мышцы не ссохлись.

Мирьям склонилась к уху Лээви и буркнула:

— У меня нет отца. У Клауса тоже.

Лээви понимающе кивнула.

— Потому-то я и боюсь, — прошептала она чуть слышно.

Мирьям еще раз заглянула в заднюю комнату.

Над кроватью висел льняной коврик. По вышитой синими нитками полоске воды скользили два больших белых лебедя. В середине коврика, там, где лебеди должны были соприкоснуться клювами, сидел черный кот, с красным бантом на шее и прищуренными желтыми глазами. Мирьям вообразила, как кот ночью спрыгивает со стены на пол и от удовольствия выгибает затекшую спину.

— Я никогда не видела такого красивого коврика, — почтительно сказала Мирьям.

— Мамино приданое, — шепнула Лээви. — Я тоже умею вышивать.

— Кот как живой, — похвалила Мирьям.

— У него и имя есть, — прыснула Лээви. — Кот Интс.

— До свиданья, Интс, — пробормотала Мирьям и помахала коврику.

Возле бочки прежние заботы снова всплыли и навалились на плечи Мирьям. Она схватила палку и шлепнула по темневшей в бочке дождевой воде — в лицо брызнули капли.

Выхода нет, как только она ступит отсюда за ворота, придется выкинуть из сердца старую злобу. Очень скоро Мирьям низко поклонится и скажет:

«Достопочтенная Валеска! Уважаемый Эке-Пеке! Да быть вам королевских кровей!»

Понурив голову Мирьям вышла на улицу. Она встала и оперлась обеими руками о палку.

— Мирьям!

На краешке лаза в подвал сидели Эке-Пеке, Валеска и Клаус.

— Где ты бродишь и изводишь время? — выразил свое недовольство Клаус. — Какой из тебя работник! — крикнул он.

Медленно переступая, Мирьям направилась на ту сторону улицы. Она не могла понять, то ли она недовольна, то ли рада. Мирьям прислонилась к цокольной кладке. Уткнула подбородок в золу, поглядела на ребят, у которых из плеч вырастали обгорелые деревья, и промолвила:

— Ну привет, королевский свет!

## 17

Как и можно было предположить, Валеска стала королевой, Эке-Пеке — новым королем, а роль принца взял на себя Клаус. Мирьям, словно бедный грешник, бросала пепел на ветер и дожидалась, что же выпадет на ее долю. Наконец Клаус вздохнул и, глядя Мирьям прямо в глаза, произнес:

— Тебе придется крепко поднапрячься, чтобы не подвести других. Это не шутка — трижды перевоплотиться.

Сердце у Мирьям от испуга екнуло — перевоплотиться?

Впоследствии, когда она все продумала, страх и вправду заполз за пазуху. Невероятно: дух короля, сумасшедшая невеста принца и дуэлянт, который дерется отравленным мечом, — они все должны были уместиться в ней одной! Как же она сможет трижды поменять свою сущность, где взять новые обличья? В последние дни Мирьям ходила потерянная, сердце было переполнено радостью и печалью. Она пыталась представить себя невестой принца — вздыхала и заламывала руки. Когда же

она после таких упражнений глянула в зеркало, то увидела ту же обычную Мирьям — снова челка свисала на глаза и красный от загара нос совершенно неуместно шелушился.

Затем Мирьям попыталась проникнуть в компанию духов. Чтобы самой стать духом, она должна была увидеть эти бестелесные существа. Она не смела действовать опрометчиво, едва ли духи потерпят навязчивые человеческие создания. По вечерам Мирьям скрещивала под одеялом руки и мысленно молила: милые духи, возьмите меня на немножко к себе. И, как назло, засыпала без задних ног, не в состоянии дождаться прихода духов. Утром, когда Мирьям видела, что ночь опять прошла впустую, слезы гнева наворачивались на глаза. Она представила, как духи прокрадывались в комнату и безуспешно трясли ее за плечи. А она и не шевельнулась, храпела да сопела себе, ленивая, как бегемот.

Но однажды ночью Мирьям все же встретилась с духами.

Она и не представляла, что духи такие же прозрачные, как медузы в морской воде. Каждый мог заглянуть другому в душу. Дух ведь все же отличается от человека, который в действительности представляет из себя неправильный кожаный мешок, туго набитый тайнами.

Прежние люди отнеслись к Мирьям довольно дружелюбно. Жалко, конечно, что ей не встретился ни один дух-родственник. Мирьям, как будущему королевскому духу, в потустороннем мире предложили трон — как потом выяснилось, это был венский стул без сиденья. Мирьям провалилась и осталась висеть, с коленками возле подбородка. Духи корчились от смеха, они и не думали, что Мирьям на самом деле своим земным задом опустится на их потустороннее сиденье. Духи помогли Мирьям честь по чести встать, и ничего с ней не случилось, даже больно не было. В царстве духов боли не знали. Земной предшественник одного духа лишился на войне головы, другие духи каждый день шарили в ходах подземелий и искали для своего друга подходящий черепок. В присутствии Мирьям этому духу тоже примеряли одну голову: оказалась не его. Все равно как если бы голову Эке-Пеке навернули Клаусу. Дух без головы махнул рукой и на всякий случай взял найденную башку под мышку — может, посчастливится обменять на свою голову.

Духи пригласили Мирьям за стол и угостили своей пищей. Вот было славное застолье, не нужно было мыть посуду. Прочел страницу и сыт. На третье подали географическую карту, духи водили пальцами по горам и морям, лица смиренные, как у земного духовенства.

Проведя всю ночь в царстве духов, Мирьям под утро вернулась к себе в кровать. Усталость была такой, что Мирьям чуть ли не провалилась сквозь матрас. Она чувствовала, как, несмотря на одолевавший ее сон, улыбнулась — ничего, из нее получится вполне сносный дух короля. Вот, и кровать у нее, как у духов, бездонная.

В тот день Мирьям не могла дождаться назначенного часа репетиции. Она загодя вышла со двора, покружила по огородам и вернулась к развалинам под обгоревшее дерево.

Железная крышка громыхнула, Клаус вылез наружу. Оглядел пепелище, словно бы искал чужие следы. Мирьям решила выждать за деревом, пока Клаус не закончит свои дела.

Клаус прервал свое занятие, подошел к трубе и, расставив ноги, застыл как статуя. Кого он там ждет? Мирьям вытянула шею. Поодаль, через дорогу, на углу мелькнула темная фуражка. Человек приближался. Мирьям забралась на обгоревший сук, чтобы лучше видеть. Теперь голова мужчины уже маячила над цокольной кладкой. Это был господин Петерсон с почтовой сумкой через плечо. Мирьям была с ним знакома с самого раннего детства. Тогда она думала, что господин Петерсон приклеил себе усы. Мирьям хотела с ходу познать все тайны жизни, и любезный господин Петерсон разрешил ей потянуть себя за усы. Мирьям дернула изо всех сил, но щетка усов осталась на месте.

Позднее Мирьям пожалела, что не сумела в тот раз побороть свое любопытство. Как только почтальон замечал ее, он предлагал Мирьям подергать его за усы. Господин Петерсон получал большое удовольствие от того, что мог напомнить Мирьям про ее давнюю глупость.

Мирьям вздрогнула. Клаус лаял, как настоящая собака. Почему он дразнит господина Петерсона? Господин Петерсон остановился — теперь он был словно снимок человека по пояс, видневшийся в обрамлении расставленных ног Клауса. Почему он не грозит Клаусу

кулаком? Наоборот, господин Петерсон вовсе не был задет поведением Клауса. Он грустно покачал головой, его пышные усы обвисли. Поправив сумку, он зашагал своей дорогой.

Мирьям стремительно слезла с дерева. Опять в этом мире что-то шло вкривь и вкось, она должна была немедленно внести ясность. Как это Клаус посмел дразнить господина Петерсона? В другой раз, чего доброго, вцепится почтальону зубами в штанину! Мирьям чувствовала, что ее долг — защитить почтальона. Ведь это именно господин Петерсон в свое время каждый день приносил отцу газеты и письма.

Мирьям бросилась вверх, на кучу камня, остановилась перед Клаусом, руки в бока, и требовательно спросила:

— Почему ты лаял на господина Петерсона?

Клаус изобразил на лице высокомерие и невидяще посмотрел на Мирьям. Понятно, она же имела дело не с обычным человеком — все-таки изнеженный принц высоких королевских кровей. Мгновение спустя Мирьям осознала, что и ей, духу короля, нет причины для смирения.

— Отвечай, о несчастный. Дух короля должен познать всю истину! — произнесла Мирьям, придав голосу басовитость.

Не зря же Мирьям всю ночь бродила по подземелью — духи наделили ее силой духа.

— А разве я лаял непочтительно? — тихо спросил Клаус. Взгляд его был совершенно искренним.

Мирьям пожала плечами.

— Я просто просил его, — объяснил Клаус. — Ведь если просит собака, человек не может оставаться безучастным.

У Мирьям не было причины возражать.

— Я очень просил, чтобы он дал мне письмо.

— От кого ты ждешь письма? — сгорая от любопытства, спросила Мирьям. Роль королевского духа была забыта, и в ее голосе зазвучала человеческая ревность.

Клаус усмехнулся, глаза у него были грустными.

— От отца, — помедлив, ответил он.

— От отца? — оторопела Мирьям.

Клаус отвел взгляд и засунул руки в карманы.

У Мирьям голова шла кругом.

— Или ты думаешь, — выдавил сквозь зубы Клаус и сплюнул в золу, — что я от нечего делать сижу тут в развалинах?

— Но ведь где-то надо жить, — кротко ответила Мирьям, чтобы погасить его раздражение.

Клаус уже не мог удержаться.

— Я — человек особый, — произнес он твердо — в нем снова пробудился принц. — Я на большой сцене ходил колесом. Я пел на радио — меня слушали миллионы людей. Стоит мне только пойти, и меня всюду примут с распростертыми объятиями и скажут: добро пожаловать, вундеркинд. Имей это в виду, — закончил Клаус и перевел дыхание.

У Мирьям от возбуждения задрожали поджилки. Она никогда еще не видела вундеркинда. Теперь она жадно смотрела на Клауса, будто впервые его увидела. Худое и изнуренное лицо Клауса пошло красными пятнами, одна прядка волос возле уха отсвечивала серебром. Среброголовый, с уважением подумала Мирьям. Будто он явился сюда из иного мира! Нет, успокоила себя Мирьям. Духи не ходят в деревянных башмаках с брезентовым верхом. Эта привычная обувь вернула Клаусу обычное человеческое состояние.

— Ты немного перевоплотился, да? — осторожно спросила Мирьям.

Клаус пошарил за пазухой и вытащил что-то из внутреннего кармана. Он нерешительно повернул ладошку к Мирьям. Она наклонилась поближе. Клаус немного отдернул руку, будто дыхание Мирьям могло помутить фотографию.

— Мой отец, — сказал Клаус.

Мирьям стояла в почтительном отдалении и досыта насмотрелась на снимок.

По ее мнению, человек на фотографии должен был быть по меньшей мере всемирно известным артистом. Черный цилиндр, галстук бабочкой, пиджак с блестящими лацканами, невиданной величины махровый цветок в петлице. Странное лицо было у человека: линия губ необычно резко очерчена, будто ее провели карандашом, ни одна волосинка в бровях не торчала, брови явно были напомажены и приглажены дугой. Человек на снимке почему-то рассмешил Мирьям. Она едва не брякнула, что может притащить целую охапку фотографий знаме-

нитых артистов, выбирай себе любого отца. К счастью, Мирьям сумела удержать язык за зубами. Она взглянула Клаусу в лицо — сомнения не оставалось, у него были глаза человека с фотографии.

— Где твой отец сейчас? — спросила Мирьям.

Клаус разгладил шершавую папиросную бумагу и старательно завернул фотографию. Он долго шарил за пазухой, прошло время, прежде чем фотография оказалась надежно запрятанной в потайной карман, видимо запирался на семь замков.

— Если бы я знал, — соизволил наконец ответить Клаус.

— Главное, чтоб был живой, — попыталась Мирьям рассеять явную озабоченность Клауса.

— Главное, чтобы был, — неопределенно ответил Клаус.

Он стукнул ногой по железной крышке и, раздосадованный грохотом, поморщился. Постояв немного так — руки в карманах, спина ссутулена, — Клаус уселся на золу и свесил в подвал ноги в своих тяжелых башмаках.

Мирьям вздохнула.

Клаус сощурился, будто со сна.

— Отец был уверен, что бабушкин дом самое надежное место на свете. Я жду здесь его письма.

— А как же зимой? — встревожилась Мирьям.

— Письмо должно прийти до холодов.

— Разве у тебя нет родных в нашем городе?

— Один родственник есть, — коротко ответил Клаус.

Мирьям вспомнила странную женщину, которая однажды весной расхаживала тут перед развалинами. Может, она как раз и принадлежала к знатному семейству Клауса?

Женщина хромала, но, несмотря на это, передвигалась легко. Ее латаные черные туфли прямо-таки скользили по выщербленной мостовой. Ветер развевал позади женщины ее длинные волосы. На белом исхудалом лице цветками одуванчика светились желтые глаза. Женщина улыбалась, хотя рот ее был обветренным, из трещинок натянутой кожи сочились крохотные капельки крови.

Мирьям шла следом за женщиной, она просто не могла отстать, что-то заставляло ее идти. Может, Мирьям дожидалась незнакомой женщины так же, как тех духов,

с которыми она наконец-то, хоть ненадолго, встретилась в подземелье.

Мирьям пожалела, что у нее не было длинных волос, которые бы тоже развевались на ветру. Зато руки Мирьям протянула вперед, по примеру той женщины, и неважно, что они были пустыми. Она была всего лишь маленькой тенью большой женщины — не было у нее в руках странной метелки, из которой выпали листья, и подавно не знала она, где растут ранней весной ярко-красные помидоры, те самые, что женщина держала на ладони.

Мирьям понимала, что женщина нарочно держит эти рдеющие плоды на солнце, чтобы они не замерзли на пронизывающем ветру.

## 18

В последствии Мирьям удивлялась, как же это она была в состоянии мириться с пустыми и серыми днями. Нередко проходили целые недели, не оставляя после себя хоть малейшего следа или воспоминания. Чудно́, что бесцветные дни походили на отвалы золы, которые стремились обрушиться и похоронить под серыми пластами даже более далекие воспоминания.

Нет, Клаус не был заурядным хвастуном. В нем скрывалась таинственная сила. Какое счастье, что она, Мирьям, встретилась с вундеркиндом! Беспокойство, излучаемое Клаусом, передалось и Мирьям. Мало ли что временами от раздумий пухла голова и порой совершенно простые вещи вдруг казались такими сложными. После репетиций Мирьям приходила домой, валясь от усталости, и все равно не чувствовала безразличия. Каждый должен сам взбираться на вершину горы, со своим прошлым в рюкзаке, — обычно повторял Клаус и говорил, что это слова его отца.

В другой раз Мирьям казалось, что она довольно обрывочно помнила все до сих пор виденное и пережитое. Как хорошо, если бы прошлое было просто большущим темным залом, куда входить нужно смело, зажечь люстры и открыть окна, чтобы все заново осмотреть. Если бы

можно было вернуть ушедшее, она бы не обошла вниманием и самого малого. Раньше казалось, что всему происходящему суждено вечно повторяться. Кто мог подумать, что придет однажды вечер, когда отец не вернется домой.

Кто мог предвидеть, что умрет дедушка и не будут больше расти помидоры. Когда Мирьям крепко зажмуривалась и сосредоточивалась, она еще и сейчас ощущала в ноздях терпкий запах помидорных стеблей. Росные, ворсистые листья шлепали ее по щекам, тяжелые гроздья плодов начинали раскачиваться, когда Мирьям бегала между огромными дедушкиными томатными стеблями. Огородным чудесам не было ни конца ни края — среди зеленых-презеленых вечером плодов утром можно было обнаружить розоватую помидорину. Будто маленькие солнышки сбились в темноте с дороги и попáдали в огород.

Когда они с дедушкой ели помидоры, макая их в сахарный песок или соль, и во сне не верилось, что придут долгие годы, когда она вообще не увидит помидоров, даже издали, на чьей-нибудь ладони.

Дедушка умел отодвигать осень. Мало ли что ночные заморозки проходили по огороду и посыпали траву инеем, все равно пора помидоров еще не кончалась. В углах комнаты, под кроватями и на шкафу стояли ящики, чемоданы и корзины, полные помидоров. В долгие темные вечера, когда на улице стучал надоедливый дождь, лето снова и снова являлось в дом. Улыбавшийся дедушка опять вытаскивал какой-нибудь чемодан или ящик, открывал крышку и велел Мирьям поглядеть, как там живут помидоры. Мирьям откладывала в сторону пожелтевшие газеты и выбирала среди зеленых плодов красные. Эти дедушкины корзины были подобны многоэтажным домам, между бумажных пластов в них жили люди-помидорины. Молодые, зеленые вперемешку со старыми, зрелыми. Чем дальше шло время к зиме, тем больше становилось красных плодов. Когда томаты в этом году кончались, дедушка утешал, что теперь станем ждать новый урожай. Ведь и дедушка думал, что все начнется сначала и будет продолжаться вечно.

Однажды вечером, снимая с помидорин газеты, Мирьям как-то само собой начала складывать буквы заголовков. Получилось непонятное слово: война. Мирьям при-

нялась расспрашивать о его значении, только из дедушкиного объяснения она мало что поняла. Было странно думать, что, если бы дедушка теперь встал из мертвых, Мирьям могла бы ему обстоятельно объяснить, что из себя представляет в действительности война. Совершенно невообразимо, что Мирьям сейчас знала больше дедушки. Дедушка никогда не слышал такого обыденного звука, как сирена воздушной тревоги. Не видел он также висевших на парашютах гигантских свечей, которые в одно мгновение превращали ночь в день.

О многом можно было бы поведать дедушке! Только все это были бы очень грустные рассказы. Знаешь ли, деда, что умерла бабушка; знаешь, что нет больше дяди Рууди? Может, ты помнил бабушку Клауса? Она заживо сгорела в своем доме. Дедушка посмотрел бы на обгоревшие деревья и не поверил бы своим глазам, как не поверил бы он и своим ушам. Тогда пришлось бы ему сказать, что убили отца. Убили? — вскрикнул бы дедушка, обратив к ней свой беззубый рот. Кому он сделал плохое, что его убили? Откуда у него взялись такие злые враги? Мирьям подставила бы плечо, чтобы дедушка оперся о него своей дрожащей рукой. Да, сказал бы дедушка, так и быть, пойдем посмотрим помидоры. Мирьям осталась бы беспомощно на месте, с поникшей головой, не смела бы и глаз поднять. Как признаться, что в войну помидоры не росли, ни одного красного плода нигде не было. Так что же вы ели? — удивился бы дедушка. Довольствовались одной земляникой? Земляника... бедный глупый дедушка, ну как ты ему объяснишь, что даже земляничный дух исчез со свету.

Мрачный дедушка подавленно покачал бы головой, застегнул бы сюртук и сказал бы, что ничего не поделаешь, я вынужден оставить тебя, Мирьям. В таком мире я жить не умею. Угнетаемый тяжестью услышанного, дедушка, пошатываясь, пошел бы своей дорогой, никто не в силах был бы ему помочь. Даже изъеденная жуком-точильщиком палка не дает возможности опереться — с каждым шагом она крошится и становится все короче. Дедушка идет, и полы его сюртука волочатся по золе. Мирьям смотрит ему вслед, и ей хочется кричать от сознания своей вины. Почему ее нынешний мир должен быть столь негодным для жизни?

Дедушка все удаляется и удаляется. Он растворяется

в вечерних сумерках, и никакого утра ему уже не дождаться.

У Мирьям сжимается сердце, ей хочется схватиться за дедушку. Она не может смириться с тем, что уже задолго до рождения ей было на роду написано прожить свою жизнь без дедушки.

Когда Мирьям вновь и вновь вспоминала дедушку среди помидоров, она порой начинала сомневаться в себе. Что она вообще знала о дедушке? Почему только помидоры? Ну да, и помидоры тоже, но ведь дедушка ковал и железо. Дедушка мастерил ружья, изготовленное им оружие он украшал перламутром и искусственным жемчугом, и оно выставлялось на выставках. Однажды дедушка позабыл про еду и про сон, люди, в свою очередь, забыли о его существовании — в руках дедушки рождалось новое ружье. Оно отняло у него куда больше времени, чем сотворение света у господа бога. Невероятно большое ружье было таким мощным, что его надо было нести трем мужчинам. Дедушка взял с собой сыновей и отправился в лесок на болото испробовать свою пищаль. Обеими руками пришлось изо всех сил нажимать на спусковой крючок, выстрел грянул с такой силой, что сыновей расшвыряло по кочкам. Пуля была такая большая, что пригвоздила к дереву случайно шатавшегося поблизости медведя. Бабушка перед смертью рассказывала, что дедушка потом долго жалел о косолапом. Все время он перепрятывал в другое место медвежью шкуру — может, надеялся обмануть память и найти покой своей душе. Недубленая шкура все лысела; когда ее переносили из чердачного угла в дальний угол подпола, она осыпалась бурой шерстью. Больная бабушка, с окаменевшей наполовину головой, уже не помнила, куда же в конце концов подевалась шкура. А вдруг дедушка зарыл ее в землю и насадил сверху помидоры. Почему дедушка не находил покоя? Ружья ведь затем и делаются, чтобы из них стрелять да убивать.

Мирьям общалась с дедушкой непродолжительное время. В те годы дедушка ружей не мастерил. Он занимался повседневной утварью, смертоносное оружие его больше не привлекало. По весне он ухаживал за помидорами. Мирьям вспоминала один поздний вечер, когда дедушка разжигал в саду костер. Он отгонял мороз. Дедушка в тот раз так и не смог уснуть, всю ночь напролет

караулил цветение яблонь. Кто знает, думал ли он в эти долгие одинокие часы о ружьях? Вдруг из какого-нибудь смастеренного им ружья стреляли в человека?

Мирьям давно решила, что когда-нибудь отправится посмотреть на дедушкин большой камень. Он находился далеко, за сто верст, рядом с местом, где родился дедушка. Оба, и бабушка и дядя Рууди, перед смертью говорили об этом валуне. Накануне смерти дедушка сам побывал на своей родине и соскоблил с камня толстый слой мха. Дядя Рууди с каким-то особым трепетом произнес: видите, жизнь настолько коротка, что я так и не повидал дедушкин камень.

Мирьям все выспрашивала бабушку, стараясь узнать, или хоть представить себе, как же выглядел знаменитый дедушкин камень. Бабушка сетовала на плохую память, но все же кое-что вспомнила. Подумать только, в детстве бабушка вовсе и не была знакома с дедушкой, это она потом с его слов должна была составить себе представление. Почему бы близким людям не встречаться сразу, с самого начала, чтобы не тратить попусту время!

С детских своих лет дедушка обращал на себя внимание умелыми руками. Домашние удивлялись, когда изо дня в день возле огромного валуна стали раздаваться удары молотка. Дедушка еще и в старые годы был способен забываться в работе. Пошли тогда родители посмотреть и увидели: на гладком боку камня высечен велосипед. Работа точная и чистая, спицы прямые, будто по ниточке проведены. Вскоре к валуну потянулся окрестный народ, чтобы подивиться дедушкиному мастерству. Люди рассуждали, что если у парня такие умелые руки, то с какой стати он тупит зубило ради мертвой вещи, выбил бы лучше какого-нибудь рогатого черта, богатыря или, на худой конец, русалку. Но нет, дедушка чувствовал, что будущее принадлежит колесу. Его влекли новые времена. В любой миг он был готов усесться в седло высеченного на валуне велосипеда, чтобы нажимать на педали и мчаться за леса и моря.

Мирьям пыталась представить себе молодого дедушку. Постепенно из земли поднимался камень. Щуплый дедушка, у самого ноги в ссадинах, стоял перед гладким боком валуна, с зубилом в одной руке и молотком в другой. Тук-тук-тук — камень прорезали бороздки, подобно тому как морщины появляются на лице человека. Нако-

нец дедушка поднял взгляд на Мирьям — на фоне велосипеда стоял усталый старик, в очках с металлической оправой и в коротких штанишках.

Во всем доме не было ни одной фотографии молодого дедушки.

Нет, Мирьям не смеет умереть раньше, чем увидит дедушкин камень с велосипедом. Может, дедушка высек где-нибудь на камне даже какие-нибудь очень важные слова, которые сможет открыть только острый глаз.

Мирьям решила обострить свое зрение. Завтра же возьмет и сосчитает, сколько листьев на самой высокой ветке ивы.

Это вовсе не было пустой затеей, потому как и это дерево в свое время посадил дедушка.

## 19

С фотографиями их семье, по правде сказать, никогда не везло. В повседневной жизни каждого без конца донимала суета, ни у кого не находилось столько терпения, чтобы надеть выходное платье, вместе выстроиться перед черным ящиком и изобразить на лице подобающую мину. Только однажды они собрались всем семейством — возле дедушкиного гроба. Но так как в руках у фотографа что-то вспыхнуло ослепительно белым светом, то большинство из них зажмурились. Лицо Мирьям получилось наподобие светлой дыры — точно на месте отцова сердца. Кроме семьи на снимке было еще и другое, что любил дедушка. Из стены вытягивала голову косуля, возле кружевной занавеси висел кусочек моря. На ленивой волне покачивалась лодка, солнце на горизонте опускалось в туманную пелену.

После этого уже общие снимки никак не получались. То бабушке из-за перекошенного рта не подобало возглавлять семью, то дядя Рууди угождал в больницу.

Кое-кто из их семьи в одиночку все же бывал перед фотоаппаратом, но большей частью случалось так, что

от непоседливости то ли рот оказывался размытым, или на лице появлялись двойные глаза.

И все же дядю Рууди более или менее можно было узнать по его свадебному снимку. Он стоял выпрямившись на продолговатой фотографии, страшно длинный, так что касался волосами верхнего обреза снимка. Почему-то он надул щеки, или хотел показаться возле невесты полнее и представительней. Фотография много теряла и оттого, что глаза у дяди Рууди выглядели одинаково — вместо коричневого и голубого оба глаза казались серыми.

И от отца остался всего лишь один отчетливый снимок, да и тот из Германии. Отец стоял на берегу водоема, посередине которого возвышался громоздкий серый памятник. Верхнюю часть строения окружали каменные мужчины. Отец рассказывал, что памятник воздвигли на том месте, где некогда народы Европы страшным образом проливали кровь. Мирьям долгое время думала, что вокруг этого гигантского памятного сооружения и расстилается Красное море.

Больше всего сожалела о пробелах в семейном альбоме мама. Она отправляла Лоори и Мирьям по крайней мере раз в году к фотографу. Частенько говаривала, что вот погодите, скоро и отец соберется, мы пойдем все вчетвером и закажем большой красивый снимок нашей маленькой семьи.

В тот самый день, когда отец вечером не вернулся, Мирьям должна была принести от фотографа свой и Лоорин снимки.

На дверях фотографии висел замок. Возле него на ветру трепыхался листок бумаги, где было сказано, что фотограф скоро вернется. У Мирьям упало настроение — то ли дожидаться, то ли уходить домой? Она в нерешительности сделала несколько шагов, попрыгала на тротуаре и стала искать подходящий камешек, чтобы от нечего делать перекатывать его ногой.

Внезапно кто-то сзади закрыл Мирьям глаза. По старому надоедливому обычаю, нужно было угадать подкравшегося человека. Мирьям не любила этой игры, в большинстве случаев она злилась и вырывалась. Сейчас она решила стоять как безмолвная статуя. Когда не визжат, подкравшемуся скоро надоедает. Пускай себе на-

прягает руки, пока они от усталости не опустятся сами собой.

И в самом деле, холодные пальцы слегка задрожали и ладони соскользнули вниз по Мирьяминым щекам. Раздался знакомый смех — Валеска, конечно это она.

Мирьям заставила себя приветливо улыбнуться. Она все еще ощущала свою вину перед Валеской. Надо же ей было хвастаться, что отец выплыл из горящего моря. Вот сболтни, корила себя в мыслях Мирьям, так потом старые глупости будут висеть на ногах как гири.

Мирьям тяготило то, что Валеска, несмотря ни на что, все еще искала с ней дружбы. Глядит на тебя, а у самой лицо расплывается от неподдельной радости. Или Валеска совсем забыла про свое горе и обиду? Ведь она в тот раз с жалостным плачем выбежала за их ворота. Вряд ли ей удалось получить о своем отце какие-нибудь вести. Говорили, что те, кого взяли в армию, все утонули вместе с пароходами.

Мирьям с радостью бы улепетнула, но ей не хотелось выглядеть трусихой. Оставаться на месте было еще труднее: о чем говорить, как вести себя, если на сердце камень. Мирьям подыскивала, чем бы заняться. Пошарила в карманах, высморкалась, уставилась на свою перчатку, из которой выглядывал палец.

Валеске ее молчание не понравилось.

— А знаешь? — спросила Валеска, пытливо оглядываясь и даже принюхиваясь.

Чего это она фокусничает, поблизости нет ни единой души. Тоже мне военные тайны! Глаза Валески бегали по сторонам, она переминалась с ноги на ногу, поджимала губы и время от времени бросала на Мирьям испытующий взгляд. Мирьям не давала увлечь себя этой безмолвной игрой, пускай Валеска пытается распалить ее любопытство. Она будет держать себя в узде, не проронив и звука.

— А знаешь?

Мирьям надоел такой пустопорожний соблазн.

— Знаю, — ответила она.

— Ничего ты не знаешь, — твердо сказала Валеска. — Ты вовсе и не знаешь, что фотограф лиловый .

---

[1] На эстонском просторечии «лиловый» употребляется для обозначения гомосексуалиста.

Мирьям рассмеялась. На мгновение задумавшись, она по-настоящему растерялась. Как это лиловый? Хоть сгорай со стыда, как хочешь верти, но она просто не понимала этого нового Валескиного слова.

— Ах, вот как, — пробубнила Мирьям с деланным безразличием. Ей не хотелось еще раз выглядеть перед Валеской дурочкой.

— Жутко, правда?

— Ну да, — нерешительно ответила Мирьям.

Она почувствовала, что лицо у нее запылало. Просто проклятие какое-то, как только она говорила неправду, сразу краснела. Ведь она сказала неправду, когда подтвердила, что быть лиловым жутко. Чего уж тут поддакивать, если ничего не понимаешь! Произнесенные Валеской полушепотом слова, ее своеобразное кисло-сладкое выражение по-настоящему напугали Мирьям. В самый раз было давать деру. Все непонятное обычно навевало ей страх. Что значит, если о человеке говорят, что он лиловый? Может, это какая-нибудь кожная болезнь? Или его бьет падучая? Брякается на землю и исходит пеной изо рта? Такого Мирьям подумать о нем не могла. Приветливый и милый молодой человек, заверила себя Мирьям, хотя ее отношение теперь и было поколеблено некоторым сомнением. Вежливый фотограф даже беседовал с детьми, он называл Мирьям барышней и никогда не забывал справиться о новостях. В последний раз Мирьям пожаловалась ему, что они никак не могут собраться всей семьей, чтобы сделать общий снимок. Фотограф участливо выслушал ее. Потом задумался. Наконец он веско сказал, что в жизни бывают неотложные дела. Мирьям нравилось, что фотограф всегда разговаривал с ней как с равной. Никогда не смеялся над детьми, не хлопал по плечу и не болтал пустых комплиментов или утешений, чтобы тут же их забыть.

— Потрясающе, правда? — Валеску вовсе не удовлетворяло то, что Мирьям не высказывала своего испуга.

Что ты тут скажешь! Мирьям оглядывала обитую жестью подвальную дверь, на которой висел испещренный ржавчиной замок. Окно ателье было завешено черной занавесью. Вдруг за ней скрывались страшные, таинственные дела? Выражение Валескиного лица и ее голос явно указывали на что-то дурное. Может, фотограф сидит по ночам за черной занавесью с раскаленными щип-

цами в руках и хватает ими кого-нибудь, так что кожа шипит? И все же — почему лиловый?

Вон он идет. Мирьям уже изготовилась, чтобы побежать фотографу навстречу и спросить, что значит лиловый. Нет, нет, Валеска ясно дала понять, что это слово вслух произносить нельзя. Вдруг фотограф страшно рассердится на такой вопрос. Нажмет на потайную кнопку, из трости выскочит острый нож, и фотограф тут же на улице проткнет Мирьям насквозь. В кино показывали, как люди средь бела дня протыкали друг друга штыками. С чего бы и лиловому господину себя сдерживать?

Ее трезвый рассудок полностью погрузился в трясину кошмаров. Мирьям приметила, что, хотя фотограф слегка прихрамывал, он не опирался на трость. Она скорее для виду болталась на руке. Выходит, что трость эта не обычная, а является секретным оружием. Почему фотограф всегда ходит без шапки? Даже зимой, на морозе. Ну ладно, голову его прикрывали крупные светлые локоны — а может, он носил парик? Мирьям представила себе, как молодой человек со злости хватает парик, швыряет копну волос на тротуар — а что дальше? Сейчас произойдет что-то неестественное. Может, фотограф наклонится, процедит сквозь зубы: да, я такой, и покажет свою лысину, всю в лиловых разводах.

На самом же деле на лице фотографа не было и тени дурного настроения. Он весело поздоровался и принялся отпирать замок. Ключ заскрежетал, ноги Мирьям прожгли жаркие струи. Хорошо, что рядом стояла Валеска. Смотри, какая смелая — улыбается фотографу, нижняя губа по-прежнему как серпик перевернутой луны.

Мирьям быстрым взглядом окинула фотографа. Для трудного военного времени он носил слишком красивую одежду. Бархатный воротник сшитого в талию пальто сзади чуточку приподнялся; фотограф явно не жалел труда и, видимо, каждый день отглаживал свои серые клетчатые брюки. Больше всего Мирьям раздражали его белые кожаные перчатки. Ребята говорили, что убийцы и грабители, которые взламывают сейфы, не делают ни одного движения, не натянув перчаток. Из-за отпечатков пальцев.

— Идем же, — сердито сказала Валеска, обращаясь к Мирьям, которая застыла на улице словно изваяние.

Фотограф снимал белые перчатки, стаскивал палец

за пальцем, движения его были резкие и быстрые, будто у клевавшей зерно курицы. Так, между прочим, он спросил, как дела и какие новости.

Валеска сказала, что подох хозяйский пес. Жалко, заключил фотограф.

Обе они получили заказанные снимки.

Мирьям жаждала как можно скорее улизнуть отсюда. Она споткнулась на лестнице. Фотограф подхватил ее за локоть. Мирьям от страха оцепенела.

— Что с тобой? — сочувственно спросил фотограф.

Горло перехватило, оттуда и писка не выдавить было.

Мирьям заметила, что Валеска разводит руками перед фотографом, словно извиняясь и намекая, что ждать разумного слова от этой дурочки нечего.

По дороге домой Мирьям оправилась от своего жаркого испуга. Стало стыдно за себя. Кто знает, чего эта Валеска насочинила. Так можно про всякого сказать, что этот розовый, тот зеленый, а третий вообще желтый. Представляете себе! Все всплеснут руками и станут хором повторять: просто жуть! Мирьям попыталась забыть Валескины слова, но чувствовала, что она уже никогда не сможет непринужденно разговаривать с приветливым фотографом.

Валеска свернула к себе в ворота. Мирьям вдруг охватила злость. Ей хотелось кинуть в Валеску камнем. Но почему? Может быть, Валеска предостерегла Мирьям от чего-то ужасного? Вот тебе и благодарность: платой за доверчивое добродушие оказывается несправедливость. И без того душа Мирьям была не совсем чиста перед Валеской.

Мирьям потопала домой, неведенье душило ее. Лиловый! Что скрывается за этим странным определением?

В последнее время отец начал проявлять интерес к медицинским книгам. Толстые тома на иностранных языках лежали на письменном столе и на ночной тумбочке. Мирьям тоже тайком заглядывала в них. Она и сама не знала, почему листала эти книги тайком, никто ведь прямо ей ничего не запрещал. На заполненных убористым текстом страницах в большом количестве были помещены картинки. Большей частью они изображали голых розовых людей. Ни одной лиловой фигуры в тех книгах не попалось на глаза Мирьям. Но и эти розовые люди были достаточно страшные: у кого на ногах огромные

язвы, у кого тело в нарывах и волдырях. В тех книгах можно было увидеть больные глаза, перекошенные рты, вывороченные суставы, сгорбленные спины — и все равно все люди там были напечатаны розовым цветом.

Мирьям задним числом не раз ломала себе голову, зачем все-таки отец копался в этих книгах? Ведь люди говорили, что он был совершенно здоровым человеком. Кровь с молоком, не то что дядя Рууди, который всю жизнь брал отсрочку у смерти.

В тот самый день, когда Мирьям встретилась с Валеской, отец вечером не пришел домой. На следующее утро они с мамой побежали в больницу. По длинному полутемному коридору несли какого-то человека, который был накрыт синим отцовым пиджаком.

Много раз Мирьям возвращалась в своих мыслях к тому дню, за которым последовала ночь, когда убийца поднял на отца смертоносное оружие. Начиная с того времени жизнь стала не только ужасной, но и загадочной. Светлые моменты ясности и прозрения случались редко. Мирьям верила, что остальные люди куда лучше ее подходят для жизни на этом свете. То ли их направляло чутье, или у них имелись щупы мудрости — подобно щупальцам у жучков — или что-то еще, о чем Мирьям и не подозревала, — во всяком случае, в сложных положениях другие вели себя куда разумнее. Мирьям верила, что другие люди догадывались, что несет с собой будущее, неожиданности не поражали их, подобно молниям.

А может быть, отец, предчувствуя нечто ужасное, искал в докторских книгах картинку своей страшной раны на голове. Почему только он поддался? Человек, который выплыл из горящего моря, не может же смиренно ждать удара.

Истина была на замке, а ключ к нему сломан.

Возможно, фотограф, прятавший руки в белые перчатки, знал, что дни отца сочтены. Иначе почему он сказал, что в жизни бывают неотложные дела.

Все были невероятно умными, даже Валеска соображала с ходу. Иначе с какой стати она все время морщила нос и принюхивалась — очередная новость явно висела уже в воздухе и щекотала ноздри. Валеске не нужно было мучиться сомнениями или заниматься загадками, она знала даже то, что лиловое — не просто цвет.

Мирьям сильно тосковала по своему прерванному

войной детству. Хотелось еще раз постоять в дверях в тот давний зимний вечер, когда мама с папой смотрели в окно и гулко звенели колокола. Родители не замечали Мирьям. Отец положил руку на плечо маме и произнес удивительные слова:

— Послушай, ведь колокола не звенят, они разговаривают. Слышишь: ласково — нежно, ласково — нежно!

По мнению Мирьям, отец говорил очень красиво, хотя колокола и звенели вполне обычно. Мирьям много раз видела, как в звоннице раскачиваются колокола, зимой с них толстыми слоями осыпался иней.

## 20

Репетиции продолжались. Вначале участники спектакля регулярно собирались в подвале у Клауса и учили текст. Будто собрания тайного общества, лаз закрыт листом железа, чтобы случайное ухо не услышало, как они бормочут. После приступили к репетициям на открытом воздухе. Ясно было одно, что от домов следовало держаться подальше. Только и не хватало, чтобы кто-нибудь сказал: смотрите, опять эта шайка собралась, кто знает, что за мерзкие штучки у них на уме. Кроме того, Клаус хотел, чтобы спектакль был для окрестных жителей сюрпризом.

Ни одна посторонняя душа не забредала просто так на отвалы золы, здесь был приют тишины и свободы, будто нарочно созданный для королевского общества.

Мирьям уже не боялась перевоплощаться. Серые горы и без единой травинки земля, на которой валялся железный хлам, сами собой помогали человеку становиться другим. Тут, на зольной пустоши, где поодаль возвышались остатки фабричных стен, похожие на развалины замка, не пристало заниматься пустопорожней болтовней и думать о посторонних вещах.

Клаус помогал Мирьям осмыслить ее трудную роль. Он объяснил, что с этого момента Мирьям — дряхлый старик, у которого уже руки-ноги не сгибаются. Ступать нужно с трудом, но и с достоинством. И пусть Мирьям

забудет, что у нее длинные прямые волосы, с этого мгновения ее затылок прикрывают лишь выцветшие патлы, как и положено старикам. Духу старца не подходят розовые щеки и загар. Клаус посоветовал Мирьям перемазать лицо сажей.

Он велел Мирьям сосредоточиться. До того как подадут знак, дух брел по золе и старался думать о вещах, которые подобали королю. Король обязательно держал лошадей. По воскресеньям он седлал белого коня и ехал в гости к соседнему королю. Они сидели вдвоем на мягких подушках, пили из серебряных бокалов мед, пока не начинало переливаться в животе, вели королевские беседы, обсуждали военные походы и резались в карты. Что же еще мог делать король? Видимо, иногда он выходил к своему народу. Он помогал людям сажать яблони, лечил больных и утешал страдальцев. Народ любил своего короля, как честного и справедливого человека. Поэтому и не было королю в могиле покоя — убийца убил не только его, он лишил народ вождя и оставил принца без отца.

Когда Мирьям подумала об этой несправедливости, на глазах у нее навернулись слезы гнева. Струйки слез размазали сажу на щеках. Глупая, выговаривала себе Мирьям, будто не знаешь, что духи не чувствуют боли. В подземельях не хнычут, душевные переживания — удел земной жизни. Духи занимаются главным образом тем, что терпеливо высеивают правду из лжи.

Дух короля взбирался вверх по тыльной стороне отвала. Это был трудный путь — достичь назначенного места, чтобы возвестить истину. Спекшиеся на дожде глыбы золы скользили и старались сбить с ног карабкающегося духа. Острые камни готовы были впиться в ноги, и без того покрытые ссадинами. Ни одного деревца, ни одного сучка, ухватившись за которые можно было бы легче забраться наверх.

Неожиданно дух появился на гребне горы. Чуточку переведя дыхание, он возвестил о том, о чем и должен был возвестить. Принц стоял у подножья и простирал руки к духу своего отца. Он двинул ногой, обвалившийся сверху пласт золы почти по колено завалил его серым пеплом.

— Это ужасно, невозможно поверить! — воскликнул принц.

Дух воздел руки к небу и, подобно распятому Христу, склонил голову на грудь — так велел Клаус. Дух ждал, пока принц опустится на колени в золу и закроет лицо руками. В этот миг дух должен был исчезнуть. Явившемуся из подземных владений не годилось объясняться пространно, по-земному, достаточно было намека.

Отчаявшийся принц отнял от лица руки, его потрясенный взор искал стоявшего на верху горы духа, — не иначе, ему хотелось еще немного поговорить со своим покойным отцом. Что ушло, то ушло — Мирьям, пыля золой, уже неслась по тыльной стороне горы вниз. Оставшийся в одиночестве принц заламывал руки и впервые произносил свою леденящую кровь фразу:

— Быть или не быть?

Принц сумел задать свой вопрос с такой проникновенностью, что у Мирьям прошла по спине дрожь. Было бы не удивительно, если бы сила этих слов расколола надвое гору золы. Из широкой расщелины появились бы отцы: отец Клауса, приветственно вскинув цилиндр, как обычно, с махровым белым цветком в петлице; рядом с ним шел бы отец Эке-Пеке и Валески в навощенных скрипящих сапогах; сзади, может быть, шагал бы отец Мирьям, не беда, что он придерживает рукой рану на голове. И все они хором восклицали бы: быть, конечно быть, всегда быть!

В последующие дни было много споров об облачении духа короля. С одеждой других действующих лиц было проще — чем красивее, чем лучше. У Валески на шее будет колье из золотой бумаги и золотая корона на голове. Новый король должен носить порфиру. Клаус обещал объяснить, как они смогут подделать опушку мантии под настоящего горностая.

Ну, а дух?

Валеска была убеждена, что мертвых в хорошую одежду не обряжают. И в королевские времена велись войны и не хватало материи. Королева явно отдала новому королю корону, шубу и другую одежду своего прежнего мужа.

Мирьям вспомнилось, что ее отца положили в гроб в латаных брюках.

Клаус был с ними не согласен, он неприятно, как-то надменно, улыбался, но, невзирая на это, позволил всем высказаться. Всегда немногословный Эке-Пеке вошел

в необыкновенный азарт, он сказал, что человека надо похоронить в той одежде, которая была на нем до смерти. Откуда взять другую, лучшую? Да и не принято раздевать покойного. Эке-Пеке вдруг умолк и принялся разглядывать свой костюм. На пиджаке отсутствовала половина пуговиц, широкие штанины были изъедены молью, все в мелких дырочках.

Нельзя все мерить будничной меркой, возражал Клаус. Как-никак они ведь хоронили короля большого государства!

Являлось ли то давнишнее государство большим и богатым, на это сейчас обращать внимание было невозможно. Трудные времена определяли, какая одежда пристала королю и вместе с тем королевскому духу. Они взяли картофельный мешок, проделали в нем отверстия, и дух короля получил себе доставшее до пят рубище. Подгнивший картофельный мешок, по мнению Мирьям, способствовал исполнению роли. Когда Мирьям лезла на гору, в нос ударяло запахом земли и тлена — дух ведь только на немножко поднялся из могилы, запахи подземелья не могли отстать от него.

На затылке у духа свисал пук пакли — не класть же королю в могилу расческу, тем более что в старину в королевских дворцах пользовались для расчесывания исключительно золотыми гребнями. Кому была охота зарывать в землю такую вещь.

Во всяком случае, и Клаус остался довольным, когда он глянул на стоявшего на гребне горы духа короля, над которым проносились низкие облака. Ветер трепал во все стороны пакляные волосы, вымазанное сажей в серый цвет лицо было одного оттенка с полощущимся картофельным мешком.

Ветер прибивал к земле облака, и острые углы горы разрывали их. Дождь лил как из ведра.

Мирьям стянула через голову картофельный мешок. Они бежали во все лопатки. И все равно примчались в подвал к Клаусу промокшие насквозь, дрожащие от холода. Они все вчетвером забрались в снарядный ящик, поджали коленки к подбородку и пытались таким образом согреться.

Дождь стучал по куску жести, которая прикрывала вход, и требовал впустить его. Разве запретишь, вскоре

сверху через лаз струйками полилась мутная водичка, разбрызгиваясь по полу.

— Затопит подвал, придется на ночь подвесить койку к потолку, — сокрушался Клаус.

Мирьям с ужасом подумала, как вода будет подниматься все выше и выше. Ночью в темноте Клаус свесит руку через край снарядного ящика, и пальцы окунутся в воду.

Другие тоже вздохнули вместе с Мирьям, всем пришли в голову тяжкие мысли.

— Мама все корит себя, что не положила отцу с собой теплых носков и заячьей поддевки, — проговорила дрожащая Валеска.

— Так время-то было летнее, когда мужиков брали на войну, откуда она могла знать, что война протянется так долго, — вступился в защиту своей матери, Елены, Эке-Пеке.

— Порой по ночам, когда ветер воет и нет сна, я ясно вижу отца, — прошептала Валеска. — На улице холод собачий и метель. Отец выходит из шеренги, приседает за сугробом, нагибается и начинает прикуривать, чтобы хоть немного согреться. Снег метет стеной и заваливает отца. Другие идут мимо, глаза забиты снегом, и вовсе не видят, что один из них отстал.

— Да вернется он домой, — успокаивает Валеску Клаус.

Наверняка и он думал о своем отце.

У них троих оставалась надежда. Никто из них не стоял в церкви возле гроба своего отца. Какая же она была глупая, что радовалась, когда отец доплыл с тонущего корабля до берега и явился домой. Неведение лучше. Можно было, по крайней мере, надеяться.

Недавно Мирьям увидела на углу улицы Эке-Пеке, который катил рядом с собой большущий военный велосипед. Машина была почти негодной, без шин, голые неровные обода вихляли на камнях. Маленький старичок вцепился изо всех сил в руль и старался удержать покореженный велосипед. Мирьям подбежала ближе, чтобы увидеть, почему это от велосипеда Эке-Пеке доносится такое страшное дребезжание. Привязанная к багажнику корзина была доверху наполнена стеклянным боем. Эке-Пеке остановился и серьезно взглянул на Мирьям из-под насупленных бровей, с которых скатывался пот.

— В городе за разбитое стекло дают целое, — объяснил он.

Мирьям удивлялась вовсе не осколкам, а тому, что за время репетиций Эке-Пеке стал куда разговорчивее и дружелюбнее.

— А мерка для стекла у тебя с собой? — побеспокоилась Мирьям.

Эке-Пеке достал из-за пазухи складной метр и раскрыл его. На нем химическим карандашом были сделаны метки.

Мирьям поддерживала тяжеленный велосипед, пока Эке-Пеке лазил в карман. Она решила, что Эке-Пеке маленький, славный старичок.

— Видишь ли, — доверительно объяснил Эке-Пеке, — если случится, что отец придет ночью, он сможет постучать в стекло. У фанеры звук глухой. А в дверь барабань сколько хочешь, все равно в спальне не услышишь, и звонка у нас нет.

Мирьям кивнула — чего там спорить, у Эке-Пеке у самого голова варила.

— Я немного помогу тебе, — предложила Мирьям и взялась за руль. Они толкали с двух сторон тяжелый велосипед, развалина эта когда-то явно принадлежала солдату-великану. Сиденье находилось точно на уровне ушей Эке-Пеке и Мирьям.

— Ради удовольствия на нем, конечно, не покатаешься, — извинился Эке-Пеке за свой велосипед. — Только ведь и тягло тоже нужно.

— Да, — вздохнула Мирьям. — Была бы сейчас жива извозчицкая белая лошадь!..

Мирьям хотелось рассказать Эке-Пеке, как они на рождество на белой лошади ездили с дядей Рууди на кладбище, чтобы зажечь на могиле дедушки свечи. Звенели бубенцы, и соболиная или медвежья полость укрывала ноги. Может, Эке-Пеке и не понял бы этого. По крайней мере, одного своего дедушки он никогда не видел. Знал только, что тот вернулся из окопов и вместе со вшами принес с собой тиф.

Сейчас, в подвале у Клауса, в голову лезли всякие мысли, и вдруг Мирьям захотела узнать, как звали умершего от сыпняка дедушку Эке-Пеке и Валески.

— Ох, а я и не знаю, — испугалась Валеска ее вопросу.

— Мама всегда говорит: мой отец, мой отец, никогда не называет его по имени, — извинился Эке-Пеке.

— Стыдно слышать, — проворчал Клаус. — Моего дедушку по материнской линии звали Мадисом, он был георгиевским кавалером и погиб в первую мировую войну. Дедушка по отцовской линии, Манфред фон Вальдштейн, умер от инсульта в тридцать восьмом году. Отцовская родословная в нашей семье исследована до первой половины шестнадцатого века.

Мирьям съежилась. Она не видела даже дедушкиного каменного велосипеда и особого представления о своей родословной не имела.

— Что ты говоришь! — удивленно воскликнула Валеска.

— Фон-барон, — насупившись, пробурчал Эке-Пеке.

— Клаус фон Вальдштейн, — задумчиво произнесла Мирьям.

— Будем знакомы, милостивая барышня, — насмешливо промолвил Клаус и постучал носком деревянного башмака по боку снарядного ящика.

Мирьям улавливала раздражение Клауса — тоже мне компания. Что это за люди, которые не знают даже своей родословной. Хотя бы за последние сто лет!

Маленький старичок Эке-Пеке и Валеска, пришибленные, сидели молчком. Сейчас они никак не выглядели королем и королевой.

## 21

После заявления Клауса фон Вальдштейна о своей родословной Мирьям поняла, что она появилась на свет случайно. В сумраке далеких времен какие-то стихийно сошедшиеся люди начали плодить наобум потомков, те в свою очередь сходились с кем-нибудь, пока не появился на свет божий дедушка, а вскоре и бабушка. Бабушка стрекотала на швейной машинке, и дедушка женился на усердной барышне. Родился отец. Когда подошло время, папа с мамой повстречались на углу улицы и вместе отправились дальше

по дороге жизни. Вскоре запищала Лоори — в конце всего этого возникшего наобум ряда стояла Мирьям, которая уже не знала ни одного родственника моложе себя.

Мирьям огорчало то, что у нее не было столь знатной родословной, как у Клауса. Может, потому-то у Клауса и лежал в кармане талер ума и таланта, что за его спиной стояли избранные люди, имена их были вырезаны на ветвях древа времени. У Мирьям в этом плане все было туманно. Даже живые родственники раскиданы по белу свету. Бабушка по материнской линии и тетя после той страшной бомбежки уехали жить в деревню.

Перед войной сюда приехала бабушкина сестра, о которой никогда раньше ничего не говорили. Тетя Анна приехала, а вскоре исчезла, и никто не знал, под каким камнем спит она своим вечным сном.

Занятая думами о загадках родословной, Мирьям с тех пор осматривала все валуны и камни особым, умиленным и изучающим взглядом. Ведь не знаешь, под какой глыбиной покоится кто-нибудь из твоих же предков. Мирьям не могла понять, почему в их семье никогда особо не заговаривали о прародителях, почему никто не заботился о тех, от кого происходил сам. Видимо, все смирились с тем, что оказались на земле случайно и ненадолго и не стоят того, чтобы разыскивать следы предшественников или оставлять следы самим. Вон и дядя Рууди удивлялся скоротечности жизни, он не успел даже съездить и повидать дедушкин камень с велосипедом. Так вот и жила их родня: тот, чья очередь настала уходить, слышал вдруг, как дьявол уже наяривает похоронный вальс, а тут ему и веки смыкать. Этот проклятущий хвостатый старался появляться слишком часто и вогнял их в настоящую панику. После смерти дяди Рууди его двоюродный брат грустно заметил, что дьявол постоянно прореживает человечество и кто-то из наших родственников обязательно попадает ему под руку. Значит, люди подобны деревьям в лесу, старуха с косой скашивает увечных и хилых, чтобы к другим могло подобраться солнышко.

Как и этот двоюродный брат — кто знает, какие ветры носят теперь его, или, может, и на его могилу уже навалили камень.

Когда в их семье пошли похороны, люди говорили: если кладете в гроб покойника — замечайте, окоченелый

он или ослабший. Если тело одеревенело, можете вздохнуть полегче, косая оставит ваш род на время в покое. Но если кости умершего прогибаются, ждать добра нечего. Близкие, опуская в гроб очередного усопшего, внимательно следили за зловещей приметой. Так как ничего хорошего о будущем они узнать не смогли, то старались от него откреститься. Постепенно безутешная правда все же просачивалась. Никто из трех усопших не оставил преград судьбе. Мирьям это очень хорошо знала, и пусть они не делают вид, что ничего такого не было.

Что могла поделать с собой Мирьям, когда, дожидаясь домашних и переживая, что они запаздывают, она всегда думала о худшем. Было жутко представить кого-нибудь из них мертвым, и все равно жизненный опыт навевал ей подобные картины. Когда отец в тот темный осенний вечер не явился домой, они решили, что он пошел выпить с друзьями. После нескольких похорон Мирьям постоянно представляла домашних на носилках, хотя они и возвращались всегда домой.

О дяди Руудином родиче, который объявился во время войны, Мирьям ничего определенного не знала. Если вспомнить, то был он ничего себе человек, хотя его барышня при встречах и портила общее впечатление.

Вначале кузен приходил один и вел с отцом разговоры. Водился он также и с детьми, не отмахивался, как от надоедливых мух. Однажды, когда опять погасло электричество, Мирьям пристала, чтобы двоюродный брат изобразил привидение. И хотя Мирьям знала, что в зубах у него горит карманный фонарик и что он завернулся в обыкновенную простыню, все равно ее охватывала сладостная жуть, когда белая фигура со светящимся лицом махала руками и гонялась за ними по комнатам. Мирьям с визгом убегала, пряталась за мебель и за дверь, но пу́гало всюду настигало ее и хватало за волосы. Конечно, Мирьям выдавала себя криком и смехом, но разве умолчишь, когда тебе так весело! Жалко, что скоро снова дали свет. Запыхавшийся кузен стоял посреди комнаты, простыня от большой возни измялась и с одного угла была испачкана черным гуталином. Недавнее привидение обтерло карманный фонарик платком, а мама сняла с его плеч простыню.

Ясно было одно, что, исполняя роль королевского духа, Мирьям никак не могла брать пример с простого

детского привидения, которое изображал кузен. Жизнь становится все серьезнее, с удивлением думала Мирьям.

В один из давних вечеров двоюродный брат пришел с какой-то барышней. Она не сняла черной бархатной шляпки, только пальто и калоши оставила в передней. Кто знает, почему эта рыжеволосая барышня стыдилась своей макушки, возможно, хотела оставить впечатление, что она вот-вот встанет со стула и отправится домой. Мирьям с нетерпением ожидала, чтобы гостья поступила именно так, но барышня, наоборот, осталась вместе с кузеном у них ночевать. У Мирьям испортилось настроение — ей вовсе не нравилось, когда невенчанные женщины спали с мужчинами. Она презирала этих легкомысленных завлекательниц с той самой поры, когда отец однажды собрался было пойти к одной из таких на день рождения. Хорошо, что Мирьям тогда закапризничала и помешала отцу пойти. Отец потом был явно рад, что не сделал глупость. Мирьям всегда хвалила себя, когда случалось удержаться и не отдубасить какого-нибудь противного типа. Дома тоже говорили, что человеку для того и даны язык и разум, чтобы он все улаживал словами. К тому же было важно, чтобы на душе не оставалось чувства вины, поди знай, когда в ушах зазвучит этот вальс смерти. На том свете уже не сможешь уладить земные дела. Мирьям однажды читала такой детский рассказ, где старик плакал перед смертью горючими слезами из-за того, что когда-то убил со злости собаку.

Ну конечно, кузен много раз ходил со своей барышней к ним ночевать. Мирьям частенько подмывало спросить, есть ли у него законная жена и дети, но взгляд барышни всегда останавливал ее.

Она имела обыкновение смотреть на Мирьям в упор, иногда становилось просто не по себе. Так как барышня болтливой не была, то, видно, поэтому она и пыталась разговаривать с Мирьям на языке взглядов. Она запрещала взором: не спрашивай! Не суйся в чужие дела! Мирьям подумала, что и ей не мешало выучить этот разговор глазами или язык взглядов. Тогда все же сможешь спросить о том, что хочешь узнать. Иногда, конечно, стоит дать кое-кому понять, что лучше помалкивай и не вякай, сиди тихо, твои слова не вмещаются в уши людям.

Мирьям хотелось бы посмотреть, снимает ли все же барышня кузена свою бархатную шляпку, когда ложится спать, — но двери на ночь закрывали. Мирьям могла только представить, как белотелая голая женщина лежит на диване, черная шляпка натянута на глаза, словно кепка.

Двоюродный брат помогал хоронить отца. Барышня принесла матери черную вуаль и сказала Мирьям и Лоори, что не находит слов для утешения. Потом двоюродный брат исчез до следующих похорон в их семье.

Однако кое-что о нем они все же услышали.

Ночью, во время большой бомбежки, какая-то незнакомая Мирьям родственница со своим мужем и дочерью вышли из подвала, чтобы подышать свежим воздухом и оглядеться. Они, видимо, думали, что самолеты уже улетели и этой ночью на земле настал покой. Втроем они стояли в своем саду, когда вдруг туда упала бомба и разметала всю семью. Утром кузен явился проведать их и обнаружил одни клочья от родственников. Он будто бы собрал руки, ноги, головы и туловища в большой мешок и на санках отвез на кладбище.

Люди начали нашептывать, что над их родом висит проклятие. Ну хорошо, если уж им положено по каким-то таинственным причинам в спешном порядке исчезнуть с лица земли, то это злосчастное проклятие могло бы хоть немного смилостивиться и оставить жертвы по крайней мере при руках и ногах.

Иногда Мирьям думала, что, видно, потому тот неведомый доселе двоюродный брат и появился неожиданно во время войны, что предчувствовал свой долг похоронить целую вереницу родственников. Возможно, что он дни и ночи находился в ожидании, и барышню подобрал себе подходящую, такую, которая носит черную шляпу — это соответствующее одеяние, чтобы возиться с покойниками. Правда, мама после говорила, что так как двоюродный брат отца скрывался от немцев, то он просто вынужден был скитаться и присматривать, где бы ему переспать ночь.

Хорошо, что немецкие шпики не напали на его след. Кто бы тогда собрал в мешок останки своих родичей и схоронил бы их? Отец к тому времени уже покинул этот мир, а дядя Рууди метался в жару. Мужчин в доме не было.

Теперь кузен сгинул бесследно. Когда Мирьям становилось очень грустно, она утешалась тем, что можно, по крайней мере, ожидать возвращения хотя бы одного человека. Ничто не запрещает надеяться, что в один прекрасный день кузен постучится в дверь и войдет к ним со своей барышней. Больше Мирьям не будет обращать внимания на запрет во взоре рыжеволосой барышни и обо всем его расспросит. Может, они сумеют вдвоем с кузеном как-нибудь распутать эту родословную, все-таки очень важно знать, от кого же ты происходишь.

## 22

Когда Клаус бранился, у него белел кончик носа. Досталось всем троим. Клаус сказал, что они в жизни ничего не видели, еще меньше пережили; но что куда хуже — они не желают ни думать, ни поглядеть вокруг себя. Тоже мне сумасшедшая невеста, отчитывал он Мирьям, — вывернула глаза, склонила голову на плечо и думает, что это все! Любящую невесту доводит до отчаяния жестокая ложь, которую она ощущает вокруг себя, настаивал Клаус. Мирьям не знала, как ей выразить эту ложь и отчаяние.

Король у Эке-Пеке бесчувственный, словно ломовой извозчик, — душегуб же должен дрожать от страха, хотя он и пытается это скрывать. Валеска кивнула и сказала Клаусу, что ее королева бесчувственная, как извозчичья баба. Точно! — воскликнул Клаус. Королева предала отца принца, но сердце ее истекает кровью из-за принца. Любая мать волей-неволей тянется к своему ребенку. Противоречия разрывают ее душу.

Внимательно оглядев три жалких и обиженных лица, Клаус умолк. Он словно бы понял, что палку нельзя перегибать. Больше того, он как бы начал постепенно раскручивать жесткую, сплетенную из гневных слов веревку.

Кислое лицо Валески стало постепенно светлеть, ну конечно же Клаус прав: она действительно умеет опускать длани на колени с истинно королевским достоин-

ством. Валеска довольно рассматривала свой перстень, в котором сверкал розовый камень, большущий, будто леденец. Клаусу не нравилось, что Валеска расплылась в блаженной улыбке. Он тут же круто повернул разговор. Подавляя раздражение, он объяснял, насколько важна немая игра королевы в том месте, где принц рассказывает ей и королю о представлении бродячих актеров. Чувство вины на ее лице сменяется страхом — Валеска же вместо всего этого безразлично крутит глазами, будто она и не человек вовсе, а букашка.

— А почему королева позволила убить прежнего мужа и взяла себе нового короля? — сердито спросил Эке-Пеке.

Мирьям тоже сказала, что если бы люди всегда жили честно и не убивали бы друг друга, то вообще бы не нужно было таких представлений.

— Глупый, — ответила Валеска брату, — новый король до тех пор щекотал королеву, пока у нее не задурела голова.

Клаус закрыл лицо руками и тихонько застонал. Между пальцев высовывался известково-белый кончик носа. Он бормотал что-то невнятное, покачивался и выглядел маленьким и измученным.

Неприкрытое отчаяние Клауса испугало их: они сидели друг против друга убийственно серьезные и молчали.

Клаус поднялся с чурбака — сегодня они репетировали с Эке-Пеке и Валеской на задворках между поленницами — и со вздохом сказал:

— Что ж, в театре им тоже крепко достается.

Мирьям догадывалась, почему Клаус все время ходил мрачный и легко взрывался. Человек и в одиночку в силах вынести счастье, с горем же другое дело. Как бы ты ни держал себя в руках, горе невольно расплывается, как чернильное пятно. Чему тут радоваться, если почтальон останавливался возле Клаусова подвала лишь затем, чтобы сокрушенно покачать головой. Иногда Клаус оставлял в карауле Мирьям, она кое-как сносила вечно повторявшееся подшучивание господина Петерсона по поводу усов — ради письма Клаусова отца можно было стерпеть чувство неловкости. Так как Мирьям оставалась безразличной к словам почтальона, то шутливый господин Петерсон решил подразнить ее иначе.

Он покрутил ус и спросил: а что, разве Мирьям стала невестой Клауса, что она вместо него дожидается письма? Мирьям обозлилась и резко ответила, что, наоборот, она дух старого человека и явилась временно на землю, чтобы позагорать. Господин Петерсон пожал плечами — он ничего не понял.

Клаус потому оставлял сторожить вместо себя Мирьям, что сам ходил прочесывать город. Он все искал своего отца.

По мнению Мирьям, это был разумный шаг. Повсюду работали военнопленные. Мирьям сама видела их не так уж много, зато возвращавшийся из очередных походов Клаус точно отчитывался, какой работой занимались немцы. В разрушенном городе дела хватало с головой: надо было убирать развалины, чинить водопровод, соединять оборванные провода, разравнивать землю, свозить камни, мостить улицы.

Клаус отправлялся в путь спозаранку, Мирьям казалось, что она слышит сквозь сон, как по мостовой грохочут деревянные подошвы Клауса. Однажды он добрался до дому только под вечер. Ходил за город, туда, где немцы прокладывали шоссе. Клаус до того устал, что едва мог выговорить слово. Он уселся в снарядный ящик, кряхтел и стягивал сапоги. У Мирьям на мгновение поплыли перед глазами черные круги, — таких стертых, в волдырях и ссадинах ног ей еще не приходилось видеть.

Вот так принц, подумала Мирьям, ее сердце от жалости готово было разорваться, и она отправилась собирать листья подорожника. Заодно принесла в своей маленькой зеленой жаболейке теплой воды. Клаус свесил ноги через край ящика, и Мирьям принялась их поливать. Не беда, что вода лилась прямо на пол, в дождь она тоже просачивалась в подвал. Затем Мирьям обложила подорожником большие куски тряпок и обмотала ими больные ноги Клауса. Потом Мирьям принесла Клаусу смородины и хлеба, в утешение заявила — мол, не беда, все пройдет.

У лежавшего с закрытыми глазами Клауса губы тронуло нечто похожее на улыбку, и Мирьям успокоилась. Подорожник был, по ее мнению, самой сильной лечебной травой, с ее помощью она не раз вылечивала свои нарывавшие пальцы. В свое время коленка потому

так и разболелась, что зимой неоткуда было взять подорожник.

Вскоре измотанный Клаус спал сладким сном, и Мирьям вылезла из подвала.

Нельзя было опускать руки только потому, что дальние походы Клауса все еще оставались безрезультатными. Упорство должно было в конце концов принести свои плоды. К тому же можно было предположить, что время от времени военнопленных будут менять, и таким образом через город пройдет половина бывшего войска. Город был настолько разрушен, что работы хватало и своим и чужим. Мама тоже сшила себе брезентовые рукавицы и по вечерам ходила на восстановительные работы.

Почему бы среди такой массы военнопленных не мог оказаться и отец Клауса?

Во время войны русские военнопленные копали на их улице канаву. Мирьям была тогда еще такой глупой, что не могла представить себе, как выглядят дети, которые ждут домой этих людей. Теперь, по прошествии времени, можно было полагать, что они более или менее похожи на Клауса, Эке-Пеке и Валеску.

Русских военнопленных пригнали на их улицу сразу после рождества. Они долбили мерзлую землю, кирки и ломы звенели у них в руках. Пленных приводили еще затемно, за плотным строем шагали два немца в шубах, с черными автоматами на груди. Когда Мирьям впервые увидела конвойных, страх пригвоздил ее к месту. Она знала, что на войне только тем и занимаются, что убивают, — кто сильнее, тот и прихлопывает других. Мирьям стояла на углу улицы, ноги налиты свинцом, и думала, что вот теперь военнопленным прикажут стать у стенки и начнется бойня. Мирьям не знала, почему людей расстреливают именно у стенки, но все время говорили, что того или другого поставили к стенке и расстреляли.

Военнопленным приказали остановиться напротив переднего, выходившего на улицу дома, и стена оказалась у них за спиной. Мирьям хватала ртом воздух. Она представила, как пленных придвинут к цокольному этажу и они закроют своими спинами окна дедушкиной мастерской. Немцы нажмут на спусковые крючки автоматов, из стволов с жутким треском вырвутся пули и про-

дырявят пленным груди. Со звоном посыплются стекла в окнах мастерской, человеческая кровь брызнет на дедушкин верстак, польется на наковальню, и под тисками в углублении пола натечет лужа крови.

Мирьям зажала руками уши и зажмурила глаза.

На этот раз пленных оставили в живых.

В том году стояли такие трескучие морозы, что земля напоминала темный стекловидный камень, который стойко противостоял железу. Со звоном во все стороны разлетались черные осколки, но все же через несколько дней по обе стороны канавы поднялись насыпи — снег, камни и глыбы земли вперемешку.

Однажды утром Мирьям опоздала. Пленные уже успели набросать на свежевыпавший ночью снег комья земли. Какое-то таинственное событие, подобно электрическому току, встрепенуло стоявших по колено в канаве людей. Конвойные с автоматами в руках метались от одного конца канавы к другому и что-то сердито выкрикивали по-немецки. Мирьям заметила, что пленные передают из рук в руки дымящиеся картофелины. Они так здорово поставили дело, что, пока один жевал горячую картофелину, другой, рядом, остервенело работал. Откуда здесь появилась картошка? Видимо, это хотели узнать и немцы, ведь поблизости от пленных не было ни одного человека. Окна выходившего на улицу дома тоже были совершенно безжизненными, как будто обычно столь любопытные женщины в тот момент играли в прятки и забрались под кровать или под стол.

С тех пор было занятно наблюдать, как по утрам идет картофельная война. Какой-то незнакомый благодетель еще в темноте умело припрятывал где-нибудь под глыбами земли узелок с картошкой. Пленные сразу же находили это место и быстро делили между собой горячие картофелины. Немцы бегали по краю канавы, спотыкались на комьях земли, кричали «Donnerwetter!» и выкрикивали всякие другие неприличные ругательства.

И все же конвойные как-то умели не замечать того момента, когда пленные доставали из-под комьев узелок с картошкой. Они поднимали крик, когда пленные уже успевали отправить теплую картошку в рот. Немцы втаптывали каблуками в землю бумажки и тряпки, которые после картошки оставались валяться между мерзлыми комьями. Немцы словно доказывали друг перед

другом свою отчаянную злобу, не иначе как один боялся другого, что тот возьмет и нажалуется начальству.

Когда немцев вышибли, бабы не раз принимались обсуждать подробности картофельной войны. Прикидывали, кто бы это мог пойти на такой подвиг. Причин удивляться было предостаточно — ведь и здешние женщины обычно следовали воззваниям немцев и вязали из серой пряжи, выдаваемой из конторы вспомогательной службы в тылу, для героев восточного фронта теплые носки. Было очень странно подумать, что кто-нибудь из них вечерами работал на немцев, а ранним утром варил для русских картошку.

Поди-ка пойми этих людей — свои и чужие вперемешку.

И немцев невозможно было понять. Заставили пленных вырыть вдоль улицы длинную канаву и так же ни с того ни с сего велели ее снова засыпать. Мирьям своими глазами видела, что ни одной трубы и ни одной проволоки из земли не достали и никакой штуковины не укладывали на дно глубокой канавы.

Мирьям снова вспомнились эти старые загадки, когда она увидела Эке-Пеке у себя на дворе возле поленницы. Он держал обеими руками березовое полено и зубами сдирал с него бересту.

Мирьям вздохнула и подумала, что иногда у нее в голове начинает что-то вязаться узлом.

## 23

Выходило, что Мирьям не понимала даже собственных действий.

Накануне отцовых похорон в доме у них появились привидения. Стоявшие в ряд на полке в шкафу книги вдруг привалились корешками к стеклу. Зеленый абажур настольной лампы закачался, собираясь выскочить из медного кольца. Из-под письменного стола медленно растекалась черная жидкость. И хотя Мирьям понимала, что просто призраки разбили в ящике стола чернильницу, она

нику, все равно было так страшно, что дрожь пробегала по спине.

Мирьям не хотела пугать Лоори и ничего не сказала ей про эти бесовские проделки. Вернее, просто не было сил, чтобы заботиться еще об этих привидениях, — в опухших мозгах, которые со страшной силой давили на череп, так что он скоро должен был разойтись по швам, господствовало лишь одно сознание: отец умер! Чей-то звонкий голос наивного человека слабо возражал: неправда, это невозможно. Вот сейчас стукнет наружная дверь, на лестнице раздадутся знакомые шаги, откроется дверь в комнату и на изразцах печки появится отражение отца. Темная фигура повернет голову, поставит портфель и спросит, что это вы тут носы повесили?

Какой-то ангел прореял утром по комнате и распорядился: не шалить, не бегать, а голову склонить. Мирьям несколько раз садилась и склоняла голову на грудь — по случаю траура человеческие чувства должны быть ко всему прочему глухи.

Но какой-то дьявол тыкал в Мирьям иголками и тормошил за ноги так, что похрустывали суставы. Она пыталась избавиться от этого искусителя и без конца слонялась из комнаты в комнату. Лоори также была не в состоянии, забившись в уголок, безмолвно плакать, она тоже бродила по квартире. Непонятно, почему она средь бела дня так часто натыкалась на стулья, в кухне с грохотом опрокинулся табурет. Лоори держалась от Мирьям подальше. Она словно боялась, что младшая сестренка скажет какую-нибудь глупость, которая была бы неуместна в этот день. Или же ей казалось, что с этого момента вообще запрещено разговаривать. Может, нечистые, навострив уши, прислушивались, чтобы при неуместном слове противно похихикать и удовольствия ради поцокать языком. В тот момент ничего отвратительнее смеха нельзя было себе представить.

Мирьям прошла из кухни в переднюю. В дверной петле пискнула мышь. Нечистые силы вдруг ухватились за половик и попытались вырвать его из-под ног. Мирьям хватала руками воздух. Она пыталась сохранить равновесие, старалась не грохнуться на спину и схватилась за висевшее на вешалке пальто. Когда она назло нечистым расправила половик и глянула в сторону печи, то увидела Лоори, которая вела себя довольно странно.

Сестренка сидела на корточках перед холодным очагом, обе дверцы — наружная и внутренняя — были настежь открыты. Лоори пыталась всунуть голову в печь. Непонятным образом она непременно хотела, выставив вперед ухо, забраться в темноту.

Заслонка в печи была открыта, и волосы Лоори шевелились от тяги, того и гляди этого тщедушного ребенка вытянет через дымоходы и трубу на крышу.

Странное поведение Лоори обеспокоило Мирьям, как будто мало было этих неслышно крадущихся бесов! Мирьям, недолго думая, схватила сестренку за волосы и начала оттаскивать ее от печи. Лоори ухватилась за ручку дверцы — вошедший в нее колдовской дух оказался весьма упрямым.

— Я слушаю, — боязливо прошептала Лоори.

Мирьям опустилась рядом на корточки и в свою очередь ухом вперед принялась залезать в печь. Ну и развели же там нечистые свою свистопляску смерти! Сатанинские отродья бурчали и всхлипывали. Они посвистывали и завывали, шипели и стонали, перекатывались с грохотом, подобно железным бочкам, и шмякались куда-то вниз. Затем раздался страшный шелест, невидимый водопад сносил преграды. Шум и плеск стали громче, теперь нечистым явно придется собираться в кучу и перебираться на новые, более спокойные места.

Мирьям отодвинулась от печи. Она почувствовала какое-то мгновенное облегчение. Она не станет киснуть в углу, а начнет колошматить нечистых. Прежде всего бухнула кулаком по внутренней решетчатой дверце печки. Та защелкнулась. Наружная чугунная дверца закрылась с такой силой, будто по ней пальнули из пушки. От грохота у нечистых должны были полопаться перепонки. И поделом! Нужно им было вылезать в такой тяжелый день из своих щелей, чтобы изводить людей.

Мирьям готова была расплакаться, но сжала зубы. Привидения парили в воздухе над ее плечами и тяжело дышали. Ну погодите! В одной из бутылок хранилась могучая жидкость под названием чернильная смерть. Этому мерзкому духу, который барахтается там в лужице, немедленно придет конец. Пусть убирается скорее, не то будет худо.

Рука у Мирьям дрожала. Чернильная смерть булькала в прозрачной бутылке и поднимала синие пузыри.

Мирьям воинственно оглянулась, сейчас она зальет черную лужу. Ага, как в воду сгинули! Испугались, нечистые!

Зато послышался страшный топот в спальне. Ну, теперь держись и вступай в бой! Мирьям поставила бутылку и схватила длинную половую щетку. Она ползала на четвереньках по спальной, пихала с грохотом перед собой щеткой, гремела ею под кроватями и слышала, как там, в темноте, под ударами глухо шмякали мягкие бока привидений. Мирьям снова и снова била щеткой — сатанинское отродье и всякая другая нечисть получали сполна. Уж теперь-то они уберутся, лишь бы хватило подходящих щелей.

Но нет, эти упрямые прохвосты никак не желали поддаваться. Теперь они стали топотать в платяном шкафу. За полуоткрытой дверью трепыхался подол маминого зеленого платья, желтые цветы на нем горели, как глаза дьявола. Мирьям ухватилась обеими руками за черенок щетки и начала колотить по верху шкафа. Несладко приходилось там этой дряни. Дверца шкафа распахнулась, взметнулись халаты и платья, чего доброго, зацепятся еще за рожки люстры и разорвутся надвое.

Мирьям решила, что хватит. Она пойдет и вытащит чертей за шкирку из шкафа. Их следует потрясти, как пакляную кудель, силы вдруг прибыло столько, что хоть разноси стены.

Мирьям прыгнула, головой вперед, в шкаф, угодила коленом на завязку какого-то узла. Она раздвигала в стороны платья и пальто, исходившие от одежды запахи заставили на мгновение позабыть о нечистых. В ноздри ударило табаком, слегка серой. Какая-то одежка пахла камышами, хотя бездонная воронка прошлого и заглотнула уже в себя летнее море. И все же Мирьям ясно видела, как отец в плавках пружинистым шагом прошел по намокшему дерну, пробрался сквозь ивовые кусты, спрыгнул с дюны, остановился и поддел ногой мяч. Красно-желтый шар взвился в небо, упал на крышу эстрады и отскочил вниз, к загорелым ребятам, которые с криком, размахивая руками, кинулись за мячом.

Они шли по купальному мостику. Отец впереди. Мирьям, стуча пятками, следом за ним. Выгоревшие на дожде и ветру серые доски прогибались под ногами. Мирьям

поглядывала сквозь щели настила на темную воду и на воротнички зеленой тины вокруг нижних стоек.

Волна в конце мостика плескалась о низ настила, обдавая брызгами колени Мирьям. Отец поднял козырьком руку к глазам и оглядел переливающееся море.

— Время учиться плавать, — сказал отец и подбадривающе сжал плечо Мирьям.

Отец не дал Мирьям долго терзаться страхом и скинул ее с мостков в воду.

Мирьям вдруг потеряла слух, вокруг нее пенилась зеленая вода, слепило солнце. Она колотила руками и ногами, отфыркивалась, хватая ртом воду и воздух. Вдруг она выскочила на поверхность воды. Мирьям вскинула голову и увидела рядом с собой отца, который спокойно, точно веслом, вел в воде рукой. Держа ее за купальник, он подвел Мирьям к ступенькам мостка и помог ей подняться наверх.

Мокрая и оглушенная Мирьям дрожала, колени, казалось, сделались ватными. Отец похлопал ее по щеке и сказал:

— Будешь плавать как кит.

Мирьям видела немало картинок с китами, которые фыркали и выпускали из затылка струю воды. Она представила себя верхом на ките, с зонтиком в руках.

Хотелось чихать, но не из-за табачного запаха, это нечистые щекотали ее.

Ее гнев против бесов получил новый заряд. Она била кулаком по одежде, которая висела над головой. В каком-то кармане шуршал коробок со спичками. Мирьям хватала наполненный запахами спертый воздух, будто просеивала чертей. Нечистые должны были испугаться этого яростного напора. Рука Мирьям коснулась чего-то мягкого и теплого.

Мирьям вздрогнула. В руках у нее оказалось Лоорино ухо.

— Дай мне умереть здесь, в темном углу, — хныкала сестра.

Мирьям откинулась в шкафу на спину, твердая завязка узла оказалась как раз между лопаток. Глаза у Мирьям наполнились слезами. Нечистые были недостойны того, чтобы с ними связываться.

— Вылезай, или я отколочу тебя, — процедила Мирь-

ям таким злобным голосом, на какой только была способна.

Они обе выбрались из шкафа. Впереди Мирьям, всхлипывающая Лоори вслед за нею.

Они в полном согласии направились в другую комнату, забрались на диван и подобрали под себя ноги. На полу, казалось, плескалась тинистая вода, кишевшая всевозможными нечистыми тварями, которые обрели образ щелкающих челюстями крокодилов.

Мирьям и Лоори прижались друг к другу, это подействовало успокаивающе.

На столе, на расстоянии вытянутой руки, лежала пачка фотографий киноактрис и киноактеров. Мирьям и Лоори поделили их поровну и стали играть в старую игру, которую придумали когда-то в дождливый вечер. Каждая брала из своей стопки одну фотографию, две фотографии выкладывали рядом, сравнивали и определяли, чей артист или артистка красивее. Владелец более красивого лица получал выигрышные очки. Игра продолжалась, в оценке прекрасного Мирьям и Лоори проявляли исключительное единодушие. И без спора было ясно, что Кристина Сэдербаум превосходит Паулу Весели, а Вилли Форст Пауля Хэрбигера.

Несколько часов они просидели так, прижавшись друг к другу, раскладывая рядышком ослепительные, счастливые лица, вводя в игру все новых — ужасно красивых и безумно прекрасных. Когда фотографии кончались, их снова собирали вместе, перетасовывали, подобно игральным картам, и игра начиналась сначала.

Нечистые сгинули, крокодилы в париках, сплетенных из морских водорослей, уплыли. Мирьям и Лоори опустили затекшие ноги через край дивана, они впивались взглядами в счастливые светлые лица, пока их не затошнило от всей этой красы и блеска. Тогда они оставили фотографии и свернулись в разных уголках дивана клубочком. Сон пришел без сновидений, как будто они выпили какой-то жидкости, под названием смерть памяти.

После Мирьям со стыдом думала о том часе, что они выкрали для сна. Мама была права, когда впоследствии жаловалась другим, что не понимает своих детей. Будто у них сердца нет! В такой день переворошить все жилье, даже в платяном шкафу перевернули все вверх дном.

Когда она вернулась домой, фотографии артистов валялись на полу, а Мирьям и Лоори спали себе спокойным сном.

Вспоминая этот день, Мирьям поняла, что вовсе не следует всему удивляться. Может, у Эке-Пеке знакомые привидения живут под корой дерева и он потому и срывает зубами бересту, что надеется вывести нечистых на свет божий.

## 24

В тот день местом репетиции опять стали задворки дома Эке-Пеке и Валески. Для королевского трона подошли полуразвалившиеся финские санки, ржавые полозья которых поросли лебедой. Эке-Пеке натянул черную нитку между кленом, кустами сирени и столбом — для сцены был отведен небольшой клочок земли. Устройство такого загона встревожило Мирьям. И хотя она понимала, что на настоящей сцене тоже не разгуляешься, все же чувствовала себя скованной. К тому же, надо было думать, живший на верхнем этаже хозяин будет ругаться из-за этого загона. Какое удовольствие наперед знать, что зреет скандал и их погонят отсюда, как из райского сада! Возможно, движения хозяина оттого и были такие угловатые, что он все время боялся наткнуться на Эке-Пекины нитки. Мужчина был еще молодой, а голова у него тряслась, при ходьбе он выкидывал руки далеко вперед, будто хотел вырвать их из плеч. Однажды Мирьям видела, как хозяин тут же на дворе гонялся за Ауре́лией. После каждого скачка его как-то страшно трясло. Шея дергалась, одно плечо выдавалось вперед, и ноги в коленях прогибались. Несмотря на такую тряску, хозяин передвигался довольно проворно, визжавшая от смеха Ауре́лия смотрела, как бы улепетнуть, и убежала в конец сада, в кусты крыжовника. Оттуда доносился легкий смех, пока не взлетела вверх пригоршня мусора и хозяин не зачихал.

Валеска как-то сказала, что хозяин втюрился в Ауре́лию.

Мирьям, которая Аурелию совсем не уважала, решила, что хозяин человек легкомысленный. Тоже мне девка, чтобы глядеть на нее. Что за невеста может получиться из девки, которая в лесу перед парнями скачет в своих лиловых панталонах.

Клаус стукнул деревянным мечом по оружию своего противника. От неожиданного удара у Мирьям чуть рука не отвалилась. Сама виновата, если ты сражаешься, то нечего витать где-то. Принц и его противник принялись неистово сражаться, опилки взлетали вверх, и от азартного топтанья земля под ногами раскалилась.

И хотя оба противника должны были в конце концов пасть мертвыми, принц все же во всем превосходил своего врага. Королева держала в руках кубок с отравленным вином — железную кружку, которую Валеска принесла из дому для такой надобности. Мирьям стало так жарко, что она сейчас, подобно лошади, осушила бы целое ведро воды. Мирьям опечалилась: искусство перевоплощения оказалось таким неуловимым; она невольно брала верх над образом — у нее не было никакого намерения протыкать Клауса мечом, как того требовал ход пьесы.

Наконец устал и Клаус и дал отдых остальным. Принц и его противник кинулись навзничь на траву. Король с королевой остались сидеть на санках. Мирьям приподняла голову, она услышала, как лопнула нитка ограждения. С тарелкой в руках к ним шла улыбающаяся Аурелия.

Лицо у Аурелии было из тех, что быстро улетучиваются из памяти. Поэтому Мирьям принялась снова и с интересом разглядывать Аурелию. И что только хозяин нашел в ней? Может, он, наоборот, ненавидел Аурелию и со злости гонялся за ней! Когда Аурелия в крыжовнике швырнула сором, хозяин пытался ухватить ее. По его угловатым движениям было трудно понять, хотел ли он обнять Аурелию или ударить. В сознании Мирьям и раньше мешались чувства расположения, отвращения и корысти. В первом классе Мирьям провожал один мальчишка, который нес ее портфель. Мирьям гордилась: смотри, какой кавалер. Потом выяснилось, что мальчишка просто хотел скатиться на ее портфеле с горы — свой портфель приходилось беречь, строгая бабушка не разрешала портить вещи.

Мирьям разглядывала Аурелины волосы, кончики их были опалены щипцами для завивки. Аурелия вся рделась, не помогало и то, что она усердно обмахивалась носовым платком. Подав тарелку Валеске, Аурелия опустилась на траву.

Она подтянула колени, обхватила их и откинула голову назад. Аурелия отдувалась, только у человеческого дыхания нет такой силы, чтобы разбудить ветер. Форсунья, подумала Мирьям. Видно, ходила всю зиму в тоненьких чулочках, иначе бы икры не были в лиловых разводах от мороза. В лиловых? Лиловые? Мирьям все еще мучило это слово, смысл которого оставался неясным.

— Меня одолела такая страсть к пряникам, что не было мочи выдержать, — вздохнув, сказала Аурелия, будто сожалела, что поддалась своему желанию. — Попробуйте, дети, — предложила она.

Валеска протянула тарелку Клаусу и Мирьям. Экс-Пеке старательно уминал, так что даже скулы двигались. Ну и жевалка у него! Мирьям глядела на остальных, и у нее потекли слюнки. Ей попалась под руку лошадка. Просто удивительно, что Аурелия удосужилась в середине лета испечь такие чудесные пряники. Дома у Мирьям даже на рождество пекли только обычные звездочки. И без того хлопот хоть отбавляй. Целую неделю приходилось выпаривать свекольный сок, прежде чем получался стакан горчащего сладковатого сиропа. Мирьям пошевелила большим пальцем и заметила, что у пряника-лошадки есть на лбу даже лиловый глаз.

Тайна лилового цвета наседала на Мирьям с какой-то кошмарной навязчивостью. Раньше чем откусить, Мирьям поглядела на оставшиеся на тарелке пряники. Там лежали вперемешку всякие зверюшки. Петушки, курочки, зайчики и слоники с маленькими хоботками — у всех одинаковые фиолетовые глаза.

— Такое напало желание на пряники, как болезнь какая. Пусть, думаю, хоть весь свет перевернется, но я должна эти пряники испечь, — вздыхая сказала Аурелия, а сама все отдувалась да раскачивалась.

Мирьям выковыряла у своей лошадки-пряника глаз и уронила его в траву. Теперь можно было и заморить червячка. На самом деле, это вовсе не такая уж плохая мысль — испечь в середине лета пряники. Надо же ино-

гда делать что-то по своему хотению и не думать о том, что принято.

Дети уплетали пряники, пока тарелка не опустела. И только Аурелия оставалась безразличной к пряникам, но это никому из угощавшегося королевского дома в глаза не бросилось.

Мирьям положила голову на траву и ощутила приятную истому. Пальцы нащупали в траве деревянный меч, и Мирьям мельком глянула на Клауса. Слава богу, даже он, видимо, забыл о том, что сражение осталось неоконченным. Они еще не успели нанести друг другу смертельные раны. А что, если переделать пьесу? У зрителей явно было бы легче на душе, если бы принц и его противник остались в живых.

Маленький старичок покачивал перекинутой через ногу ногой, широкая штанина болталась. И Валеска тоже легла на траву, положив голову на колени Аурелии. Старшая сестра поглаживала белесые волосы младшей, она взяла прядку и будто кисточкой щекотала сестру в уголок рта. Валеска фыркала и смеялась. Лицо у Эке-Пеке посуровело, он бросил на сестер враждебный взгляд и ослабил под горлом свой засаленный галстук.

— Бабы ничего другого и не умеют, как только мурлыкать, — проворчал маленький старичок.

Аурелия провела языком по сухим губам.

— Иди и ты ложись, — сказала она приветливо.

Эке-Пеке разостлал на траве пиджак и растянулся на спине. Аурелия протянула руку, чтобы погладить брата по волосам, но Эке-Пеке резко отдернул голову, и сестра оставила его в покое. Все лежали и потягивались. Несмотря на свой невеликий возраст, им хватало опыта, чтобы осознать, сколь непродолжительное время в здешних краях стоит теплая погода. Едва ли кто прямо думал об этом, жара и без того делала свое дело и вдобавок ко всему пеленала сладковато-горькими запахами. Там были вперемешку ромашки и пряники, крапива и сныть.

Все в этот миг было вроде бы совершенным, и все же какая-то мысль искала себе исхода. Возможно, что и кто-то другой из лежавших на траве ощущал то же неясное беспокойство, что и Мирьям. Будто здесь пыталась кружить какая-то букашка, у которой вместо крылышек были льдинки, какие таяли на жаре, — она погибала раньше, чем успевала долететь до места.

Мирьям приподнялась и огляделась. Строптивое лицо Эке-Пеке с печальными складками на лбу помогло Мирьям в какой-то мере добиться ясности. Может быть, парня мучила не только печаль по отцу, который не вернулся с войны, но раздражали еще и сестрины нежности. В здешнем краю Эке-Пеке был не единственным, у кого при виде нежности по лицу пробегала тень неприязни. В самом деле, ведь и Мирьям никогда еще не опускала кому-нибудь голову на колени. Она не припомнит, чтобы кто-нибудь тут с восхищением говорил о любви. Лишь отец произнес когда-то, под перезвон церковных колоколов: «Ласково — нежно». Мирьям вспомнила, что и ей по-своему было стыдно это слышать. Почему надо стыдиться доброты? От удивления Мирьям приподнялась и села. Такие открытия не каждый божий день приходят человеку в голову.

Вдруг Мирьям, словно бы впервые, увидела облинялые дома за остатками покосившегося забора: ясное небо прижимало к земле тусклые, давно не смоленные крыши. В садах рядом с живыми стояли мертвые яблони, они будто напоминали о людях, которых уже нет, но чей внутренний мир другие неуклонно продолжают носить в себе. Старые рассохшиеся бочки, в щелях которых росло некоторое подобие мха, стояли среди лебеды и крапивы — будто отверстия входов, что вели в подземелья к знакомым духам. Тут, на удобренной золой почве, росли кусты крыжовника, растопырив во все стороны свои ветви, и из года в год плодоносили черными, в парше, кисловатыми ягодами.

Мирьям всеми своими чувствами понимала, что принадлежит именно к этому ландшафту. Сознание этого нисколько ее не обрадовало. Она чуяла, что Эке-Пеке давно до нее понял, какое влияние оказывает на человека окружающий пейзаж, частью которого он является. Эке-Пеке давно и насовсем принял как исконно свое то неопределенное, что витало в здешнем воздухе. Мирьям снова растянулась на траве, невесомый воздух с кошмарной силой сдавливал ей грудь. Мирьям казалось, что она начинает медленно, подобно бабушке, каменеть. Ничего не поделаешь, и у нее здешнее обличье, как у многих других и особенно у Эке-Пеке. Маленький печальный старичок, казалось, как грибок народился на свет на этом самом дворе — среди одуванчиков и подорожников.

Мирьям представила себе, как Эке-Пеке через некоторое время вытянется настолько, что сможет забраться в седло старого военного велосипеда и поедет, грохоча ободами, по бесконечной разбитой дороге, натянув на уши серую истрепанную шляпу.

Они все лежали на спине, Аурелия тоже растянулась и шевелила пальцами ног. Валеска тихонько засмеялась и сказала:

— Теперь мы все одинаковые.

Валеска, видно, была права. На этот раз у Мирьям не было причины возражать ей.

## 25

Однажды вечером мама взялась за воспитание Мирьям. Мирьям знала, что мама человек основательный и разговор предстоит долгий и поучительный. Поэтому она уселась в уголке кухни на стул, вытянула ноги, повинно опустила голову и принялась разглядывать свои ссадины. Этот шрам на коленке останется теперь уж, видно, до самой смерти. Ничего, утешала себя Мирьям, зато на ней уж имеется надежная метка.

Мирьям услышала, какой она плохой ребенок. Мама сказала, что у них и без того жизнь тяжелая, а Мирьям только прощелыжничает, да еще водится с такой подозрительной личностью, как Клаус. Эке с Валеской тоже неподходящая компания, их сестра Аурелия — недостойная девица. Мирьям и без того растеряла хорошие манеры, порядочный ребенок не является домой грязнулей, одежда вымазана золой, лицо в саже. Да и на траве нечего валяться, можно перепачкать платье. Откуда только взять столько мыла, чтобы держать в чистоте одежду такой неряхи, как Мирьям! Она уже не маленькая, могла бы заняться чем-нибудь полезным. В старину такие большие дети уже давно все сами делали, а Мирьям ленится даже полы вымыть, да и ни к чему другому рук не прикладывает. Разума-то на копейку, да и не прибавится, если человек не хочет заниматься работой.

Женщины в доме явно донесли маме, что Мирьям без конца снует в развалинах да лазает к Клаусу в подвал. Проклятые шпики, в сердцах подумала Мирьям. Не дают человеку покоя. Развалины были, по мнению мамы, самым страшным местом, куда ребенок ни в коем случае не должен был совать носа. Там обитают всякие проходимцы и бродяги. Шаткие остатки стен могут каждый миг обрушиться на голову. Несколько человек, говорят, так и завалило кирпичами насмерть. Достаточно свалиться всего одному камню, и даже такая твердая башка, как у Мирьям, не выдержит удара.

Вдобавок ко всему в развалинах попадается взрывчатка, в городе в одном месте во время восстановительных работ из-под золы откопали даже бомбу. Хорошо еще, что никто на нее не нарвался.

Последней каплей, переполнившей чашу маминых забот, было то, что Мирьям отправлялась вместе с Клаусом бродить по городу.

После смерти отца мама как огня боялась всяких подозрительных людей. В смутные военные времена на поверхность всплывает разная нечисть. И теперь еще говорят о головорезах, разбойниках и просто убийцах.

К тому же Лоори все еще находилась в санатории, и и за Мирьям не было присмотра со стороны старшей и более разумной сестры.

Мирьям решила взять себя в руки и стать лучше. Она мыла и скоблила в кухне и гонялась по комнате за пылью. В довершение всего она добровольно решила отправиться в очередь за сахаром — таким способом и она сможет облегчить существование семьи.

Однако благородные вечерние замыслы не так-то просто оказалось претворить в жизнь утром.

На рассвете мама потормошила ее за плечо, и Мирьям увидела во сне, будто едет в поезде. Затем мама брызнула ей в лицо водой, Мирьям лишь отряхнулась, оглядывая закрытыми глазами морской берег и купальный мосток, откуда отец сбросил ее в воду. Наконец матери не оставалось ничего другого, как вытащить Мирьям из постели. Мирьям еще минуту-другую спала на ногах. И что за свинцовый сон одолевал ее. Она бы так и брякнулась на пол, если бы мама не поддержала ее под мышки.

Наконец Мирьям проснулась от маминого смеха.

Благодаря трудной побудке утро началось весело. Мирьям отхлебывала несладкий злаковый кофе и слушала рассказ матери о том, как Мирьям, когда была двухлетним карапузом, однажды свалилась с кровати и спокойно продолжала спать. Мирьям поняла, что если маме придется когда-нибудь похвалиться своим ребенком, то она сможет выложить козырь — рассказать о ее богатырском сне. Ничем другим Мирьям не отличалась.

Она спрятала продовольственные карточки и деньги в карман, взяла под мышку складной стульчик и на восходе солнца побрела в очередь к магазину.

Подойдя к серому оштукатуренному магазину, Мирьям от изумления присвистнула. Она-то думала в своем простодушии, что поднявшийся в такую рань человек должен непременно оказаться в числе первых. Прежде чем встать в конец очереди, Мирьям подошла к входу в магазин, где, как пчелы возле летка, сновали женщины. Тут явно толкались главным образом те, кто считал, что имеет право пройти в магазин без очереди. И в самом деле, кое-кто баюкал пищавших младенцев. Только Мирьям знала и то, что бывают даже такие, что пристраивают себе из подушки живот или приносят с собой запеленатую куклу.

Мирьям направилась в конец очереди и попыталась сосчитать людей. Из этого ничего не получилось. Много было таких, кто не мог устоять на месте. Они то и дело сновали туда-сюда. Протянувшийся от угла дома высокий забор покосился. Разве выдержать столбам, если люди в очереди каждое утро будут наваливаться на забор! Стоявшие в ряд женщины жались друг к другу, будто их щипал мороз и им нужно было согреться.

Мирьям вздохнула, поставила стульчик возле забора и села. Над ее головой колыхался подол чьей-то юбки. Под ним виднелись подколенки, где пульсировали толстые синие жилы.

Мирьям повернула скамейку, теперь ее спина опиралась о забор. Сидеть можно, успокоила она себя, уперла локти в колени и уставила подбородок, в свою очередь, на ладони. Как-нибудь стерплю, тем более что между верхушками деревьев стало проглядывать солнышко. Яркий свет бил в лицо, и Мирьям зажмурила глаза. Еще бы подушку под спину, и можно было бы неплохо вздремнуть. Тут же Мирьям постаралась отогнать дрему — кто

ее разбудит, когда подойдет время и очередь начнет двигаться. Мирьям со страхом подумала, как напирающие сзади начнут топтать спящего на скамейке человека.

Две женщины широким шагом подошли к Мирьям и строго уставились на нее. Они заявили, что стояли тут еще задолго до того, как сюда пришел этот ребенок. Мирьям вынуждена была подняться, чтобы отодвинуть скамейку. Подошедшие прислонились спинами к забору и выставили свои лица на отвоеванное у Мирьям солнышко. Мирьям с нескрываемой враждебностью смотрела на этих курносых воровок законной очереди. У самих пудовые груди и животы что кадушки, а ноги будто колоды, думала Мирьям, но вот прут и оттесняют беззащитного ребенка. Одна из толстух зыркнула в сторону Мирьям. Лицо у женщины помрачнело. Мирьям догадалась, что эта тоже понимает язык взглядов, как и та давнишняя барышня в черной шляпке.

— Ты только посмотри, что за молодежь нынче пошла, — сказала своей соседке пялившаяся на Мирьям толстуха. — В наше время ребенок мигом вскакивал и предлагал старшему место.

— Да, — кивнула другая и зевнула.

В висках у Мирьям заколотили молоточки.

— Смотрит на тебя без стыда и совести, даже в ус не дует на замечания старших, — не могла совладать с собой первая толстуха.

— И что за человек из такой вырастет, — поддержала вторая.

Ну просто поедом едят тебя повсюду, с возмущением подумала Мирьям, делают из тебя козла отпущения и наделяют мрачным будущим! Мирьям собралась с духом, попыталась улыбнуться и произнесла с подчеркнутой вежливостью:

— Мадамы, оставьте меня, пожалуйста, в покое.

Толстухи прямо-таки зарычали.

Мирьям съежилась на своей скамейке и заткнула уши пальцами. Пускай орут, им просто скучно. Какой-то невнятный гомон доносился до сознания Мирьям, толстухи размахивали руками. Ничего, это они делают зарядку, не посмеют же они ударить чужого ребенка, успокаивала себя Мирьям.

Мирьям опустила уши и тщетно силилась думать о чем-нибудь хорошем. Толстухи все еще галдели, хотя

и потише. Мирьям слышала шарканье подошв, люди останавливались поблизости. Очередь все росла.

— Что за ссора в такое чудное утро? — спросил вдруг знакомый голос.

Мирьям вскинула глаза и увидела элегантного молодого человека, который был не кем другим, как лиловым фотографом.

Мирьям хотелось превратиться в невидимку — от нее ждали объяснений.

— Государство гарантирует каждому честному гражданину неприкосновенность, — произнесла она отчетливо и громко, будто это дух короля решил высказаться.

Кругом засмеялись. Мирьям не понимала, почему эта услышанная от Клауса истина вызвала такой смех. Во всяком случае, толстухи пристыженно поджали губы и повернулись к Мирьям спиной. Забор качнулся, когда они разом прислонились к нему своими полными плечами.

Почему-то именно сейчас на Мирьям нашла такая досада, что того и гляди, из глаз брызнут слезы. Нужен был ей этот стыд и это удовольствие для толстух! Она зажмурила глаза и подперла ладошками подбородок, чтобы он не дрожал.

Поднявшееся над деревьями солнце обдавало стоявших в очереди людей теплом. Стало куда приятнее. И все равно подавленное настроение у понурившейся на скамейке задиры не развеялось — то и дело ей намекали, что другого такого глупого и упрямого человека до Мирьям и на свете не было. Или взять ее поход в город. Тоже мне преступление! Ведь и она хотела поглядеть, что происходит вокруг. Однажды ведь и отец сказал, что человека нельзя держать на привязи, как собаку. Наверное, и дедушка подразумевал то же самое, когда он еще давно сетовал, что тропки во дворе да садовые дорожки от его шагов в землю врезались. Дядя Рууди погуливал дальше, и про него говорили: гуляка. Клаус тоже бранился, что кругом темные люди — ничего в жизни не видели. Чего там увидишь, на этой однообразной дороге в школу! Вот тогда Мирьям и набралась храбрости и отправилась вместе с Клаусом, волочившим по земле свои деревянные подошвы.

Впереди цокала дама с завивкой, ее каблучки едва касались мостовой. Конечно, такие красивые, обтянутые

красной кожей каблучки приходилось беречь, на одном из них виднелась золотого тиснения надпись: «Семейный лексикон» и три золотые черточки внизу. В городе оказалось и еще много интересного — только после площадки перед баней все словно исчезло в тумане.

Возле низкой живой изгороди сгрудились люди и смотрели не отрываясь на середину лужайки. Там на боку лежала какая-то оборванная фигура, лицо и руки распухшие, свекольного цвета. С большим трудом она двигала своими отекшими толстыми руками, водила ими по траве, будто хотела обтереть ладони и пальцы. Но куда проворнее, чем шевелила своими конечностями эта женщина, передвигались по ее коже и одежде полчища вшей. Так шепнул ей на ухо Клаус: полчища вшей. Масса отвратительных насекомых переползала по лицу, шныряла в волосах и покрывала шею, даже складки одежды кишели страшными паразитами.

— Войны гневят господа бога, вот он и насылает казни, — буркнул кто-то.

Лежавшая была не в силах поднять голову, серая нечисть прижимала ее к земле. Беспомощная рука потянулась к узелку, который валялся поблизости на траве. Когда Мирьям увидела медленно тянувшуюся к узелку руку, покрытую копошившимися паразитами, она стала невольно отступать. Мирьям была уверена, что узелок полон вшей, как муравейник. Сейчас оттуда вырвутся миллионы паразитов и побегут во все концы света. Проберутся сквозь невысокую живую изгородь и поползут вверх по ногам.

По рассказам Елены, матери Эке-Пеке, Валески и Аурелии, Мирьям знала, что вшей приносят с собой из окопов. Теперь говорят об очагах войны, — может, в узелке и принесен с собой вшивый очаг. И скоро в газетах напечатают: у нас в городе находится очаг тифа. О дальнейшем лучше не думать.

В расплывчатом мире воспоминаний действуют свои железные законы, изумилась Мирьям. Мрачные, связанные с опасностью мгновения твердо стоят в переднем ряду.

Мирьям вздрогнула на приказание и протянула руку. Какая-то женщина, наводившая в очереди порядок, вывела химическим карандашом на ее ладони номер. Вы-

яснилось, что Мирьям стояла в очереди сто пятьдесят седьмой.

Задача на это утро была определена. Скоро Мирьям начнет дюйм за дюймом продвигаться вперед, к двери магазина — подобной райским вратам. Потом она пойдет домой с мешочком отсыревшего желтого сахара в руках. Назавтра от него останется лишь сладкое воспоминание, которое скоро забудется.

## 26

Мирьям не знала, стоит ли принимать на веру все слова Клауса. Иногда казалось, что он и взаправду мнит себя принцем. Я должен постоять за своего отца, бормотал он обычно, сверкая глазами, когда они на деревянных мечах репетировали дуэль. Но в то же время Мирьям приходила в ярость, когда кто-нибудь на дворе, случалось, говорил про Клауса, что это свихнувшийся парень, который все бродит среди развалин.

Ведь для Мирьям многие вещи оставались непонятными; она не могла себе представить предыдущую жизнь Клауса там, в Германии. И эту его берлинскую бабушку — виданное ли дело! Перед смертью она будто бы вытворяла удивительные штуки. Родителям Клауса пришлось нанять человека, чтобы сторожить бабушку.

Она, говорит, всю жизнь любила шелковые платки с розами, их у нее была накуплена целая куча. В последний год своей жизни бабушка начала ими пользоваться своеобразно. Ходила ночью по комнатам и развешивала платки повсюду на мебель, бросала их на пол и даже швыряла под потолок. Они парили там, пока не цеплялись бахромой за люстры. Когда вся квартира расцветала платочными розами, бабушка принималась молча танцевать, подхватив по-девчоночьи подол ночной рубашки. А то каталась по паркету на шелковых платках. Бывали ночи, когда розы заставляли бабушку плакать. Тогда она зажигала свечи и ходила с канделябром в руке из угла в угол. Под утро, когда уставшая бабушка ло-

жилась в постель, ее сторож начинал собирать платки. То и дело приходилось ставить стремянку, чтобы снимать платки с розами со шкафов и люстр.

Мирьям сидела на своем посту и болтала ногами. По-видимому, здешняя бабушка Клауса была человеком самым обыкновенным. Мирьям хорошо помнила этот обычный дом, на фундаменте которого она сейчас сидела и дожидалась почтальона.

Но вместо господина Петерсона из-за угла показалась какая-то женщина, которая направилась прямо к развалинам дома бабушки Клауса. У женщины было ясное, безмятежное лицо, словно и не было перед ней пепелища и груды камней. Так приходят в воскресенье после обеда в гости — будто и сейчас еще можно было нажать на ручку парадной двери этого дома. А вдруг она слепая? Женщина как раз и сошла с тротуара на крыльцо и подалась вперед. Рука описала в воздухе дугу. Женщина поднялась на цыпочки — да нет, она все же видит. Иначе с какой бы она стати заглядывала за кучу золы. Там она никого не обнаружила. Во всяком случае, это хорошо, что Клауса нет сейчас дома. Как и можно было ожидать, женщина подошла и остановилась напротив болтавшей ногами Мирьям. Она пристально оглядела изношенную обувь девочки. Так как ее ноги удостоились внимания, Мирьям решила ради великой любезности пошевелить большим пальцем, который выглядывал из туфли. Женщина хорошо выглядела для своих лет, словно военные годы и не коснулись ее. На ногах лаковые туфли, смотри как в зеркало.

— Ты знаешь Клауса?

— Здравствуйте, — ответила Мирьям.

— Ну да, — усмехнулась женщина и резко взмахнула рукой.

Мирьям на всякий случай убрала свой большой палец.

— Клауса фон Вальдштейна или Клауса фон Бахштейна?

— Разве их двое? — испугалась женщина и стремительно распахнула полы жакета, так что подскочили подкладные плечики.

— Иногда, — буркнула Мирьям.

Может, следовало оставить шутки? Вдруг женщина принесла Клаусу письмо?

— Ты тоже бродяжка?

— Да, — сказала Мирьям. — У меня душа бродяги.

— Когда ты в последний раз видела Клауса? — допытывалась женщина.

— Прошлого не помню, будущего не знаю, — предусмотрительности ради Мирьям представилась дурочкой.

— Мне надо с ним увидеться, — от нетерпения лицо женщины приобрело сердитое выражение.

Мирьям почувствовала, что влипла. Чтобы выгадать время, она разглядывала выступавшие у женщины из-под короткой и узкой юбочки колени. Усталые суставы старого человека, решила Мирьям.

— Возможно, я увижу его в полнолуние на перекрестке, — помедлив, сказала Мирьям. — Может, что-нибудь передать?

— А сейчас новолуние или ущербная луна? — женщина приняла слова Мирьям за чистую монету.

Мирьям закатила глаза. Взрослому человеку должно быть стыдно, что он не знает состояния луны.

— Дети спят, когда светит луна.

— Да брось ты свои шуточки, — рассердилась женщина. — Я буду сидеть с тобой рядом или ходить по пятам, пока ты не сведешь меня с Клаусом.

— Я всего лишь дух короля, — заметила Мирьям. — Скоро исчезну.

— Вот и попалась, — сказала женщина. — Эту чепуху про духов тебе наплел Клаус.

Женщина осуждающе посмотрела на Мирьям.

Мирьям чувствовала себя последней обманщицей и клятвопреступником.

— Вот свалилось наказание! Теперь мне расхлебывать эту кашу!

— А что с ним? — спросила Мирьям.

— А ты и не знаешь? — удивилась женщина. — А еще дружишь с ним!

Мирьям не нашлась что ответить.

Женщина откинула волосы. В ушах у нее висели серьги-скрипочки. Вдруг на них и играть можно!

— Я тоже хочу посидеть, — капризно заявила женщина.

Мирьям соскочила со стены, побежала во двор бывшего дома бабушки Клауса, принесла оттуда кирпичи и штабелем сложила их на тротуаре.

— Прошу.

Мирьям встала неподалеку от женщины, прислонилась спиной к фундаменту и обратила запыленный большой палец в сторону своего дома. Женщина вроде бы осталась довольной кирпичным сиденьем. Она положила сумочку с длинным ремнем себе на колени и выудила оттуда маленький серебряный портсигар. Папиросу прикурила от толстой, снарядообразной зажигалки.

— Попробуй только сбежать, — после первой затяжки предупредила женщина.

— Я свободный человек, — в сердцах заявила Мирьям.

— Что ты понимаешь в свободе? — презрительно произнесла женщина. — Клаус тоже считает себя свободным человеком. Но тот, кто принес другим столько зла, как он, уже никогда не сможет быть свободным. — Женщина подумала, вздохнула и добавила: — К сожалению, я его тетя.

Мирьям помрачнела. Она представила себе, как дядя Рууди сидит на том свете на куче камней, закидывает ногу на ногу и объявляет, что он, к сожалению, приходится Мирьям дядей.

— Клаус всюду приносит с собой несчастье.

— Он что, возит его на телеге или тащит в мешке? — желчно спросила Мирьям.

— Ты мне не веришь? — неподдельно удивилась женщина и звонко рассмеялась. — Однажды отец взял маленького Клауса с собой в театр. В перерыве между репетициями Клаус начал на сцене возиться с примадонной, барышня попятилась, свалилась в оркестровую яму и сломала себе ногу.

— Случайность, — проворчала Мирьям.

— Может, там это и была случайность, — согласилась женщина. — А дальше?

Мирьям молчала.

— Когда этот дом был еще нетронутым, Клаус однажды чуть было не свел в могилу свою бабушку. Он связал несколько простыней и стал спускаться с чердака во двор. Бабушка увидела, и у нее отказало сердце. К счастью, подоспел доктор и привел ее в чувство. Могут, понятно, сказать, что это озорство глупого ребенка, ну, а дальше?

— А дальше? — словно эхо, отозвалась Мирьям. Что еще припасено у этой женщины?

— Таких субъектов, по совести сказать, следует держать в железной клетке, — убежденно заявила женщина.

— Почему?

— Он погубил своего отца.

— Разве отец Клауса умер?

— Тише, тише, — утихомирила она Мирьям. — Мертвым отца Клауса я не видела.

На душе у Мирьям немного отлегло. Женщина городит ерунду, ведь не Клаус же развязал войну!

— Такой известный человек, как отец Клауса, мог бы в любое время заниматься своим театром. Какое ему дело, стреляют на фронте или нет...

— Так ведь не Клаус его погнал на войну, — вставила Мирьям.

— Именно из-за него на отца напялили мундир. Когда Клауса выгнали за дурные поступки из школы, то и с отцом разговор был недолгим. Вся семья подпала под подозрение. Клаус всем испортил жизнь. Напоследок сбежал от своей родной матери, когда уже садились на пароход. Теперь ты видишь, — победно закончила женщина.

Мирьям пыхтела.

— Выходит, что сынок послал отца на смерть. В народе про такого говорят: вогнал в могилу, — закончила женщина.

Мирьям прижалась к фундаменту, она чувствовала, что и сама стала каменная. Вдруг она уловила, что улыбается: судорога схватила щеку. Возможно, с бабушкой было такое же, когда она сидела на крыльце и смотрела на ловлю голубей.

Странно, что господин Петерсон, который остановился на мгновение на другой стороне улицы и покачал головой, — и он усмехнулся не к месту.

В уголке рта у женщины росли три черные волосинки. Нет, она не человек, это суженая дьявола, пыталась утешить себя Мирьям. Сейчас она вытащит из-за пазухи два барабана и начнет играть прощальный марш. Ребячество, взяла себя в руки Мирьям. Она закрыла глаза, чтобы не видеть женщину.

В последнее время Мирьям всюду ходила с великой затаенной мечтой. Она очень надеялась, что письмо от отца Клауса придет именно в ее дежурство. Не раз она

просто переполнялась радостью, когда представляла себе счастье Клауса. Видела его плачущим, с письмом в руке. Это было самое необычайное, что мог бы от огромного душевного волнения сделать Клаус. Потом Мирьям говорила бы каждому встречному, что справедливость на земле еще не вывелась: Клаус нашел своего отца.

Мирьям никак не могла отделаться от улыбки, застывшей на ее лице. Она открыла глаза. Возможно, радостное выражение на лице этой незнакомой женщины тоже исходит от печали и растерянности?

— Говорят, война жестокая. У пули и бомбы нет ни разума, ни души. Но нет, это люди жестокие и злые. И черствые. Что за неприязнь могла подстегивать Клауса, что он загубил всю семью? Нет ничего хуже, когда сын сводит в могилу родного отца.

— Я не верю, — буркнула отчаявшаяся Мирьям.

— Ну, послушай! Если не веришь, спроси у него самого, — спокойно, с оттенком безразличия сказала женщина. У всех взрослых голос становится одинаково глуховатым, когда они устают от детской непонятливости. — Мне все равно, я в нем не нуждаюсь. Но в один прекрасный день появится мать Клауса и скажет, что, дорогая сестра, неужели в твоем сердце не было ни капельки добра, что ты не могла позаботиться о моем сыне? Да, деточка, — с достоинством произнесла женщина, — родная кровь тебе не водица. И чего только не сносишь ради нее!

## 27

Обычно, когда жизнь крепко запутывалась, Мирьям вновь и вновь находила себе опору то в порыве гнева, то в напоре борьбы или в стремлении утвердить себя. Будь противниками хоть невидимые призраки или хитрые бесы, лишь бы можно было колотить их половой щеткой. Теперь, когда Мирьям сбросила с себя оцепенение, оторвалась от стенки и наобум кинулась бежать — женщина явно хотела поймать ее длинным ремнем своей сумочки, как петлей, — сейчас Мирьям ощутила, что у нее разом отняты все права на сопротивление.

Едва она забежала за угол дома, как тело обмякло и какая-то кислая покорность охватила ее. В глазах застыло нищенское выражение, плечи выжидающе наклонились, чтобы согнуться перед первым же встречным и тотчас же примирительно улыбнуться. Мирьям хотела обернуться либо карликом, либо неуклюже топающим малышом, которого добрые дяди и тети великодушно поглаживают по головке, оставаясь при этом дружелюбно равнодушными, как это обычно принято в обращении с малолетними.

Если бы человек мог иногда делаться моложе и глупее, чтобы его мышление и чувства становились проще, — может, таким образом она и освободилась бы от груза причастности к вине, наваленного на ее плечи тетей Клауса.

Для Мирьям не было человека страшнее, чем тот, кто погубил другого. Водя дружбу с Клаусом, она добровольно, хотя по неведению, отказалась от собственного человеческого достоинства; какие-то определенные и обязательные грани оказались как бы сами собою стертыми. Много ли еще надо было, чтобы Мирьям в один прекрасный день подала руку убийце своего отца!

Она старалась избегать людей, и в то же время ей хотелось сказать каждому чужому человеку: знаете, я дружу с преступником. Вместе со случайным собеседником она бы вновь пережила изумление, чтобы еще раз утвердиться в своей виновности. Нелегко было разом поверить, что ты окончательно падший человек.

Мирьям бродила точно во сне и подсознательно выискивала безлюдные места. Она кралась за оградами и ступала осторожно по мусору, чтобы под ногой не хрустнула сухая ветка. Душой владело смятение, оно вынуждало ее мысленно склоняться, чтобы просить прощения у каждого куста сирени и каждой рябины, которые простирали через забор свои ветви.

Мирьям пролезла сквозь известные ей одной проломы в заборах и добралась до бабушкиного сада, который жильцы своими грядками изменили до неузнаваемости. К счастью, пень от каштана они не выкорчевали, но Мирьям не отважилась присесть на него. Такое святое место не подходило для того, чтобы на нем сидела сообщница преступника, это был трон непорочного человека, на нем

пристало думать о дедушке и о других благородных людях.

Мирьям забралась в самое непривлекательное место в саду — между забором и глухой стеной беседки оставалось узкое пространство, куда никогда не заглядывало солнце. Только тощие люди могли уместиться там, едва ли кто добровольно протискивался в эту щель. Под ногами валялся противный сор. Весь мусор, на который неприятно было глядеть, бросали между беседкой и забором. Ветки, истлевшая листва — компоста здесь, в саду, уже давно не закладывали; понятно, что тут не было недостатка в ржавых граблях, погнутых лопатах, сломанных черенках, консервных банках с острыми краями и ведрах без дна. Кто-то разбивал о стенку беседки зеленые бутылки. Мирьям все же настолько оберегала себя, что оттопырила вылезавший из туфли большой палец вверх — не хотела пораниться.

Просто загадка, зачем сюда снесли столько диванных пружин? Наверно, переделывают диваны на меньшие, с жильем тесно, часть пружин оказывается ненужной. Или в войну людей стало настолько меньше, что лишние диваны разломали? Ржавые пружины заполнили собой весь дальний угол до самого верха забора. Там уже не пролезешь. Еще хуже, чем нитяные ловушки Эке-Пеке.

Мирьям вздохнула, прижалась спиной к забору, ее колол какой-то гвоздь, — ну и пускай, так другу преступника и надо. Она пялилась на стену беседки, краска с досок облупилась. Все было ужасно грустно. Мирьям думала, что у нее нет никакого права поворачивать голову и смотреть на цветы, это удовольствие пусть останется порядочным людям.

И как только Клаус мог пойти на то, чтобы погубить своего отца! Человек он такой способный и разумный, с ясными голубыми глазами. То, что под светлой шевелюрой у Клауса созрели безумные мысли, заставило Мирьям по-новому взглянуть на земные дела. Когда Мирьям, стоя возле гроба отца, отыскивала в глазах присутствующих отпечатавшийся образ жертвы, она не верила на самом деле, что обнаружит у какого-нибудь обыкновенного человека следы преступления. Где-то в глубине души она была убеждена, что убийца по своему внешнему виду урод. Разумеется, она была не настолько глупа, чтобы

представить себе убийцу с рогами. Но по крайней мере черный хвост с кисточкой на кончике у этого мерзавца мог бы выглядывать из-под пальто. Или у него должен был расти шестой палец. Поэтому он носит черные неуклюжие варежки, чтобы скрыть от людей предательскую примету. Не зря говорили, что у кого-то на лбу была печать преступника. Или у душегуба нет ушных раковин — а есть просто дырки в голове, — и человек этот вынужден из-за своего греха всегда носить ушанку, даже летом, в самую жаркую погоду.

Одна мысль захватила Мирьям. Ну и растяпа же я, ругала она себя. Перед похоронами отца к нему приходили двое мужчин. Мирьям, до сих пор не считавшая существенными внешние приметы, забыла этих двух мужчин. А вдруг один из них убийца? Ведь ничего не значит, что у них не было хвоста, рогов или шести пальцев. Оба снимали с рук перчатки и выражали маме сочувствие.

Один из них пришел рано утром. Остановился возле печки и не стал садиться. Шапку держал в руках, подался ссутулившись вперед, лицо обычное, кожа пористая, нос толстый. Мирьям скользнула взглядом по пришельцу — ничего особенного. Мало ли что у него блестели отвороты пальто. Шелком они покрыты не были, как принято на парадных пиджаках. Видно, мужчина был просто гурман и любил поесть жирное — и помимо дома, в пальто.

Мужчина бормотал какие-то вежливые слова, говорил о доброте покойного и его порядочности и наконец заявил, что отец остался ему должен крупную сумму денег. Мама, казалось, шатнулась, она вдруг стала очень жалкой. Но, несмотря на это, в ее глазах появился небывалый ранее свирепый блеск, и она сказала, что ничего подобного не слышала. Мужчина хмурил лоб, смотрел в потолок и разглядывал углы, где отставали обои. Почему-то он вдруг стал гнусавить. Проклинал свою глупость, что не потребовал расписки, и сказал, что никому нельзя верить. Кто мог предвидеть, что должник возьмет ни с того ни с сего преставится. А тут ты неси убытки, просто глупое положение.

Лишь теперь, по прошествии времени, Мирьям задумалась над словами мужчины. Незнакомец не сказал, что отца убили. Возможно, он не мог произнести вслух это страшное слово? Вдруг убийство — это дело его рук и он

нарочно хотел наведаться домой к жертве, чтобы представить себя потерпевшим. Убийцы, как говорят, люди особенно хитрые.

Куда бы ни клонилась мысль, она повсюду натыкалась на тупик неведения.

Мирьям сколупывала ногтем со стены беседки отставшую краску. Какой-то навозный жучок полз по трещине к ее грязной руке, и Мирьям без долгого колебания раздавила его.

Другой мужчина зашел к ним тоже ненадолго. Мирьям и его никогда раньше не видела, и мама впоследствии утверждала то же самое. Этот был значительно представительнее. Он по-господски распахнул пальто и заложил руку за пазуху. Меж полосатым шарфом мелькнул синий в горошек галстук-бабочка. Накрахмаленная сорочка похрустывала, или это шелестели денежные купюры, которые он предлагал маме. Мужчина заверял, что остался должен отцу крупную сумму денег. Пусть вдова будет столь любезной и примет эти деньги, чтобы у него была совесть чиста. Чтобы совесть была чиста! Ну конечно! Почему он так упорно настаивал? Мама все пятилась, отстраняюще выставляла руки и повторяла, что она ничего об этом долге не слышала. В карманах у отца никакой расписки не нашли. И этот мужчина хмурил лоб и смотрел в потолок. Он чуточку задумался. Может, покойный держал важную бумагу в портфеле, который у него отобрали. Так он предположил. Мирьям ясно помнила его слова. Мужчина сказал, что портфель отобрали. Он не сказал, что отца ограбили. Будто это было самое повседневное дело — кто-то берет, кто-то дает. Мама осталась непреклонной и отказалась взять деньги. Возможно, у нее мелькнуло какое-то смутное подозрение? Или, может, ей показалось неестественным, что кто-то хочет так быстро и таким простым способом очистить свою совесть!

Мирьям пожалела, что она тогда не побежала за незнакомцем и не задержала его. Мужчина, уходя, положил пачку денег на столик в передней. Его совесть была чиста, знай приподнимай шляпу и иди куда угодно.

Мирьям поднесла руку к голове. Она смотрела в облезлую стену, будто это было зеркало, и приподняла невидимую шляпу.

Мирьям ни одному из приходивших мужчин в глаза не заглянула. Они появлялись в дверях слишком неожиданно и странно себя вели.

И сегодня тоже все произошло слишком неожиданно.

## 28

Мирьям на несколько дней превратилась в добровольного заключенного. Она и порог не переступала. Скрывая себя, она и другим спутала жизнь. Из-за ее отсутствия репетиции не проводились и Клаусу было некого оставить караулить почтальона. Видимо, они и на самом деле оказались в беде. На крыльце несколько раз громыхали деревянные подошвы сапог, и Клаус громко и требовательно, будто человек праведный, стучал в дверь. Мирьям не открывала. Потом она подсмотрела из-за занавески и увидела его на дворе, — он разглядывал окна. Однажды за дверями послышалось перешептывание Эке-Пеке и Валески. Они о чем-то спорили, и Мирьям показалось, что она слышит всхлипывание. Но, видимо, все же ослышалась: что им за резон проливать слезы из-за Мирьям. Затем они стучали костяшками пальцев по косяку, будто выискивали в дереве полое место, и начали шумно вытирать на коврике ноги. Мирьям и им не открыла. После этого они еще какое-то время топтались в коридоре и прислушивались, раздадутся ли в квартире шаги или голоса. Мирьям стояла затаившись, прижалась в передней спиной к стене, сердце ее громко стучало. Словно она кому-то в чем-то солгала. А может, они и не прислушивались в коридоре, может, Эке-Пеке натягивал нитки, чтобы Мирьям угодила в ловушку.

Всхлипывания, которые, как показалось, она слышала, не давали Мирьям покоя. Вдруг случилось что-то серьезное, а она трусливо увиливает. Временами Мирьям начинала сомневаться, уж не во сне ли она видела тетку Клауса? Поди знай, иногда у Мирьям действительность перемешивалась с воображаемым.

В один из дней Мирьям больше не смогла подавить своего беспокойства. Если все люди бросятся наутек от

злодеев и душегубов, то преступники возьмут в мире верх. Надо было установить истину. Принц не сможет лгать перед духом короля.

Мирьям выбралась за ворота, и в сердце закрался страх. Словно ее поджидали тысячи неведомых опасностей и каждым ее шагом и движением призвана была руководить осторожность.

Однако внешне все оставалось обычным. Знакомый пейзаж: дома и развалины. Даже мертвые деревья стояли на месте. Люди, видно, привыкли к ним. С начала войны неподалеку от пляжа в море возвышался железный остов сгоревшего парохода. В минувшую зиму они целой компанией пробрались по льду и залезли на борт парохода. Когда они начали там бегать, из трюма донесся гул. Черная железная груда уже давно стала составной частью окружающего пейзажа. И может, было бы даже жалко, если бы останки судна увезли.

Мирьям разглядывала кирпичи, которые были сложены штабелем на тротуаре. Она сама притащила их сюда. Затаенная надежда, что тетка Клауса привиделась ей во сне, развеялась в прах.

Раздалось ужасное дребезжание, будто наяву рушился выстроенный из жести карточный домик надежды.

Из-за кучи золы показалась рука Клауса. Из какой только щели он заметил Мирьям? Она поняла, что совсем не знает Клаусова подпола, не говоря уже о нем самом.

Тут же показалась голова Клауса.

— Куда это ты запропастилась? — спросил он сердито.

— О святая простота! — воскликнула Мирьям и услышала, что голос у нее дрожит. Дядя Рууди после большой бомбежки начал употреблять это выражение. Поскольку Мирьям чувствовала себя тонущей в океане неведенья, она и ухватилась за эту фразу, как за соломинку, чтобы удержаться на плаву.

Мирьям поняла, что ей придется спуститься в подземелье к злодею.

В ушах у нее сидел сам дьявол, который настраивал инструмент, чтобы сыграть свой вальс.

Мирьям с трудом забралась на фундамент и споткнулась о какой-то камень.

— Ты что, пьяная? — насмешливо спросил Клаус.

Боже мой, как бежит время. Просто отчаяние берет! Давно ли это было, когда мама, заслышав нетвердые шаги отца, становилась темнее тучи и говорила: опять пьяный.

С дрожью в ногах Мирьям, как мешок, брякнулась в подпол.

В снарядном ящике сидели Валеска и Эке-Пеке. Валеска держала руку на плече брата — и как он только терпит такую нежность.

Мирьям опустилась на чурбак, съежилась, заложила руки между колен и не знала, что сказать.

— Знаешь, Мирьям, — Валеска сглотнула и собралась с духом.

Теперь еще и она начнет выговаривать, пришибленно подумала Мирьям.

— У Аурелии скоротечная чахотка.

Клаус стоял в отдаленном углу, свет туда не доставал.

— Она бредит, ее уже не хватит надолго, — всхлипнув, объяснила Валеска и привлекла к себе брата.

Ошеломленная Мирьям судорожно подыскивала какие-нибудь слова утешения. Чахоткой в здешнем краю болели слишком уж многие. Мирьям знала, что со скоротечной шуток быть не может. Когда-то про дядю Рууди все говорили, что, слава богу, у него хоть не скоротечная чахотка. Эта косит человека сразу.

— Диагноз может и не подтвердиться, — сказал Клаус.

— Что это значит? — с надеждой спросила Валеска и заморгала опухшими веками.

— Ну, доктор может ошибиться.

— Они все время ошибаются, — ухватилась Мирьям за слова Клауса. — У моей бабушки был паралич, а доктор сказал, что у нее в голове закупорилась вена.

Лицо Валески немного прояснилось.

Клаус что-то бормотал себе под нос.

— К ней уже три врача приходили и все говорят одно, — вспомнила Валеска.

— Аурелия бредит, — прошептал Эке-Пеке. — Она потеряла сознание от жара.

— Ей кажется, что отец пришел с войны и со вшами принес с собой тиф. Говорит: мне так жарко, это тиф. Сама не может глаз открыть, а плачет, щеки мокрые.

Когда слышит мой голос, зовет меня к постели, — Валеска плакала. — Берет за волосы и просит: дай поищусь в твоей голове. Я терплю и даю ей ерошить свои волосы. Она вроде бы утихает, когда держит мои волосы. Что она там видит — ведь глаз не открывает.

Мирьям показалось, что она слышит, как шепчет Клаус: полчище вшей. Перед глазами встает палисадник перед баней. Мирьям хочется схватить откуда-нибудь черный зонтик забвения, чтобы прикрыть им лежащую на траве женщину.

От пола в подвале исходил холод. Мирьям ощутила холодок и в тот осенний день, когда Валеска сказала про фотографа: лиловый. Перед самым затмением солнца Мирьям задала свой глупый вопрос про найденного в картофеле посиневшего младенца. Мужчина с парусиновым портфелем ответил, что сварит щи. Может, и в его словах было скрыто какое-нибудь второе значение, которое осталось не понятым ею?

Родные и знакомые склонялись друг к дружке головами и шептали: кости-то у мертвого мягкие. Дурная примета, дурная примета... Кто будет следующим? Мирьям не сомневалась, что они искали взглядами дядю Рууди. Может, он потому и стоял за колонной, чтобы не видеть, как ему накликали смерть.

Тетка Клауса сидела на кучке кирпича, ремешок лежавшей на коленях сумочки — как петля. Дым от папиросы тянулся в небо. Голубое поднебесье заслонилось громоздким словом: злодей.

Доктора мыли под краном руки и вычищали из-под ногтей щеткой микробы чахотки. Белое полотенце хрустело, они протирали каждый палец отдельно. Полотенце было брошено на руку стоявшей наготове Елены. Доктора смотрели в окно, будто им нужно было сосчитать в поленнице дрова. Как бы между прочим, бросали: скоротечная чахотка.

В сознании Мирьям стало смутно проясняться, что одно объяснение земным загадкам она нашла: сумасшедшие слова, а не люди. Сошедших с ума людей сажают под замок, и они не опасны для других. Безумные же слова витают по свету, у них железные крылья, которые никогда не знают устали. Все на земле исчезает, чтобы народиться снова. Одни отправляются на тот свет, другие появляются на земле. Тает снег, и уходит зима.

Вслед за ясной погодой приходят дождливые дни: все чередуется и изменяется. Только слова не ржавеют, не умирают, их не посадишь под замок и не запрячешь в клетку. Они умеют повсюду свить себе гнездо, особенно в голове у человека.

И теперь, когда Мирьям тут, в подвале, услышала про болезнь Аурелии, в голове у нее остались звучать сказанные Валеской слова: ее уже не хватит надолго. Мирьям была вынуждена думать об Аурелии как об умирающей.

Почему они все удивлялись, всплескивали руками и говорили о чуде, когда бабушка после первого паралича снова встала и начала ходить. В голове у них уже засели похоронные слова, поэтому они и удивились. Они уже давно видели бабушку в гробу, в черных чулках, чтобы отправиться в последний путь. Про отца говорили, что смерть пришла неожиданно, они еще не успели ему сколотить гроб из слов. В отношении дяди Рууди ждали годы: когда же? Железнокрылые слова все кружили над ним и давно уже придавили его к узкому клочку земли, откуда не было исхода.

Мирьям поняла, что большинство людей хоронят раньше их действительной смерти. Потому-то и говорят, что тот или другой человек уже стоит одной ногой в могиле.

— Аурелия живет! Она не должна умереть!

Остолбеневшие Валеска и Эке-Пеке вскочили на ноги.

— Она не должна умереть! — во весь голос крикнула Мирьям.

Клаус приблизился к Мирьям.

— Там, наверху, в золе пойдут в пляс кости моей бедной бабушки. Ты вспугнешь ее своим криком, — успокаивающе произнес Клаус.

Валеска присела перед Мирьям на корточки и стала гладить ей волосы. Эке-Пеке тоже поднял руку. Следуя сестре, он на миг позабыл свою замкнутость, но быстро стал прежним.

— Я и не знала, что ты любишь Аурелию, — растроганно прошептала Валеска и заплакала. Снова опустившись в снарядный ящик, она зарылась лицом в колени.

Клаус пощелкивал пальцами и кусал губы.

— Я еще не сказал вам...

Все трое жадно уставились на Клауса, и Валеска утерла слезы.

— Вчера я снова ходил проведать пленных. Вдруг чья-то лопата стукнула о камень, и мужчина, по колено в канаве, окликнул меня по имени. У меня сердце зашлось. Пытался разглядеть в бородатом человеке своего отца. Оказалось, что это его знакомый, из театра.

— Что дальше?

— Что дальше?

— Что дальше?

Они раскрыли рты, чтобы вдохнуть в себя известие.

— Он сказал, что мой отец погиб.

— Не может быть, — пробубнил Эке-Пеке и подумал о своем отце.

— Нет, — тряхнула головой Валеска. Она тоже думала об отце.

— Это невозможно, — сказала Мирьям. И она подумала о собственном отце, который был на глазах у всех давно похоронен.

— Вы думаете, что... — Клаус подыскивал слова.

— Война обычно ведется в темноте или в дыму. Там никому ничего как следует не видно, — сказала Мирьям.

— Письмо уже в пути. Это совершенно точно, — заверила Валеска.

— Я снова буду ждать почтальона, — пообещала Мирьям и почувствовала, что все равно слова Клаусовой тетки у нее из головы не выветрились.

## 29

Мирьям навостряла уши и запоминала все, что говорилось о чудотворице. Нельзя было допытываться с ходу, надо было действовать тихо и с умом, иначе дерзкая судьба все спутает, если заметит, что ее выслеживают. Но если на руках благоприятные предсказания, то можно вести разговоры смелее, судьба вместе со своими подручными не устоит перед человеческой хитростью. Видимо, так оно и было, не то разве посмели бы женщины пересказывать слова яснови-

дящей. Они делали это с нескрываемой радостью, ради славного будущего повседневные горести забывались. Вульгарно названная гадалкой ясновидящая вызывает, мол, доверие. Обычно предсказательницы не дерзают называть точную дату исполнения желаний. Но у этой должны быть сверхъестественные способности, если она без колебания предсказывает грядущее.

Эти услышанные от женщин разговоры взволновали Мирьям. Она стала еще больше почитать необычных людей. Сомнения не было, однажды откуда-нибудь появится такой волшебник, который сможет на время делать людей невидимыми. Когда-то по своему простодушию Мирьям сама пыталась ворожить. Она сосредоточенно вглядывалась в кофейную гущу и пряталась под матрас. Мама сказала, чтобы она бросила это дурацкое занятие. Мирьям пришлось согласиться, что у нее нет таланта на чудеса. Она бы не смогла сидеть на гвоздях и лежать в таком ящике, который в цирке перепиливают пополам.

Никто не знал, что Мирьям решила встретиться с ясновидящей. Мирьям понимала, что это связано с некоторым риском. Чудотворцы, говорят, капризны. Вдруг осерчает, что ее беспокоит какая-то соплячка, откроет какой-нибудь потайной люк, и Мирьям провалится в бездонный подвал, откуда не услышит ее криков о помощи. Лет через сто между каменных стен найдут маленький заплесневелый скелет с косым рубцом на коленной чашечке.

Мирьям решила проявить старание и угодить гадалке. Главное — не вмешиваться в рассказ, посторонние вопросы сбивают пророчицу с толку. Она сама догадается сказать все, что нужно, про Аурелию и про Клауса.

Ноги Мирьям передвигались не слишком проворно по этой узкой, поросшей пучками травы улочке. Мирьям не думала, чтобы еще кто-нибудь кроме нее столь же часто страдал из-за своей робости.

Зато увижу столько захватывающего, подбадривала она себя.

Дома́ у гадалок должны были кишеть черной живностью. На золотой раме, перед чашечкой с горохом, обязательно сидит мудрая галка, которая умеет разговаривать, как попугай. Ученые черные коты ходят возле стен, каждому на шею, на бархатной ленточке, повязаны карманные часы. Время ходит по кругу в тихой комнате, и ты находишься посреди этого тикающего круга,

который вечен и который невозможно разорвать. Бимбом, произносит под потолком галка и щелкает клювом. Словно бежит по пустынной ночной улице запоздалый человек.

По уголкам дивана сидят маленькие черные собачки с обрубленными хвостами и торчащими ушами. Существа эти не способны лаять, только попискивают, когда проголодаются. За день они съедают по чайной ложке каши и по три зернышка сахара. Вечером, когда выпускают сову, собачек отправляют в ее клетку спать, чтобы она не съела их вместо мышей.

Она непременно должна узнать у прорицательницы важные вести, не то огромные печали слопают жалкое создание, именуемое Мирьям.

Они из слов сколачивают для Аурелии гроб, и это невыносимо. Нельзя было жить без надежды в том кругу, который состоит из предположительных мертвецов и всамделишных мертвых. В последнее время на Клауса было невозможно смотреть. Он выглядел так, будто его косила скоротечная чахотка. Безумные слова вместе с неведеньем изрешетили его самоуверенность. Поскольку письма все еще не было, в минуту замешательства Клаус волей-неволей вынужден был поверить словам копавшего канаву человека. Мирьям посчитала бы себя исчадием зла, если бы она сказала Клаусу: я знаю, ты преступник. Парень и без того не находил себе ни места, ни покоя, он то и дело дрожал от подавляемого возбуждения.

А как же истина?

Мирьям от всей души желала, чтобы истина и познание находились бы за теми воротами, где начинается дорожка, ведущая к жилищу, которое называют домом гадалки.

Мирьям с головой окунулась в усыпляющее пчелиное жужжание. Дорожку обрамляли кусты аконита. Может, на ветках были и не цветы — там колыхалась стая светло-голубых бабочек. Сейчас они взлетят в воздух, проводят Мирьям по крыльцу до двери и останутся с нею до тех пор, пока она не осмелится нажать на кнопку звонка.

Темная дверь медленно открывалась. Из дома пахнуло прохладой. В передней на стене висело небольшое крестообразное зеркало. На его поперечных концах

колыхались два красных пятна. Мгновение спустя Мирьям поняла, что это ее пылающие щеки.

— Мне очень нужно кое-что узнать. Пожалуйста... — пробормотала Мирьям, ткнула сжатым кулаком пророчице в живот, прежде чем догадалась разжать руку и опустить деньги, приставшие к ладони, в карман ее передника. После этого Мирьям вскинула голову и сосредоточенно и умоляюще посмотрела гадалке прямо в глаза — Мирьям казалось, что на какой-то язык взглядов она все же способна.

С этого момента Мирьям старалась сделаться маленькой и незаметной. Она ступала на цыпочках следом за полной гадалкой и крепко прижимала руки к бокам. Они прошли через кухню, в нос ударило жареным. Перед открытым окном трепетали бумажные полоски. Возле плиты стояла сгорбленная старушка и жарила блины. Старушка вывернула из-за плеча голову, у нее была длинная и морщинистая, как у ощипанной курицы, шея, а над верхней губой росли седые усы.

Именно эти усы говорили, что старушка прямо-таки создана для дома гадалки.

Зато рабочая комната пророчицы вызвала у Мирьям разочарование. Ступив за порог, Мирьям с замирающим сердцем ожидала, что какая-нибудь тварь цапнет ее за ногу. Ни одного живого существа! Все тут было слишком аккуратно. Покрытый скатертью стол, посередине ваза, на полу половик, под окном на подставке горшок с миртом, там же кресло, покрытое белой накидкой, чтобы не выгорела обивка. Единственная вещь, которая казалась странной, это висевший на стене прошлогодний календарь. Но им, возможно, просто прикрывали порванные обои.

Мирьям усадили перед большим туалетным зеркалом, будто она пришла к парикмахеру. К удивлению своему, она обнаружила, что волнение будто рукой снято, и было бы не удивительно, если бы гадалка сейчас взяла ножницы и принялась бы стричь ей волосы.

Ясновидящая, носившая под передником самое обычное ситцевое с треугольным вырезом платье, прошла, шаркая подошвами, через комнату. Возле окна она поднялась на цыпочки, вытянула руки вверх — под мышками платье потемнело от пота, — вздохнула и опустила затемнение.

Усаженная на стул Мирьям только и могла, что шевелить пальцами ног.

— Иоханна! — крикнула гадалка в сторону кухни.

Усатая старуха появилась на пороге, пошевелила губами, усы двигались, как у ожидавшего лакомства кота, она что-то пробубнила. Наверное: калды-балды, калды-балды.

Дверь закрылась.

Гадалка копошилась возле столика, с грохотом опрокинулась ваза. Ясновидящая пододвинула стул, схватила какой-то катившийся предмет и со стуком поставила на место. Затем ей понадобилось по чему-то ударить, так что раздался хлопок. Может, она хотела выбить из бутылки пробку?

Гадалка положила руки на плечи Мирьям. Ого, подумала испугавшаяся Мирьям. Уж не собирается ли она растирать мне сухожилья! Но нет, руки гадалки тяжело надавили ей на ключицы и застыли в неподвижности. Она медленно произнесла:

— Думай, думай о том, что хочешь узнать. Думай, думай, думай!

Когда приказывают, то совершенно невозможно собраться с мыслями.

Мирьям повторяла про себя самые важные для нее сейчас имена. Она торопилась: Клаус — Ау-релия, Клаус — Ау-релия.

Гадалка медленно прошаркала по комнате, сверкнула в потолок фонариком. Это она стукнула донышком фонарика, чтобы батарейка дала контакт, догадалась Мирьям. Как бы походя, пророчица легонько ударила фонариком о стенку.

На зеркале появилась светлая полоса — приоткрылась дверь. Маленькая головка, волосы на затылке взъерошены — на полоску света легло чернильное пятно.

После того как исчез свет, началось чудо.

По зеркалу замелькали крупные светлые печатные буквы. Нет, там передвигались целые слова!

— Думай, думай! — звучал требовательный голос гадалки.

Да здравствует грамота, прежде всего подумала Мирьям и прочла все двигающиеся слова.

«Казенный дом. Мундир. Длинная дорога. Перемена жизни. Снег не вечный. На фуражке звезда. Соки жизни

в корнях». Последовали две цифры: 12 и 45. «Не забывай!» — восклицала плывущая надпись.

Звезда на фуражке и остальные относившиеся к казенному дому обозначения несколько раз попадали в пучок света. Но ни одно знаменательное слово к Клаусу и Аурелии не подходило.

Щелкнул выключатель фонарика. Зеркало на миг, пока старуха не открыла дверь, оставалось темным. Какая жалость! Исписанную словами материю, которую прокручивали на двери, прикрыли большим платком.

Мирьям хотелось крикнуть: обман, но она продолжала тихо сидеть. Появилась новая надежда — гадалка бросила на туалетный столик, между бутылочками и чашечками, несколько карт. Сейчас прозвучат нужные, ценные и важные слова!

— Богатство было, богатство будет. Кто не захочет умереть, тот устоит перед смертью.

Мирьям усмехалась и не замечала пытливого взгляда гадалки.

— Горе следует держать при себе, делиться нужно радостью. Можно бросить наземь шапку, нельзя бросать разум.

Гадалка вычитала с валетов и дам, с королей и десяток еще несколько подобных же фраз, но ее вялый голос выдавал, что для Мирьям гадать неинтересно.

Мирьям и сама поняла, что у маленьких людей горе маленькое, с ним нечего представать перед взрослыми ясновидцами.

Гадалка посоветовала Мирьям подумать обо всем и запомнить, что видела и слышала, — вот душа и успокоится.

Ссутулившаяся возле плиты старушка задержала Мирьям, одно ее тонкое веко дернулось, — видимо, это было подмигиванье. С расплывшейся в усах улыбкой она протянула на вилке горячий блин.

Мирьям сделала книксен, шмыгнула через переднюю, не удосужившись даже взглянуть в крестообразное зеркало. На крыльце прямо с верхней ступеньки прыгнула на дорожку, в пчелиное гудение. Блин обжигал руку.

Мирьям шагала к воротам и перекидывала из руки в руку блин.

## 30

В последнее время Клаус мог на полуслове умолкнуть и погрузиться в раздумье. Потом он вздрагивал — или дергался какой-нибудь мускул, он пристально глядел на товарищей и начинал изливать непонятную злобу. Они слышали из уст Клауса, что подобные пентюхи только на то и годны, чтобы гонять лодыря. Они не понимают, что нужно торопиться. Лето кончается.

Поспешим, поспешим, повторяла мысленно Мирьям. Как хорошо, если бы можно было подстегнуть себя, как рысака, и помчаться с ветерком! Клаус имел в виду спектакль, мысли Мирьям же были прикованы к другому. Она все еще не решалась взять Клауса за рукав и спросить напрямик: ты преступник? ты погубил своего отца?

Внешне Клаус выглядел очень жалко. Одежонка на его худом теле болталась, как истрепанные паруса вокруг мачты. Того гляди, от него и тени на землю не ляжет. Ну как ты тут заведешь серьезный разговор, от которого он может повалиться наземь, словно на ветру! Тем более что и поведение Клауса было странным. Хотя он и ждал письма, в последнее время Клаус боялся почтальона. Может, он просто не выносил его сочувственного покачивания головой. Перед появлением господина Петерсона Клаус забирался в подвал и натягивал крышку на люк, будто каждую секунду мог пойти дождь или град. Мирьям приходилось изо дня в день сидеть на краю фундамента, хотя Клаус и не ходил больше в город смотреть на пленных немцев. Мирьям тоже чувствовала себя на своем посту неуютно, даром что господин Петерсон и оставил свои шутки. Тело как-то деревенело, когда из-за угла появлялся почтальон. Лишь глаза сохраняли способность двигаться; Мирьям следила взглядом за каждым шагом и движением господина Петерсона. Она приметила, что ее стала раздражать привычка почтальона то и дело поправлять на плече сумку. Когда господин Петерсон удалялся, Мирьям вставала, шла к закрытому люку, наклонялась над куском жести и громко говорила:

— Нет.

Проходило некоторое время, прежде чем Клаус, поразмыслив наедине, снова вылезал наружу.

Старайтесь сколько можете, торопитесь, спешите — своими словами Клаус приводил всех в движение. Отец тоже говорил на плавательном пирсе, что время не терпит. Такое точное ощущение смысла и содержания времени оставалось для Мирьям непонятным. На это, видимо, способны только исключительные люди. Наверное, отец предчувствовал, что его дни сочтены. Он не знал, будет ли у него еще когда-нибудь подходящая возможность, чтобы кинуть Мирьям с мостков в воду и научить ее плавать. Предчувствие породило обязанность. Отец не мог оставить своего отпрыска на земле совсем беспомощным. Как может человек пробиться в жизни, если он даже на воде не держится.

Так и спешили прозорливые, вот только кто им нашептывал, что произойдет в будущем. Как только они умели вовремя совершить то, что нельзя было оставить несделанным.

Клаус имел право подгонять их. К сожалению, они не понимали, что одно время отличается от другого. Они шевелились с медлительностью бегемотов — и опоздали.

Когда плачущая Валеска два дня тому назад явилась разыскивать Клауса и Мирьям, именно она высказала то, что после первого потрясения пришло в голову и всем остальным. Ведь мы репетировали свои роли ради того, чтобы позвать на спектакль Аурелию.

Впоследствии Мирьям уверилась, что когда она репетировала роль королевского духа, облачалась в картофельный мешок и накрывала голову косматой паклей, то делала это с твердым сознанием: выйдя на сцену, она должна была увидеть в первом ряду именно Аурелию. Ее дружеский кивок должен был помочь тому, чтобы прошло волнение и не забылись слова. Как же быть теперь? Невозможно представить себе, чтобы в первом ряду пустовало место. Там не окажется Аурелии с полной тарелкой пряников на коленях. Именно от Аурелии можно было ждать, что она станет громко хлопать, кричать «браво», забудет в восторге про пряники, и коричневые фигурки с лиловыми глазками рассыплются по траве.

Они понурившись сидели втроем в снарядном ящике, девочки плакали, а Клаус говорил в утешение Валеске странные слова:

— В этой утрате ты не виновата. Ты можешь без угрызения совести вспоминать Аурелию. Тот, кто причинил зло другому, останется навеки рабом собственной несправедливости.

Оторопевшая Мирьям перестала всхлипывать.

Дальнейшие слова Клауса были, по ее мнению, совершенно неуместны.

— Теперь ты лучше поймешь состояние королевы. Она не только потеряла близкого человека, но еще и содействовала его гибели. Ее страдание огромно, как океан.

— Я не видела океана, но он не может быть больше моего страдания, — всхлипывала Валеска.

Они вылезли из подвала, солнечный свет слепил, припухшие веки начали саднить. Беспомощно глядя друг на друга, все неожиданно поняли, что невозможно оставаться на месте. Надо было поскорее что-то предпринять! Куда поспешить? Зачем?

Клаус опустил руку на плечо Валеске и пошел вместе с ней. Мирьям смотрела им вслед. Клаус волочил деревянные подошвы, которые могли в любую минуту оторваться от головок. Верхняя часть его тела склонилась к Валеске. Казалось, это она ведет Клауса. Никогда не поймешь, думала Мирьям, кто в действительности на кого опирается.

В доме покойницы недоставало распорядительного близкого человека, им стал Клаус. Когда Мирьям временами наведывалась туда — она приходила на минутку, чтобы немного подержать Валеску за руку, — то Клаус расхаживал по комнатам в свежевыглаженной сорочке и в клетчатых войлочных тапочках, — сапоги с деревянными подошвами стояли в передней под вешалкой. Эке-Пеке, наоборот, был как чужой и подпирал стену. Мрачный старец, тело его ссохлось, кости, казалось, вывалились из суставов, лицо с горя в морщинах, глаза будто полые стеклянные шарики. Единственный, к кому Эке-Пеке проявлял какой-то интерес, был Клаус. Стеклянные шарики поворачивались вслед за движением Клауса. Эке-Пеке скрючил пальцы. Как птица, которая готовится опуститься жертве на голову.

Люди приходили поглядеть на Аурелию. Клаус принимал и сочувствия, и цветы и подыскивал последним подходящее место. Когда людей набиралось побольше, Клаус зажигал в изголовье покойной свечу.

Он догадывался в нужный момент открыть окно и завесить его простыней, когда солнце начинало заглядывать в комнату.

Елена шепнула соседке:

— У нас теперь вроде бы мужчина в доме.

Клаус сходил в лес и привез на раме Эке-Пекиного велосипеда с голыми ободами два мешка еловых веток.

Ветки он сложил в бочку, стоявшую под водосточной трубой, и все время поливал их из лейки. Утром в день похорон зеленый ковер устилал крыльцо, дорожку, площадку перед воротами и даже выходил концом на улицу.

Мирьям стояла возле забора и удивлялась тому, с какой деловитостью Клаус устраивал похоронную процессию. Он переговорил с извозчиком, резкое движение его руки означало, что возражения владельца лошади не принимаются. Извозчик в нерешительности посмотрел по сторонам, пожал плечами и приладил поданный ему белый цветок к уздечке.

Клаус подтягивал края узенького черного покрывала, чтобы прикрыть получше щербатое и измазанное пивными бочками днище ломовой телеги. Когда Аурелию вынесли из дома, Клаус забрался на телегу, принял венки и горшки с цветами и расставил их вокруг гроба.

Клаус проходил между людьми и выстраивал похоронную процессию. Пастор с молитвенником в руках терпеливо стоял позади телеги; пока Клаус распоряжался, у него было достаточно времени, чтобы осмотреть запыленные полы своей рясы.

Клаус подал извозчику знак, телега дернулась. Мирьям показалось, что, покачнувшись, вслед ей склонились столбы в воротах. Установленные на них свечи на миг вытянули вниз язычки пламени. Клаус поднялся на краю тротуара на носки и окинул взглядом процессию. Удовлетворенный чинно шагавшими людьми, он подбежал к самым близким родственникам, подобрал шаг и взял Эке-Пеке и Валеску под руки.

Мирьям угнетало то, что она сама ничем не сумела помочь проводить Аурелию в ее последний путь. Хотя именно она пережила уже столько похорон. Ей оставалось только пристроиться в хвост процессии и идти, склонив голову и сложив на животе руки.

Шагавшие впереди считали неприличным переходить с указанного Клаусом ряда вперед или назад.

Клаус уверенной рукой вел спектакль похорон Аурелии. Сознание этого будто закатало Мирьям в удушающий войлок. По спине прошел жар, и не стало хватать воздуха. Мирьям не знала, подходит ли настоящий покойник к участникам поставленного спектакля.

Мирьям потихоньку перебралась с середины улицы к обочине и взглянула на окруженный покачивавшимися цветами гроб. Посередине белой крышки лежал букет лиловых колокольчиков.

Когда это Клаус успел их положить туда? Разве красные или белые цветы не годились?

Мирьям стало жутко. Все эти дни после того, как плачущая Валеска явилась к друзьям, Мирьям старалась изгнать из сознания одну картину. Неужели человек в самом деле настолько слаб, что у него нет власти над воспоминаниями? Мирьям чуть ли не молилась кому-то в своих мыслях: она никогда не видела, как Аурелия с компанией вышла из-под небольших сосенок. Лиловый — это отвратительный цвет.

Мирьям шла, сжимала пальцы и кусала губы.

И как только эти всякие картины умещались у нее в голове! Должно же там, между висками, когда-нибудь все заполниться. Мирьям с ужасом думала, что наполненные красками и картинами мозги становятся все тяжелее. Картины слипаются, краски сливаются. Если когда-нибудь что-то вынудит разделить эти разноцветные пласты, то придется отрывать один слой от другого, и это будет чертовски больно.

Мирьям чувствовала себя виновной в том, что слишком многое помнила. Будто она еще сейчас причиняет своими воспоминаниями зло Аурелии. Благородные люди, как она думала, не связывают прошлое с настоящим. Лучше бы она помогала Клаусу — ведь похороны все же приходится ставить. Кому от нее польза — обычный ребенок, с тяжелой головой на тонкой шее, и годна

эта девчонка только на то, чтобы обтирать заборы или выглядывать из-за угла. Когда дела неотложные, каждый обязан приложить к чему-нибудь руки.

Вдруг Мирьям пришло в голову, что никто сегодня не поджидает почтальона. Ничего, господин Петерсон будет хранить письмо за пазухой, как слиток золота, и отдаст завтра.

А может, как раз сегодня вернется с войны отец Аурелии, Валески и Эке-Пеке?

Эта мысль пригвоздила Мирьям к месту.

Кто встретит его, кто скажет ему о случившемся, кто направит, чтобы он поторопился, еще можно поспеть, прежде чем Аурелия навсегда переселится на белые просторы царства небесного?

Мирьям вдруг прониклась убеждением, что именно сейчас отец Аурелии, Валески и Эке-Пеке выходит из вокзала на площадь и направляется домой. Люди ведь чувствуют, когда наступает последний срок, когда нельзя опаздывать.

Мирьям с лихорадочной быстротой искала выхода, чтобы не дать событиям глупо разминуться.

Она выбралась из процессии и свернула в ближайшую улочку. Убедившись, что ее уже не видят, Мирьям припустилась со всех ног домой. Сдерживая дыхание, она сунула ключ в скважину замка. В передней под ногами скользнул половик, будто нечистые силы снова занялись своими проделками. Нужная вещь лежала на верхней полке шкафа. Мирьям схватила черный бинокль и ринулась прежде всего к дому Эке-Пеке и Валески. Нет, их отец еще не успел добраться сюда. Никто на крыльце не стоял и не стучал нетерпеливо в окно.

Внимательно оглядевшись, Мирьям направилась к знакомому месту. Из всех деревьев, которые окружали картофельное поле, она выбрала для своего наблюдательного поста самое высокое. Когда Мирьям в последний раз перед солнечным затмением сидела тут, она и не предполагала, что в следующий раз заберется на дерево в такой печальный день.

Мирьям навела бинокль на резкость. Дорога была как на ладони.

Солдат не мог пройти незамеченным.

Она обстоятельно разглядывала каждого путника,

Солдат должен выделяться среди других. Ошибиться было невозможно.

Мирьям была уверена, что вот-вот, совсем скоро, в светлом кругу окуляров появится мужчина в начищенных сапогах, с вещевым мешком за плечами. Выцветшие волосы его, такие же, как у Валески, будут развеваться на ветру. Фуражка со звездой в руке, чтобы солнце светило в лицо.

## 31

Никто из них не торопился поставить на колеса свалившуюся под откос повозку спектакля. Балаган, думала Мирьям скрепя сердце и старалась задним числом свысока взглянуть на те дни, когда они репетировали эту историю с принцем. И все же Мирьям не могла избавиться от сожаления. Она несколько раз проходила мимо дома Эке-Пеке и Валески и заглядывала к ним в окна. За стеклами зияла безмолвная пустота, словно бы жильцы насовсем покинули нижний этаж. Мирьям с удовольствием наткнулась бы на какую-нибудь нитку, натянутую Эке-Пеке, но все дорожки были свободны от ловушек. Воспоминания подсмеивались над Мирьям: были времена, когда ей совсем не хотелось встречаться с Эке-Пеке и Валеской.

В дверь постучаться Мирьям не посмела. Она почему-то представила себе, что в передней сидит Елена с зеркалом на коленях и выдергивает из головы седые волосы. Их уже целая куча на полу. Мирьям не смогла бы сказать ничего разумного.

Клаус лежал в своем снарядном ящике, накрытый серым одеялом безразличия. Ему не хотелось разговаривать, тем более пошевелить рукой или ногой. Видимо, устройство похорон отняло у него последние силы.

Одиночество вместе с гнетущим бездействием настолько подавили Мирьям, что дальше было уже некуда.

Однажды ветреным утром Мирьям проснулась до-

больно рано. Как обычно, она прежде всего поплелась к окну, чтобы глянуть в сад. Под старым белым наливом земля была усыпана яблоками. И снова в жилах Мирьям пробудилась жизнь. Неожиданно родившееся намерение развеселило ее. Она возьмет сейчас корзину и пойдет в бабушкин сад воровать яблоки.

Воздух в это утро был насыщен щекочуще-пряными запахами.

Мирьям, согнувшись, прокрадывалась между кустами. Беспечно разросшийся сорняк обдавал росой обувь, пальцы на ногах стали мокрыми. Мирьям присела на корточки, оперлась о ручку корзины и оглядела яблоки. Некоторые были уже совсем спелые, наевшиеся черви выглядывали из черневших дырок и вдыхали утренний воздух. Мирьям вытаскивала за головы этих складчатых гусениц и бормотала:

— Оставьте что-нибудь поесть и бедным детям!

Мирьям, конечно, знала, что лишь придурки смеются над своими шутками, и все равно было приятно, когда можно было похихикать в свое удовольствие. Наверняка и тревога способствовала этому. Она играла в дерзкого вора, который среди бела дня забирается в сад и проводит время в беседе с яблочными червями. Выселяет их из обжитых норок на новые места — в то время как над самым загривком нависла рука какой-нибудь расторопной жилички из дома. Мирьям была готова к тумакам, в ушах почти что слышалось гневное причитание — ах ты дрянь, знай набивает свою корзину народным добром!

Вернувшись с добычей в комнату, Мирьям была немного разочарована, что поход за яблоками прошел без всяких происшествий.

Она сжевала пару яблок, и у нее засосало под ложечкой. Мама оставила жареного мяса и хлеба. Мирьям протянула руку, уже наперед предвкушая удовольствие от еды, — и тут лицо ее запылало от стыда.

Вскоре перед лазом в подвал остановилась вежливая гостья с корзинкой, накрытой белым платком, в руке. Почти что Красная Шапочка, которая не забыла свою бабушку. Мирьям постучалась и подождала разрешения войти. Клаус внизу медлил, и Мирьям на миг подняла корзинку к носу. Из корзинки шел такой аромат, что просто сводил с ума.

Мирьям грохнула каблуком по железной крышке, наконец донеслось вялое: «Да».

Клаус лежал в снарядном ящике, уставившись в потолок, и курил.

При виде такой разболтанности Мирьям рассердилась. Она откинула крышку в сторону, сняла с корзины платок и принялась неистово размахивать им. Понемногу дым выползал из подвала.

Выбрав самое крупное яблоко, Мирьям сунула его под нос Клаусу.

— Налетай, не выбирай!

Клаус взял яблоко и стал подбрасывать его, как мячик.

Он не выказывал голода, принялся выстукивать костяшками пальцев яблоко. Блаженная улыбка осветила его лицо, только что выражавшее серую скуку, словно бы яблоко шепнуло Клаусу на ухо что-то приятное.

Он откусил от яблока, прожевал и сказал:

— Когда на завтрак варили яйца, отец всегда разбивал скорлупу кольцом. Как раз по утрам на него находили странные причуды. Иногда пропускал перед кофе рюмочку и начинал извиняться, что опять подавлен своим навязчивым сном. Всю ночь напролет он блуждал по какому-то непонятному помещению — ни тебе квартира, ни зал ожидания, за окнами ни светло, ни темно. Мрачные мужчины в грязных сапогах безмолвно сидели за столами, лишь слегка шаркали ногами, песок скрежетал у них под подошвами. На шкафах и комодах лежали груды всякого хлама. Вперемешку газеты, журналы, кучи эти могли рухнуть от одного дуновения. Между бумажными пластами свисали носки с продранными пятками, сорочки и свитера валялись на полу, рукава придавлены ножками столов. Отец открывал ящики комодов и дверцы шкафов, отовсюду вываливалось барахло. Опрокидывались незакрытые чернильницы, под грязные сапоги мужиков летели пожелтевшие фотографии. Мужики наступали подошвами на фотографии, и лица на снимках покрывались рябью от вдавленных в них песчинок.

В такие утра глаза у отца были опухшие и в синяках; кто знает, может, его и в самом деле во сне ударяли по лицу открываемые им дверцы шкафов и ящики комодов. Отец отводил взгляд, ему было неловко смотреть на нас.

Я жалел и стыдился его слабости. Думал, как бы ему помочь. У меня не было входа в комнату его сновидений, чтобы подмести там полы и навести порядок в шкафах. Отец жаловался, что был принужден дожидаться там неизвестно чего. Мы уже знали, что он не выносит ожидания. Так же, как и я, — добавил Клаус возбужденно и умолк. — Мы чувствовали, что отец боится последствий своего кошмарного сна. Он предвидел какое-то событие, которое как бы висело в воздухе, не зная, что бы это могло быть.

Сочувствие внушило Мирьям беспокойство. Если бы ей дали крылья, она бы слетала в эту комнату сновидений. Что из того, что она никогда не видела отца Клауса, все равно к нему следовало отнестись с сочувствием. Мирьям еще не знала, что никто не в силах защитить человека от самого себя. Дело ведь вовсе не в том, чтобы вымести песок из комнаты сновидений и накрепко завернуть пробки на чернильницах. Хотя внешне и казалось, что прибранное помещение уже не терзало бы Клаусова отца и не понуждало бы его к тупому ожиданию.

Мирьям сжалась в комочек, будто высказала неуместные мысли. Возможно, отец Клауса все же погиб на войне, а они тут говорят и думают о сновиденьях покойного человека. А может, вообще не пристало такому, как Мирьям, постороннему человеку копаться в потайных печалях чужого человека?

— Тебе не жалко своей матери? — перевела она разговор на другое.

Клаус сжевал пару яблок, прежде чем ответил:

— Отец всегда говорил, что мама слишком жизнерадостна для того, чтобы понять жизнь.

— Я этого не понимаю, — с сожалением призналась Мирьям.

— Да и я сам тоже, — согласился Клаус. — Отец не успел объяснить мне вещи и поважнее. Например, то, что от задуманных на будущее дел будто бы идет запах роз.

Смотри-ка, какому странному и смешному человеку довелось стать отцом Клауса.

— Временами на меня находит черная тоска, — изливал душу Клаус. — Вижу как наяву. Отец лежит в грязи, больной и жалкий такой. Пошел бы, взвалил на плечи

и притащил бы сюда, отдохнуть. Только я не знаю, где его искать.

— У тебя есть тетя, — поколебавшись, промолвила Мирьям. — А вдруг она поможет?

— Откуда ты знаешь про тетю? — Клаус приподнялся и сел.

— Крысы пропищали,— недовольно ответила Мирьям.

В этот миг Клаус был на одно лицо с Эке-Пеке.

— Она приходила ловить тебя, — объяснила Мирьям.

— Вот уж не дает покоя, даже под землей.

Клаус сплюнул в дальний угол.

— А как от нее отделаться? — озабоченно спросила Мирьям.

Тут уж не до шуток. В один прекрасный день тетя Клауса заявится на их улицу с тележкой, на которой будет громыхать железная клетка. Начнет орать, как сумасшедшая, что преступника надо схватить. Люди окружат развалины, вытащат Клауса, как мышонка, из подпола и посадят за решетку. Уж если сажают под замок бедных прокаженных, то что и говорить о тех, кто живет не так, как того хотят другие.

Мирьям сжала кулаки, так что ногти впились в ладони. Она оставалась загадкой для самой себя — и что за странная волна сочувствия охватила ее? Она горюет о переживаниях отца Клауса, хотя и в глаза не видела этого человека. Жалеет Клауса — но, если верить словам его тетки, в снарядном ящике понурившись сидит не тощий парнишка, а преступник. Так можно будет однажды простить и убийцу своего отца!

— Твоя тетя несла всякую чушь! — неуверенно произнесла Мирьям.

— Да, неприятность была большая, — согласился Клаус. — Я украл из школы ружье.

— Зачем?

— Меня преследовало чувство, что я должен был любой ценой защитить своего отца.

— От кого?

— Не знаю. Всюду только и говорили об убийствах. И я начал думать, что за каждым углом стоит убийца, который целится в моего отца.

— Ты что, немного рехнулся?

Клаус усмехнулся:

— Историю с ружьем раздули. Тень легла на всю семью. Меня выгнали из школы, а отца забрили в солдаты.

У Мирьям, казалось, камень свалился с сердца. Она была готова прыгать, хлопать в ладоши, петь какую-нибудь глупую песенку и дурашливо смеяться. Только равнодушие Клауса удерживало ее от этого.

— Знаешь, — вздохнул Клаус, — все это вместе, наверное, даже хуже, чем быть настоящим убийцей. Может, отец проклял меня, когда мерз где-нибудь в окопе, по колено в воде, и вынужден был в кого-то стрелять. Как знать, может, он пожалел, что я вообще появился на свет. Из-за меня он попал на фронт и вынужден был убивать людей. Он был неспособен на это, я знаю.

Клаус застонал. Он колотил кулаком по краю снарядного ящика, дубасил каблуками по торцовым доскам, извивался и метался.

— Я должен найти его! Я должен все узнать! Никто другой мне не скажет, о чем он думал!

Мирьям охватила дрожь.

— Перестань, — попросила она.

Клаус ее не слушал.

— Он мог бы предстать в образе духа и сказать правду, — сквозь всхлипывания пробормотала Мирьям.

— Ничего-то ты не понимаешь! — закричал Клаус.

Мирьям напряглась и поборола слезы. С дрожью во всем теле она недоуменно подумала, каким еще должен быть ее жизненный опыт, чтобы она смогла во всем разобраться.

— Неужели ты в самом деле не видишь во сне своего отца? — осторожно спросила Мирьям.

— Иногда бывает, — ответил Клаус и закинул через край ящика уставшие руки.

— Он что, не хочет с тобой разговаривать? — с неверной надеждой допытывалась она.

Клаус криво усмехнулся:

— Во сне я вижу его фотографию, ту самую, что ношу в кармане. У фотографий нет привычки разговаривать.

Мирьям во сне встречалась с отцом всегда только одним образом.

Она стоит в воротах, отец с трудом выбирается из черного автомобиля. Рессоры освобождаются от тяже-

сти и пронзительно скрипят. Передок машины вздернут, на капоте подрагивает никелированный круг. Освободившись от хлопотного груза, лакированный зверь готов сорваться с места.

Отец нетвердой походкой плетется к воротам. Пальто заметает полами снег. Увидев Мирьям, отец разводит руками. Застывшая улыбка выглядит фальшиво. Мирьям хочет попятиться, но идет навстречу отцу. Его тяжелая рука ложится Мирьям на плечо. Они медленно бредут по дворовой дорожке, и силы покидают Мирьям.

Занавески на всех окнах отодвигаются, за стеклами возникают неестественно большие лица. Над каждым подбородком темнеет обрамленная зубами дыра. В ушах у Мирьям стоит шум.

Ее голая ладонь пристывает к ручке входной двери, стылый металл готов содрать кожу. Трещит плечо под рукой отца.

В этом сне Мирьям не слышит ни единого слова. Отец на это неспособен. Он настолько пьян, что не ворочает языком.

## 32

Растопить застывшее оживление было довольно трудно. Репетиции продолжались. Валеска то и дело засматривалась на кустики травы, срывала стебельки, грызла их и безучастно произносила слова королевы, да и то по приказанию Клауса.

Казалось, один лишь Клаус сумел излечиться от безразличия. Он подгонял и других, как только мог. Как обычно, он легко впадал в раздражение. На одну репетицию явился, волоча за собой ивовый прут. Прежде чем остальные успели войти в роль, у Клауса лопнуло терпение, и он начал стегать землю прутом. Дождевые черви уж явно укрылись поглубже. Клаус бил с таким остервенением, что в пыли разлетались ошметки ивовой коры. Мирьям при каждом ударе вздрагивала, голова ее гулко гудела; видимо, чувства и мысли попрятались в дальние

закоулки тела. Клаус явно опять зашел чересчур далеко в своей ярости. И почему только он не хочет подбадривать товарищей лаской и добрым словом?

Мирьям удивлялась своей послушности. Эке-Пеке с Валеской также не противились Клаусу. Хотя у них и было право похныкивать и заявить, оставьте, мол, нас в покое, мы хотим быть наедине и скорбеть в одиночестве. До Мирьям начало доходить, что остальные умеют во имя большой цели скрывать свое горе. Но почему для них был столь существенным этот спектакль? Неужели борьба в королевском семействе успела так глубоко запасть в сердца? Или они не могли отказаться от начатого однажды дела? Лето уже уходило в прошлое, а с ним и многие часы репетиций, — видимо, невозможно было оторвать от себя былое.

Клаус отчаянно метался, чтобы наконец-то сыграть спектакль. В один прекрасный миг все это подстегивание перестало быть загадочным. Видимо, Клаус прочел в глазах товарищей сомнение, потому что он гаркнул:

— Не думайте, что свободу можно, как пальто, в любую минуту снять с вешалки и шагать себе спокойно, подпоясавшись кушаком!

Мирьям удивилась, сколь превратно она понимала жизнь.

До сих пор она считала себя свободным человеком, теперь же поняла, что в действительности, наверное, только у ангелов небесных есть крылья свободы. Что удерживало принца в королевском доме? Ему нужно было утвердить правду! Свободен лишь тот, кто не признает справедливости. Может, следовало все забыть, махнуть рукой на старое и несправедливость, чтобы стать независимым. У Мирьям вызывало усмешку, когда она вспоминала двор своего давно минувшего детства. Там подошвы ее ног ласкала нагретая солнцем пыль, и она была убеждена, что совершенно свободна. Без конца носилась по двору эта беспечная девочка, не понимая, что каждый миг могла расквасить о забор свой нос.

У кого в душе однажды поселились муки истины, тот не сможет уже просто так вернуться на двор своего детства и чистосердечно поверить в собственную свободу.

Утомляющие репетиции изнуряли Мирьям телесно, а новые думы истязали ее дух. Правда и свобода — два

суровых и праведных брата — взяли и наделили ее чувством вины. Мирьям все больше ощущала свою пустоту, стоило сравнить себя с принцем и Клаусом. Что за необыкновенная сила жила в тщедушном Клаусе? Он мог прозябать в темном подвале, лишь бы узнать полную правду о своем отце!

Или, может, Мирьям решила потихоньку забыть, что где-то среди людей ходит убийца ее отца? Никто не умеет отыскивать в глазах преступника лик убитого им человека. Ничего не подозревающие люди даже могут нечаянно сказать про такого, что гляди, какой прекрасный и порядочный гражданин!

И вот однажды на гребне горы снова стоял наряженный в картофельный мешок дух короля. Ветер трепал старческие пакляные космы, принц слышал голос умершего и умудренного опытом человека.

Вдруг на гребне голой зольной горы появился еще один дух. Дедушка вышел из потустороннего мира немного проветриться.

Мирьям оторопела. Оба — и дедушка и король — были стариками. Если один говорил о собственном убийстве, то другой не находил покоя из-за убитого сына.

— Разве убийца все еще не найден? — возмущался дедушкин дух. — Как вы только живете там? Все война да война, дома сгорели до основания, убийцы расхаживают среди людей.

— Война прошла, — возразила Мирьям.

— Прошла, — усмехнулся дух. — Нет, ошибаешься. Война не кончится, пока не будет восстановлена истина.

Время королевского духа истекло, он должен был исчезнуть с горы. И другой дух проявлял нетерпение, ему тоже нужно было возвращаться под землю. Мирьям чувствовала, что у дедушки что-то еще лежит камнем на душе.

— Ты не забывай голубей, которых засунули в ушат, — прошептал он. — Что поделаешь, мне пришлось так рано уйти, и я не мог остановить бабушку.

— Не беспокойся, дедушка, — пробормотала Мирьям. — Я обещаю, что не забуду.

На заднем склоне горы Мирьям споткнулась о камень, упала да так и осталась сидеть на золе.

Дедушка завещал ей восстановить истину. С какого только конца начать? И покойная бабушка, словно не-

смышленый ребенок, оставалась на ее попечении. Мирьям должна была задним числом отвечать за бабушкины поступки.

Другие прошлые заботы также мучили Мирьям. Нельзя было позволить минувшему обрушиться на тебя, подобно пластам золы; нужно было знать, за что браться прежде всего.

Однажды вечером Клаус решил, что спектакль у них готов. Четыре усталых артиста сидели в снарядном ящике и смотрели в люк на небо.

У Мирьям было хорошее настроение оттого, что они на дуэли с Клаусом не вошли в раж и не ранили друг друга смертельно.

— Вывесим объявления, — сказала Валеска.

Клаус кивнул.

— Я натяну нитки, — пообещал Эке-Пеке, — чтобы никто не прошел мимо.

Мирьям с ним согласилась. Никто не смел равнодушно проходить мимо столь знаменательного события. Это была не простая пьеса — в ней восстанавливали истину.

И все же как найти убийцу отца?

Когда Клаус ходил смотреть пленных немцев, он искал среди живых одного, которого не спутаешь ни с кем другим. И то не удалось. А как отыскать среди тысяч и тысяч людей именно того, у которого в глазах отпечатался образ убитого отца?

После войны у многих за внешне ясным взором могло скрываться ужасное. Поди-ка разберись.

Мирьям все чаще ловила себя на том, что думает о сновиденьях Клаусова отца. Эта комната, за окнами которой было ни светло ни темно, старалась втянуть в себя и ее. Она ощущала себя совершенно беспомощной среди вороха бумаг и вещей, и у нее под ногами скрежетал песок.

Вдруг ей бросилось в глаза что-то знакомое.

В темном углу лежал портфель отца. Видимо, убийца лишь на мгновение положил его туда. Сейчас он возьмет портфель в руки и снова, с невинным видом, выйдет к людям.

Мысли Мирьям ухватились за новую возможность.

Она помнила внешний вид портфеля до мельчайших подробностей. Два грушевидных замка, на правом, возле

заклепок, ржавые пятнышки. Внутри, на кожаном ремешке, два маленьких ключика. Конечно, убийца мог сменить замки и выбросить ключи. Это ничего не значит. Портфель у отца был из толстой коричневой кожи, которую украшали впрессованные вдоль и поперек глубокие бороздки. Их-то уж ничем не разгладишь.

Одна примета сейчас обрадовала Мирьям. В тот раз, когда ее неумелая рука выводила первые слова, она тайком написала на донышке портфеля: ПАПА. Чернила немного разошлись, но все же эти четыре буквы привели ее в восторг, они вышли вполне приличными. После, когда дело было сделано и голова начала соображать, страх закрался в сердце. Вдруг дадут взбучку? К счастью, у отца не было привычки заглядывать на дно своего портфеля. Написанное осталось неведомым и для него. Да навряд ли и убийца заметил это. Примету на портфеле знает лишь она одна.

Довольно пустых фантазий, сила Мирьям и ее бесстрашие столкнулись на полном ходу, по спине даже пробежала горячая волна. Мирьям остановит на улице убийцу, который шагает с отцовым портфелем в руках. Это портфель моего отца, спокойно скажет она. Прочь, глупый ребенок! — пронзительно закричит убийца и притопнет каблуком. Прохожие остановятся и с любопытством начнут придвигаться ближе. Вскоре их двоих уже будет окружать плотная стена людей. На маленькой арене Мирьям окажется лицом к лицу с убийцей. Один из них должен выйти из схватки победителем. Конечно же тот, кто борется за правду! А ну переверните портфель, потребует Мирьям, там, на донышке, чернилами написаны четыре буквы. Противник вынужден будет исполнить требование. Люди еще теснее сомкнут круг. Все от напряжения затаят дыхание и вытянут шеи. Тишина будет давить на перепонки. Так и есть! — победно воскликнут люди. Да здравствует правда! Убийце скрутят руки, бежать ему некуда.

Мирьям отгоняет возникшую в воображении картину, другая мысль требует себе места. Неужели и впрямь в то далекое время, когда она выводила свои первые буквы, в ней жило какое-то тяжкое предчувствие и она предусмотрительно поставила знак на отцовском портфеле? Вообще-то у нее не было привычки портить вещи, особенно те, которые вызывали почтение.

Четыре неровные буквы приобрели в глазах Мирьям огромное значение. У каждого в душе должен быть укрыт хрупкий мосток, чтобы поддерживать связь с неведомым.

Пусть мостки эти будут не толще нитки — осторожно, запасясь терпением, когда-нибудь все равно можно будет перебраться с одного берега на другой.

Нельзя было мириться с тем, чтобы их поглотила комната из навязчивого сна Клаусова отца.

*Таллин, 1971—1972.*

## СОДЕРЖАНИЕ

**ЧЕРТОЦВЕТ.** *РОМАН. Авторизованный перевод с эстонского Е. Поздняковой* . . . . . 5

**СТАРЫЕ ДЕТИ.** *РОМАН. Авторизованный перевод с эстонского А. Тамма* . . . . . 229

Бээкман Эмэ Артуровна

**ЧЕРТОЦВЕТ. СТАРЫЕ ДЕТИ**

---

М., «Советский писатель», 1975, 416 стр. План выпуска 1975 г. № 194.
Художник Юри Аррак. Редактор Т. Я. Горбачева. Худож. редактор Д. С. Мухин. Техн. редактор З. Г. Игнатова. Корректор Л. К. Фарисеева. Сдано в набор 4/IV 1975 г. Подписано в печать 22/VIII 1975 г. А 02326. Печ. л. 13,0 (21,84). Уч.-изд. л. 22,28. Бумага 84×108 1/32, типогр. № 1. Тираж 30 000 экз. Заказ № 356. Цена 88 коп. Издательство «Советский писатель». Москва Г-69, ул. Воровского, 11.
Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.